

Ю.А. Борко

# Судьбу нам не о чем просить...

**Семья,  
жизнь и путь  
в науке**



ВСЬ  
МИР

*Судьбу*  
**нам не о чем просить...**

*Ю.А. Борко*

**Судьбу**  
**нам не о чем просить...**

---

**Семья, жизнь и путь в науке**

---

Москва  
Издательство «Весь Мир»  
2019

УДК 929  
ББК 84г  
Б 82

**Борко Ю.А.**

Б 82 Судьбу нам не о чем просить...Семья, жизнь и путь в науке М.: Издательство «Весь Мир», 2019. – 440 с.

ISBN 978-5-7777-0779-6

Автор, известный российский экономист, д.э.н., профессор, почетный президент Ассоциации европейских исследований, вспоминает не только собственную жизнь, но и рассказывает о жизни двух предыдущих поколений семьи Борко.

УДК 929  
ББК 84г

*Отпечатано в России*

ISBN 978-5-7777-0779-6

© Борко Ю.В., 2019  
© Издательство «Весь Мир», 2019

# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие первое .....	7
Предисловие второе .....	9
<b>Часть I. СЕМЬЯ</b>	
Откуда есть пошло семейство Борко .....	11
Абрам Израилевич Борко (1871–1944): Патриарх .....	14
Ида Григорьевна Борко (1874–1960): Она читала только Тору и верила в Иегову .....	21
Этель (Елена) Борко (1897–1919): Смертью смерть поправ .....	24
Ефим Борко (1901–1996): Комиссар–экономист–металлург .....	42
Иоан Борко (1907–1985): 1941–1942. Керчь .....	54
Рита Борко (1914–2003): Воинские эшелоны шли с интервалами в полчаса-час .....	62
Надежда Борко (1903–1950): «Тихий Дон» в 1918 – 1920-м .....	76
<b>Часть II. МОЯ ЖИЗНЬ</b>	
Ростовское детство и открытие Москвы .....	90
Мне когда-то тоже было тринадцать .....	97
Кола Брюньон и Павка Корчагин .....	103
Школа № 19, или Три года, перевернувшие мой мир .....	108
Самый памятный вальс .....	116
Мамин урок .....	119
Мой 10-й класс .....	122
Два дня в марте 1953-го .....	156
Как я стал старшим пионервожатым .....	165
Лена .....	177
Пятидесятники .....	187
Мой друг Том Петров .....	236
Три дня в августе 1991-го года .....	284

Часть III. МОЙ ПУТЬ В НАУКЕ

Полвека на путях и перепутьях отечественной науки . . . . .	299
Как формировалась отечественная школа исследования европейской интеграции . . . . .	337
Институт Европы РАН: 90-е годы . . . . .	357
Николай Шмелев – ученый, друг и единомышленник . . . . .	375
Ассоциация европейских исследований в России – АЕВИС . . . . .	393

Приложение

Осенние мотивы. Стихи . . . . .	404
---------------------------------	-----

## ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРВОЕ\*

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом» (Еккл. 3:1). Идешь по жизни – от горизонта к горизонту. И хотя знаешь, что когда-то глазам твоим откроется горизонт, за которым уже не будет ничего, но в непосредственном опыте всё воспринимается как безостановочное и нескончаемое движение – за далью даль. А затем, словно тебя кто-то под локоть толкнул, как бы заново прозреваешь, что время и пространство твоего движения конечны, что пройденное расстояние гораздо длиннее того, которое тебе осталось пройти, и осознание этого факта становится частью твоего нового восприятия мира и самого себя. Ты по-прежнему живешь в настоящем, но оно связано уже не столько с будущим, сколько с прошедшим временем. К тому же обнаруживаешь, что накопленный опыт прожитого и пережитого уже превзошел объем критической массы, вызывающей, подобно ядерной цепной реакции, спонтанный процесс воспоминаний и размышлений о жизни, людских судьбах и стране, в которой тебе довелось родиться и прожить. И тогда наполняются реальным смыслом, ибо теперь это собственный опыт, слова Экклезиаста: «Время разбрасывать камни и время собирать камни» (Еккл. 3:5). Два разных времени, две поры твоей жизни: с первой ты распрощался, пришла пора «собирать камни».

В далекие «тинейджерские» годы я вел личный дневник и писал стихи. О стихах вспоминаю с улыбкой. Сочинять их начал в четырнадцать лет, закончил – в девятнадцать. Этакая смесь дерзостей раннего Маяковского, порывов юного Данко и страданий молодого Вертера. Разумеется, я имею в виду не литературные достоинства, а мотивы. Всё искренне и всё вперевес, всё всерьез и всё – пародия и гротеск, за исключением, может быть, трёх-четырёх небольших стихотворений, подкупающих своей открытостью и вполне приличных по форме. А дневник я начал в памятную осень 1941 года, в сентябре, и первая запись

---

\* Юрий Борко. Позднее. Стихи. Воспоминания. М.: Типография ИНИОН РАН, 2009. 117 с.

по прибытии в Казань, где жила моя тетья, младшая сестра мамы, была о четырехдневном путешествии из Москвы, в тамбуре до отказа набитого людьми вагона. Всю дорогу я или стоял, или сидел на корточках, прислонившись спиной к стенке. Увы, первая тетрадка дневника до сегодняшнего дня не дожидла, и я помню только грохот встречных воинских эшелонов – платформы с танками, орудиями и грузовыми машинами, товарные вагоны с предназначенными для фронта грузами, приоткрытые теплушки и солдатские лица в дверных проемах, составы цистерн. Железная дорога Свердловск – Казань – Москва была почти на всём протяжении однокорейкой, эшелоны шли примерно с часовым интервалом, и мы подолгу стояли на каждом полустанке, пока не возникала двух-трехчасовая пауза, и наш поезд успевал пройти один-два перегона до очередной станции. Я вел дневник все военные годы, начало послевоенных лет и закончил последнюю тетрадку осенью 1948 года, когда начал учиться на историческом факультете МГУ. Из «тинейджерских» штанов я вырос, да и жизнь началась небывало интенсивная и чертовски интересная.

Минуло сорок лет, я вновь начал писать стихи и вести – нет, не дневник, – а записи раздумий, воспоминаний, комментариев к прочитанным статьям и книгам. Видимо, это настроение назревало исподволь, а вышлеснулось в 1986 году. В апреле умер Том Петров. Ушел первый из моих ближайших друзей, один из тех, кто однажды вошел в мою жизнь и остался в ней навсегда. Я написал несколько стихотворений, посвященных Тому, и начал записывать воспоминания о нем. Но, как я уразумел позже, это было началом более глубокого поворота в самом себе. Мы живем двумя параллельными жизнями – внешней и внутренней. Они связаны друг с другом, но чаще находятся в той или иной дисгармонии. Мне открылась забытая часть моего внутреннего мира, оказавшаяся в тени другой моей жизни – профессиональной и деловой, которой, как правило, сопутствуют суетность и сиюминутность, круговерть нужных и ненужных обязательств, обещаний, встреч и т. д. и т. п. Во мне проснулось желание записывать то, что я вспомнил, увидел, услышал или прочёл, прочувствовал и понял. Тогда-то я и вспомнил про «собирать камни».

Прошло более двадцати лет, и в памяти моего компьютера накопились уже сотни страниц всякого рода записей. В нынешнем году мне исполнилось восемьдесят, и я решил, что пора привести свои записи в порядок. Я начал со стихов и воспоминаний о Томе Петрове.

*Москва, осень 2009-го*



## ПРЕДИСЛОВИЕ ВТОРОЕ

Первое предисловие я написал в мое 80-летие. Свое намерение я выполнил – в том же году типография ИНИОН РАН напечатала сто экземпляров книги «Юрий Борко. Позднее. Стихи, воспоминания». Я роздал их в основном однокурсникам, а также друзьям, большей частью знавшим Тома, а иногда и не знавшим его.

Теперь мне предстоит встретить 90-летний юбилей. Всё, что я тогда рассказал о моем самовосприятии, остается верным по сей день.

А что касается воспоминаний, то я начал записывать их еще в поздние советские времена, но систематически уже после 1991 года и особенно в последнее десятилетие. Я рассказывал о своей жизни и событиях, которые происходили в моей стране или за её рубежами. И лишь о семействе Борко, о двух его поколениях – моих бабушке и дедушке, их пятерых детях, включая мою маму, рассказать мне было нечего. Помню, что в раннем детстве я задавал им какие-то вопросы об их далёком прошлом, но они отвечали неохотно и отделялись общими фразами. Я это понял и отстал от них. Причины их нежелания отвечать я понял много позже. Спрашивать я начал лет с пяти-шести, то есть с середины по конец 1930-х годов, в пору жутких репрессий. Тогда один из самых зловещих вопросов звучал так: «Чем вы занимались до 1917 года?» Ну кому хотелось отвечать на такой вопрос, даже в том случае, если его задал любимый внук или племянник?

А пятнадцать лет назад произошло событие, открывшее мне путь в прошлое моего семейства. В мае 2003 года умерла моя тетьа Рита Абрамовна, или просто Рита, как я называл ее с детских лет, – младшая из братьев и сестер Борко. Проводив ее в последний путь, я в один из ближайших дней занялся разборкой ее архива и обнаружил, к моему изумлению, интереснейшие документы. Многие из них были датированы 20–40-ми годами. Тетушка была на редкость аккуратна и бережлива. В папках и конвертах хранились ее собственные документы, архивы главы семейства Абрама Израилевича и двух ее братьев – Ефима и Иоана, воспоминания родных и соратников Этель Борко, погибшей в 1919 году. В Ритином архиве почти не было документов Нади, моей мамы. Но я вспомнил, что после ее смерти в 1950 году нашёл в шкафу картонную папку образца

30-х годов, перевязанную крест-накрест тонкой бечёвкой. В ней хранились мамины старые документы и фотографии начиная с времен Гражданской войны. Мы с Леной четырежды меняли московское жильё, выбрасывали кучу бумаг, но у меня ни разу не возникло мысли расстаться с маминым архивом. Как знать, может, в папке таилась её незримая душа?

Правда, когда я впервые углубился в изучение архивов, печальным открытием для меня стало то, что документы, сколько бы их ни было и как бы содержательны они ни были, живых свидетелей заменить не могут. Я с недоумением спрашивал себя, почему так редко и так мало расспрашивал моих старших о том, как им жилось в разные времена и каков был мир, в котором они жили. Правда, как я уже сказал, мои детство, отрочество и юность пришлось на то время, когда надёжнее было ни о чем не спрашивать. И не на все мои вопросы они стали бы отвечать. По разным причинам – из-за впитавшейся в плоть и кровь предельной осторожности или нежелания не то что говорить, но даже мысленно перелистывать страницы прошлого. И всё же, всё же... Как выяснилось, Александр Сергеевич, посетовав, что «мы ленивы и нелюбопытны», адресовал эти слова и мне. Увы!

Я изучал содержимое архивов, вчитывался в документы, и в какой-то момент передо мной, будто на экране, высветилась 125-летняя история семейства Борко, начиная с первого конкретного события в 1897 году. Она видится мне в двух ракурсах. С одной стороны, личные судьбы двух старших поколений Борко, с другой – как связаны были их судьбы с историей страны в двух ее ипостасях и историей жившего в ней еврейского народа. Я начал набрасывать очерки о них в середине нулевых годов, потом прервался и, вернувшись к ним пару лет назад, почти закончил в нынешнем году.

Недавно, читая отклики на кончину Даниила Александровича Гранина, я прочел записи Нины Петляновой. Сборкор «Новой» посетил 98-летнего патриарха русской литературы 10 июня, за три недели до его ухода. Меня поразило одно высказывание писателя: «Не знаю, почему я всё еще живу? Может, я такой вредный, что Бог меня боится пустить к себе? Я уже говорил, что не знаю, есть Он или нет. Но если я буду сидеть и перебирать чётки, то я уже ничего не напишу» (Новая газ. 2017. 7 июл. С. 5). Надо, подумалось, поторопиться и мне. Пора складывать все написанное о старших поколениях семейства Борко, о самом себе и моей семье, о друзьях, о моих отношениях с *Urbi et Orbi*, и прежде всего со своей Отчизной, как бы она ни именовалась в течение моей жизни. Пора готовить книгу к изданию.

Москва, октябрь 2018-го

# Часть I

## СЕМЬЯ

### Откуда есть пошло семейство Борко

Как говорится, всё начинается с начала. Но у этой повести нет начала. Оно сгорело в Гражданскую войну вместе с синагогой в городе Бердичеве и раввинатными книгами, в которых содержались записи о рождениях, браках и смертях местных евреев. Их было семеро. Старшие – Абрам Израилевич и Ида Григорьевна Борко и пятеро их детей – Этель, Хаим, Нахома, Иоан и Рита. Впрочем, Хаим в жизни и по паспорту был Ефимом, Нахома – Надей, Надеждой; Иоана в семье звали Йёней или – в широком кругу – Лёней, а Рита так и была Ритой, но не Маргаритой. Я перечислил их по старшинству. Все они родились до 1917 года: Этель – в 1897-м, Рита – в 1914-м, остальные – в промежутке между ними.

Что касается самых старших, то я почти ничего не знаю о том, как они жили до октября 1917 года. Дед мой родился в 1871 году, бабушка – в 1874-м. В пору своей семейной жизни, начавшейся в 1895 или 1896 году, они жили в Бердичеве. Возможно, там и родились. Там же родились все их дети. В 1915 году семья в экстренном порядке переехала в Ростов-на-Дону, но об этом позже, а сначала о Бердичеве. Роли родителей были распределены там очень чётко: Абрам Израилевич трудился и был единственным кормильцем в семье, а Ида Григорьевна вела домашнее хозяйство и воспитывала детей. Но это слишком общее представление.

Я подумал, что если познакомлюсь с историей города, особенно в конце 1890-х и в начале нового века, когда образовалась семья и родились дети, мне станут более понятными ее социальный статус, материальное положение, образ жизни. Я хотел найти ответы на некоторые возникшие вопросы, например понять, каким образом семнадцатилетняя девушка, живущая в рядовой мещанской семье, не связанная с интеллектуальной средой и еще не закончившая училище (по сути, среднюю школу), примкнула к революционному движению.

Первое документальное упоминание о «селе Беричиково» относится к 1546 году, а 1593 годом датируется сообщение о том, что

«в новозаселённом местечке Бердичев, в котором имеется всего 140 домов, мельница впервые сдана владельцем в аренду еврею за сто монет в год»<sup>1</sup>. В начале XVIII века в Бердичеве уже существовала еврейская община, в 1712 году был создан *кагал*, то есть правление общины, которое стало посредником между ней и властями. В 1765 году, согласно официальной переписи, здесь проживало 1220 евреев. Языком их общения был идиш.

В 1793 году по условиям раздела Польши между Австрией, Пруссией и Россией в состав последней вошла Правобережная Украина. В конце XVIII века в соответствии с указом от 1791 года в России вводится *черта оседлости* – территория компактного проживания евреев, чтобы предотвратить их проникновение в великорусские губернии и защитить от их конкуренции российских предпринимателей. В черту оседлости вошла и Волынская губерния вместе с Бердичевом. В декабре 1845 года царским указом ему был присвоен статус города. С этого времени его еврейское население быстро растёт: 1789 г. – 1951 чел.; 1847 г. – 23160 чел.; 1884 г. – 62366 чел. На 1 января 1899 года в нём проживало 62,3 тыс. человек, в том числе 50,5 тыс. евреев, или 80% его жителей. Остальные – в основном поляки, а также русские и украинцы. Среди крупных и средних городов, расположенных в черте оседлости, Бердичев был самым еврейским городом.

Главным занятием евреев была торговля: ею кормилась примерно треть еврейского населения. Ремесленники (вместе с членами семей) составляли около 20%. Самые распространённые ремесла – сапожное и портняжное; далее шли обработка дерева и металлов, изготовление москательных товаров и т. д. Остальное взрослое население зарабатывало на жизнь самым различным образом – небольшое число фабричных рабочих, в основном на кожевенных предприятиях, продавцы, прислуга, приказчики и конторщики, поденные рабочие и т. д. Еврейский город с далеко зашедшим социальным расслоением. На богатую по провинциальным меркам верхушку, главным образом купеческую, приходилось около 4% еврейского населения, на долю семей среднего достатка – примерно 18%, на долю бедноты – 76%. Около 20% населения жили на грани нищеты и поддерживали существование с помощью благотворительности<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Риман А. Бердичев – еврейская столица Украины // <http://www.rjews.net/gazeta/Lib/riman/021217.shtml>

<sup>2</sup> Бердичев // <http://ru.wikipedia.org/wiki>

С середины XVIII века значение Бердичева как торгового центра Украины начинает снижаться. Это было обусловлено повышением торговой роли тех городов, которые в отличие от Бердичева получили железнодорожную связь с Центральной Россией. Большие еврейские фирмы переносят свою деятельность в Киев, Одессу, Екатеринослав, Харьков... Тем не менее Бердичев остается центром культурной жизни еврейского населения, и она продолжает прогрессировать во второй половине XIX и начале XX века. Развивается и реформируется система образования. В 1850 году в Бердичеве открыто первое, а в 1860 году – второе казённое еврейское училище первого разряда, к которым затем добавилось несколько частных училищ. Были открыты гимназии и учреждена общественная библиотека.

Появляется в Бердичеве и еврейский театр. 4 октября 1875 года в зале гостиницы «Золотые берега» состоялся первый Еврейский концерт под управлением А. Фишзона с участием еврейских хористов. Успех был полным. Труппа совершила турне по разным городам: играли в Житомире, Черкассах, Кременчуге, Белой Церкви и даже в Киеве. С конца XIX века активизируется общественная жизнь, о чем свидетельствуют выходявшие на языке идиш газеты: «Найер телеграф», «Ди библиотек», «Бердичевер иллюстрация», «Найес Орун Эрец-Исроэл», ежедневная газета «Фолкештиме», сатирическая тетрадь «Дер Котер».

В начале XX века Бердичев становится одним из крупнейших центров бундовского и сионистского движений. Еврейская молодежь принимает участие в деятельности и других политических партий и организаций – еврейских и общероссийских. Она активно участвует в Русской революции 1905 года. Дважды, в марте и особенно на следующий день после царского Манифеста 17 октября, улицы и площади Бердичева становятся ареной жестоких схваток между молодежью, скандирующей революционные лозунги, и «силами порядка» – полицией и казачьими сотнями. Столкновения сопровождаются стрельбой, жертвами с обеих сторон и массовыми арестами демонстрантов.

Такова в самом кратком виде почти 400-летняя история Бердичева. Я изложил ее на двух страницах, выделив ту ее часть и те аспекты, которые позволили мне найти ответы на возникшие у меня вопросы.

Но сначала об одном неожиданном открытии. Мне с самого раннего ростовского детства казалась странной языковая дисгармония в нашем семействе. Бабушка с великим трудом изъяснялась по-русски; дед, напротив, говорил бойко, почти свободно,

но с сильным еврейским акцентом, постоянно путал мужской род с женским и был в разладе с падежами. А у всех детей был чистейший русский язык, очень грамотный и без малейшего акцента, разве что слегка у Лёни. Но ведь дома родители говорили на идиш, и дети общались с ними, особенно с Идой Григорьевной, тоже на идиш. Где же они научились говорить по-русски, как будто он был их родным языком?

Ответ я нашел, когда погрузился в историю Бердичева. Оказалось, он состоял из нескольких частей: основные – Старый город и Новый город, а кроме них – «Та сторона реки», где жило меньше евреев, и Пески, где жили евреи-ремесленники и люмпены. Жильцами Нового города были преимущественно купцы, промышленники, интеллигенция. Здесь находились хоральная и новгородская синагоги, а также театр, Коммерческое училище, несколько гимназий. В этом районе старались говорить по-русски, и это было обусловлено социальным составом, профессиональными интересами и более высоким уровнем образования проживавшего здесь еврейского населения<sup>3</sup>. Именно здесь жило или поселилось с какого-то времени семейство Борко, и дети с ранних лет учились говорить по-русски, общаясь во дворе со старшими ребятами и сверстниками. Конечно, это гипотеза, но уж очень всё сходится. Здесь расположены Коммерческое училище, в которое Этель поступила в 1908 году и окончила в мае 1915 года, а также женская гимназия, в которую в 1912 году поступила Надя, продолжившая потом учебу в Ростовской женской гимназии. Обучение шло на русском языке, которым обе девочки свободно владели.

Что касается вопросов, ответы на которые я надеялся отыскать, вникая в историю Бердичева, то они, как мне представляется, нашлись. Один – об истоках решения Этель «уйти в революцию», другой – о месте семейства Борко в социальной структуре еврейского населения в Бердичеве. Это изложено в очерках, посвященных Абраму Израилевичу и Этель.

## Абрам Израилевич Борко (1871–1944): Патриарх

Свои первые семь лет я прожил у родителей моей мамы. Возможно, по моим детским представлениям, навеянными сказками, дедушка должен был выглядеть как добрый и немного смеш-

<sup>3</sup> *Дербаремдикер М.* Бердичев – еврейский город // [www.languages-study.com/yiddish/berdichev.html](http://www.languages-study.com/yiddish/berdichev.html)

ной старичок, с большой бородой или бородкой, в очках и с палочкой. Чем он занимается, непонятно, обед не варит, посуду не моет и белье не стирает. Разве что внуков или внучек водит в зоопарк, рассказывает им басни и читает «Мойдодыр» или «Что такое хорошо и что такое плохо». Мой дед ничего общего с этим образом не имел. Я помню его таким, каким он выглядит на одной из последних своих фотографий. Это вторая половина 30-х годов, деду примерно 65 лет, он пенсионер. Тем не менее, как правило, он исчезал из дому утром и возвращался обычно после полудня, а нередко и к вечеру. Квартира наполнялась шумом, а в моем обращении к нему: «Дед!» – сквозило беспредельное уважение.

К этой теме я еще вернусь, Но сначала о том, кем все-таки он был. В маленькой книжечке «Елена Борко», вышедшей в 1939 году, к 20-летию со дня гибели Этель, Абрам Израилевич назван мелким кустарем-ремесленником. Знать бы только, что кроется за словами «мелкий кустарь-ремесленник»! В детские годы, еще в Ростове, я не раз спрашивал Леню и Риту, чем занимался дед, но отвечали они неопределенно и с неохотой. Вроде бы он изготовлял какие-то товары бытовой химии, а что именно, не уточняли. Дети проникательнее, чем о них думают взрослые. Мой внутренний локатор уловил нежелание старших обсуждать эту тему, и я перестал спрашивать о том, чем раньше занимался мой дед. Ведь я не знал, как зловеще звучал тогда в анкетах и отделах кадров вопрос: «Чем Вы занимались до 1917 года?».

Позже, когда я начал штудировать в Московском университете труды классиков марксизма-ленинизма, Владимир Ильич Ленин объяснил мне, кем был мой дед. Всех ремесленников, мелких торговцев и крестьян-единоличников он записал в разряд «мелкой буржуазии», которая рождает капитализм «ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе». Возможно, братьям и сестрам Этель был неприятен вопрос, напоминавший об их мелкобуржуазном происхождении. А может, они что-то скрывали? К примеру, мой дед мог быть не столько ремесленником, сколько мелким торговцем и нанимал подсобных работников, а это по меркам Советской власти было далеко не одно и то же. Ремесленник всё же был, так сказать, трудовым элементом, а торговец в отличие от него перепродавал плоды чужого труда, а потому носил клеймо эксплуататора.

Лишь недавно, взявшись за семейную хронику, я вчитался в сохранившиеся документы мамы, в том числе автобиографию. Она назвала отца «кустарем-одиночкой» (то есть трудился самолично

и подсобных работников не нанимал), но добавляет, что в 1911–1914 годах он был мелким торговцем. Какое это имеет значение? Теперь – никакого. Всё кануло в прошлое – и оба старших поколения семьи, и государство, в котором они жили. А тогда, в нагнетаемой властями атмосфере ненависти к «классовым врагам», патологической подозрительности и повального доноительства лучше было не вдаваться в подробности. Молчание было дороже, чем золото, ибо его ценой была жизнь. О том, что дед занимался торговлей, нигде больше не упоминается – ни в записанных Лёней рассказах матери, ни в его собственных воспоминаниях.

Итак, остановимся на том, что мой дед Абрам Израилевич Борко был ремесленником, занимался изготовлением разнообразных товаров бытовой химии и продавал их либо сам, как это было в 1911–1914 годах, а может, и в другие времена, либо владельцу лавки на местном рынке, торговавшему москательными товарами.

Что касается места семьи в социальной вертикали, определяемое уровнем доходов и благосостояния, то преуспевающим человеком дед уж точно не был. В той же книжке об Этель приведен такой эпизод. Когда в семье родилась первая дочь, поздравить счастливых родителей пришел в числе других и становой, что-то вроде нашего участкового – мелкая полицейская сошка, аккуратно собиравший, как было принято на Руси, положенную мзду с жителей своего участка. Ему-то и платил Абрам Израилевич «нелегкую для него дань – два двугривенных каждую неделю». Нелегкую или легкую – это субъективная оценка. Важно другое: значит, у деда был относительно устойчивый доход, и в таком размере, который давал основание становому претендовать на регулярное мздоимство. Дед отдавал ему за год приличную по тем временам сумму – более 20 рублей. Так что, скорее всего, семейство Борко входило в вышеупомянутые 18% еврейского населения со «средним достатком».

Есть для такого предположения и более основательный аргумент. Была у Абрама Израилевича заветная мечта – дать детям достойное образование, и не в еврейских школах – хедерах, где учеников обучали главным образом основам иудаизма, знанию Торы и Талмуда, древней истории евреев, как она запечатлена в этих священных писаниях, а в русских общеобразовательных учебных заведениях. Воплощение этой мечты стоило немалых денег. Многие ли еврейские семьи были способны дать своим детям такое образование? Согласно всероссийской переписи насе-



ления 1897 года, из 5170 еврейских детей школьного возраста в еврейских учебных заведениях Бердичева учились 263 ребенка (5,0%), в общих учебных заведениях – 221 (4,3%), вне школы осталось 4686 детей (90,6%)<sup>4</sup>. Через 10–15 лет доля еврейских детей, учившихся в общих учебных заведениях, увеличилась в 2–2,5 раза, то есть достигла 9–11%.

К 1908 году в семье было уже четверо детей, и всё-таки старшую дочь Абрам Израилевич определил учиться в женское коммерческое училище, успешное окончание которого давало право на поступление в университет. Обучение было платное – 45 рублей в год. Но отцу приходилось платить двойную сумму, так как он должен был оплачивать учёбу одного из русских учеников. Было ли это в согласии с общими правилами приёма еврейских детей в российские средние учебные заведения или местным творчеством, осталось для меня неизвестным. В сумме это составляло 90 рублей в год. А ведь были еще расходы на форменную одежду дочери, учебники, тетради. А в 1912 году начала учиться в женской гимназии Надя, принятая в пределах установленной для евреев квоты. Наконец, по свидетельству Ефима, он получил в детские и отроческие годы начальное образование. Выходит, что он успел окончить в Бердичеве русскую начальную школу, на этом учёба и закончилась.

В Ростове семья поселилась в доме, стоявшем на крутом спуске к Дону, между двумя улицами – Канкринской и Воронцовской (в 30-е годы они были переименованы соответственно в Ульяновскую и Бауманскую). Здесь в нескольких спускавшихся к реке кварталах проживала значительная часть еврейской диаспоры. И здесь же находилась главная из трёх городских синагог, построенная в 1880-е годы. На нижнюю, Канкринскую, дом выходил тремя этажами, на верхнюю, Воронцовскую, – двумя. Квартира, в которой они поселились, состояла из двух комнат, обращенных окнами в сторону реки. Из них открывался вид на Дон и расстилавшуюся до горизонта низину, которую почти каждый год сплошь накрывало весеннее половодье. Была еще полутемная кухня с окнами в продолговатый двор, выходящий на Воронцовскую.

На новом месте жительства в жизни семьи произошли значительные перемены. В Бердичеве доходов главы семейства хватало на поддержание приемлемого уровня жизни и плату за обучение

---

<sup>4</sup> Бердичев. // Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. СПб.: О-во для науч. евр. изд. Брокгауз-Ефрон, [1908]-[1913] // <http://brockhaus-efron-jewish-encyclopedia.ru>

двух дочерей. В Ростове его доходов уже не хватало, и Ефиму пришлось устроиться на работу, шёл ему пятнадцатый год. Тут сошлось многое. В 1914 году в семье родился пятый ребенок – Рита. Главной же переменной было снижение социального статуса семьи. В Бердичеве Абрам Израилевич Борко был известен – налаженные связи, доверительные отношения, устойчивый спрос на продукцию и т. д. Здесь всё пришлось начинать с начала. А пока уровень жизни семьи явно снизился, чему поспособствовал и рост цен в условиях идущей уже третий год войны. Это был 1916-й.

А затем последовал 1917-й. Две революции, провозглашение Советской власти и Гражданская война изменили страну до неузнаваемости, включая само ее название, и прошли чугунным катком по судьбам десятков миллионов людей, в том числе семьи Борко. А что касается материального «достатка», то в годы Гражданской войны и военного коммунизма задача стояла другая – выжить.

Провозглашённая 25 октября 1917 года Советская власть утвердилась в Ростове только в феврале 1920 года. Она коренным образом изменила жизнь Абрама Израилевича. Из человека второго-третьего сорта, иноверца и, по сути, изгоя он стал полноправным гражданином и уважаемым лицом. Жизнь соткана из противоречий. Трагическая гибель Этель обернулась для отца почетом и уважением местных властей. Ему было уже за пятьдесят. Наделённый от природы умом и энергией, Абрам Израилевич нашёл применение своему профессиональному и житейскому опыту, активно включившись с начала 20-х годов в создание и развитие ремесленных кооперативов в городе. Избирался председателем и членом правления ряда производственных артелей. С 1925 по 1937 год трижды избирался депутатом Ростовского совета рабочих, крестьянских, красноармейских, казачьих и городских депутатов, участвуя в работе его торгово-кооперативной секции. Неоднократно получал благодарности и премии. В грамоте за подписью председателя Ростовского совета, которой дед был награжден по случаю 15-летия Октябрьской социалистической революции, говорилось в стилистике тех времен: «Президиум Ростсовета уверен, что Вы еще с большей настойчивостью, непоколебимостью будете и впредь в первых рядах за подлинное осуществление пролетарской диктатуры для построения бесклассового общества».

В 1930 году Абрам Израилевич вышел на пенсию, но как действующий, а затем как бывший депутат Совета, продолжал рабо-

татель общественным контролёром и периодически участвовал в проверке деятельности торговых и промышленных предприятий. Относился он к своей работе – это было на моей памяти – с большим энтузиазмом. Время от времени он отпраивался проверять Ростовскую табачную фабрику. Дело в том, что он был заядлым курильщиком и всегда возвращался оттуда домой с двумя пакетами, в одном – отборный табак, в другом – папиросные гильзы под названием «Наша марка». Пообедав и отдохнув, дед приступал к любимому занятию – набивать гильзы табаком. Делал он это с помощью небольшого прибора, тщательно и неторопливо. Своего рода священнодействие. Дед обладал живым умом и был любознательным. По вечерам за семейным столом часто именно он бывал зачинщиком обсуждения событий, происходивших в нашей стране и за ее рубежами. Его особенно волновали события в Европе – приход нацистов к власти в Германии, антисемитская политика Гитлера внутри страны и его курс на подготовку военного реванша за поражение Германской империи в Первой мировой войне. Дед вовлекал в разговор Лёню и Риту. Сын уже работал инженером на одном из ростовских предприятий, а дочь училась в Институте инженеров железнодорожного транспорта. А я лет с пяти-шести стал прислушиваться к их разговорам. Они пробудили мое любопытство к европейской и мировой политике.

В 1936 году я окончательно переехал в Москву и вскоре поступил в школу. В последний раз я приехал в Ростов на летние каникулы в 1940 году. Мне пошел двенадцатый год, и я был самостоятельным пацаном. Бродил по ростовским улицам и паркам, спускался на берег Дона и смотрел на всё другими глазами. Дед в начале года перенес тяжёлую болезнь – брюшной тиф, но к моему приезду пришел в себя. Они с бабушкой расспрашивали меня о нашей московской жизни, о том, как учусь и чем занимаюсь, и о здоровье дочери Нади, которую они не видели несколько лет. Рита уже два года жила в Казани; после окончания института она, как тогда говорили, была «распределена» инженером в управление Казанской железной дороги. Лёня жил с родителями, но летом он был призван на курсы переподготовки младших командиров запаса, проходившие на Керченской военно-морской базе. У него было звание младшего воентехника – то же самое, что младший лейтенант.

Вернулся он в августе, и дед тут же засыпал его вопросами об идущей с сентября 1939 года войне в Европе и о том, будет ли втя-

нута в нее наша страна. Нацистская Германия к этому времени разгромила Францию, оккупировав половину ее территории, захватила также Нидерланды, Бельгию, Данию и Норвегию. Единственным её врагом в Европе осталась Великобритания. Гитлер отдал приказ о подготовке вторжения в неё со стороны Ла-Манша, и дед спрашивал, сумеет ли Германия сломить сопротивление британцев. Я не помню, что отвечал Лёня, и вообще хода их разговоров. Но в памяти чётко отложилось то чувство удивления и недоумения, с которым дед говорил о неожиданном и непонятном для него сотрудничестве коммунистического Советского Союза с фашистской Германией.

В 1941 году Абраму Израилевичу исполнилось 70 лет. Несмотря на перенесённую тяжёлую болезнь, он выглядел достаточно бодрым. Мама собиралась взять в июле отпуск и отправиться вместе со мной в Ростов. Но 22 июня Германия вторглась в нашу страну, и первые месяцы войны обернулись тяжелейшими поражениями Красной армии. Изнурительное трёхмесячное путешествие Абрама Израилевича и Иды Григорьевны из Ростова, к которому приближались немецкие войска, в Казань, где жила и работала Рита, окончательно подорвало здоровье деда. Он так и не оправился от этого испытания и умер летом 1944 года.

\* \* \*

Из четырёх сохранившихся фотографий деда – среди них нет дореволюционных – мне особенно нравится та, о которой я упомянул в начале очерка о нем. Вторая половина 30-х годов, Абрам Израилевич – в середине седьмого десятка лет. Он сидит в домашнем кресле на фоне камина, давно утратившего своё предназначение. Умные глаза и ярко выраженное чувство собственного достоинства. Взгляд самодостаточного и сделавшего свое дело человека, доброжелательного и не лишённого юмора. Жизнь была трудной. Но у еврея она по определению не могла не быть трудной. Он выстоял, сохранил семью и вырастил детей. Правда, старшую дочь потерял, но в страшные годы Гражданской войны на Украине, которую они покинули в 1915 году, были полностью вырезаны десятки тысяч еврейских семей. А на склоне лет он был востребован новой властью и стал общественно полезным человеком. И всё же это не главное.

Высшей гордостью деда были дети. И как было не гордиться! Была у Абрама Израилевича заветная мечта – дать детям достой-

ное образование. Первой поступила в Ростовский университет Этель, но жизнь её трагически оборвалась, когда она была студенткой третьего курса. Остальные дети – Ефим, Надя, Леня и Рита – окончили высшие учебные заведения и стали первоклассными специалистами.

Я запомнил Абрама Израилевича таким, каким он запечатлен на последнем портрете. Я звал его Дедом, вкладывая в это слово всё моё уважение к нему. Таким он останется в моей памяти до моих последних дней.

### **Ида Григорьевна Борко (1874–1960): Она читала только Тору и верила в Иегову**

Место рождения моей бабушки я тоже не знаю. Когда родилась Этель, ей было двадцать три года, а замуж она вышла, вероятнее всего, годом раньше. По традиции, в еврейской патриархальной семье Ида Григорьевна играла триединую роль – жены, матери и домашней хозяйки. Внешне спокойная и молчаливая, она была противоположностью эмоциональному и шумному мужу. В детстве мне казалось, что все семейные вопросы решает он, а её молчаливость означала постоянное и безоговорочное согласие с ним.

О том, что на самом деле всё было если не наоборот, то вовсе не так, я впервые задумался позже, когда дед и бабушка добрались зимой 1941 года в Казань, к младшей дочке Рите. Туда же приехали осенью и мы с мамой. Старики снялись с места лишь в октябре, когда стало ясно, что немецкие войска прорвутся к Ростову. Путь через Сальск к Сталинграду был уже невозможен, пришлось ехать поездом до Махачкалы, затем по Каспию до Астрахани и далее – по железной дороге, параллельно Волге, на Саратов и Сызрань, пересекая потоки беженцев с запада на восток и военных эшелонов с востока на запад, задерживаясь подолгу на узловых станциях, пока не удастся сесть в проходящий поезд, приближающий стариков к Казани.

Дед на полпути заболел, и все заботы, начиная с провизии и кончая билетами или посадочными талонами, легли на плечи 67-летней старушки, плохо говорящей по-русски. Начальникам станций или военным комендантам она показывала офицерский аттестат сына, удостоверявший, что воентехник Иоан Абрамович Борко воюет в составе Черноморского флота, и просила посадить ее и больного мужа на поезд, чтобы попасть в Казань, где жила

и работала ее дочь-железнодорожница. Она добывала пропитание больному мужу и себе, лечила и кормила его, довольствуясь минимумом, чтобы только держаться на ногах. Уму непостижимо, но в двадцатых числах декабря они добрались до станции Канаш, которая входила в состав Казанской железной дороги. Там хорошо знали начальника одного из управлений КЖД Риту Абрамовну Борко и немедленно позвонили ей. Она смогла выехать за ними только через пару дней, и в самый канун Нового года, после изнурительных трехмесячных странствий, они вошли наконец в тёплую квартиру. На них было жутко смотреть: отошавшие, измождённые, в изношенной и грязной до предела одежде, кишевшей вшами.

Я, двенадцатилетний пацан, был потрясен увиденным и услышанным. Новый образ моей бабушки настолько расходился с прежним, что это никак не укладывалось в моей голове. С той поры промчалось семь десятилетий. У меня было достаточно времени, чтобы подумать и понять. Из серии снимков, сделанных с минутными перерывами, – они относятся, скорее всего, к началу 1930-х годов, – я выбрал и поместил в книгу тот, в котором, по-моему, наиболее точно отразился характер Иды Григорьевны. Спокойный, безбоязненный взгляд, устремленный вперед, сжатые губы. И отчетливое ощущение непреклонности этой немногословной и никогда не повышавшей голоса женщины, которую ее Еврейский Бог наделил недюжинной волей и умением терпеть. Не от неё ли унаследовала эти качества революционерка Этель, потрясавшая своим самообладанием и стойкостью сокамерниц в ростовской тюрьме?

Я думаю, что в давние бердичевские времена именно мама Ида была главным хранителем очага, мира и порядка в семье. Более того, мне кажется, что в формировании нравственных устоев детей, особенно на заре их жизни, ей принадлежала, может быть, самая важная роль. По меркам светского и техногенного общества XX века она была человеком неграмотным. Но она верила в своего Бога. Верила истинно и глубоко. Она была единственным верующим в семье и осталась верна иудейской религии до конца жизни. При всех своих хлопотах она всегда находила хотя бы немного времени для души, для веры. Я видел в руках у бабушки одну-единственную книгу, и читала она её регулярно. Это была священная книга евреев Тора или, может быть, Тора вместе с Талмудом – сложившимся позже, в течение многих столетий, сводом религиозно-этических и правовых норм иудаизма. Надев очки, она открывала толстый том в черном переплете, изданный, скорее всего, во второй половине или в конце XIX столетия, и мед-

ленно водила пальцем по строкам, справа налево, неслышно нашептывая слова и фразы, впервые записанные самое позднее полторы тысячи лет назад. Так было в пору моего ростовского детства и, несомненно, так было в Бердичеве. Я не могу утверждать с уверенностью, но мне хочется думать, что книга была написана не на идише, а на иврите. В происхождении бабушки была какая-то тайна. Она была не из простой семьи. Может быть, она родилась и выросла в семье раввина, кантора или иного служителя синагоги? Или в благочестивом семействе, соблюдавшем все обряды и традиции еврейства?

Я глубоко сомневаюсь в том, что баба Ида сохранила в памяти то, что она прилежно заучивала в детстве, – историю сотворения мира и легендарный период жизни рода людского от изгнания Адама и Евы из Рая до основателя еврейского народа Авраама, приключений Иосифа Прекрасного, бегства евреев из Египта и т. д. Вряд ли она смогла бы перечислить все заветы Моисея. Но она помнила главные из них – основополагающие нравственные ценности: почитай отца твоего и мать твою, не убий, не укради, не сотвори зла ближнему твоему, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, – которые были в полном согласии с её собственной высшей ценностью – семьёй. В своем отношении к другим людям Ида Григорьевна руководствовалась двумя правилами: она делила их, во-первых, на евреев и неевреев (гоев) и, во-вторых, – на порядочных и непорядочных. Когда-то первое деление, вероятно, было для неё более важным, но в те времена, которые помню я, на первый план вышло второе. Когда заходил разговор о новом человеке, с которым познакомились муж или взрослые дети, бабушка обычно задавала один и тот же вопрос: а он порядочный человек?. Если нет, он подлежал пожизненному отлучению.

Ида Григорьевна могла с равным основанием сказать: «Моя семья – мое богатство» и «моя семья – моя крепость». Но эти формулы заключали в себе и некоторую коллизию. Если крепость, то всё, что за её стенами, – это чужой мир. Доброжелательность Иды Григорьевны к соседям, ко всем людям, с которыми она соприкасалась, сочеталась с отстранённостью от них, особенно если они были гоями. Я знал немало еврейских семей, живших открыто и хлебосольно. Бабушка предпочитала жить по правилам «закрытого дома», а если гости, то избранные, «свои», небольшая и нешумная компания. Так было на моей памяти в 30-е годы. Скорее всего, такой стиль семейной жизни сложился в Бердичеве и остался таким же после переезда в Ростов.

На новом месте постепенно всё изменилось. И для всех членов семьи по-разному. Для мамы Иды главным было то, что выросли дети. Старшие, Ефим и Надя, уехали из Ростова в 1922 году, и с тех пор она видела их очень редко, особенно сына. А в 30-е годы повзрослели и младшие – Лёня и Рита. Дети относились к ней трепетно, но жили уже своим умом, и она приняла это как должное. Муж стал известным человеком и зажил какой-то новой, очень важной для него жизнью, а Ида Григорьевна, по-прежнему управляя всеми домашними делами, ушла как бы в тень. Так я ее и воспринимал. И только в 1941 году, когда потребовалось спасти мужа и отца ее детей, в ней ожили те редчайшие, бесценные качества, которые отличали её в первые десятилетия семейной жизни.

Возвращаясь к упомянутому мной портрету Иды Григорьевны, я думаю, что в нём угадываются главные черты еврейского народа, которые позволили ему сохранить себя в двухтысячелетнем изгнании и, несмотря ни на что и вопреки всему, вернуться на свою исконную территорию и возродить её к новой жизни.

После переезда в Казань начался последний период жизни Иды Григорьевны. Новый, 1942 год семья встретила почти в полном составе: родители, трое детей – Ефим, Надя и Рита, внук Юра. Не было только Лёни, который, как мы узнали от него после войны, в новогоднюю ночь участвовал в штурме и взятии города Керчь. А потом начались расставания. Дед так и не оправился после изнурительных странствий, болел и в 1944 году скончался. Еще до его кончины вернулся в Москву Ефим. Через несколько месяцев уехала в столицу и моя мама, в 1946-м за ней последовал я. А они остались в Казани вдвоем – мать и Рита, самая близкая. О жизни других детей она узнавала из их писем, которые читала ей дочь, иногда не по одному разу. Я после окончания университета и начала трудовой жизни каждый год заезжал к ним летом на пару-тройку недель. Так они прожили почти двадцать лет. Ида Григорьевна скончалась 2 июля 1960 года, на восемьдесят седьмом году жизни.

### **Этель (Елена) Борко (1897–1919): Смертью смерть поправ**

Виновницей переезда из Бердичева в Ростов-на-Дону была Этель. Семнадцатилетняя девушка, ученица выпускного класса женского коммерческого училища, уже была на примете у город-



ского полицейского управления, с некоторых пор установившего, что она участвует в противозаконной деятельности. Это произошло в 1914 году, когда Этель училась в предпоследнем классе. Именно тогда Абрама Израилевича вызвал директор училища и уведомил его, что дочь замечена в связях с «неблагонадежными» людьми и находится «на подозрении». А вскоре за участие в первомайской революционной сходке она была исключена из училища. Двумя месяцами позже директор внял просьбам отца и восстановил Этель в училище. Последние месяцы учебы она вела себя осторожно. В семье только что появился еще один ребенок – Рита. Жить было трудно, родители рассчитывали на Этель, и она это понимала. Училище было окончено успешно. 3 мая 1915 года ей был вручен аттестат с отличием.

Этель родилась 15 ноября 1897 года. Дата расстрела – 19 августа 1919 года. Ей было отмерено судьбой менее двадцати двух лет. Что побудило ее броситься в рискованное плавание по бурным водам российского революционного движения? И что или кто повлиял на её решение? В воспоминаниях родителей и младшего брата Иоана, записанных в 1938 году, почти через 20 лет после её гибели, об этом сказано вскользь и невразумительно. К сожалению, среди них нет воспоминаний Ефима и моей мамы. Они были ближе всего к старшей сестре и даже выполняли некоторые её поручения в последние полтора года ее подпольной деятельности. Так что знали они много больше, чем остальные члены семьи, но чего нет – того нет. И все же я выскажу предположение, на которое меня натолкнули исторические документы.

В одном из них – «История Бердичева» – повествуется о событиях, происходивших в городе в начале XX века: «К концу столетия в России уже четко обрисовались контуры новых социальных противоречий быстро развивавшегося российского капитализма... Быстро формируются оппозиционные движения – либеральное и революционное... Бердичев не остается в стороне: на стыке двух столетий в городе, на кожевенных и обувных фабриках, происходят первые забастовки; тогда же возникает местное отделение учрежденного в 1897 году Всеобщего еврейского рабочего союза Литвы, Польши и России (Бунд). Несколько позже, как реакция на еврейские погромы, особенно на зверский погром в Кишиневе (1903 год), в Бердичеве возникают сионистские организации, но по своему влиянию они уступают Бунду. В самом городе, сплошь еврейском, погромов не было: черносотенцы могли собрать лишь жалкую кучку людей.. но на всякий случай город-

ская организация Бунда создала молодежные боевые группы, которые готовы были дать отпор погромщикам»<sup>5</sup>.

Не остался в стороне Бердичев и в 1905 году, особенно осенью, как только был опубликован царский Манифест от 17 октября. На следующий день, сообщал в телеграмме бердичевский полицеймейстер, «движение евреев по городу начало быстро расти. На улицах и в переулках тысячеголовая толпа выкрикивала: Да здравствует республика! Двинулись к казначейству, участкам, тюрьме, арестному дому... Демонстранты стреляли в наездников, которые ответили огнем. Несколько демонстрантов убито, ранено... Прибыли казацкие сотни, которые участвовали в подавлении». В секретном рапорте киевскому губернатору сообщается, что 18 октября на Белопольской улице в два часа дня собралась многочисленная толпа еврейской молодежи. Везде происходили стычки между демонстрантами и... городскими и солдатами, казаками и драгунами, в ходе которых обе стороны, особенно военные, применяли огнестрельное оружие. В итоге, как сообщалось в рапорте, были убиты двое и ранены 20 манифестантов<sup>6</sup>.

В 1905 году Этель исполнилось восемь лет. Возраст, достаточный для того, чтобы эти события отложились в цепкой детской памяти во всех драматических подробностях, которые обсуждались родителями и их близкими друзьями. Не этот ли первый опыт соприкосновения с открытым протестом ее народа против установленного порядка разбудил в девочке некоторые свойства ее натуры, которые привели ее в стан революции? В числе этих свойств Этель, вероятно, было заложенное в ее генетике неравнодушие к чужим судьбам, предрасположенность к протесту против несправедливости и к поиску правды.

В 1908 году Этель была принята в 1-й класс Коммерческого училища, которое обучало по программе, близкой к гимназии, и давало право выпускникам, закончившим его с отличием, поступать в университет. Учеба давалась ей легко, и она из года в год была лучшей ученицей в классе. Лёня, родившийся в 1907 году, помнил Этель уже по старшим классам. По его словам, её любимым занятием было чтение. Он перечисляет русских классиков XIX и начала XX столетия – Пушкин, Гоголь, Некрасов, Толстой,

---

<sup>5</sup> История Бердичева. Бердичев в аспекте особенностей истории его еврейской общины. С. 3–4.

<sup>6</sup> 1905 год в Бердичеве: Сборник. <http://saint-juste.narod.ru/Berdychev1905.html>

Горький. Вслед за ними, вспоминал брат, в руках у сестры появились запрещённые труды Белинского и Чернышевского.

Как они попали в руки Этель? Ведь распространение нелегальной литературы было политическим преступлением и делом подсудным. В небольшой брошюре «Елена Борко», опубликованной в Ростове в 1939 году, накануне 20-летия со дня гибели Этель, есть невнятная фраза о «революционных рабочих», с которыми она начала общаться, обучаясь в Коммерческом училище. Кто они – эти «революционные рабочие»? Автор брошюры журналист Н. Волков, конечно, не мог написать, что труды Белинского и Чернышевского она почти наверняка получила от членов местной организации Бунда. Несомненно, бундовцы были организаторами и той маевки, в которой приняла участие Этель. Можно лишь гадать, с чем еще они познакомили ее. Ведь Бунд был частью международного социал-демократического движения. Неужели они не предложили Этель прочесть евангелие социал-демократии – «Манифест коммунистической партии»? Сомнительно и даже почти невероятно. Но я не хочу перебираться из сферы фактов в сферу гипотез и домыслов. В начале мая 1915 года Этель Борко получила аттестат, а в конце того же года они были уже в Ростове.

Причины смены жительства семьи в упомянутой брошюре изложены кратко. По воспоминаниям родных, однажды Этель, вернувшись поздно вечером домой, сказала родителям, что за ней «следят» и что надо как можно скорее покинуть Бердичев, пока её не арестовали. Переселяться надо в большой город, но не самый близкий. Поэтому Киев, Одесса и Харьков отпали. Из других городов лучшим выбором признали Ростов-на-Дону.

Почему Ростов? Здесь всё сошлось. Город был сравнительно недалеко, и расходы на переезд были в пределах доступного. К тому же для родителей Ростов был приемлем, потому что он был единственным среди ближайших российских городов, где в смешении многих племен и народов крупнейшей была еврейская диаспора – почти 10% городского населения. У Этель были свои виды на этот город. Она, как и вся более развитая и энергичная часть еврейской молодежи, жаждала вырваться из замкнутого местечкового мира, уйти туда, где клокотала российская жизнь начала XX века. С Ростовом, крупным промышленным городом и культурным центром на Юге России, Этель связывала свое участие в революционной деятельности.

Вскоре после переезда она устроилась работать на колбасной фабрике Вейденбаха, а в марте 1916 года поступила в только что

созданный в Ростове университет. Его основали русские профессора и преподаватели Варшавского университета, которые не желали оставаться там после захвата Польши Германией. Этель пришлось выдержать вступительный экзамен. В университетском архиве сохранилось её заявление с резолюцией профессора Хмелевского, декана физико-математического факультета: «Принять на 1-й курс физико-математического факультета с 10.03.1916 года». Поступила она на естественное отделение факультета. Учеба начиналась в сентябре, и чем Этель занималась в весенние и летние месяцы, мы не знаем. Не исключено, что из-за трудного материального положения семьи в новом городе она вернулась на прежнее место работы. Ведь и пятнадцатилетний Ефим тоже пошел работать.

По воспоминаниям, записанным Лёней со слов Иды Григорьевны, вскоре же после переезда Этель установила связь с местной подпольной организацией большевиков. О том, что она делала, говорится в самой общей форме: в доме появлялись незнакомые люди, они приходили к ней со свертками бумаг или получали их от неё. На первый взгляд, всё выглядит естественно и логично. В Ростов приехала девушка, уже прошедшая первое испытание на том пути, который она выбрала. В новом городе она находит нужных людей и включается в революционную деятельность. Родные в её дела посвящены не были, а по мере того как уплывало вдаль прошлое, и то немногое, что они знали, слилось в какую-то размытую картину. Сначала я так и объяснил себе, почему столь скупы и расплывчаты рассказы родных о первом периоде жизни Этель в Ростове. Но потом во мне заговорил нюх историка. Перечитывая вновь и вновь воспоминания родных, я вдруг обнаружил, что с какого-то момента они обретают плоть, становятся зримыми. И тогда же имя Этель появляется в воспоминаниях участников борьбы за Советскую власть на Дону. Первое упоминание о ней относится к июлю 1917 года.

А 1916-й был годом паузы в революционной деятельности Этель. На то было две причины. Одна – начавшаяся новая жизнь. Первый курс, с осени до следующего лета, был годом адаптации к университетским требованиям, к профессорам и студенческой среде. Лекции, конспекты (кое-какие записи сохранились и были отданы в музей), учебная литература... Занималась она прилежно и, как вспоминал Лёня, могла сидеть с книгой далеко за полночь. А ведь был еще новый город – иных масштабов, иного стиля и ритма жизни. В Бердичеве к началу войны проживало около 60

тысяч человек. Уездный город, мелкая промышленность, устоявшийся быт и неторопливое течение жизни. Кругозор тоже уездный, с ярко выраженным этническим колоритом, замкнутый на быт и повседневные заботы еврейской общины.

Ростов тоже был уездным городом, но фактически мог претендовать на статус столицы российского Юга. Как главный промышленный центр в регионе. Как транспортные «ворота» из Центральной России на Кавказ. Как формирующийся центр общественной и культурной жизни на юге страны. В 1914 году в нём жило более 170 тыс. человек. Десятки промышленных предприятий, на некоторых трудились тысячи рабочих. Около двадцати гимназий и училищ – железнодорожное, мореходное и т. д. Университет, Высшие женские курсы, Медицинский и Коммерческий институты, около десяти театров и кинотеатров, тринадцать библиотек. Газеты консервативно-монархической и либеральной ориентации. На порядок более насыщенная городская жизнь и интеллектуальный уровень общения. Этель предстояло освоиться в университете и в городе, осмотреться, понять, с кем она имеет дело, не говоря уже о том, что надо было разобраться в том, что происходит в стране. Может быть, она никогда не читала так много, как в первый год жизни в Ростове.

Была и вторая причина паузы – Этель предстояло не только установить контакты с ростовскими революционерами, но и сделать выбор. В Бердичеве российская социал-демократия была представлена только Бундом. В Ростове существовали три социал-демократические партии – большевики, меньшевики и Бунд. В 1916 году, в ситуации назревающего социально-политического кризиса в стране, все они активизировались и вступили в конкурентную борьбу за влияние на массы. Забастовки, стихийные митинги, открытые или полуполигальные собрания, на которых развертывались бурные дискуссии. Время сравнивать, вникать, устанавливать контакты. И выбирать. Если я прав в догадках, то первый год жизни Этель в Ростове был лишен героики, но сыграл важнейшую роль в ее становлении как личности, в духовной подготовке к тому, на что она решится и что ей предстоит.

Между тем «на дворе», говоря словами Бориса Пастернака, был уже 1917-й. Конец февраля – начало революции. До Ростова известие об отречении Николая Второго и образовании Временного правительства дошло 2 марта. На следующий день в городе был создан Гражданский комитет, признавший Временное правительство и объявивший себя временной властью в Ростове.

4 и 5 марта состоялись первые заседания Совета рабочих депутатов и Совета солдатских депутатов, которые приняли решения объединиться, после чего был создан Ростово-Нахичеванский совет рабочих и солдатских депутатов. Большевики предложили объявить его единственной властью в городе, но эсеры и меньшевики выступили против этого предложения, и оно не прошло. Как и по всей России, наступил период двоевластия, наполненный острейшей политической борьбой, бурной и бестолковой митинговщиной, вплоть до штурма Зимнего дворца и низложения Временного правительства большевиками 25 октября 1917 года.

О том, что делала в эти месяцы Этель, в брошюре сказано вскользь: принимала «горячее участие» в деятельности Донской организации большевиков, «ведя работу среди молодежи, выступая на рабочих собраниях и давая твердый отпор прихвостням буржуазии», то есть меньшевикам и социал-революционерам (эсерам). Словесная шелуха в духе сталинских времен. Тем более ценны крупицы фактов. Об одном из них рассказал руководитель ростовских большевиков Егор Мурлычев, возглавлявший подпольный Ростово-Нахичеванский комитет РСДРП(б). Сам он был схвачен и в феврале 1919 года, после двухмесячного пребывания в тюрьме, зарублен казаками. Но его рассказ остался в памяти одного из подпольщиков. По словам Мурлычева, 26 июля 1917 года в девятой аудитории университета собралось более 80 юношей и девушек, откликнувшихся на призыв большевиков активно включиться в революционную борьбу, в частности оказать помощь в агитационной и организационной работе. Среди упомянутых участников встречи была и Этель Борко. В этом рассказе нет ни слова о конкретной цели и главном результате собрания. Но из других документов известно, что на собрании было решено учредить в Ростове Социалистический союз пролетарской молодежи III Интернационала (ССПМ), в который вступили те, кто поддержал эту инициативу.

Итак, участие Этель в создании упомянутого союза – это первый достоверный факт ее участия в революционном движении и деятельности большевиков после Февральских событий. Когда и почему она примкнула к большевикам? Произошло ли это еще до революции или вскоре после того, как она состоялась, осталось вопросом. В июле она уже в их рядах. Чем привлекли ее большевики? Не тем ли, что их радикализм, их ориентация на конкретные практические действия, заманчивая ясность их лозунгов, их решимость идти наперекор обстоятельствам и ни перед чем

не останавливаться вызывали у неё больше симпатий и соответствовали её характеру и темпераменту? Весьма вероятно.

Во втором поколении семейства Борко преобладали люди действия. Четко выраженная склонность к аналитике, критическому мышлению была свойственна только Ефиму. В этом отношении Лёня и Рита были его антиподами. Я не припоминаю, чтобы они пускались в долгие рассуждения на общие темы, вели «умные» разговоры, столь излюбленные в среде русской интеллигенции. Они поражали меня двумя качествами – безграничной верой в коммунизм и неуёмной энергией. Связь между этими качествами была прямой и органичной: вера требует поступков, идеал должен быть воплощен в жизнь, личность самореализуется в действиях. Мне казалось порой, что для них, особенно для Риты, не существовало слова «невозможно». Во всяком случае, так было в пору расцвета их жизненной активности. Как мне кажется, такова же была Этель. Сравнить их нельзя – слишком различны обстоятельства, в которых они жили и действовали. С уверенностью можно утверждать лишь то, что экстремальные условия, в которых оказалась Этель, потребовали от нее предельной мобилизации воли и энергии, всех внутренних качеств, заложенных в нее природой, чтобы остаться верной своему выбору, избранной цели. Ей это оказалось под силу.

Приход Советской власти на Дон не был похож на триумфальное шествие. Сразу же после Октябрьских событий в Петрограде – низвержения Временного правительства и провозглашения Советской власти – здесь развернулась острейшая борьба за власть. Уже на следующий день, 26 октября, атаман войска Донского генерал Каледин объявил о введении военного положения в угледобывающих районах, где бастовали шахтеры, а затем и на всей подконтрольной территории. Бои между казачьими частями и наспех сформированными красногвардейскими отрядами продолжались весь ноябрь и завершились победой казачества, поддержанного Добровольческой армией, во главе которой стоял генерал Деникин. В начале декабря они взяли Ростов и Таганрог. Начались массовые аресты и расстрелы, большевики ушли в подполье.

Чем конкретно занималась в этот период Этель, опять-таки не известно. Нет ни одного факта, ни единой ссылки. Но известно, пусть и в общих чертах, что делал ССПМ. В конце лета и осенью 1917 года он активно участвовал в развернутой большевиками агитационной работе – на митингах, непосредственно на предприятиях и в воинских гарнизонах, в Советах рабочих, солдатских

и казачьих депутатов, а также в организации красногвардейских отрядов. В ноябре многие члены Союза приняли участие в боях с белоказаками, а после установления калединской диктатуры – в подпольной деятельности большевиков. Есть все основания полагать, что Этель была одним из самых энергичных членов Союза, потому что к весне 1918 года она вошла в число его лидеров. В первом составе руководящего комитета, избранного в начале августа, ее имя не упомянуто. Названы только трое – Дунаевский, Марселий Борковский и Конторович. Они-то и были главными организаторами Союза, а его признанным лидером был первый из них. Все остальные члены комитета обозначены как «и другие».

Но к началу 1918 года Союз остался без прежних лидеров. Колебавшийся между большевиками и меньшевиками Конторович ушел (или был вынужден уйти) из него. Борковский погиб в боях с белоказаками. А Дунаевский после установления калединской диктатуры возглавил подпольный военно-революционный большевистский комитет. Он был полностью поглощен этой работой. К тому же она требовала самой тщательной конспирации, и его контакты с людьми, в том числе с ушедшими в подполье членами Союза, были сведены к минимуму.

Имена его новых руководителей остались неизвестными, за исключением одного – Елены Борко. Впрочем, неизвестно, когда она стала зваться Еленой. Может, в период первого подполья, когда город находился под властью Каледина? Или с самого начала ее активной революционной деятельности в Ростове? Для общения с рабочими, вчерашними крестьянами в солдатских шинелях и рядовыми казаками, да и со многими активистами большевистской партии, вышедшими из той же социальной среды, имя Елена подходило больше, чем библейское Этель. Смена имен и фамилий была в ту пору явлением распространенным, и не обязательно связанным с подпольной деятельностью.

Так или иначе, Этель стала Еленой. Сведений о её формальном статусе в Союзе не сохранилось. Но в одном из сборников воспоминаний о тех временах приведен эпизод, свидетельствующий о её лидерской роли в этой организации. 10 апреля 1918 года, вскоре после того как наступавшие с севера красногвардейские отряды освободили город от белоказаков, в Ростове открылся первый съезд Советов Донской республики. В числе ораторов, выходявших один за другим на трибуну съезда, слово было предоставлено и Елене Борко, выступавшей от имени ССПМ. В те времена съезды Советов не были похожи на ритуальные действия, какими они стали впослед-



ствии, и был востребован специфический тип оратора, покоряющего аудиторию не столько логикой аргументов, сколько темпераментом и ораторским талантом. Этель, видимо, обладала этими качествами и прошла уже школу агитационной работы и митинговых речей. Эти же качества, плюс интеллект и образование позволили ей выдвинуться в лидеры молодежного союза.

Советской власти на Дону был отмерен короткий срок: 8 мая в Ростов вступили германские войска, а вместе с ними – части реорганизованной Добровольческой армии Краснова и Деникина. Началось второе большевистское подполье, гораздо более тяжелое и длительное. Судя по отрывочным сведениям, жизнь Этель всё больше заполняет революционная деятельность, все меньше остается времени на учебу, не говоря уже о досуге, вечерних встречах с друзьями или паре часов наедине с книгой.

Одно из первых рискованных заданий ей пришлось выполнить вскоре после установления деникинской диктатуры. В июле 1918 года в Таганроге началась крупная забастовка, охватившая многие предприятия. Этель было поручено передать её организаторам рекомендации относительно того, как действовать дальше. Добраться до Таганрога можно было поездом. По вагону ходил белогвардейский патруль, проверяя у пассажиров документы, облапывая и обыскивая всех, кто вызывал подозрения. На случай встречи с ним была придумана легенда: еду к тете в Бердичев. Поездка прошла без происшествий, задание было выполнено. За ней последовали другие рейсы из Ростова и обратно. Самые рискованные – на «Советскую землю» в Курск, где находилось Донское бюро РКП(б), созданное для руководства большевистским подпольем на Дону. Связь обеспечивали курьеры Донкома, отобранные из числа самых надежных женщин-подпольщиц.

Одной из них была Елена Борко. Приходилось дважды, туда и обратно, пересекать линию фронта, да и путь через территорию, которая находилась под контролем Добровольческой армии, был смертельно опасным. Для курьера Донбюро Антонины Козловой одна из таких поездок закончилась трагически. Она попала в облаву, сопровождавшуюся повальным обыском; белогвардейский патруль обнаружил у нее нелегальный груз, ей пришлось отстреливаться, и она была убита на месте. Этель в поездках везло. Правда, в одной из них она подхватила сыпной тиф. Родители хотели поместить ее в больницу, но она наотрез отказалась, опасаясь проговориться в бреду. Лечиться пришлось дома, и в самые тяжелые дни у постели дежурили ближайшие соратницы по подполью, которым она полностью доверяла.

Наладить заново нелегальную деятельность местным большевикам удалось не сразу. В октябре 1918 года им удалось провести собрание, которое избрало Ростово-Нахичеванский комитет РКП(б) во главе с Егором Мурлычевым. Этель он знал лично, и, став курьером Донкома, она работала под его непосредственным руководством вплоть до конца ноября, когда он был арестован, а затем – по заданиям сменившего его Андрея Васильева-Шмидта.

Поездки в Курск были важным, но не основным участком подпольной работы Елены. Ей было поручено держать постоянную связь с первичными ячейками, которыми руководил Ростово-Нахичеванский комитет. Главная функция курьера состояла в сборе и распространении информации. Комитет должен был знать, что происходит на предприятиях, в рабочих коллективах, которые являлись главной опорой большевиков, и в находившихся под их влиянием воинских частях. Подпольные партийные ячейки ждали от комитета инструкций и конкретных заданий, а также сведений о том, что происходило в Советской республике. Главным средством передвижения по городу служили ноги. Ростов – достаточно большой город, и расстояния приходилось преодолевать немалые.

Елене доверялось многое. Она была одним из очень немногих членов организации, знавших, где находилась созданная осенью 1918 года подпольная типография, в которой печаталась газета «Донская беднота», листовки и другие материалы. Квартира, в которой проживала семья Борко, стала одной из конспиративных явок. Туда же приносили пачки отпечатанных листовок, которые потом переправлялись в партийные ячейки большевиков для дальнейшего распространения на предприятиях, в воинских частях и т. д. Иногда в доме появлялись заезжие подпольщики. Елене надлежало встретить их, разместить у надежных людей, свести с руководителями ростовского большевистского подполья.

Ей было доверено еще одно чрезвычайно важное дело – держать связь с подпольщиком Игнатом, проживавшим в Новочеркасске. Под этим именем скрывался радист Игнатий Никитович Буртылев, работавший в секретной штабной радиостанции войска Донского. Он вовлек в подпольную работу радиотелеграфиста А. Донченко. Через их руки проходили сотни секретных документов – сводки штабов Добровольческой армии о положении на фронтах, сообщения из частей об их действиях или предстоящих операциях, перехваченная информация из Советской республики и т. д. Копии важных документов они передавали Елене. Смертельно опасная работа, поразительное му-

жество и самообладание. Утром, вспоминала сестра Надя, Этель слушала лекции в университете, а днем отправлялась в Новочеркасск на встречу с Игнатом. Местные поезда ходили далеко не всегда, так что часто приходилось идти пешком по грунтовой дороге, осенью – в дождь и грязь, капризной южной зимой – то в пургу, то в распутицу, зачастую подсаживаясь на попутные телеги. Одевалась она в такие дни, как местные крестьянки, и лицом была похожа на них, и говорила по-русски без малейшего акцента. Тем не менее она иногда соскакивала с подводы и осторожно обходила участки пути, где был наибольший риск наткнуться на казачий патруль. Возвращалась домой подчас к полуночи, а затем садилась просматривать и сортировать документы. Под утро засыпала, а мать чистила и приводила в порядок одежду.

Несколько раз Елене приходилось участвовать в боевых операциях, в том числе добывать оружие и боеприпасы. В частности, она входила в боевую группу, которая взорвала Новочеркасский мост, имевший стратегическое значение. Однажды она принесла домой осколок гранаты, от которой погиб находившийся рядом товарищ. Лёня, которому было тогда двенадцать лет, спросил, не боится ли она, что её также могут убить. Она ответила: тот, кто знает, за что борется, не будет страшиться смерти. Слова эти младший брат воспроизвел по памяти, через много лет. Вероятно, она выразилась не столь пафосно, но сомневаться в том, что смысл ответа сестры передан Леной точно, оснований, по-моему, нет. Этель уже познала, что такое смерть, ее товарищи по подполью гибли один за другим, и она понимала, на что идет.

Все, что изложено выше, взято из семейных воспоминаний и рассказов участников большевистского подполья, многие месяцы действовавших бок о бок с Еленой. Правда, их сведения скудны, но они позволяют воссоздать картину ее революционной деятельности. Неясной, однако, остается реальная роль, которую играла Елена Борко в подпольной организации. Во всех источниках повторяется, что она была курьером, иногда уточняется – ответственным курьером, что, по-видимому, отражает не её формальное положение, а важность выполняемых функций и поручений. В одной из книг, посвящённых истории революции и Гражданской войне на Дону, говорится, что она была членом Донского комитета РКП(б), но подтверждений этому сообщению обнаружить не удалось.

Самый же интригующий документ – постановление созданной белогвардейской властью судебной-следственной комиссии по делу о большевистской организации. Комиссия работала с 6 июня

по 13 ноября 1919 года. Стало быть, постановление подписано, когда Этель уже не было в живых. В нем, в частности, говорится: «Осенью, приблизительно в октябре–ноябре 1918 года так называемое “Донское бюро” большевиков, находящееся в Харькове или Курске, организовало в Ростове-на-Дону сообщество, поставившее себе целью ниспровержение существующего на территории Всевеликого войска Донского государственного строя. Это сообщество именовалось областным комитетом партии местных большевиков. Президиум его состоял из членов: Анны, Елены, Марии, двух студентов (фамилия одного Толмачев) и некоего Краковского. Диктатором и главным распорядителем была еврейка Этель Борко»<sup>7</sup>. Что означают слова «главный распорядитель» и уже совсем загадочное «диктатор», не объясняется, но очевидно, что они подразумевали нечто большее, чем курьер.

По-видимому, Елена Борко формально не входила в состав Донкома, но её фактическая роль в подпольной деятельности ростовских большевиков не ограничивалась простым исполнением курьерских заданий. По сути, она была одним из организаторов этой деятельности, и характеристики, которыми наделили её следователи, подтверждают это. Вероятно, её роль возросла после ареста Мурлычева и ряда других руководителей подпольной организации. В её памяти хранились оставшиеся на воле подпольщики, явки, связи, не говоря уже о накопленном опыте нелегальной работы и проверенной на деле надежности.

Деникинским контрразведчикам с некоторых пор стало известно о существовании подпольщицы по имени Елена. Они искали ее. Участница подпольной организации Дора Монченко вспомнила, что после ареста к ней подвели незнакомого ей человека, который, всмотревшись в нее, заявил: «Да, это она, Борко». Он ошибся, поиски продолжались. В середине мая 1919 года большевистская организация понесла большие потери: подверглась налёту и была разгромлена нелегальная типография, арестована большая группа подпольщиков, в том числе некоторые члены Донкома. Вечером 21 мая Этель находилась дома и вместе со своей соратницей по подполью Марией Малинской готовила к отправке принесенные накануне революционные листовки. Резкий стук в дверь, сопровождавшийся требованием немедленно открыть ее, не оставлял сомнений в том, кто пожаловал

---

<sup>7</sup> Борьба за власть Советов на Дону. Ростов н/Д: Ростовское книжное издательство, 1957. С. 444.

«в гости». Этель тем не менее успела мгновенно спрятать листовки с помощью брата и сестры – Ефима и Нади. Поразительно, но ворвавшиеся деникинцы, перерыв всё, что находилось в двух жилых комнатах, не обратили внимания на корзину с разным хламом, стоявшую на самом видном месте в кухне. Листовки были спрятаны на дне. Выждав несколько дней, Ефим и Надя отнесли листовки по адресу, указанному старшей сестрой. Наряд ушел, уведя с собой двух девушек. По семейным преданиям, Этель держалась спокойно, сказав на прощание матери, что это недоразумение и она скоро вернется.

Ей не суждено было вернуться. К моменту ареста в контрразведке уже многое знали о деятельности большевистской подпольщицы Елены. Когда Ида Григорьевна обратилась через некоторое время к прокурору с просьбой дать ей свидание с дочерью, он отказал ей, добавив при этом, что дочь является опасной преступницей и ее ждет самый суровый приговор. Начались многочасовые допросы, сопровождавшиеся истязаниями. Иногда Этель буквально втаскивали обратно в камеру, обессиленную, в крови и синяках. Две сидевшие с ней сокамерницы приводили ее в чувство. Мария Николаевна Спирина, мать двух подпольщиков, арестованная вместе с одним из них, Григорием, рассказывала позже, что Елена поражала всех своей стойкостью. Допросы происходили в другом здании, куда её вели под конвоем. Однажды Ефим и Надя, носившие сестре передачи, увидели, как её выводят из тюрьмы. Она, увидев их, кивнула головой и улыбнулась. Похоже, это было молчаливое послание: «Я держусь, держитесь и вы».

Наступил август, приближался к концу третий месяц пребывания в тюрьме. Ничего не добившись от подпольщицы, не выбив у нее признаний – имен, адресов явок и т. д., в контрразведке решили расправиться с ней. В Ростовской тюрьме действовал особый порядок: караульный, находившийся в высокой башне, из которой просматривались камеры, обращенные на тюремный двор, мог без предупреждения стрелять в пленника, если тот подошел к окну. За убитого стрелок получал 100 рублей, за раненого – 50. Оставшиеся на воле подпольщики сумели предупредить об этом Елену, и она обычно сидела или лежала на полу. Но вставать иногда всё же приходилось. Вечером 19 августа камера № 23 внезапно осветилась ярким светом фонаря тюремной башни. И как только Елена поднялась с пола, раздался выстрел. Разрывная пуля поразила осколками лицо, шею, грудь. Один из

них перебил сонную артерию. Рана была смертельной, но Этель скончалась не сразу. Тюремщики вытащили ее из камеры в бессознательном состоянии, перенесли в тюремную больницу, где она и умерла примерно через час. Родители получили ее тело лишь через два дня. Они насчитали около двадцати осколочных ранений.

На похоронах присутствовала только семья и несколько близких родственников. От подпольщиков никто не пришел. У них сразу же возникло опасение, что деникинская контрразведка попытается вычислить и арестовать соратников Этель по подполью, которые придут проводить её в последний путь.

Этель Борко не дожила до двадцати двух лет. До очередного дня рождения оставалось три месяца и четыре дня. Судьбы людей, нырнувших или затянутых в водовороты Русской революции и Гражданской войны, складывались странным, зачастую невысказанным образом. Возможно, её судьба сложилась бы иначе, если бы она дожила до суда.

13 ноября 1919 года, через три месяца после её гибели, военно-полевой суд Ростова и Нахичевани приговорил восьмерых подсудимых к расстрелу, шестерых – к каторжным работам на срок от шести до десяти лет; девять человек были оправданы «за недоказанность обвинения». Далее в тексте приговора говорилось, что, принимая во внимание ряд смягчающих обстоятельств (молодость большинства подсудимых, «хорошие отзывы о них лиц, занимающих видное положение», отсутствие сведений об участии осужденных «в делах большевиков в дни их владычества»), суд единогласно постановил ходатайствовать о полном помиловании почти всех осужденных к каторге и смягчении наказания всем, кто приговорен к смерти. Среди девяти оправданных был и телеграфист Игнат Буртылев. Судя по всему, никто из подсудимых непосредственных контактов с ним не имел и, по-видимому, даже не знал о его существовании. Показания о передаче им секретных сведений могла дать только Елена Борко, но от нее следователи ничего не добились. В примечании к тексту приговора составители сборника документов «Борьба за власть Советов на Дону» (Ростов-на-Дону, 1957), в котором он опубликован, утверждают, что мягкий приговор вынесен благодаря тому, что Ростово-Нахичеванскому комитету удалось подкупить членов суда. Однако это разъяснение вызывает сомнения. Сведений о том, принято или отвергнуто было ходатайство о смягчении меры наказания, по словам составителей, не обнаружено (стр.

448). Тем не менее о некоторых осужденных известно, что они остались живы, в том числе приговоренный к расстрелу Григорий Спирин. Их воспоминания приводятся в книгах о большевистском подполье на Дону.

Этель была похоронена на еврейском кладбище. После установления Советской власти в Ростове на могиле был поставлен памятник – черная мраморная стела с надписью: «Здесь покоится работник героического большевистского подполья ответственный курьер Донкома РКП(б) Елена (Этель) Борко, предательски и зверски убитая белогвардейцами 19-VIII – 1919 г. в Ростовской тюрьме в возрасте 22 лет. Вечная память и вечная слава верной дочери трудового народа, молодой большевичке, бесстрашно отдавшей свою жизнь за дело социализма».

\* \* \*

20 августа 1929 года главная краевая газета «Молот» опубликовала короткую заметку «Памяти тов. Борко». Три десятка строк, разделенных овальным портретом размером 5 x 3,5 см. Сухой, почти телеграфный текст о последних днях пребывания в тюрьме и роковом выстреле вечером 20 августа (а не 19-го, как было на самом деле). И финальная фраза: «Старые большевики-подпольщики помнят тов. Борко как стойкую, выдержанную большевичку-революционерку, принимавшую активное участие в работе Новочеркасской подпольной организации» (почему не Ростовско-нахичеванской?). Этот стиль – никаких эмоций, ни единого намека на мифологизацию – разительно отличается от стиля опубликованной десятилетием позже брошюры и от статей об Этель, появлявшихся в той же газете через каждые десять лет.

Когда я прочел эту заметку, мне вспомнились строки из прозвеневшего когда-то пронзительного стихотворения Михаила Светлова «Гренада»:

Отряд не заметил  
Потери бойца  
И «Яблочко»-песню  
Допел до конца.  
Лишь по небу тихо  
Сползла погода  
На бархат заката  
Слезинка дождя...

Это было написано в 1926 году. То же время. И такое же восприятие гибели бойца: жертвы неизбежны и необходимы. Революции некогда рыдать над телом ее павшего солдата, она уходит на рысях, как кавалерийский отряд Светлова, и пусть потомки ставят памятники и пишут поэмы.

Сотворение мифов начинается в 30-е. Солдаты революции уходят все дальше и дальше в бескрайние дали памяти; их живые, земные образы уже стерлись, видны только неясные контуры. В воображении тех, кто жил тогда, и тех, кто вступил в жизнь позже, возникают иные образы – «рожденных бурей» рыцарей революции и «комиссаров в пыльных шлемах». Что касается Этель, то память о ней сохраняется на мемориальных досках, установленных внутри двух зданий университета, в которых она училась, и в названии небольшой улицы имени Елены Борко, расположенной в северной части города. Пытаясь воспроизвести жизнь и смерть юной революционерки Елены, я хотел избежать мифологизации. Не знаю, удалось ли мне это.

\* \* \*

В мою жизнь Этель вошла, наверное, с того дня, как я начал различать предметы. Малыш, с любопытством разглядывавший открывшийся ему таинственный мир комнаты, не мог не заметить большой, почти квадратный предмет, висевший на дальней стене. По утрам и до полудня на остекленную поверхность предмета падали солнечные лучи, освещая молодое женское лицо, обрамленное копной слегка вьющихся, аккуратно подстриженных волос. Он услышал от старших и запомнил, что на стене висит портрет его тети, которую звали Этель. О ней говорили с печалью и гордостью, и он воспринял патетику их рассказов о юной героине, уверовав в правоту и величие Октября, Ленина и большевизма. Как не уверовать, когда эту правду утверждают, «смертию смерть поправ».

Усвоенное с детства чувство гордости и преклонения перед маминой сестрой сохранялось во мне очень долго. Я воспринимал ее в одном ряду с литературным кумиром моего детства и юности – Павкой Корчагиным. Мои сомнения в правоте большевизма и Октября начались в 1950-е годы, после смерти Сталина. Доклад Никиты Хрущева на XX съезде КПСС, попытка Леонида Брежнева и его окружения вновь водрузить на пьедестал диктатора-палача, наконец, советские танки в Праге в августе 1968 года – это главные вехи моего прозрения. Так я пришел к полному отрицанию лени-



низма и критическому восприятию Советской власти. Менялся и мой взгляд на судьбу Этель. По-прежнему преклоняясь перед цельностью ее натуры, её верности своей вере и стойкостью, я всё более ясно осознавал трагическое противоречие между самопожертвованием тысяч и тысяч молодых людей в годы революции и повседневной ужасающей реальностью казарменно-барачного социализма, построенного в нашей стране. Семена, брошенные в землю, пропитанную ядом ненависти и кровью, дали чудовищные всходы. «Октябрь сделал всех нас мутантами» – это сказал мудрый человек, русский философ и тбилисский грузин Мераб Мамардашвили. И всё же Этель могла бы прожить иначе и реализовать себя в тех сферах жизни общества, где принесла бы пользу даже в советских условиях, как это делали десятки тысяч учителей, врачей, инженеров, агрономов, ученых и представителей других профессий.

Видимо, я так и остался бы в этих размышлениях, если бы не острый спор с Ритой, в конце 80-х годов. Поводом был состоявшийся в Москве конгресс русской диаспоры. Среди его участников было немало эмигрантов, когда-то боровшихся против Советской власти и покинувших страну в 1918–1922 годах, или их потомков. Я порадовался этому событию, усмотрев в нем первый реальный шаг к национальному примирению. Но Рита категорически отвергла мою идею. Меня поразила клокодавшая в ней ненависть. Мои попытки перевести разговор в спокойное русло лишь распалили ее. Она не унималась и в ярости выкрикнула, что никогда не простит им гибели сестры. Разговор переходил на запредельные тона. И тогда я спросил: «А ты никогда не задумывалась над тем, что, избежав смерти от белогвардейских офицеров в 1919 году, твоя сестра могла бы стать жертвой чекистов-палачей в 1937-м, как это случилось с твоей первой и единственной любовью – Яшей Гиком?» Мои слова, видимо, потрясли ее; она не нашла, что ответить, и замолчала. Взглянув на неё, я пожалел о сорвавшейся с моих губ реплике: нельзя бить по так и не зарубцевавшейся ране. Но позже, поостыв, я задумался над смыслом того, что сказал Рите. Мне вдруг открылось, что жалеть надо не тех, кто сгорел в огне революции, а очень многих из тех, кто тогда выжил и победил. Я вернусь к этой теме, когда придёт черед рассказать о Рите – самой преданной в нашей семье коммунистическим идеалам старшей сестры, самой карьерной среди братьев и сестер и, как это ни грустно и несправедливо, самой несчастливой из них.

## **Ефим Борко (1901–1996): Комиссар – экономист – металлург**

В нашем семействе Ефим прожил дольше всех, почти век. В течение своей жизни он четырежды сменил род занятий, окончил два института, получив две очень разные профессии, и единственный из братьев и сестер не вступил в Коммунистическую партию. Он, как никто другой в семье, был близок к Этель и помогал ей в подпольной революционной деятельности. Ефим был на четыре года моложе сестры, и разница в их возрасте, возможно, сыграла решающую роль в том, как сложились их судьбы.

Мальчик, нареченный Хаимом, родился 11 марта 1901 года. В патриархальных еврейских семьях рождение первенца-сына было двойным праздником. К тому же вскоре выяснилось, что он очень смысленный малыш. Так что с детства его окружала атмосфера обожания. Сведений о том, где он учился, не сохранилось. Сам он в анкете, заполненной при поступлении на работу в Институт стали, написал, что в детстве получил начальное образование. Вероятно, в том учебном заведении, где он его получил, у него появилось и новое имя – Ефим. Произошло это в Бердичеве, так как после переезда в Ростов, было ему тогда 14 лет, он устроился на работу. Трудился он на разных предприятиях, в частности на чугунолитейном заводе «Аксай» (1917–1918) и химическом заводе «Слава» (1918–1919), и его заработок дополнял доходы отца, которых уже не хватало для поддержания приемлемого уровня жизни семьи.

За семь с лишним лет (1915–1922), прожитых в Ростове, Ефим приобрел такой жизненный опыт, какого в более спокойные времена люди не обретают в течение десятилетий. Здесь он сложился как личность, со своими убеждениями и нравственными установками. На этом пути было несколько вех. Первой, еще бердичевской, было исключение сестры из училища за участие в маевке. Этель – революционерка! С этого начались серьезные размышления и осмысленное чтение. Далее – переезд в большой город Ростов и начало трудовой жизни. А затем три грозных года – с 1917 по 1919-й: Февральская революция и отречение царя Николая II; калейдоскоп событий и кипение политических страстей с марта по октябрь 1917-го; свержение Временного правительства и захват власти большевиками, установившими Советскую власть в России; Гражданская война с разгулом нена-

висти и потоками крови, одной из жертв которой стала старшая сестра.

В феврале 1920 года части Красной армии освободили город от белых, восстановив в нем Советскую власть. Ефим поступил на работу в Донской областной исполнительный комитет и, поднявшись по ступеням служебной карьеры, в июле 1921 года был назначен его секретарем. В выданном ему удостоверении № 12 указывалось: «Предъявитель сего... Борко Е.А. – Член Донского Областного Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских Депутатов в должности Секретаря Донисполкома, коему разрешается ношение и хранение огнестрельного и холодного оружия. Названному лицу все начальствующие лица, все воинские части, Советы Рабочих и Красноармейских Депутатов, общественные организации обязаны... оказывать содействие при исполнении им возложенных на него служебных обязанностей». Было ему 20 лет.

Ефим мог продолжить карьеру советского чиновника, надо было только вступить в Российскую коммунистическую партию, РКП(б). Ему наверняка предлагали это сделать, но он не внял советам. Почему? Я не раз размышлял об этом. Как-то, скорее всего, после его кончины я задал этот вопрос Рите. Ее ответ был неожиданным: на похоронах Этель, у ее гроба, Ида Григорьевна взяла клятву у Ефима, что он никогда не будет заниматься политической деятельностью. Он дал клятву, когда Ростов был под властью Деникина. Но в 1920 здесь установилась Советская власть, и клятва, казалось бы, потеряла прежний смысл. Однако Ефим решил иначе. То ли сохраняя верность клятве, то ли по другим мотивам, он избрал иной путь, уехав летом 1922 года в Москву учиться. Это был первый крутой поворот в его жизни. В столице он поступил в Институт народного хозяйства имени К. Маркса (позже – имени Г.В. Плеханова), на экономический факультет. Начальное образование не было помехой. В те годы молодые люди, не принадлежавшие к «эксплуататорским классам», если они демобилизовались из Красной Армии или были коммунистами либо комсомольскими активистами и имели рекомендацию от партийных или советских органов, были освобождены от вступительных экзаменов. Они проходили собеседование и зачислялись, как правило, на подготовительные рабочие факультеты с последующим переходом на основной курс. Ефим не был ни коммунистом, ни комсомольцем, но у него была рекомендация Донисполкома. Учился ли он, как сестра Надя, на рабфаке Рос-

товского университета, осталось не известным. Так или иначе, после собеседования в приемной комиссии Института народного хозяйства он был зачислен сразу на основной курс. Одновременно он поступил на работу во Всероссийский совет народного хозяйства (ВСНХ).

Совмещение работы и учебы не было прихотью; в том же году Ефим женился, в конце 1923 года родилась дочь Наташа, и надо было содержать семью. Тем не менее, учился он успешно, и в 1927 году ему было вручено временное удостоверение, в котором говорилось, что Борко Е.А. выполнил весь учебный план, а в феврале 1930 года, после защиты квалификационной (дипломной) работы, – свидетельство об окончании торгового отделения экономического факультета института и присвоении квалификации экономиста по внешней торговле. За это время Ефим дважды сменил работу: в декабре 1923 года перешел в Народный комиссариат финансов, а в августе 1926 года – в Народный комиссариат внешней торговли.

Казалось бы, после окончания института перед Ефимом открылись самые широкие перспективы. Специалистов катастрофически не хватало, и диплом экономиста служил пропуском на быстрое продвижение по ступеням профессиональной и служебной карьеры. Но Ефим совершает второй крутой поворот в своей жизни: в декабре 1931 года он устроился в недавно созданный Институт стали – сотрудником и одновременно студентом первого курса заочного отделения. Ему тридцать лет, у него семилетняя дочь Наташа. Для того чтобы перечеркнуть десять лет трудовой и профессиональной жизни и начать её сначала, нужны были очень веские мотивы.

Такое решение не могло быть внезапным; за ним крылась напряженная работа ума и души, путь от иллюзий и надежд – к постижению реальности и разочарованию. Среда, в которой Ефим находился все эти годы, познакомила его с закулисной стороной столичной жизни, с жестокой схваткой в верхах правящей партии и государства, развернувшейся после кончины Ленина, и с нарастающей концентрацией власти в руках И. Сталина. Пришло время крутых перемен. «Год великого перелома», объявленный Сталиным в 1929 году как начало форсированного строительства социализма в Советском Союзе, вылился в чудовищное по масштабам и формам насилие над собственным народом. В стране нарастали массовые репрессии, в том числе против «старых» специалистов, работавших в органах управления народным хо-

зайством, в научных, конструкторских и учебных институтах. Аресты, громкие суды, смертные приговоры.

Смысл принятого Ефимом решения читается по-разному. Прежде всего, страх за себя и свою семью. Место работы стало крайне опасным. Инстинкт самосохранения толкал к поиску как можно менее заметной ниши. Мог быть и другой мотив – деградация профессии экономиста. Переход к государственной экономике в ее сталинской версии предвещал коренное изменение содержания и функций экономической науки, роль которой отныне сводилась к обоснованию и подгонке всех расчетов под диктуемые высшей властью задачи и проекты. Как далеко заходил Ефим в своих размышлениях? Осознавал ли он, что суть происходящего состоит в перерождении Коммунистической партии и Советской власти? Может – да, может – нет. Но во всяком случае, уходя в сферу техники, материального производства, Ефим как бы отгораживался невидимой стеной от политики и идеологии. Таков был принципиальный выбор, а конкретный вариант был делом случая. Не подвернись Институт стали – нашлось бы иное решение.

Ефим был принят на должность научного сотрудника в отделе научно-технических исследований, но вначале занимался, видимо, организационной деятельностью. Днем работал, а по вечерам осваивал новые предметы – физику, химию, металлургический процесс и т. д. Сказать, что это было трудное время, – значит ничего не сказать. Жизнь в стране из года в год становилась всё страшнее. Репрессии не прекращались ни днем, ни ночью. Кульминацией стала кровавая вакханалия Большого террора в 1937–1938 годах. Многие люди не выдерживали – ломались, спивались, кончали жизнь самоубийством. Ефим выдержал. В 1938 году он окончил экстерном полный курс обучения по специальности «термическая обработка», затем успешно защитил дипломный проект и 25 мая 1940 года получил диплом с отличием об окончании института; ему была присвоена квалификация инженера-металлурга. Дипломная работа получила высшую оценку, её сокращенный вариант был опубликован в виде статьи в сборнике трудов института. Это был первый камень в диссертацию, и Ефим был близок к её завершению.

Но 22 июня 1941 года началась война, перевернувшая жизнь страны и каждого ее жителя. 10 июля, согласно выданной справке, «командир запаса Борко Ефим Абрам[ович] был мобилизован» в ряды Красной Армии и «направлен в часть». Служил он

в Тесницких лагерях, расположенных на полпути между Серпуховом и Тулой, в звании воентехника первого ранга и должности диспетчера 106-го Отдельного батальона станции снабжения. Между тем немецкие войска стремительно продвигались к Серпухову и Туле, и тыловым Тесницким лагерям суждено было стать полем кровавых боев, что вскоре и произошло.

Но Ефима там уже не было. 14 октября он был уволен в запас и направлен в распоряжение Народного комиссариата боеприпасов. Этому предшествовал приказ Государственного Комитета Оборона, созданного 30 июня и сосредоточившего в своих руках всю власть, о мобилизации всех инженеров-металлургов для работы на заводах, перешедших на изготовление танков, орудий и иной военной техники. Приказ подписал председатель ГКО И. Сталин. Сотни предприятий, производивших танки, артиллерийские орудия и самолеты, нуждались в специалистах по высокопрочным, в том числе броневым, сталям. В их числе был и Ефим. В ноябре он приехал в Казань и приступил к работе в качестве старшего инженера-металлурга на оборонном предприятии № 144. От дома, в котором жил Ефим, до завода было семь километров. Трамваи в утренние и вечерние часы пик были переполнены, люди гроздьями висели на подножках, вцепившись в поручни. Поэтому Ефим шел пешком, проделывая этот путь дважды в день. Вскоре он переселился на завод, поставив в лаборатории кровать-раскладушку и готовя по утрам и вечерам нехитрую еду на электрической плитке; днем обедал в заводской столовой. Поработал Ефим на заводе два года и в декабре 1943 года был отозван Наркоматом боеприпасов в Москву. Дирекция отпустила его только после повторного распоряжения из Москвы. В выданной ему характеристике говорилось, что старший инженер-металлург Борко Е.А. «является инициативным работником с большими техническими знаниями и оказал значительную помощь заводу своей оперативной и рационализаторской работой; он проявил себя как крупный специалист с большим административным и техническим опытом».

Прожитые отрезки времени измеряются не столько их длительностью, сколько насыщенностью, напряжением сил, мыслей и чувств. Всего этого было в казанской жизни Ефима сполна – высочайшей ответственности за дело в условиях войны, проверки своего профессионального и творческого потенциала, работы на износ и трудностей быта. Возможно, поворот, случившийся в судьбе Ефима в начале 30-х годов, оставил в его душе горький привкус

крушения жизненного замысла. Если так, то казанский период помог ему преодолеть этот комплекс, самоутвердиться и вернуть душевное равновесие. В 1945 году Е.А. Борко был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.».

В декабре 1943 года Ефим прибыл в Москву и через несколько дней был зачислен в Институт стали. Вернулся он в исследовательский отдел, где работал до войны, а 21 ноября 1944 года был назначен начальником научно-исследовательской части института. Именно эту дату можно назвать началом самого продолжительного и плодотворного периода жизни Ефима.

Порученное ему дело было важным и хлопотным. Накануне войны в институте было без малого три десятка кафедр и лабораторий, занимавшихся исследованиями и разработками технологии в черной металлургии. В годы войны интенсивность научных исследований резко снизилась – не хватало людей, финансов и оборудования, за исключением ряда направлений, напрямую связанных с запросами фронта. Война, однако, приближалась к концу, и надо было готовиться к перестройке научно-исследовательской работы в условиях мира. Организовать перестройку предстояло отделу, который возглавил Ефим. Он был готов к этой работе. Ему было 43 года – возраст зрелости и трезвой самооценки. Профессиональных знаний и организационного опыта не занимать. К тому же он обладал набором человеческих качеств, которые помогали находить общий язык с самыми разными людьми. Свою состоятельность в качестве руководителя Ефим Абрамович Борко подтвердил довольно скоро, превратив отдел в одно из ведущих подразделений института. Самой убедительной аттестацией его работы служит то, что он возглавлял этот отдел в течение тридцати пяти лет, вплоть до выхода на пенсию. Но его вклад в развитие Института стали этим не ограничивается. Ефим был прирожденным редактором, как говорится, от Бога. Он начал заниматься редактированием перед войной и продолжил после возвращения в институт. Вскоре при его деятельном участии в институте был создан редакционно-издательский отдел, который он и возглавил. Издаваемый институтом журнал «Известия высшей школы. Серия Металлургия» стал одним из лучших в стране изданий такого типа. Ефим руководил этим отделом также до ухода на пенсию.

Итоги почти полувековой деятельности Е.А. Борко в институте были отражены в статье, опубликованной в институтской газете

«Сталь» 16 марта 2001 года, через пять лет после его кончины. Ее название говорило само за себя: «К 100-летию со дня рождения одного из первых организаторов научной работы и издательской деятельности в МИСиС». (МИСиС – Московский институт стали и сплавов. Так стал именоваться институт с 1962 года.)

Ефим ушел на пенсию в 1979 году, но еще несколько лет активно участвовал в подготовке выпусков упомянутого журнала. Дома на его письменном столе всегда лежала солидная стопка статей для очередного номера, которые надо было оценить и, если нужно, отредактировать. Последние пять–семь лет его одолевала болезнь, резко сдало сердце, он неоднократно проходил лечение в кардиологических клиниках и скончался в конце ноября 1996 года.

Насколько я могу судить, в первой половине своей жизни, особенно во времена сталинской диктатуры, главную проблему Ефим видел в том, чтобы найти способ сосуществования с установившейся системой советского социализма и с доминирующей культурой общественных и человеческих отношений. О том, как он решил эту задачу в сфере профессиональной деятельности, рассказано выше. Но эта сфера не исчерпывала его бытия. Была сфера частной жизни, и ее надо было как-то выстроить. Мир семейный – жена, дочь Наташа, быт. И мир духовный – мирозерцания, рефлексии, пространства отечественной и мировой культуры, к которому он начал приобщаться если не в детские, то уж точно в отроческие годы.

Мои первые, еще довоенные впечатления о Ефиме можно обозначить двумя словами – книги и дача. Именно в таком порядке. С книг и начну.

Ефим был не просто книголюб. Он пристрастился к чтению с ранних лет и, как мне представляется, явно предпочитал это занятие излюбленным детским и подростковым играм – футболу, лапте, казакам-разбойникам или бродяжничеству по окрестным дворам и улицам. Я познакомился с ним в 1934 году, когда впервые приехал к маме в Москву, но ничего не запомнил из той встречи. От нее остался снимок, запечатлевший меня и Наташу; мне было пять лет, ей – одиннадцать. Москвичом я стал в 1937 году, когда началась моя школьная жизнь. Тогда-то и произошла наша вторая встреча, которая отложилась в памяти. Первопричиной был большой книжный шкаф, где за стеклянными дверцами плотными рядами стояли книги в твердых переплетах. Он бросился в глаза, едва я вошёл в первую из двух комнат, в которых



жили Ефим, его жена Полина Исааковна и Наташа. В ростовской квартире, где я жил у родителей мамы, и в нашей московской комнате тоже были книги, два-три десятка, лежавшие в беспорядке на полках этажерки рядом с какими-то другими предметами. А здесь – целый шкаф! Это было «открытием Америки», неизвестного мне мира литературы, в котором жил мой дядя. Он вытащил из шкафа довольно ушпитанный том в сером переплете и радостно сказал, что вчера купил сборник рассказов замечательного писателя-сатирика Михаила Зощенко. Ефим раскрыл его и, перелистывая, стал зачитывать понравившиеся ему фразы, сопровождая их репликами и возгласами.

Вернувшись после окончания войны в Москву, я начал постоянно общаться с Ефимом и с его второй женой Ксенией Григорьевной, особенно с середины 50-х годов, когда они переехали в однокомнатную квартиру в только что выстроенном доме на углу Валовой и Новокузнецкой улиц. Не помню, как она выглядела вначале, но со временем её плотно заселили собрания сочинений отечественных и зарубежных классиков. Их с конца того десятилетия стали выпускать советские издательства. На них заранее объявлялась подписка, и Ефим подписался на многие из них. В его книжных шкафах и на застекленных полках был представлен цвет мировой классики. Из тех, кого помню, – Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Тургенев, Лев Толстой, Салтыков-Щедрин, Чехов, Шекспир, Роллан, Франс, Стендаль, Фейхтвангер, Голсуорси.

К советской художественной литературе Ефим относился с большим разбором. Писателей, творивших в духе социалистического реализма, не жаловал. В числе избранных были Паустовский и три поэта – Пастернак, Ахматова и Цветаева. Нравилась писатели, продолжавшие традиции русской классики, – Юрий Казаков, Владимир Тендряков, Валентин Распутин. Ефим с живым интересом встретил произведения, появившиеся на страницах литературных журналов с началом Оттепели. Он ценил их за то, что они освещали «теневые» стороны советской действительности, о которых раньше писать было невозможно. Среди них – «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» Александра Солженицына, «Оттепель» Ильи Эренбурга, деревенская проза Федора Абрамова и Ефима Дороша. Однако мои попытки связать обсуждение «оттепельной» литературы с оценкой политической системы Ефим неизменно пресекал. Однажды даже сказал как отрезал: «Не ты Советскую власть устанавливал, не тебе ее критиковать».

О его пристрастии к театру я знаю гораздо меньше. Мне запомнился наш первый разговор. Осенью 1946 года, простояв всю ночь в очереди к кассе предварительной продажи билетов, я вошел в храм под названием «Московский художественный академический театр» (МХАТ). Чеховские «Три сестры». Я был ошеломлен. Созвездие великих актеров. В один из ближайших дней я побывал в гостях у Ефима и выложил ему мои восторги. Ефим, выслушав меня и сказав похвальные слова в адрес МХАТа, не преминул добавить, что Алле Тарасовой и Клавдии Еланской, игравших роли Маши и Ольги, около полувека, а двадцать лет назад они были в возрасте своих героинь. Потом он стал рассказывать о самом гениальном мхатовце середины 20-х годов Михаиле Чехове, эмигрировавшем вскоре на Запад; об авангардном театре Мейерхольда, закрытом после того как в 1938 году был арестован и расстрелян его руководитель; о Первой студии Вахтангова, преобразованной после его смерти в театр имени Вахтангова; о Камерном театре Таирова с блистательной Алисой Коонен, закрытом в 1950 году в пору борьбы с «иностраниной». Интересно, что восторженное отношение к авангардному театру 20-х годов сочеталось у Ефима с очень осторожным отношением к новым течениям в советском театральном искусстве, возникшим в пору Оттепели «Современник» Олега Ефремова он воспринимал скорее положительно, но «Ленком» Марка Захарова и особенно «Таганку» Юрия Любимова не принял. В общем же из театров драматических Ефим помимо МХАТа предпочитал Малый театр с его сложившейся в XIX веке школой русского реализма, а из музыкальных – Большой театр, его классическую оперу и классический балет. Я тогда критически воспринимал консерватизм Ефима в литературе и искусстве. Теперь я отношусь к этому иначе. В конце концов, именно в классике запечатлены вечные ценности человеческого бытия и его вечные проблемы.

И наконец, о семье, и почему мои воспоминания о ней начинаются с дачи. Я был очевидцем жизни Ефима на протяжении 59 лет. Если исключить последнее десятилетие, когда он был тяжело болен и немощен, а также войну и несколько послевоенных лет, дача была постоянным атрибутом его семейной жизни, символом ее благоустроенности.

Первую дачу Ефим построил в середине 30-х годов, в поселке Быково по Казанской железной дороге, где была выделена территория под строительство дачного кооператива научных работников Академии наук и преподавателей вузов. Одноэтажный дере-

вянный дом, разделенный пополам: одна принадлежала семье Борко, вторая – другой семье. В дом вело крыльцо с несколькими ступеньками; застекленная веранда, две небольшие комнаты, в которых жили Ефим, Полина Исааковна и Наташа, небольшая кухня, из которой тоже был выход с небольшим крылечком. К зимней жизни дом не был приспособлен, и дачный сезон начинался, в зависимости от погоды, в конце апреля – начале мая и кончался с наступлением осенних заморозков. Когда Наташа училась, выезжали на дачу по выходным дням, в период школьных каникул жили постоянно. В 1938–1939 годах мы с мамой несколько раз приезжали к ним в выходной день, а в 1940 году, когда мама то ли попала в больницу, то ли уехала в отпуск, я прожил на даче почти три недели. С Наташей у меня установились очень теплые отношения, но о том, как была устроена жизнь в их семье, в памяти ничего не осталось.

Символом семейного благополучия Ефима дача в Быково прослужила недолго, пять или шесть лет. В 1941 году началась война, он убыл из Москвы, а вернувшись, расстался с семьей, квартирой и дачей. С Полиной Исааковной он прожил без малого 20 лет, с 1923 по 1941-й. Я общался с ней очень мало и ничего не помню, а о ней знаю только то, что Ефим был её вторым мужем, она была старше, а по профессии была юристом и работала в каком-то важном учреждении. Наташу, родившуюся в первый год их совместной жизни, Ефим обожал, а отношения с женой у него со временем осложнились. По какой причине и с какого времени, не знаю, но еще до войны. Осенью 1941-го Полина Исааковна и Наташа тоже эвакуировались в Казань, снимали где-то комнату, но вскоре вернулись в Москву. Когда через два года приехал Ефим, Полина Исааковна в квартиру его не пустила и подала заявление на расторжение брака. Вскоре брак был расторгнут, квартира и дача остались за ней и Наташей. Так что Ефиму предстояло устраивать свой быт с нуля.

В 1944-м Ефим женился на Ксении Григорьевне Крыловой, которую знал с довоенных лет, так как она жила в той же коммуналке, что и он. Видимо, их сближение началось еще до войны. Дочь считала отца виновным в распаде семьи, и они не общались более двадцати лет, вплоть до кончины его второй жены.

Родилась Ксения Григорьевна, как и Ефим, в 1901 году, в семье бывшего крестьянина Казанской губернии Григория Крылова, служившего к моменту ее рождения околоточным надзирателем в Санкт-Петербурге, и его жены Натальи Крыловой, и крещена

была во Введенской церкви на Петербургской стороне. В 1918 году она окончила гимназию в Питере, начала преподавать в школе, а в 1920-м ушла в Красную Армию, вступила в РКП(б) и стала политработником в частях Западного фронта. Через год демобилизовалась, переменила множество работ и в 1926 году поступила в Казанский Восточно-педагогический институт, который окончила в 1929-м. В нём же начала преподавать, а в 1934–1936 годах училась в аспирантуре исторического факультета МГУ. С 1938 года и до конца жизни преподавала историю в московских школах (последняя – школа № 255). Моя тетушка Рита говорила мне, что сын Ксении погиб в Великую Отечественную войну.

Их совместная жизнь началась, когда им было за сорок. Всё у них уже как-то определилось, устоялось – характеры, вкусы, привычки, профессия, интересы. Оба были книголюбями, любили театр, несколько лет проводили часть отпуска в теплоходных круизах по Волге, Каме, Волго-Балтийскому водному пути. И оба обожали дачу, которую Ефим построил в 1950-х годах в поселке Зеленоградский по Северной железной дороге, в 40 километрах от Москвы. Мне нравилось бывать у них – в их уютной, хотя и тесноватой однокомнатной квартире (девятиэтажный дом напротив станции метро «Павелецкая») и на даче, в финском сборном домике, на небольшом участке с вековыми соснами и обихожеными Ксенией Григорьевной цветочными клумбами. Со мной она была приветлива и общительна. А в конце 1968 года Ксения Григорьевна скоропостижно скончалась. Подвело сердце.

Ефим и Ксения Григорьевна прожили вместе ровно 25 лет. Ее смерть была для него неожиданностью и ударом. Насколько сильным, судить не могу, потому что он был закрытым человеком. В высшей степени закрытым в том, что касалось его самых сильных чувств и привязанностей. Теперь ему предстояло жить одному. В бытовом отношении Ефим был человеком самодостаточным. А в остальном его жизнь вскоре вернулась в обычную колею. Он еще долго работал в институте и окончательно распрощался с ним в первой половине 80-х годов. Я мало что могу рассказать о том, как он проводил время по завершении трудовой деятельности. По обыкновению много читал, перезванивался с Ритой, периодически со мной и моей женой Леной, с двумя институтскими друзьями, жившими в том же доме, что и он, а также с другими бывшими коллегами, которых становилось всё меньше. К сожалению, поблизости не было ни одного скверика и даже озелененного двора со скамейками, где можно было посидеть. Поэтому он

ограничивался прогулками по ближним переулкам или вокруг своего квартала. Гостей у него было мало, и заходили они не часто – те же два соседа-профессора, мы с Леной, а иногда она приезжала к нему одна, и ему нравилось вести с ней долгие беседы. Вплоть до начала 90-х он сохранял ясность ума, живо интересовался тем, что происходит стране, в Москве, в нашей семейной жизни.

Особое место в жизни Ефима занимала Рита. После того как в 1960 году умерла Ида Григорьевна, Рита переехала в Москву и весь запас нерастроченной любви перенесла на братьев – Ефима и Лёню. Лёня жил в Ростове-на-Дону, а Ефим был рядом. Рита с раннего детства переняла восторженное отношение родителей, особенно отца, к старшему сыну, самому умному и успешному из своих детей. Более того, как мне кажется, она подсознательно воспринимала Ефима чисто по-женски как идеал мужчины. Он был единственным человеком, с которым она советовалась по всем возникавшим у нее вопросам, будь то служебные дела или бытовые проблемы. После кончины Ксении Григорьевны её заботы о брате многократно возросли, а когда она вышла на пенсию, это стало главным делом её жизни. Перезванивались они практически ежедневно, она часто заезжала к нему и ездила бы еще чаще, если бы он не сдерживал, иногда весьма резко, её рвение.

А потом пришло время болезней и больниц. Здоровье Ефима стало ухудшаться с конца 80-х годов, всё вместе – сердце, суставы, первые симптомы болезни Альцгеймера. Когда он совсем ослабел – ему было уже за девяносто, – Рита переехала к нему и взяла на себя роли медсестры, сиделки, кухарки и уборщицы. Непосильная нагрузка! Дважды её увозили в больницу с ишемическими кризами, а Ефима приходилось помещать в платное отделение больницы, где ему выделялись отдельная палата и за дополнительную плату ухаживавшая за ним медицинская сестра. А затем мне удалось устроить его в пансионат ветеранов Академии наук СССР. Там он и скончался 25 ноября 1996 года. Утром позвонила Рита и сказала, что ей только что сообщили из пансионата о его смерти, а на рассвете, добавила она, ей приснился сон: на фоне ослепительного сияния к ней идет Ефим. Мне кажется, что это видение, природу которого мы не знаем, как ничто другое, говорит о том, какую роль в жизни Риты играл ее старший брат и как тяжело скажется его уход на ее жизни.

## **Иоан Борко (1907–1985): 1941–1942. Керчь**

В семье его звали Ёня. Вероятно, в детские и отроческие годы так же его именовали сверстники во дворе и в школе. В книжечке, посвященной Елене (Этель) Борко, он именуется Яном. А на моей памяти он был уже Лёней. Так звали его моя мама, Ефим, Рита и я. Так общались с ним фронтовые друзья. Я родился в Ростове-на-Дону, мама вскоре уехала в Тверь, где она тогда работала, а я почти все дошкольные годы прожил с её родителями и двумя их детьми. По линии родства они были для меня дядей и тетей, но я звал их просто по именам – Лёней и Ритой. Рита, несмотря на свои юные годы – она тогда окончила среднюю школу и поступила в институт, – была моей главной опекушкой и наставницей. А Лёня? Он был мой друг.

Отца я не знал, и Лёня был первым мужчиной, с которым я ежедневно общался и, сам того не зная, учился мужской манере поведения. С четырёх или пяти лет он стал водить меня по выходным дням, если был свободен, в городской парк на Большой Садовой улице (тогда улица Фидриха Энгельса). Почти вся малышня на детской площадке была с мамами и бабушками. В воздухе то и дело разносилось: не бегай туда, не ходи сюда, не прыгай – разобьёшься, отдай девочке куклу... Мой дядюшка в этом хоре не участвовал. Я был свободен в своих развлечениях, взбирался и съезжал с горок, бегал, прыгал и разбивал коленки. Вероятно, бывали случаи, когда его вмешательство было необходимо, но я этого не помню, видимо, это случалось редко. В общем мне было с ним очень комфортно. Лёня не досаждал поучениями, а если в чем-то поправлял, то спокойным тоном и лаконично.

За год до поступления в школу я уехал в Москву, после того как работавшая там мама обрела постоянное жилье – комнату в коммуналке, как назывались тогда многосемейные квартиры. В довоенный Ростов я дважды приезжал на летние школьные каникулы, последний раз – летом 1940-го. Тогда и случилась неприятная для меня история, в которой Лёня показал мне, как поступает настоящий мужчина, если в критической ситуации оказался близкий ему человек. Когда я приехал, он проходил летнюю военную переподготовку на Керченской военно-морской базе и вернулся домой в начале августа, в морском кителе, загорелый, красивый. Из Крыма он привез трехлитровую бутылку, наполненную красным вином, которая стала предметом моего вожделения. Бутылка стояла в спальне бабушки и деда, и однажды, когда мужчин не

было дома, а бабушка возилась на кухне, я проскользнул туда и сделал пару глотков. Напиток оказался очень вкусным, и я повторил эту операцию еще пару раз.

Возможно, и продолжил бы, но в очередной выходной день, когда все собрались за обеденным столом, дед, глядя куда-то вдаль, задумчиво сказал: «Вроде бутылка была полная, а теперь неполная». Наступило молчание, а я оцепенел. Позор казался неминуемым, сейчас он падет на мою голову. И в этот момент раздался голос Лёни: «Папа, я наполнял бутылку не до горлышка, она с самого начала была неполной». Дед не затянул с ответом. По-прежнему, ни на кого не глядя, и так же задумчиво он промолвил, что, видимо, забыл об этом и ошибся. Через семь лет, когда Лёня, демобилизовавшись, приехал в Москву, я спросил его, вправду ли он не догадался, что отпил из бутылки я. Он засмеялся: «А не о чем было догадываться. У тебя на лице всё было написано, ты был красный как вареный рак».

После войны мы виделись крайне редко. Лёня вернулся в Ростов и прожил там всю остальную жизнь, а я жил в Москве. О некоторых послевоенных встречах я расскажу позже. А пока перейду от воспоминаний к рассказу о его жизни – с начала и до конца.

\* \* \*

Иоан Борко родился 23 октября 1907 года в Бердичеве, где тогда жило все семейство. Он был четвертым ребенком – после Этель, Хаима (Ефима) и Нахомы (Нади). Позже родилась пятая – Рита. Никаких сведений о его детстве и отрочестве в Бердичеве и с конца 1915-го в Ростове в семейном архиве не сохранилось. Где и когда он учился, неизвестно, но к шестнадцати годам, когда он впервые устроился на работу, у него было начальное образование, полученное не в хедере, а в учебном заведении, где преподавание шло на русском языке. Как уже было отмечено выше, семейство Борко жило в том районе Бердичева, где разговорным языком еврейского населения был русский. Лёня с раннего детства тянулся к старшему брату и сестрам, учился у них, и они, особенно Этель, сыграли решающую роль в его интеллектуальном и нравственном развитии.

В 1917 году Лёне исполнилось 10 лет. В его цепкой отроческой памяти запечатлелись и бурное время революции, и смены власти в Ростове – то белые, то красные, и голодные годы Гражданской войны. Он знал, что Этель участвует в революционном движении – в 1917 году партия большевиков действовала легально, – и,

живя бок о бок с сестрой, не мог не догадаться, что она продолжает участвовать в нем подпольно после установления в Ростове денкинской диктатуры. В мае 1919 года, на его глазах она была арестована и в августе расстреляна в Ростовской тюрьме. Ее смерть стала для него трагедией. От неё он узнал слова «коммунист» и «Ленин», хотя не постигал всего их смысла. Он поверил ей, и она осталась для него символом этой веры.

В 1923 году, в 16 лет, Лёня начал трудовую жизнь на известной тогда Ростовской обувной фабрике. Через год вступил во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). Активности ему было не занимать, и вскоре он становится вожаком комсомольской организации; он же стал одним из зачинателей движения за рационализацию производства на фабрике и в 1928 году вступил в ВКП(б). В следующем году по партийной рекомендации он поступает в Новочеркасский политехнический институт, оканчивает его в 1934 году и возвращается на производство уже с дипломом инженера-химика.

Военная служба Иоана Борко началась за два года до начала войны с нацистской Германией. В 1939 году он был призван служить на Керченской военно-морской базе и демобилизовался в начале 1941 года в звании младшего воентехника запаса. А вскоре пришло утро 22 июня. Иоан Борко явился в военкомат в тот же день, а 24-го находился уже на Керченской военно-морской базе. Так началась для него война, которую он прошел до конца и завершил в День Победы.

Лёня был в числе тех фронтовиков, которые не любили вспоминать о войне. Я понял это весной 1947 года, когда он после демобилизации, не сняв военной формы, приехал в Москву повидаться с братом и сестрой – моей мамой. Она лежала в больнице, и мы сидели в нашей комнате вдвоем. Он открыл портфель и вынул бутылку водки. «Ты, наверное, уже её пробовал?» – спросил Лёня. Мне хотелось выглядеть взрослым, и я с некоторой бравадой ответил: «Да, конечно». Не помню, чем мы закусывали, да это и не важно. Он расспрашивал о маме и о том, как я управляюсь с бытом, как идут дела в школе, которую я окончу через пару месяцев, и что собираюсь делать. В ходе разговора я рассказал ему, что в прошлом году Москву заполнили женщины-крестьянки с детьми, приехавшие в столицу из многих областей, жестоко пострадавших от засухи. Такой беды, добавил я, наша страна не знала с 1921 года. «Ты ошибаешься, – ответил, понизив голос, Лёня. – В 1933 году многие области в центре и на юге страны, осо-



бенно на Украине, были охвачены жуткой засухой, и несколько миллионов людей умерли от голода». Увидев мои округлившиеся глаза, он предупредил, чтобы я никому об этом не говорил, потому что это будет очень опасно для меня.

На мои вопросы о войне Лёня отвечал неохотно и общими фразами. Может быть, он так и не рассказал бы, если бы не мой вопрос. У него на левой стороне кителя были прикреплены орден Красного Знамени и две медали, и я спросил: «А почему у тебя так мало наград»? По его странному взгляду я сообразил, что задал глупый, безобразный, по сути, вопрос. Но Лёня сдержался и, помолчав, ответил: «Я вернулся живым, и для человека, побывавшего на такой войне, в таком аду, это высшая награда». И он начал рассказывать. Был скуп на слова, а теперь, спустя полвека, когда я взялся за воспоминания о нашей семье, многое из его рассказа забылось. Запомнилось главное: всю войну он прошел в частях морской пехоты Черноморского флота и принимал участие в двух операциях, где шансы выжить были просто призрачными. В конце декабря 1941 года он участвовал во взятии города Керчи, командуя военным катером, а в мае 1942 года оборонял этот город, командуя подразделением в одной из бригад морской пехоты. В начале 2000-х годов, вскоре после кончины Риты, разбирая ее архив, я нашел некоторые его документы военных лет. А недавно обнаружил на сайте Министерства обороны РФ копию документа, в котором младший воентехник И.А. Борко был представлен к награде.

Младший Воентехник БОРКО И.А. во время десантной операции был назначен командиром сейнера "Пущкин", который отличился: выполнял все задания Командования. Сейнер "Пущкин" под ураганным огнем врага подошел к Камыш-Буружу и высадил десант, подобрал тяжело раненных в количестве 36 человек, которым требовалась скорая медицинская помощь и доставил их в ст. Тамань, выполняя задания командования, а также по собственной инициативе оказывал помощь другим судам, нуждавшимся в помощи снятых с мели. Протоли несколько сейнеров через промозглую и на редку не вел на мели. Сейнер "Пущкин" выполнял несколько рейсов своевременно и без потерь.

Последний рейс 31 декабря 1941 года сейнер "Пущкин" получил задание сыграть и/состав с Косы Тузла, раненных и без пищи в количестве 70 человек. Несмотря на то, что сейнер имел большую толщ, тов. БОРКО И.А. плыв в штурманском посту и выполнял отлично заданные командования, а когда пролил забор, тоже же пробивал вперед и достиг места назначения, но на обратном пути сейнер "Пущкин" встал, примерно, в одном километре от берега. Тов. БОРКО И.А. взял на себя инициативу доставить экипажу личному составу, находящемуся на сейнере. Так как лед еще не окреп, тов. БОРКО И.А. по-штучно добрался до берега и таким путем доставил экипажу и/составу, а когда окреп лед, тов. БОРКО И.А. доставил и/состав на берег по льду.

Тов. БОРКО И.А. 28.1.42 года был представлен и Представительской награде за участие вятии гор. ИРЧ и ордену "Новое Знамя". Наградные лист был напечатан на лист 12 мая 1942-го

Сейнеры, упомянутые в документе, до войны были рыболовецкими судами, а когда она началась, включены в состав Черноморского флота, вооружены скорострельной пушкой и спаренными пулеметами, поражающими и наземные, и воздушные цели. В ходе Керченской операции они использовались прежде всего как десантные судна, а позже – для доставки на берег боеприпасов, продовольствия, пополнения понесших потери пехотных подразделений и вывоза раненых.

Согласно документам, сейнер «Пушкин», которым командовал Иоан Борко, входил в состав группы кораблей, высадивших десант севернее Керчи, в районе Камыш-Бурунской косы. Операция длилась шесть дней, с 26-го по 31 декабря, и завершилась успешно. Сейнер «Пушкин» совершил несколько рейдов. В ходе одного из них он спас с тонущего судна 30 десантников и членов экипажа. Приказом № 35, который подписал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Л. Владимиров, младший воентехник Иоанн (так в тексте) Абрамович Борко был награжден орденом Красного Знамени. В последующие месяцы сейнер курсировал между Керчью и Таманью. В январе 1942 года о мужестве и героизме его командира тов. Борко, благодаря чему было выполнено боевое задание командования, рассказала краснофлотская газета Черноморского флота («За социалистическую Родину», 1942. 19 янв.).

А затем наступил май 1942 года. Две недели боев. Те, кто в них участвовал и остался в живых, могли сказать, что они вышли из ада. 8 мая немецкие войска начали наступление на Керчь. Воспользовавшись грубейшими ошибками советского командования, они прорвали фронт и разгромили несколько наших дивизий. В помощь оставшимся боеспособным частям были брошены подразделения 7-й и 9-й бригад морской пехоты. В составе одной из них командовал подразделением (взводом или, быть может, ротой, командир которой был убит) младший лейтенант Иоан Борко. Продвижение немецких танковых и пехотных дивизий резко замедлилось, что позволило советскому командованию переправить через Керченский пролив около 150 тысяч солдат и офицеров, в том числе почти 30 тысяч раненых. Среди них был и Лёня. 15 мая в ходе ожесточенного боя его подразделение было накрыто залпом артиллерийского огня. Оставшиеся в живых моряки извлекли своего командира из-под груды земли, выброшенной взрывом, и вынесли с поля боя в бессознательном состоянии. У него была тяжёлая контузия с временной потерей речи, слуха и памяти.

Пролежав несколько месяцев в госпитале и восстановившись, Лёня вернулся в свою часть и принял участие в боях на Черноморском побережье Кавказа. Сначала оборонительных, за что был награжден медалью «За оборону Кавказа», а затем, в 1943–1944 годах, участвовал в освобождении Туапсе, Новороссийска, Керчи, Севастополя, Одессы и всего Причерноморья. Об этом периоде своей военной жизни Лёня мне никогда не рассказывал. Думаю, по той причине, что в отличие от сухопутных фронтов, где кровопролитные сражения продолжались вплоть до мая 1945-го, боевые действия Черноморского флота и его морской пехоты не шли ни в какое сравнение с тем адом, через который Иоан Борко прошел в 1941–1942 годах.

Возвращаясь к нашему первому разговору, добавлю, Лёня тогда сказал, что за участие в боях под Керчью он был представлен к награждению орденом Ленина, но Сталин, когда ему доложили о представленных к наградам морских пехотинцах, произнес: за поражения не награждают. Лёня упомянул об этом как о факте, без комментариев. Но в моих разговорах с участвовавшими в войне коллегами по работе не раз возникала тема несправедливого – случайного или по умыслу – распределения боевых наград. Эта тема сама собой всплыла в моём стихотворении «Последний ветеран», родившемся несколько лет назад. Там есть такие строки:

О родине – особо. Все круги  
Он с ней прошел и стал ее судьбою.  
Он выполнил свой долг. Ну а ее долги  
И счет своих обид он унесет с собою.

Вероятно, что-то похожее на чувство обиды таилось и в глубинах Лениной души. Таких «недонаграждённых» ветеранов Великой Отечественной войны было очень много. И всё же, пусть с огромным опозданием и лишь отчасти, справедливость восторжествовала. В 1985 году, в честь 40-летия победы над нацистской Германией, орденом Отечественной войны 1-й степени были награждены все оставшиеся в живых фронтовики, которые лично участвовали в боевых операциях. Получил его за месяц до своей кончины и лейтенант в отставке Иоан Абрамович Борко.

По завершении войны Лёня прослужил еще более полутора лет в одном из подразделений Черноморского флота, которое

базировалось в Одессе. Там и произошло первое большое событие в его послевоенной жизни. В 1946 году он и Эльза Моисеевна Кац, с которой он познакомился в Ростове еще до войны, создали семью, а в 1947-м у них родилась дочь, нареченная Еленой в память об Этель.

Демобилизовавшись в том же году, Иоан Борко вернулся в Ростов и устроился работать инженером на заводе «Метиз». В 1958 году он перешел в крупнейший трест Ювэнергочермет – вначале старшим, а потом ведущим инженером. Здесь он стал признанным специалистом по установке, наладке и ремонту энергетического оборудования, обеспечивающего непрерывное металлургическое производство. По своей натуре Иоан Абрамович был перфекционистом – человеком, стремящимся довести любую работу до совершенства. За десять лет работы в этой организации он объездил многие заводы металлургической отрасли в южных районах страны – в городах Донбасса, в Волгограде, Днепропетровске, Невинномысске и т. д. Его работа многократно отмечена премиями и благодарностями.

К тому же он был человеком неутомимым и помимо производственных дел, считал своим долгом и призванием участвовать в общественной жизни. Масштаб его деятельности на этом поприще был очень широким – от своего предприятия до города и области. Перейдя в 1968 году на пенсию, он целиком переключился на общественную работу, несмотря на то что последствия контузии всё больше давали о себе знать. Особое внимание он уделял проблемам ветеранов и военно-патриотическому воспитанию молодежи. И.А. Борко был членом президиума Ростовской городской секции Советского комитета ветеранов войны и одной из районных секций Комитета ветеранов. 23 октября 1982 года ему исполнилось 75 лет, и он получил много поздравительных адресов. Среди них, вряд ли ошибусь, самым дорогим для него было послание, подписанное «по поручению товарищей-черноморцев» Председателем Ростовского областного Совета ветеранов Черноморского флота Героем Советского Союза Н.М. Щербаковым.

В 1960-е и в следующем десятилетии я два или три раза приезжал в Ростов как лектор Всесоюзного общества «Знание». Я читал лекции по международным проблемам, как правило, в аудиториях, насчитывавших нередко сотни слушателей. Мой дядя неизменно присутствовал на них. Думаю, не только потому, что лектором был любимый племянник, но и по своей природной любознательности, желанию получить дополнительные сведения

о событиях международной жизни, которой он всегда живо интересовался.

Приезжая в Ростов, я всегда бывал у него дома. В первый мой приезд Леня вместе с Эльзой Моисеевной и дочкой Леной жили в двухкомнатной квартире многоэтажного дома, расположенного в новом районе города, возведённом после войны. Он был оживлён и, как встарь, не упускал случая пошутить. Но, по словам моей двоюродной сестрёнки, с годами характер папы изменился, он часто бывал раздражительным, жить и общаться с ним становилась всё труднее. Кончилось тем, что супруги развелись, после чего Лёня купил себе однокомнатную квартиру в кооперативном доме. В мой последний приезд они жили уже порознь. Встретились мы, однако, в той же квартире, где я уже побывал и где теперь жили Елена с мамой. Из разговора я понял, что общаются они с Лёней постоянно, к тому же их дома находятся неподалеку. Помню, я порадовался тому, что три человека приняли разумное, всех устроившее решение, позволившее им сохранить нормальные, по сути, семейные отношения.

Последняя, как оказалось, прижизненная, встреча с Лёней произвела на меня не скажу тягостное, но грустное впечатление. Если Лена посетовала на то, что характер отца очень изменился, то как же я должен был оценить масштаб перемены по сравнению с довоенными 30-ми. Тогда ему было немногим более тридцати; теперь же в мой первый приезд Лёне было под шестьдесят, в последний – около семидесяти. Среди детей Иды Григорьевны и Абрама Израилевича Лёня был самым открытым, общительным и весёлым. Юмора ему было не занимать, и он даже позволял себе подтрунивать иногда над отцом, абсолютным и непререкаемым авторитетом в доме. Великая Отечественная война, которую он прошёл как боевой офицер от начала до конца, и особенно тяжёлая контузия, полученная им в одном из боев, сказались на его физическом состоянии и характере. Когда боли и недуги отпускали, в нем просыпались жизненная энергия и чувство юмора, но это случалось все реже. Последние три года ко всему добавилась онкология. Он подолгу лежал в госпитале, в клиниках и скончался 4 июля 1985 года. Провожали его в последний путь как ветерана Великой Отечественной войны. Провожали родные (и я среди них) и его фронтовые друзья. На поминки они пришли в матросских робах, из-под которых виднелись тельняшки. Никаких боевых орденов и медалей, лишь справа на груди – памятный знак морской пехоты Черноморского флота.

\* \* \*

Иоан Абрамович Борко прожил 78 лет. Для его поколения это очень много. Вспомним цепь событий, вторгшихся в жизнь этого поколения: Первая мировая война, две революции в 1917-м, Гражданская война; насильственная коллективизация крестьянских хозяйств, сопровождавшаяся жутким голодом в 1933 году и высылкой миллионов семей на Урал и в Сибирь; стремительная индустриализация страны, в том числе строительство многих десятков оборонных предприятий; террор 30-х и создание необъятной лагерно-тюремной зоны под названием ГУЛАГ; наконец, Великая Отечественная война, начавшаяся военной катастрофой и закончившаяся победой «со слезами на глазах». Страшная, запредельная цена этих событий – примерно 50 миллионов жертв, не считая инвалидов войны и труда, сломленных людей, которые ушли задолго до того, как был исчерпан их жизненный потенциал. Лёне повезло, и он это знал. Его фраза: «Я получил высшую награду – жизнь» (на войне), – осталась в моей памяти навсегда.

Вернувшись с войны, Иоан Абрамович Борко хотел распорядиться собой так, как считал нужным. Мне кажется, что он был солдатом не только на войне, но и по жизни. Солдатом с большой буквы. У него были свои слабости, он совершал ошибки, шёл на компромиссы. В этом смысле он был нормальным человеком. Отличало же его от очень многих то, что ему было органически присуще чувство долга. Иоан Борко принадлежал к той категории людей, которые, уверовав во что-то в юные годы, следуют своей вере, своим убеждениям всю жизнь. Веруют и действуют согласно вере, несмотря на то что партия, в которую он вступил в двадцатилетнем возрасте, эту веру предала. Осознавал ли он это? Ответ на этот вопрос он унес с собой.

### **Рита Борко (1914–2003): Воинские эшелоны шли с интервалами в полчаса-час**

Она была единственной из братьев и сестер, у кого не было никаких воспоминаний о дореволюционной жизни. В мае 1919 года, когда ей было пять лет, на ее глазах была арестована белогвардейцами Этель, а через несколько месяцев ей сказали, что старшей сестры нет в живых. Жизнь и смерть Этель определили линию жизни Риты: как сестра, принять ту же веру и идти

к той же цели – коммунизму. Как личность она формировалась в 20-е – 1930-е годы, в советской школе, под песни о романтике Гражданской войны, призывы к бдительности и борьбе против внутренних и внешних врагов первой страны социализма, в условиях нарастающего культа Сталина. Так что коммунизм и Сталин были для нее неразделимы. А драматические обстоятельства ее личной жизни, а также первые сомнения, возникшие еще до смерти «вождя всех времен и народов», и особенно шок, вызванный докладом Хрущева на XX съезде КПСС, стали источником глубокой внутренней коллизии, которая была одной из причин тяжелой болезни, омрачившей последние годы ее жизни.

\* \* \*

Рита была поздним ребенком. Она родилась, когда Иде Григорьевне было уже 40 лет. Последний ребенок и всеобщая любимица. Ее стремление быть в центре событий и центром внимания, видимо, зародилось в самом раннем детстве и сохранилось до старости. В 1921–1929 годах Рита училась в средней школе, по тем временам девятилетке. В удостоверении об окончании школы отмечено, что, помимо приобретенных знаний и навыков, она активно участвовала в общественнополезной работе. Местный комитет школы № 1 им. К. Маркса постановил «за лучшую общественную работу и успешное окончание школы премировать Борко Р. посылкой ее во втуз» (высшее техническое учебное заведение). Но для поступления в институт надо было иметь трудовой стаж. Рита приобрела его, работая у станка в кооперативной артели «Прогресс», выпускавшей картонажную продукцию. В 1932 году Рита поступила в Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, и весной 1937 года ей был вручен диплом с отличием, который удостоверял, что она окончила полный курс учебы по специальности «вагонное хозяйство» и ей «присвоена квалификация инженера-механика железнодорожного транспорта». Решением государственной комиссии по распределению окончивших вузы дипломированных специалистов Борко Рита Абрамовна была направлена в распоряжение Народного комиссариата путей сообщения (НКПС).

Однако ее судьба и сама жизнь внезапно оказались под ударом. В самом конце учебы – весной или в начале лета 1937 года – был арестован ее жених, бакинский корреспондент газеты «Известия» Яков Гик. На экстренном комсомольском собрании

института она была исключена из комсомола за «связь с врагом народа». В обстановке пропагандистской истерии, которую развязали власти, и панического страха, охватившего всю страну, собрание никакого другого решения принять не могло.

Спасло её чудо. В ответ на гигантскую волну писем со всех концов страны в январе 1938 года состоялся внеочередной Пленум Центрального Комитета ВКП(б) с уникальной в её истории повесткой: «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков». Сталин потребовал устранить «перегибы» в борьбе с врагами народа, выразившиеся в «необоснованных» и массовых исключениях из партии честных коммунистов. Вина за аресты и расстрелы была возложена на главу Народного комиссариата внутренних дел Николая Ежова. Он был снят с работы и вскоре арестован, предан суду и расстрелян. Десятки тысяч узников НКВД были освобождены, и среди них Яков Гик. Рита немедленно подала заявление с просьбой пересмотреть ее дело. Рассматривались такие заявления специальными комиссиями. Копию документа, в котором говорилось о пересмотре ее дела, Рита хранила всю жизнь. Вот он: «Протокол № 15 от 21/II 1938. При разборке дела обвинение предъявленное не подтвердилось. Решением Азово-Черноморского крайкома ВЛКСМ – отменить и в КСМ с 1930 г. – восстановить. Пред. комиссии Ильин».

О дальнейших ее отношениях с Яковым Гиком и его собственной судьбе можно сказать очень мало. Он был восстановлен на прежней работе и в 1938 году приезжал в Казань. Рита встретила его холодно и, видимо, в жёсткой форме отвергла все попытки вернуться к прежним отношениям. Почему? После исключения из комсомола она несколько месяцев жила в постоянном ожидании ночного визита «энкаведешников». Вселившееся в её душу чувство жуткого страха, вероятно, вытеснило всё, что ее связывало с Яковым, а если что-то и осталось, то ушло на дно. Всеми её словами и поступками на встрече с ним руководил инстинкт самосохранения. Яков уехал, изредка писал ей письма, а в 1940 или 1941 году вновь был арестован (НКВД, как правило, не забывал тех, кто однажды попал в его сети) и либо расстрелян, либо погиб в лагерях. Страх остался на всю жизнь. Тем удивительнее, что память о первой и, вероятно, единственной любви Рита хранила всю жизнь. В её архиве я обнаружил отдельную папочку с надписью «Только мое личное». В ней лежало несколько фотографий, где



они изображены вместе во время отдыха в Хосте, одном из курортов на Черноморском побережье Кавказа, письмо и пара телеграмм Якова и почти два десятка стихотворений, посвященных Рите, в том числе и печальной для них встрече в Казани.

Что помогло ей выстоять в те восемь или девять месяцев, которые прошли между исключением и восстановлением в комсомоле? Поддержка семьи – родителей и брата Лёни, с которыми она проживала в Ростове; Ефима и Нади, которым она, не сомневаясь, всё рассказала, приехав летом в Москву, чтобы получить в НКПС направление на работу. Главной же опорой был ее собственный характер, подкрепленный надеждой на то, что ошибка будет исправлена. Получив направление в управление Казанской железной дороги (КЖД), она отправилась туда и 2 октября 1937 года была зачислена на работу инженером технического отдела вагонной службы управления КЖД. В те годы Риту отличали огромная энергия, работоспособность и волевой характер. Она поразительно быстро освоила практику управления вагонным хозяйством дороги, растянувшейся на полторы тысячи километров от подмосковной станции Куровская почти до Свердловска (Екатеринбурга).

Это не осталось незамеченным начальством. Летом 1939 года энергичного молодого специалиста назначили заместителем начальника вагонной службы КЖД, а через год – начальником технического отдела. Было Рите всего 26 лет. В мае 1941 года она была принята в ВКП(б). До войны оставался один месяц.

С началом Великой Отечественной войны КЖД, как и весь железнодорожный транспорт, была переведена на военное положение. А в сентябре она забуксовала. Это был кратчайший путь, связывавший фронт с Уралом и Сибирью, но почти на всём своем протяжении «Казанка», как её обычно именовали, была одноколесной. Поезда могли разминуться только на станциях или специальных разъездах, где для встречных составов были проложены две дополнительные колеи. На запад с интервалами в полчаса-час шли воинские эшелоны, на восток – составы с эвакуируемым заводским оборудованием, вместе со специалистами и кадровыми рабочими, отчасти с семьями, а также пассажирские поезда или составы вагонов-теплушек с беженцами из захваченных немецкими войсками областей и жителями прифронтовой полосы. Встречный поток нарастал; не только большие станции, но и многие разъезды были забиты составами. В какой-то момент дорога встала.

По приказу Государственного комитета обороны, подписанному Сталиным, на КЖД была экстренно создана бригада специалистов, которой было поручено в кратчайший срок ликвидировать закупорившие дорогу «пробки» и восстановить бесперебойное движение поездов. Члены бригады имели почти неограниченные полномочия, но и сами находились под угрозой самых суровых санкций, если приказ не будет выполнен. Рита отвечала за возобновление движения на одном из участков КЖД. Бригада уложилась в срок, но еще полтора месяца контролировала выполнение графика движения поездов в обе стороны. Всё это время Рита находилась на одной из узловых станций КЖД, насколько я помню, станции Канаш, раз в 7–10 дней приезжая на сутки домой – отмыться, отоспаться и сменить белье. Ей было 27 лет, много меньше, чем тем, кто оказался в её подчинении, в основном мужикам, проработавшим на железной дороге по десять, пятнадцать, а то и двадцать лет. Но она сумела найти общий язык с ними, поезда пошли. В Казань Рита вернулась в конце ноября, после того как по всей КЖД было восстановлено движение в обе стороны. Все члены бригады были представлены к награждению орденами и медалями, в частности Рита – к ордену Трудового Красного Знамени. Однако награждение было отложено – скорее всего, так решил Сталин – до окончания войны.

Лично для Риты следствием успешного выполнения этого задания стал переход на партийную работу. В условиях войны, требовавшей максимальной централизации управления, партийные комитеты на всех уровнях (предприятие, район, город, область, автономные и союзные республики) стали центрами принятия всех оперативных решений и контроля над их исполнением. В апреле 1942 года она была назначена заведовать отделом транспорта и связи Казанского городского комитета ВКП(б). Необычное и смелое решение, если принять во внимание ее возраст – 28 лет и всего лишь годовой партийный стаж. В ее ведении находилась работа партийных организаций Управления КЖД и Казанского железнодорожного узла, Казанского порта, одного из крупнейших на Волге и Каме, и городского общественного транспорта, ежедневно доставлявшего на работу и с работы около 150 тысяч людей, трудившихся на оборонных и других предприятиях, также выпускавших продукцию для фронта. Через год, продолжая заведовать отделом, она была назначена помощником первого секретаря горкома партии по всем вопросам работы транспорта и связи.

Самой убедительной оценкой ее деятельности служит то, что она проработала на этих должностях почти семь лет, до февраля 1949 года. В военные годы ее обычный рабочий день продолжался 12–14 часов и, как правило, завершался за полночь. Нередко она уезжала и в единственный день отдыха – воскресенье. В начале 70-х годов, приехав в Казань, я встретился с Марией Михайловной Зиновьевой, ближайшей помощницей Риты в те далекие времена. Она хорошо знала меня, потому что в военные годы я часто приходил в горком партии, где в небольшой столовой Рита отоваривала продовольственные карточки. Работать с Ритой Абрамовной, призналась Мария Михайловна, было нелегко; она отличалась огромной энергией и работоспособностью, была очень организованным, можно сказать, пунктуальным человеком и предъявляла такие же требования ко всем, кто работал под ее началом, подчас в очень жесткой форме. У вашей тетушки был крутой характер, но и годы были очень суровые, заключила моя собеседница.

По окончании войны большую группу железнодорожников, обеспечивших связь Москвы и фронта с глубинными районами страны, наградили орденами и медалями. В их числе была и Борко Рита Абрамовна, награжденная орденом «Знак Почета». Она также была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Прошло более полувека, и в 2002 году высшими органами российской власти было принято решение приравнять железнодорожников, которые обеспечивали воинские перевозки, к участникам той далёкой войны. Так за год до своей смерти Р.А. Борко получила удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.

А мы возвратимся назад. В жизненной программе Риты партийная карьера не значилась. Так сложились обстоятельства. Привлекала же её научная и преподавательская деятельность. Ещё до войны она пыталась поступить в аспирантуру Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, но не получилось. В соответствии с законом ей надлежало проработать три года там, куда она была направлена по окончании вуза. Теперь, когда война закончилась, Рита решила вернуться к своим давним замыслам. В июне 1947 года она подала заявление с просьбой зачислить ее в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, расположенную в Москве, но получила отказ на том основании, что у неё нет «необходимого по условиям приема опыта руководящей партийной работы». В мае 1948 года она направила заявление в Академию железнодорожного транспорта, на что последо-

вал короткий ответ, что в приеме «в текущем году отказано». Таков же был результат повторной попытки попасть в эту академию через два года. На этот раз отказ был мотивирован тем, что Борко Р.А. не соответствует условиям приема «по занимаемой должности и стажу работы на железнодорожном транспорте».

Между тем под уклон пошли и служебные дела. В феврале 1949 года Рита была переведена на должность заведующей отделом городского хозяйства Казанского горкома ВКП(б), а через два года отстранена от партийной работы и направлена туда, где началась её трудовая жизнь в Казани, на железнодорожный транспорт. В феврале 1951 года она была назначена начальником организационно-штатного сектора управления КЖД, а в ноябре – заместителем начальника технического отдела, того самого, который она, молодой, «неоперившийся» специалист, возглавила одиннадцать лет назад. Это было крушение так ярко начавшейся служебной карьеры и тяжелейший удар по самолюбию.

Причины этих перемен лежали не в ней самой, её работе, характере, служебных или личных отношениях. На ней, как и на большинстве советских евреев, сказалась антисемитская политика, которую Сталин стал проводить вскоре после окончания войны, особенно с 1948 года, когда началась зловещая по содержанию и хамская по форме пропагандистская кампания против «безродных космополитов». В 1949 году, «органами» был разгромлен Еврейский антифашистский комитет, объявленный подпольной антисоветской организацией, была расстреляна большая группа известных еврейских писателей, поэтов и общественных деятелей. Все эти годы в стране шел нарастающий процесс вытеснения евреев с руководящих должностей, увольнений с предприятий, находившихся под грифом секретности и т.д. Антисемитский дух этой политики, как и причины перемен в собственной жизни, стали понятны Рите достаточно быстро, но говорить об этом вслух было равносильно самоубийству. Единственным, с кем она могла говорить откровенно, был старший брат Ефим, с которым она виделась один-два раза в год во время служебных командировок в Москву. Но я полагаю, что даже наедине с собой она не решалась произнести вслух имя человека, который был инициатором этой политики. Такова была сила страха, сковавшего людей после 1937 года. И не только ужаса перед Лубянкой, но и страха разрушить впитанный с ранних лет культ Сталина, веру в его непогрешимость или по крайней мере в мистическую власть над событиями и людьми. Тем не менее именно тогда

в монолитной системе её верований и убеждений появились первые глубокие трещины.

Возможно, была и сопутствующая причина столь резкого поворота в её служебной карьере. Об этом скорее намекнула, чем сказала, в разговоре со мной Мария Михайловна. Она имела в виду авторитарный характер Риты и «комиссарский» стиль работы. Характер был дан ей от рождения, а стиль она усвоила в школе комсомольского авангардизма, где кумиром был Николай Островский, а настольной книгой – «Как закалялась сталь». Это было в духе времени и высоко оценивалось в годы войны, особенно в критический период. Но позже, видимо, в служебных отношениях Риты Абрамовны Борко стали возникать коллизии, у нее появились недоброжелатели, и когда представился случай, они повлияли на ее судьбу.

В должности заместителя технического отдела Рита проработала более четырех лет. Судя по сохранившимся в архиве документам, главным направлением её усилий стало повышение эффективности использования вагонного хозяйства. В частности, она была соавтором рационализаторского проекта, рекомендованного к применению Министерством путей сообщения. Она же была ответственным редактором издаваемых техническим отделом «Информационно-технических писем», в которых публиковались и пропагандировались рационализаторские предложения работников вагонного хозяйства КЖД.

В начале марта 1953 года умер Сталин. Не прошло и месяца, как была освобождена и реабилитирована группа выдающихся врачей, в основном евреев, незадолго до его кончины арестованных по обвинению в подготовке убийства руководителей партии и государства. Было объявлено, что гибель гениального актера и председателя Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса была организована «преступной» группой сотрудников Министерства госбезопасности. В июле был «разоблачен», арестован, отдан под суд и вскоре расстрелян всемогущий куратор карательных органов Лаврентий Берия. Стали возвращаться на старые или устраиваться на новые места работы уволенные специалисты-евреи. В 1955 году Рите Абрамовне также было предложено вернуться на партийную работу. Она была назначена заведующей Промышленно-транспортным отделом Кировского райкома КПСС, одного из крупных промышленных районов Казани. В сущности, это было молчаливое признание того, что четыре года назад она была уволена из горкома партии по мотивам, не

имеющим никакого отношения к её деловой репутации. С работой она справлялась успешно, и ее дважды переизбирали на ту же должность. Но она всё больше задумывалась об уходе с партийной работы и переезде в Москву. Сдерживало её только то, что на руках была престарелая, тяжело больная мать. В августе 1960 года, в возрасте 86 лет, Ида Григорьевна скончалась. Рита похоронила ее в ту же могилу, где покоился прах отца, Абрама Израилевича. Теперь она могла заняться решением своих дел.

Первым шагом был переход с партийной работы на государственную службу. В ноябре 1960 года Борко Р.А. была зачислена в штат Татарского совета народного хозяйства, в качестве начальника отдела охраны труда и техники безопасности. Советы народного хозяйства (совнархозы) как региональные центры управления экономикой появились совсем недавно, в 1957 году. Дело было новое и, как надеялась Рита, более перспективное с точки зрения устройства на работу в Москве. Одновременно она занялась хлопотным делом – обменом своего казанского жилища на московское. Продажа и покупка жилья в домах, принадлежащих государству, была в советские времена запрещена и рассматривалась как уголовное преступление. Но поскольку жильё в разных местностях и разного размера имело разную ценность, оно оценивалось в рублях. Так что фактически рынок жилья существовал. Нелегальная цена жилья в Москве была в несколько раз выше, чем в других крупных городах страны. Свою казанскую двухкомнатную квартиру в Казани Рита обменяла в Москве на комнату в коммунальной квартире, где кроме неё проживали еще две семьи. В августе 1961 года она уволилась с последнего места работы и вскоре отбыла в Москву.

Так закончился 24-летний период ее жизни в Казани. Рита приехала туда как молодой специалист, полный веры и энтузиазма. В мае 1940 года ее наградили значком «Ударнику Сталинского призыва», и она действительно была образцовым представителем первого сталинского поколения молодежи в стране «победившего социализма». А затем война и тяжкое бремя ответственного партийного работника, контролирующего в Казани состояние важнейшей отрасли военной экономики – транспорта. Зная всё, что произошло позже, можно с полным основанием сказать, что семь военных и послевоенных лет, с 1942 по 1949-й, были пиком ее трудовой деятельности, её самореализации. Дальше пошли иные времена, годы не зависевших от неё невзгод и не заслуженных ею ударов. Рита пережила со всей страной такие драматические со-

бытия, как смерть Сталина, разоблачение его преступлений и развенчание его культа, конец всевластия карательных органов и начало нового периода в советской истории, оставшегося в ее летописи под названием Оттепель. Для Риты это были годы осмысления произошедших перемен, начавшейся переоценки ценностей и поиска нового смысла жизни.

В 1961 году начался московский этап её жизни, разительно отличавшийся от казанского периода. Рите исполнилось 47 лет. Возраст зрелости. Взгляды и поступки определяются не только, а зачастую не столько идеалами, сколько своим жизненным опытом. Ушло в прошлое время служения, пришло время службы. Самостоятельное и гораздо более важное, чем в прошлом, место в решениях и действиях заняли личные интересы и предпочтения – отношения с родными и друзьями, быт, досуг.

В сентябре 1961 года Рита приступила к работе в Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) РСФСР, в должности инженера отдела автоматизации и механизации производства. В те годы шла непрерывная в общем-то хаотическая реорганизация управления народным хозяйством всей страны, в том числе в РСФСР. Менялись отделы, в которых она работала, и их названия. Менялись ее должности. С января 1963 года – старший инженер Отдела нормирования расхода материалов Главного технического управления ВСНХ; с августа 1964 года – старший инженер Отдела машиностроения Главного технического управления СНХ РСФСР; с августа 1965 года – старший инженер Отдела специального оборудования Главного управления химического и нефтяного машиностроения СНХ РСФСР. В январе 1966 года совнархозы были ликвидированы, и Рита перешла в Госплан РСФСР, где и проработала более девяти лет в должности старшего инженера Отдела новой техники и планирования научно-исследовательских работ. Работала она, судя по множеству благодарностей и премий, добросовестно. Это качество было в крови, и опыта ей было не занимать. Но в общем она уже дослуживала. В апреле 1975 года, в возрасте шестидесяти одного года Рита Абрамовна Борко вышла на пенсию.

Помимо производственной работы все эти годы Рита активно занималась общественной деятельностью. Она принадлежала к той части своего поколения, которая считала это своим долгом и делом чести. Пионерка – в школе, комсомолка – в школе и институте. И даже как партийный функционер, она брала на себя дополнительные общественные обязанности. В 1947–1951 годах

была депутатом Казанского городского совета депутатов трудящихся. Особенно ее привлекала пропагандистская деятельность. Ещё в Казани она вступила во Всесоюзное научно-просветительское общество «Знание» и начала читать лекции в учреждениях и на предприятиях города. В Москве она стала активнейшим лектором одного из районных отделений общества «Знание». Круг её тем был весьма широк – в общем его можно было бы обозначить как «актуальные вопросы внутреннего и международного положения СССР». Рита продолжала читать лекции и после выхода на пенсию, но подготовка к ним требовала больших усилий, и вскоре она прекратила эту деятельность, полностью переключившись на личную жизнь. Если не считать таких непереносимых забот, как быт и медицина, то в сферу её главных интересов и занятий входили культура, туризм, общение с родными и друзьями.

Приобщение к миру российской и мировой культуры стало её *идефикс* с момента переезда в Москву. Рита стремилась воспринять то, что она недополучила в предыдущей провинциальной жизни. На первом месте был театр, прежде всего драматический. И старый, традиционный – МХАТ, Малый, Вахтангова, и новый – «Современник», Ленком эпохи Марка Захарова, даже Таганка Юрия Любимова и Владимира Высоцкого. Ей не всё нравилось в авангардистском театре, но воспринимался он ею с любопытством. Она была равнодушна к классической музыке, но с удовольствием слушала оперу и обожала оперетту. Любила эстраду. Не обошла вниманием столичные музеи – исторические, научно-технические, литературные, дворцовые ансамбли Москвы и Подмосковья. Не пропускала ни одной значительной выставки экономического или страноведческого характера, особенно те, что проходили на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Такая интенсивная жизнь продолжалась почти до восьмидесяти лет и пошла на спад только после того, как её стали одолевать болезни, прежде всего сердечно-сосудистые.

С конца 50-х годов в стране стал развиваться зарубежный туризм. Правда, выезжать можно было только в составе туристской группы и, как правило, не чаще одного раза в два года. К тому же надо было получить положительную характеристику и рекомендацию с места работы. Но дверь в зарубежье приоткрылась, и Рита сполна воспользовалась этим. За пятнадцать лет, с 1959 по 1974-й, она побывала почти во всех дружественных социалистических странах Европы – в Болгарии, Венгрии, ГДР, Румынии и Чехословакии. Она собиралась съездить и в Польшу, но по ка-



кой-то причине поездка не состоялась. Из западноевропейских стран ей удалось побывать только в Италии. За давностью лет я уже не помню в деталях её впечатления от поездок, но в целом они подтверждали известную русскую поговорку: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Нельзя сказать, что Рита была совершенно не подготовлена к тому, с чем она встретилась в этих странах. В 60-е и 70-е годы нас отделял от внешнего мира уже не «железный занавес», а полупрозрачная и к тому же дырявая занавеска. То, что в капиталистических странах Европы уровень жизни выше, чем в СССР, Рита знала. Но контраст между изобилием потребительских товаров в итальянских магазинах и нескончаемыми очередями за дефицитом в магазинах столичных (не говоря уже о провинции) ее поразило, равно как и обилие небольших ресторанчиков и кафе, высокий уровень обслуживания, климат живущей улицы и общения между людьми. По Ритиным рассказам я понял: что ей было неприятно убедиться в том, что по многим параметрам, определяющим уровень и качество жизни, Советский Союз заметно уступает таким социалистическим странам, как Чехословакия, Венгрия и особенно ГДР. Однако от разговора о причинах, а тем более от каких-либо обобщений, ставивших под сомнение идеологию и политику партии, с которой была связана её жизнь, Рита уклонялась. Я и не настаивал на этом.

Мне почти ничего не известно о её московских друзьях. Были две-три женщины, с которыми Рита познакомилась в Москве и постоянно общалась почти до конца своей жизни. Они, вместе или порознь, составляли ей компанию в театрах и на выставках, возможно, в туристических поездках. Но я очень сомневаюсь в том, что Рита впускала их в лабиринты своей души. Человеком она была закрытым от природы, да и жизнь приучила к повышенной осторожности. От студенческих лет друзей не осталось. Если они и были, то исчезли в одночасье, после того как проголосовали вместе со всеми за её исключение из комсомола.

Друзей она нашла в военные годы в Казани, трёх женщин – Надежду Григорьевну Грекову, Брониславу Марковну Мексину и Милю Шамсиеву. Все они работали в партийных или государственных органах, неоднократно и по разным деловым поводам пересекались с Ритой, деловые отношения переросли в личные, и они стали друзьями. Бронислава Марковна, возглавлявшая в годы войны Бауманский райком партии в Казани, была старше и опытнее Риты и, насколько я могу судить, оказала на неё значи-

тельное влияние. Надежда Григорьевна приехала в Казань из Минска, где она занимала какой-то важный пост, то ли государственный, то ли партийный. Миля Шамсиева (отчества не помню) работала секретарем Президиума Верховного совета Татарской Республики. Чуть моложе Риты, она была самой близкой ее подругой. Поразительный пример дружбы двух женщин, воспринимающих друг друга как любимых сестер, между которыми нет никаких тайн. После переезда в Москву Рита встречалась со своими подругами крайне редко, но они интенсивно переписывались и периодически перезванивались, особенно Рита и Миля. Все три женщины ушли из жизни в 90-е годы, последней, в 1999 году, – Миля.

Что касается ближайшей родни, то никто из ее братьев и сестер не был так крепко привязан к семейству Борко, как Рита. Можно объяснить это отсутствием собственной семьи, и в этом была доля истины. Но я всё же думаю, что это качество она унаследовала от Иды Григорьевны. У меня есть для этого веское основание. Летом 1931 года, когда мне было два с половиной года, я заболел болезнью крови. Врачи, в том числе срочно собранный консилиум известных ростовских педиатров, не могли определить, что это за болезнь, мне становилось все хуже. Спасла меня Рита. Было ей тогда всего семнадцать лет. Однако именно она нашла старого врача-кардиолога, уже не практиковавшего, и привезла его к нам домой. Он сказал, что это редчайший случай заболевания крови – болезнь Верльгофа – и назначил правильное лечение. Я остался жив. Об удивительном её отношении к родителям можно рассказывать долго. Скажу лишь, что в 1941 году она спасла им жизнь. В октябре, когда нацистские войска приближались к Ростову, они выехали в Казань. Выехали – и затерялись в миллионных потоках людей, устремившихся на восток, спасаясь от фашистской оккупации. Рита нашла их в конце декабря на станции Канаш в 150 км от Казани. Нашла и накануне Нового года привезла домой – больных, отощавших, в истрёпанной и грязной одежде, кишашей вшами. Они постепенно пришли в себя. Абраму Израилевичу судьба отвела недолгую жизнь, в 1944 году он скончался от рака, а Иде Григорьевне дочь подарила почти 20 лет – она скончалась в 1960-м.

После ее смерти Рита весь запас нерастроченной любви перенесла на братьев – Ефима и Лёню. В 70-е годы главным праздником старшего поколения семейства Борко стало летнее воссоединение в загородном домике Ефима. Место было хорошее – посе-

лок около станции Зеленоградская, по Ярославской железной дороге, в 40 километрах от Москвы. Замысел этот, скорее всего, принадлежал Рите, а уж его исполнение было возможно только при ее участии. Выйдя на пенсию, Лёня почти каждое лето, обычно в июле–августе, стал приезжать в Москву, и они тут же начинали собираться на дачу. Это был спектакль, в котором кроме них неизменно участвовал я. Ефиму было за семьдесят, Лене – около семидесяти, Рите – под шестьдесят. Так что физическая нагрузка почти целиком ложилась на меня. Я был разнорабочим: паковал вещи, которые надо было взять на дачу, загружал их в заказанный «москвич-пикап», в который усаживались и мы, разгружал его возле дачной калитки и переносил всю поклажу в дом. Покончив с этим, я брался за расчистку дорожек, совершал рейды к колодцу, чтобы заполнить водой две огромные железные бочки снаружи и несколько ведер на веранде, выполнял мелкие ремонтные работы. А мои дядюшки и тетюшка начинали заботиться друг о друге. Каждый делал это по-своему: Ефим сидел в кресле и давал советы, Лёня пытался что-то сделать во имя общего блага, а Рита отвергала советы старшего брата и жестко пресекала попытки самостоятельности – второго. Сама она занималась сразу всем: раскладывала привезенные вещи, мыла перезимовавшую посуду, готовила еду для голодных мужчин и выговаривала Лёне за неуместные шутки, которые он отпускал по каждому поводу. Выглядело это трогательно и комично. Я на даче ночевал редко, время от времени мы с Леной наезжали к ним по воскресеньям, а осенью я вновь перевоплощался в разнорабочего, повторяя те же операции, что и при отъезде из Москвы, но теперь уже для возвращения в город.

А потом к ним пришло время болезней и больниц. Здоровье Риты тоже пошло на спад, но тревожилась она не столько о себе, сколько о братьях. Сначала о Лёне, у которого врачи обнаружили злокачественную опухоль. Она вела интенсивную переписку и часто перезванивалась с его дочерью Леной и другом-фронтвиком Григорием Львовичем Слуцким. Ей все казалось, что брата лечат «не те» и «не так». В 1983 году она даже съездила в Ростов и повстречалась со всеми, кто имел (или, по ее мнению, должен был иметь) какое-то отношение к лечению Лёни. Она отгоняла от себя мысль о его возможной кончине. Но болезнь была неизлечима, и летом 1985 года мы вдвоём приехали на его похороны. Это был первый удар, потрясший ее и без того изношенную нервную систему и ускоривший развитие ишемической болезни. Позже всё

это повторилось с Ефимом, о чём я рассказал в посвященном ему очерке.

О душевном состоянии Риты в последнее десятилетие говорит ее новогоднее письмо «моей дорогой Милечке», не отправленное, но чудом сохранившееся в архиве. Судя по его содержанию, оно было написано во второй половине декабря 1994 года. Вот этот фрагмент: «Милая Казань, где прошли мои лучшие годы жизни – молодость, энергия, вера в лучшее будущее. Наша беззаветная преданность делу. Но это никому не нужно и никто не вспомнит. Будем все помнить мы с тобой». В 1999 году скончалась и Миля – последний близкий ей человек из её поколения.

О последних годах её жизни рассказывать почти нечего. Это было постепенное угасание. Уходили последние физические и душевные силы. 23 мая 2003 года Рита скончалась, немного не дожив до 89 лет. Скончалась, как и Ефим, во сне.

### **Надежда Борко (1903–1950): «Тихий Дон» в 1918 – 1920-м**

В отличие от родителей, братьев и младшей сестры Риты, проживших достаточно долго, моя мама прожила очень короткую жизнь. Она и до войны не отличалась крепким здоровьем, а в военные годы перенесла тяжёлое воспаление легких, давшее осложнение на сердце. Пока шла война, ее, как и великое множество людей, поддерживало особое состояние духа, невесть как возникающее в самую трудную пору и позволяющее вынести то, что было бы невозможно вынести в спокойные времена. Как назвать этот уникальный механизм выживания человека в тяжелейшей ситуации – чувство долга? Воля к жизни? Так или иначе, мама держалась. Но в первый же послевоенный год слегла, вскоре ушла на пенсию по инвалидности, периодически лечилась в больницах. В последней из них она и скончалась в сентябре 1950 года. Было ей 47 лет.

Родилась Надежда Борко в Бердичеве, была уже третьим ребенком, и звали ее тогда Нахомой. Новое имя появилось, скорее всего, когда она начала учиться. Но об этом позже. В семье она была самым спокойным ребенком. Это мое предположение, к которому я пришёл, в течение многих лет общаясь и воленс-ноленс, сравнивая характеры четырёх взрослых братьев и сестер – Ефима, Нади, Лёни и Риты. Мама была самой сдержанной из них. Она никогда не повышала голоса, а на неприятные известия отвечала

не бурной реакцией, а молчанием или после паузы короткой репликой, выражающей ее отношение к услышанному.

В девять лет она стала ученицей Бердичевской женской гимназии, где проучилась три класса, а следующие три класса – в Ростовской женской гимназии. В 1919 году она перешла в седьмой, выпускной класс, но накануне нового учебного года её исключили, как пишет она в своей автобиографии, «по причине ареста и зверского убийства моей старшей сестры».

В формировании взглядов и жизненной позиции Нади, как и брата Ефима, главную роль сыграла Этель. Первым импульсом, как и у него, было исключение сестры из училища за участие в нелегальной первомайской маевке. И дальше всё шло так же, как у брата, с некоторым отставанием из-за двухлетней разницы в возрасте. В одном из разговоров со мной, это было в конце 1943 года, перед моим вступлением в комсомол, мама сказала, что она стала комсомолкой в 1917 году. Я вспомнил об этом через полвека, когда прочел в ее служебной анкете, что она вступила в Российский коммунистический союз молодежи в феврале 1920 года. Но с датой мать не ошиблась, она имела в виду свой идейный и политический выбор. Февральские события и особенно взятие большевиками власти в октябре воспринимались Надей как убедительное доказательство правоты старшей сестры. В той же анкете она пишет, что стала атеисткой тоже в 1917 году. Вера в Бога сменилась верой в Коммунизм. Было ей тогда 14 лет. В следующем году, когда Ростов оказался под властью белых, Этель время от времени, если не было иного выхода, давала Наде небольшие поручения – что-то передать кому-то, у кого-то что-то взять и т. п.

19 августа 1919 года рассекло жизнь Надежды на две части – до и после гибели Этель. На обороте фотографии, подаренной ей тремя подругами вскоре после этой трагедии, есть надпись одной из них: «В память тех дней, когда ты по праву начала носить имя взрослого человека, потому что впервые познала страдание. Пупа, окт. 1919 г.». В те дни Надя решила, что делом её жизни будет воплощение той идеи, которой посвятила себя Этель.

В феврале 1920 года в Ростове была восстановлена Советская власть. В том же месяце Надежда Борко вступила в РКСМ, а в декабре стала членом РКП(б). Было ей 17 лет. Тогда же началась её трудовая жизнь. Сначала она работает в городском комитете РКСМ, ведая культурно-просветительной работой, затем – в областной Рабоче-крестьянской инспекции, далее – инструктором отдела работниц Донского комитета РКП(б) и, наконец, заведую-

щей отделом работниц в одном из районных комитетов партии в Ростове. А параллельно с осени 1920 года она начинает учиться на рабочем факультете при Ростовском университете и заканчивает второй курс весной 1922 года. В июле вместе с Ефимом она уезжает в Москву, – как и он, учиться, имея на руках рекомендацию Донского комитета РКП(б).

В столице Надежда поступила в Первый Московский государственный университет, на экономическое отделение факультета общественных наук (ФОН). Основанный в 1919 году вместо двух упраздненных факультетов, историко-филологического и юридического, ФОН был одной из первых учебных структур в системе высшей школы, созданных Советской властью с целью подготовки специалистов – строителей социализма и коммунизма. В рамках ФОН были созданы три отделения – историческое и юридически-политическое, аналогичные закрытым факультетам, и экономическое, впервые появившееся в МГУ. Как член РКП(б) и выпускница рабфака, Надежда Борко была зачислена без экзаменов. В сборнике «Факультет общественных наук» (1925 год) есть фотоснимок студентов-выпускников экономического отделения ФОН в 1924/25 учебном году. Примерно 150 человек, среди них в предпоследнем ряду стоит и моя мать. Три четверти из них мужчины; на вид многим около или свыше 40 лет. Они пошли учиться сразу же после окончания Гражданской войны. Студенческая жизнь была очень тяжелой – жалкая стипендия, которую выдавали продовольственными пайками, переполненные общежития, лишённые элементарных удобств, для иногородних. Большинство студентов совмещали учебу с работой или случайными заработками – днем трудились, а вечером с пяти часов заполняли учебные аудитории. В мамином архиве не сохранилось сведений о том, где и на какие средства она жила в те годы, за исключением того, что в 1924–1925 годах она работала секретарем отдела в Народном комиссариате труда. Но вряд ли её положение было лучше, чем у других однокурсников.

Профессорско-преподавательский состав ФОН в годы учебы Надежды был смешанным. Большинство – с дореволюционным стажем преподавания в МГУ. В начале 20-х годов к ним добавились ученые-марксисты, большей частью члены РКП(б). По сведениям, приведенным в упомянутом сборнике, коммунистов в составе преподавателей было не более 20%, остальные указали в анкетах, что они являются марксистами или «лояльны к марксизму».

В 1925 году Надежде Борко было выдано временное удостоверение, в котором говорилось, что она окончила экономическое отделение МГУ, выполнив «учебный план Отделения по следующим дисциплинам» (далее следовал список 18 учебных дисциплин и 8 спецсеминаров). Во внесенном позже дополнительном тексте удостоверилось, что временное свидетельство «надлежит считать постоянным». По сути, это был диплом об окончании МГУ. Единой системы государственного распределения выпускников тогда не было, а члены партии, получившие высшее образование, распределялись на работу в отделе кадров Центрального комитета ВКП(б). Борко Н.А. была направлена в распоряжение Тверского губернского комитета ВКП(б). В ее трудовой книжке записано в стилистике того времени, что тов. Борко Н.А. уволилась из Наркомтруда «вследствие переброски в Тверь».

В ноябре 1925 года её зачисляют в Тверской губернский отдел строителей на должность инструктора по массовой (культурно-просветительной) работе, но вскоре она переходит на работу по специальности – экономистом в акционерном обществе Твэрторг, затем в Кустарно-промышленном союзе и, наконец, заведующим плановым отделом в Союзе трикотажно-швейной промышленности Тверской губернии. Надежда Борко была не карьерным, а убежденным, можно сказать, верующим коммунистом, участие в партийных делах занимало в её жизни не менее важное место, чем профессия. Трижды её избирали секретарем партийной организации Твэрторга; материалы о работе организации, в том числе выступление её секретаря Надежды Борко, были опубликованы 21 мая 1927 года в губернской газете «Тверская правда».

В Твери произошло важнейшее событие в её личной жизни – она встретила мужчину, Антона Петровича Бутина, с которым создала семью. Официально брак они не регистрировали. Тогда вошло в моду, особенно в коммунистической среде, пренебрегать условностями. Свободные отношения между женщиной и женщиной, свободная любовь противопоставлялись лицемерию и ханжеству буржуазного брака. Семья родилась не ранее 1926 года, а 6 февраля 1929 года на свет появился малыш, нареченный Юрием. Что потом произошло между Надеждой и Антоном, осталось секретом, а результатом стал распад семьи в 1930-м или в начале 1931-го.

В мае того же года Надя перебралась в Москву и поступила на работу экономистом в Московскую областную плановую комиссию, где опять же была избрана секретарем партийной организа-

ции, а в марте 1934 года перешла в Плановую комиссию Московского городского совета, сначала старшим экономистом, а затем старшим консультантом. Постоянно участвовала в партийной и общественной жизни. Опытный специалист и надежный сотрудник, всегда уравновешенный и доброжелательный человек, Надежда пользовалась большим уважением у коллег, неоднократно премировалась руководством за хорошую работу. Обычно это была небольшая денежная сумма, которая тем не менее была далеко не лишней прибавкой к весьма скромному окладу советского служащего. Но самой ценной премией, если уместно это слово, был ордер на получение комнаты в доме-новостройке, врученный Надежде Абрамовне Борко в 1934 году.

Дом был, как тогда говорили, «со всеми удобствами». Пять этажей, пять подъездов, 50 коммунальных квартир – четыре комнаты, четыре семьи, общие кухня, туалет и ванная комната. Строительство жилья было в загоне, все средства вкладывались в ускоренную индустриализацию страны, а для многих миллионов рабочих и служащих в старых и стремительно растущих новых промышленных центрах строились деревянные бараки. Кварталы бараков были выстроены и в столице, в том числе по соседству с нашим домом. Так что семьи, получавшие комнату в коммуналке, были не менее счастливы, чем те, кто через 30 лет переезжал из бараков и подвалов в отдельные квартиры. Вскоре и я переехал из Ростова в Москву. В 1937 году пошел в школу и перед войной окончил 4-й класс.

В августе 1941 года мы эвакуировались в Казань, где работала Рита, и поселились у неё в квартире. Мама сначала работала в Наркомате местной промышленности Татарской Республики, а в июне 1942 года была избрана председателем Республиканского комитета профсоюза рабочих городских предприятий. В августе 1943 года она по решению Татарского комитета ВКП(б) была направлена контролировать ход уборки урожая в одном из сельских районов Татарии. После потери основных зерновых регионов страны – Украины, Кубани и Дона проблема обеспечения хлебом воюющей армии и работающей на фронт промышленности стала вопросом победы или поражения в схватке с нацистской Германией. Виновным за срыв обязательных поставок зерна государству грозили суровые кары, вплоть до смертного приговора. Уполномоченным лицам, направленным в сельские районы, надлежало сделать все возможное и невозможное, чтобы планы поставок были выполнены полностью. Надежда Борко справилась



с порученным ей делом и вернулась в Казань через три с лишним месяца больная, с недолеченным воспалением легких, которое она подхватила во время командировки и перенесла на ногах. Последствием болезни был тяжелейший порок сердца. После окончания войны она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В августе 1944 года Надежда вернулась в Москву, в ту же Московскую областную плановую комиссию, заняв должность временно исполняющего обязанности начальника жилищно-коммунального сектора, а с декабря 1945 года – старшего экономиста в этом же секторе. Руководить коллективом не позволяло состояние здоровья, но фактически она оставалась заместителем начальника сектора. Болезнь сердца прогрессировала, и в мае 1947 года она ушла с работы, став пенсионером по инвалидности. С учетом трудовых заслуг и активной общественной деятельности Надежды Абрамовны Борко ей была назначена персональная (повышенная) пенсия.

В общем, и в предвоенные годы, и в послевоенные до ухода на пенсию я помню маму, как правило, усталой и озабоченной. Она часто задерживалась на работе. И быт был для неё нелегким, на кухне – примус, стирка – в корыте. Конечно, бывали и светлые дни. Иногда, хотя и редко, мы ходили в театр. Особенно запомнился мне знаменитый спектакль во МХАТе – «Синяя птица» Мориса Метерлинка. Запомнилось и первое посещение открывшейся в августе 1939 года Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), позже переименованной в Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ). Она была построена в Останкино, а мы жили на противоположном конце Москвы и ехали через весь город, вероятно, на самом длинном троллейбусном маршруте № 2. Выставка была похожа на сказочный город с выстроенными в национальном стиле павильонами республик, с множеством фонтанов, обилием рассаженных цветов и рядами плодовых деревьев. Меня, городского пацана, больше всего восхитили живые экспонаты – лошади, верблюды, быки и коровы, хряки и свиноматки, овцы и козы, масса разнообразной сухопутной и водоплавающей птицы, и вся эта живность – выдающихся статей или иных достоинств. А еще запомнились грандиозные демонстрации 1 мая и 7 ноября, которые, как бы ни судили о них теперь, были праздниками. Особенно для детей и подростков от 7–8 до 14–15 лет.

Но по-настоящему счастливой мама мне запомнилась только однажды. Было это за пару лет до войны. Кончалось лето, и к нам по

пути в Казань заехала Рита, возвращавшаяся из отпуска, проведенного на Черном море. Был выходной день, тогда ещё не называвшийся воскресеньем. Две сестры о чем-то разговаривали – и вдруг запели. Я помню даже песню: «Если Волга разольется / трудно Волгу переплыть./ Если милый не смеется / трудно милого любить». Дверь из комнаты в коридор нашей коммунальной квартиры была открыта. Мама и Рита стояли на пороге и пели в два голоса – громко и самозабвенно. И лица у них светились радостью.

А в общем мать мне помнится с тех лет такой, как я сказал выше. Некоторые причины мне были понятны. Часто она задерживалась допоздна, то по служебным делам, то, как тогда говорили, из-за партийной нагрузки. Сказывалось и слабое здоровье. Но я не знал главной причины, угнетавшей ее, как и миллионы сограждан, – массовых репрессий в 1937–1938 годах. Надежда Борко работала в Московском совете депутатов трудящихся, и он был в числе тех государственных учреждений, где Наркомат внутренних дел (НКВД) рьяно выискивал «замаскировавшихся врагов народа». На её глазах то и дело исчезали коллеги по работе. Многих она знала, с некоторыми была в товарищеских отношениях. Был арестован руководитель Плановой комиссии, с которым мать работала и которого глубоко уважала. Из нашей квартиры ночью увели соседа, сотрудника Наркомата внешней торговли, вернувшегося пару лет назад из какого-то европейского государства (кажется, Франции), где он работал в Торговом представительстве СССР. Нашу Риту, студентку-выпускницу Ростовского института инженеров железнодорожного транспорта, исключили из комсомола за «связь с врагом народа», корреспондентом «Известий», ее женихом. Верить в то, что все жертвы репрессий были «врагами народа», было для нее так же невозможно, как и высказать вслух сомнения. Оставалось одно – молчать, и молчание лежало на душе тяжелым гнетом долгие годы.

За свою недолгую жизнь мама испытала тяжелейшие стрессы: в юности – смерть Этель, в Твери – распад только что созданной семьи. Начиная с середины 20-х годов она, как и множество людей, находилась в постоянном психологическом напряжении, порожденном сначала острейшей борьбой в партийных верхах, заложниками которой стали рядовые коммунисты, затем нараставшими из года в год репрессиями в стране, особенно террором в 1937–1938 годах.

Когда маму подкосила сердечная болезнь, психика не выдержала. Осенью 1948 года произошел очередной инфаркт. Прележав

несколько дней в реанимации, Надежда Борко была переведена в обычную одноместную палату. Казалось бы, худшее позади, но больная отказалась общаться с медсестрами, принимать от них лекарства и пищу, твердя, что ее хотят отравить, убить. Признавала она только меня, и я с неделю круглосуточно находился рядом – кормил, поил, уговаривал принять лекарства, хотя удавалось это не всегда и с трудом. Сперва казалось, что это временное стрессовое состояние, но иллюзии рассеялись очень скоро. У неё была ярко выраженная мания преследования. Диагноз – шизофрения. Держать маму дома было невозможно, её пришлось поместить в психиатрическую больницу, где она провела около двух лет и скончалась 19 сентября 1950 года.

Трагедия её судьбы состояла в том, что её сломила и в конечном счете убила общественная система, которой она служила всю жизнь, преданно и честно.

\* \* \*

Рассказ о юности Надежды Борко, о становлении её личности так и остался бы бесстрастно-репортерским, если бы не упакованная в оберточную бумагу и перевязанная крест-накрест папка, хранившаяся в одном из ящиков моего письменного стола. Там вместе со стопкой маминых документов хранилось более двух десятков фотографий времен ее юности, с 1918 по 1922 год.

И вот они передо мной: Надя одна, Надя с друзьями, друзья без неё – поодиночке или группами. Мне фантастически повезло. Снимки создали эффект присутствия, они сработали, словно машина времени Уэллса, унеся меня почти на столетие назад. Вглядываясь в портреты, читая на оборотной стороне дружеские послания Нахоме/Нэхоме, или Наде, я поразился тому, как много говорят они о том времени, о её друзьях и о ней самой. Выразительные лица, поразительные надписи. О надписях – дальше, но сначала о лицах. От них трудно оторваться. Сколько ни гляжу – не устаю восхищаться живыми и внимательными глазами, гармонией юной красоты и одухотворенности. Я не раз сверял мое восхищение с отзывами близких мне людей. Они изумлялись, глядя на юные лица, смотревшие с фотографий почти вековой давности.

Первые послания могут быть названы гимном молодости. Самая ранняя из них датирована августом 1918 года. Шесть девушек и четверо юношей. Наде – крайняя справа, в шляпке – испол-

нилось пятнадцать, остальным примерно столько же, разве что с разницей в год.

Собрались они не случайно, и снимок сделан, похоже, не дома. Это не гимназисты-одноклассники, так как школьное обучение было раздельным. Может, дружеская компания сверстников из соседних мужской и женской гимназий? А может быть, они собрались накануне нового учебного года, после летних каникул, проведенных в дружеском общении? У одних в глазах и на губах играет полуулыбка, другие мечтательны, третьи будто вопрошают. Они спокойны и свободны от напряжения; скорее открыты миру, нежели отгораживаются от него. Их ждут испытания – время такое, но сейчас они живут ощущениями наступающей юности, радостью первой дружбы и первой влюбленности. На обороте короткая надпись: *«В память о светлых днях юности. XI/VIII 1918».*

Поразительно, лето 1918-го – кровавое время Гражданской войны. В городе, за стенами здания, в котором сделан снимок, казачий патруль, ночные облавы, аресты и расстрелы по приговорам суда и без оных; рынок съестного и барахолка, где бежавшие от Советской власти и голода северяне меняют всё, что имеет цену, на пропитание; здесь же время от времени ловят воришек, и толпа чинит над ними самосуд. А этим юношам и девушкам как будто всё нипочем: они – о светлой юности.

Короткую надпись на первой открытке почти слово в слово повторяют друзья. Их двое – девушка и юноша. Оба присутствуют и на первом снимке: она – в белой блузке, рядом с Надей, он – крайний слева. На обороте сверху: *«Наде Борко. V 1919 год».* Ниже – два послания. Она – о дружбе: *«Помни о днях, когда мы, сидя вместе, мечтали о новой самостоятельной жизни. Помни, Нахом, э твоего друга Феню, изредка посматривая на карточку».* Он – о юности, дружбе и эпохе: *«На память другу светлых дней нашей юности – на память о великих, громоносных днях Революции и о честной дружбе нашей, что выросла тогда. Пусть память об этих днях послужит некоторой хотя бы опорой в тяжелые дни жизни. Моня».* Это уже серьезно. Моня – единомышленник. Судя по другим посланиям, не единственный среди Надиных друзей. Это важно для понимания той роли, которую они сыграли в её интеллектуальном и духовном развитии. Юность в общем оптимистична, и это звучит в словах о «громоносных днях Революции». Через два года Моня-Соломон оставит на своей фотографии иную надпись.

Два снимка напоминают о трагедии, обрушившейся на семью в августе 1919 года. В Ростовской тюрьме была расстреляна белогвардейцами Этель. В те дни рядом с ней были подруги. На одном – Надя и уже знакомая нам Феня. На снимке нет даты, но траурные платя подсказывают, что он сделан в один из ближайших дней после похорон. А на втором, сделанном несколько позже и подаренном 1 октября, Надины подруги – Пупа (слева), Феня и Дебора (стоит). Изумительный групповой портрет. Три грации, гармония изящества и внутреннего достоинства. Пейзаж на заднем плане напоминает ландшафты на картинах мастеров эпохи Возрождения. А в целом поистине библейский сюжет. И надписи. Одна – *«В память тех дней, когда ты по праву начала носить имя взрослого человека, потому что впервые познала страдания. Пупа, окт. 1919 г.»*. А рядом – *«В память новых сомнений и новых взглядов 19-го года. Дебора, 19 – 1/10 – 19»*. Это отклик друзей, принявших близко к сердцу Надину трагедию и привыкших доверять друг другу сокровенное. Вероятно, они были тогда самыми близкими ее подругами. Нам остается лишь гадать, что за новые взгляды имела в виду Дебора. Может, именно тогда у них состоялся разговор о том, как жить и что делать дальше? Но в чем заключались их сомнения? В том, что они впервые в полной мере осознали и физически ощутили трагическую связь революции и смерти, веры в идеал и личной судьбы, которая может завершиться так же, как судьба Этель? А может быть, задумались, не слишком ли высока цена революции, посылающей на плаху своих героев?

К сожалению, нет ни одной надписи на снимках, относящихся, вероятно, к 1920-му – первому году Советской власти на Дону. Они хоть что-то рассказали бы о переменах, которые произошли в жизни Нади и ее друзей, а скорее в их восприятии этой жизни, в умонастроениях и надеждах. Увы, чего нет – того нет. Но портреты интересны и сами по себе. Их отделяют от первых фоток два-три года. На одном из групповых портретов – шесть дев, и каждая могла бы пополнить галерею мадонн, сотворенных флорентийцем Леонардо да Винчи. Помимо Нади в белой блузке с галстуком узнается сидящая в темном платье Дебора. Вглядываешься в эти лица, и на память приходит Евгений Баратынский и его удивительное определение женской красоты с «ее лица необщим выраженьем».

А от 1921-го осталось несколько снимков с дружескими посланиями, все прощальные. Послание Деборы немногословно:

«Нехомэ! Много написать нельзя, все как-то повторяется. Хочу, чтобы ты помнила меня, посматривая на "портрет". Дебора, 27/X – 21». Все просто – и не просто. Подруга подарила свой портрет – кстати сказать, прекрасно выполненный и по сей день сохранивший красоту и тепло живого лица, через два года после портрета, подаренного Наде ею, Феней и Пупой в октябре 1919 года. Два года – две Деборы. Там юная дева, покоряющая непостижимым обаянием; белоснежная блузка с распахнутым воротничком и чёрный бант, стягивающий собранные в пучок каштановые волосы, лишь усиливают это впечатление. Со второго портрета глядит повзрослевшая девушка в расцвете молодости. Она так же обаятельна, но теперь в оформившихся, более строгих чертах лица, в сомкнутых губах и чуть-чуть выступающем подбородке, в спокойном и внимательном взгляде угадывается сильный характер. И одета она строже: пиджак свободного покроя с постепенно сходящими на нет отворотами, под ним тонкий джемпер с широкой опояской вокруг шеи, на голове модное тогда женское кепи с едва выступающим козырьком и как бы, вздутым верхом, похожим на берет.

Глядя на портрет, я вспомнил легендарную Ларису Рейснер, ставшую прототипом женщины-комиссара из «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского. Не всем быть комиссарами в «пыльных шлемах» и кожанках, но что-то жожацкое в облике Деборы есть. Тогда наполняются смыслом её слова насчет «новых взглядов» в надписи на обороте снимка, подаренного Наде два года назад. Может быть, именно тогда она сделала окончательный выбор в пользу революции? В надписи на портрете угадывается еще одна недосказанность. Главное пожелание Деборы: «Хочу, чтобы ты помнила меня». Не похоже ли это на прощание? Но у Нади еще ничего не решено. Значит, прощается Дебора, уже сделавшая выбор? Мне почему-то кажется, что все свои чувства она вложила в одно слово – Нехомэ. Так когда-то назвала себя совсем юная девушка в первую минуту их знакомства. Она подросла, начала работать. Для окружавших ее новых людей она была Надей, для старых друзей – оставалась Нахой или Нэхомой. И это был как бы пароль для входа в мир их общей памяти.

А в надписях на двух фото, подаренных молодыми людьми, говорится о близкой разлуке. Один из них нам известен. Это он упомянул в мае 1919 года о «громоносных днях Революции». На портрете, подаренном через два года, красивый черноволосый юноша с умным и решительным взглядом. Надпись на обороте

звучит трагически: *«В час разлуки, быть может, вечной, помни, вспоминай и знай – о мертвых либо хорошо, либо ничего. Я тоже умер. Вспоминай изредка старое, и пусть останется только то, что было хорошего. Мона, 20/V IV года»*. Необычное обозначение даты можно понять лишь как четвертый год революции, то есть 1921-й. Но что значит «я тоже умер»? Тогда случалось всякое, в том числе самоубийства из-за разочарования в коммунистической идее, с которой так чудовищно контрастировала советская реальность, или в бывших кумирах, предавших самих себя и своих учеников. И все же, сдается мне, это лишь образ: разлука – это значит, что два близких человека перестали существовать друг для друга в реальности; они остались лишь в памяти, и в ней должно сохраниться только хорошее.

Второе послание в том же духе. Но прежде хочется спросить: что все это значит? Чем вызван этот поток прощальных приветствий? А происходит вот что: распадается круг первых друзей. Неотвратно. Совместились два перелома – в их судьбах и в судьбе всей страны. Друзья повзрослели, и это совпало с окончанием Гражданской войны. Созданная большевиками и победившая Советская власть приступала к восстановлению, с тем чтобы, накопив силы и опыт, начать движение к великой цели: *«Мы наши, мы новый мир построим – // Кто был ничем, тот станет всем»*. Слова из пролетарского гимна, ставшего государственным.

Перед молодыми людьми встал практический вопрос: кем быть и как войти в новую жизнь? Кто из Надиных друзей был готов стать активным строителем «светлого будущего»? Кто предпочел роль беспартийного «попутчика» и занялся устройством личной жизни? Этого мы не знаем, как не можем ответить и на вопрос: а не была ли виновником ослабления первых дружеских уз сама Надя, ушедшая после установления Советской власти на комсомольскую и партийную работу, а заодно и поступившая учиться на вечернее отделение рабфака?

Времени для встреч с друзьями оставалось мало. Его заполнила новая жизнь, и о ней напоминают более десятка фотографий, относящихся к двум последним годам жизни Нади в Ростове. В основном групповые портреты, и на них сплошь новые лица. Кто они? За исключением одной фотографии, надписей на оборотах нет. Я отобрал четыре снимка, которые перекликаются с тем, что нам известно о жизни Нади в 1921–1922 годах из ее документов и воспоминаний. Две фотографии связаны между собой. Их объединяют три человека – мужчина в сапогах, юноша в очках и Надя.

Надпись есть только на одном снимке, где она сидит внизу и на обороте обозначена дата – 20 ноября. Год не указан, но это, скорее всего, 1921-й. Надежда Борко работала тогда в одном из ростовских районных комитетов РКП(б), заведую отделом работниц. И очень вероятно, что сидящие и стоящие рядом с ней люди, как и те, кто изображен на втором снимке, – ее товарищи, работающие вместе с ней в этом райкоме. Судя по их непринужденным позам, они знают друг друга и постоянно общаются. А мужчина в сапогах, по-видимому, их партийный секретарь. Автором послания на обороте этого снимка был юноша в очках с библейским именем Моисей. И вновь напоминание о близкой разлуке: *«Не пройдет и недели, меня ты долго не увидишь и увидишь ли? Если встретимся, то вспомним это время, время молодых порывов, желаний и стремлений – встретимся друзьями. Мося, 20/XI»*. Других надписей на фотографиях нет. «На память» обычно пишут друзья, а их, кроме него, у Надежды здесь не было. Да она и не искала здесь новых друзей, потому что самое большее через полгода собиралась сменить партийную работу на учебу в университете.

Почему же она сохранила эти групповые портреты вместе со снимками друзей своей юности? Мне кажется, они были памятливы ей не только лицами и именами. Памятным осталось время – первое, полное коллизий, трехлетие существования Советской власти, и непростое начало самостоятельной жизни, в которой Наде сразу же пришлось вживаться в новую социальную и этническую среду, в иную культуру человеческих отношений.

Особенно бросаются в глаза перемены, когда всматриваешься в два других групповых снимка. Разные возрасты, иные лица, по-иному одеты. Они из рабоче-крестьянской среды, с которой имела дело заведующая отделом работниц в райкоме РКП(б) Надежда Борко; это её подопечные, её актив. Они трудятся на предприятиях и занимаются там решением женских проблем, начиная с условий труда на рабочем месте, вопросов материнства и младенчества и кончая ликвидацией неграмотности и культурным досугом. Они несколько дней обсуждали насущные проблемы, сетовали на трудности и критиковали начальство, слушали лекции и инструктажи, а по окончании деловой части фотографировались – на память.

Рассказ о фотографиях юных лет моей будущей мамы идет к концу. Сама она присутствует на девяти снимках, первый и последний разделяют четыре года. В 1918 году Надя выглядит скорее подростком с весёлым, если не озорным взглядом. С послед-



них снимков на нас смотрит молодая женщина, у нее юные черты лица и взгляд взрослого человека, иногда строгий, иногда смягченной полуулыбкой, которая выдает мягкий и доброжелательный характер, но в которой уже нет ничего от беззаботного девического озорства. На ней, как всегда, белая блузка, однако на некоторых снимках открытый ворот, слегка стянутый темным припущенным галстуком, уступил место стоячему, наглухо застегнутому воротничку. Последний снимок – Надя и Ефим в овале – сделан, вероятно, в начале лета 1922 года, перед их отъездом из Ростова. Ей в июне исполнилось 19 лет, брату в марте – 21 год. Это снимок на память – не столько себе, сколько для родителей. Уезжая в Москву, они не знали, когда вернуться. И вернуться ли?

Неожиданное и странное впечатление возникает, когда погружаешься в эти снимки, вглядываешься в лица, вчитываешься в надписи. Жуткое время – полыхает Гражданская война, льются потоки крови; трагическое время – погибла любимая сестра. И вдруг задумываешься: а может, это был самый светлый период в жизни моей мамы? Недаром эта коллекция фотографий путешествовала с ней всю жизнь: из Ростова в Москву, оттуда в Тверь, снова в Москву, затем в Казань и опять в Москву, теперь уже навсегда. «А мы такие молодые», и нас окружают друзья «светлых дней юности»!

## Часть II

# МОЯ ЖИЗНЬ

### Ростовское детство и открытие Москвы

Я родился 6 февраля 1929 года в Ростове-на-Дону, где жили родители моей мамы Абрам Израилевич и Ида Григорьевна Борко. Мама, просидев со мной положенный по закону месяц, отбыла на работу в далекий город Тверь, оставив меня на попечении бабушки и дедушки. Там я и прожил почти все мои дошкольные годы. В моей памяти о тех временах мало что сохранилось, и они отрывочны. Первое воспоминание очень странное – по стене ползет черный таракан. Я и теперь вижу, как он ползет. Остальное реконструировано. В моем архиве сохранилось фото – малыш в детской кроватке, зашторенной с двух сторон сеткой, чтобы он не выпал. Кроватка стояла у стены. Он увидел таракана, испугался и закричал; на крик кто-то откликнулся, подошел и смахнул ползущую тварь со стены. Черные тараканы водились в нашей квартире все годы моего детства, а тогда я его заметил впервые, у меня только что появилось сфокусированное зрение, и я стал различать отдельные предметы. Было мне несколько месяцев.

А если перейти к более существенным воспоминаниям, то мне жилось, вероятно, как у Христа за пазухой. На мне скрещивались четыре пары глаз. Прежде всего бабушкиных, которая неустанно старалась впихнуть в меня как можно больше яств. Когда я стал постарше, примерно с пяти лет, она стала брать меня с собой на рынок, находившийся в двух кварталах от нашего дома. Она не преследовала никаких прикладных целей, просто боялась оставить меня одного в квартире: мало ли что внуку взбредет в голову. А мне было интересно на рынке – всякая сельскохозяйственная и домашняя живность, а также медведь, привязанный цепью к столбу и обученный некоторым фокусам. Дед занимался мной меньше всех. Не потому, что был равнодушен, совсем напротив. Но он всегда был занят своими делами, с утра исчезал и возвращался ближе к вечеру, удостоверился, что со мной все в порядке, и переходил к общению с женой и детьми – Лёней и Ритой.

У меня с ними были свои, достаточно тесные отношения. О том, как они складывались с Лёней, я рассказал в очерке «Иоан

Борко». Повторю главное – фактически он заменял мне отца. Я никогда не задумывался над этим, пока не взялся за воспоминания. Тогда-то я и понял это. Он обращался со мной совсем не так, как бабушка и Рита, а по-мужски, без ахов, охов и надоедливых наставлений. За одним исключением. Как я уже упоминал, по выходным дням он водил меня в городской парк. А теперь я расскажу о том, как мы шли туда.

По пути нам надо было пересечь четыре улицы. Когда мы впервые отправились в парк и подошли к первой поперечной улице, Лёня взял меня за руку и с нажимом произнес: «Перед тем как ступить на проезжую часть, посмотри налево, не идут ли машины, а дойдя до середины, посмотри направо, не идут ли машины с другой стороны». Улиц было четыре, и он четыре раза, слово в слово, объяснил мне, как надо переходить улицу. Эта процедура повторялась из недели в неделю, и каждый раз четырежды! Наконец я не выдержал и завопил: «Лёня, я уже не могу этого слышать, я давно запомнил». – «Молодец, – сказал он, – но сейчас ты...» Он не договорил фразу, потому что я разревелся, по лицу стекали слезы. Лёня выждал, когда я замолчу, а потом сказал: «Хорошо, я всё понял, а сейчас ты...», и тут наши взгляды встретились. Плакать я уже не мог, но в глазах моих была такая мольба, что он по-доброму улыбнулся, взял меня за руку, и мы пошли. Пару следующих недель, когда мы подходили к первой поперечной улице, я умоляюще глядел на Лёню, он улыбался и говорил, что я молодец, всё запомнил, и теперь мы вместе поглядим налево, а потом направо. На третью неделю он не сказал ни слова, на том мое обучение и кончилось. А результат был таков: по сей день при переходе через улицу моя голова автоматически поворачивается сначала налево, а потом направо.

Рите, когда я родился, было 15 лет и она училась в школе. Но именно она спасла меня от смерти. В посвящённом ей очерке я уже рассказал, как в 1931 году, она, еще ученица выпускного класса школы, нашла в Ростове единственного врача, который поставил правильный диагноз поразившей меня редчайшей болезни крови и назначил правильное лечение. С тех пор она стала моим главным и всеми признанным попечителем и наставником. Никто не возился со мной так много, как она. С ней я постигал азы чтения и счета, она объясняла мне смысл слов и назначение предметов, а заодно учила правилам поведения.

В конце лета 1936 года я уехал в Москву и наконец-то воссоединился с мамой. Прощай, Ростов-на-Дону! Правда, в последующие

годы я дважды или трижды приезжал в город моего детства на летние школьные каникулы, последний раз в 1940-м.

Так с каким же багажом я уезжал из Ростова? Что в меня старались вложить мои опекуны? И что я воспринял за первые семь лет моей жизни?

Как мне теперь видится, в моем становлении как личности главную роль сыграли четыре приобретения. Первое – русский язык, которому меня обучили Леня и Рита. Для них он был родным языком, освоенным в детстве, потому что они жили в том районе Бердичева, где русский был разговорным языком. Грамматически правильный, без акцента, с большим словарным запасом. И когда я переехал в Москву, мне не стоило труда познакомиться с детьми и подростками во дворе моего нового дома. Второе – к шести-семи годам я уже усвоил, «что такое хорошо и что такое плохо», то есть азы нравственного кодекса. Правда, когда я дал прочесть первый вариант этого текста моему сыну Кириллу, он сказал, что понимание нравственных норм приходит в отроческом возрасте, но я ответил, что одно не противоречит другому, поскольку мы всю жизнь восходим по ступеням постижения сути человеческой морали. А третье, как ни странно это звучит применительно к моему тогдашнему возрасту, – я был идейной личностью. Веру в коммунизм, которую освятила своей смертью Этель, унаследовали Леня и Рита, а я воспринял ее от них. Потом я прошел долгий путь, от сомнений к разочарованию и затем к отказу от нее как полной утопии. Увез я с собой из Ростова и необычайный интерес к событиям в нашей стране и во всем мире. Инициатором обсуждения новостей был обычно дед, по понятным причинам ненавидевший пришедшего к власти Гитлера и с тревогой следивший за тем, как нацистская Германия готовится к войне. Я, как губка, впитывал их разговоры, а в шесть лет, вполне овладев грамотой, начал читать областную газету «Молот», одна из страниц которой была посвящена международным событиям. У меня был оригинальный способ чтения. Покрытый лаком дощатый пол под столом был покрыт газетами. Я залезал туда и читал их, лежа на животе и подпирая кулаками подбородок. В общем, моя ростовская семья вложила в меня очень много, может быть, максимум возможного.

В Москву я переехал в 1936-м. В моей жизни началась новая эпоха. Всё было иначе. Новый город, и какой – Москва, столица! Новый быт, новая человеческая среда, новый период жизни. Начну с быта. В Ростове я жил в отдельной квартире – две комна-

ты, кухня, туалет, да еще балкон с видом Задонья; а здесь комната в коммунальной квартире, где проживают еще три семьи, и на всех одна кухня и один туалет. В кухне четыре шкафчика, заполненных посудой и продуктами, на каждом – керосинка или примусивсё, что необходимо хозяйке для варки-жарки. Единственным, но очень важным плюсом по сравнению с Ростовом была ванная комната с колонкой, которую сначала топили дровами, а вскоре после войны перевели на газ. Тесновато, но жить можно.

Позже, на второй год в школе я подружился с одноклассником Сашей Гончаровым. Он, как и я, всерьез увлекся шахматами и стал приходить ко мне, а потом пригласил меня, хотел познакомиться с родителями. Жил он в одном из барачков, расположенных позади нашего дома. Верно говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я увидел, и в мозгах моих произошёл переворот. Мы с Сашей миновали тамбур и вошли в коридор шириной в полтора метра или чуть больше, и по обе стороны – занавески, занавески, занавески... Мой друг приоткрыл одну из них, и мы вошли в клетушку размером в 7–7,5 квадратных метров, отделенную с обеих сторон от соседних фанерными перегородками. Вдоль одной перегородки – родительская кровать, вдоль противоположной – не кровать даже, а топчан. Слева между кроватью и наружной стеной втиснут узкий платяной шкаф, правее вдоль окна и до перегородки – стол, рядом две табуретки. Саша сказал, что в дальнем конце с двух сторон оборудованы общие кухни для примерно двадцати семей, деревянная уборная – во дворе. Я до сих пор помню возникшее у меня чувство внутренней неловкости, вызванное огромной разницей в условиях Сашиной и моей жизни. А ведь в предвоенные годы на нашей улице были целые кварталы барачков. Помимо того, о котором я рассказал, еще один был расположен на нашей стороне ближе к Окружной железной дороге, другой – напротив нашего дома.

А возвращаясь к нашей квартире, расскажу о соседях. В комнате за стеной жила семья Павловых. О ней и особенно об Анатолии Павлове, его судьбе и его роли в моей жизни я рассказал в очерке «Воспоминания о 10-м классе» (см. с. 148-151). В комнате наискосок жила семья сотрудника Наркомата внешней торговли, вернувшегося из Франции, где он работал в Торговом представительстве СССР. Их было трое – он, жена и дочь. Но жили они в квартире недолго. Летом 1937 года глава семейства был уведён в одну из ночей сотрудниками НКВД, а затем исчезли его жена и дочь. В освободившейся комнате поселилась семья Новичковых – отец,

мать, дочь Клава и сын Коля. Родители работали на авиационном заводе № 22 в Филях, Клава – продавщицей в магазине, а Коля оказался моим одноклассником. Мы подружились, осенью 1937-го поступили в находившуюся рядом школу № 65 и вдвоем отстаивали свою самостоятельность в дворовых и школьных баталиях. Четвертая комната, напротив нашей, принадлежала военному, капитану по званию, но она почти всегда была заперта. Он служил в Калуге и навещался в Москву со своей женой пару раз в год, на одну-две недели, по служебным делам или в отпуск. Отношения в коммуналках складывались по-разному. Там, где жили неуживчивые соседи, она бывала кошмарной. А у нас отношения были доброжелательные, пожалуй, даже дружественные.

Моя жизнь в Москве началась не так, как намечала мама. Она хотела сразу же отправить меня учиться. В школу тогда принимали с восьми лет, а мне в сентябре 1936 года было семь лет и семь месяцев. Я бегло читал, считал до ста и в этих пределах мог складывать и вычитать числа. Но в ближайшую школу меня не приняли, так как все первые классы были переполнены. Маме пришлось устроить меня в старшую группу детсада, находившегося в переулке вблизи здания Московского совета депутатов трудящихся, где она работала экономистом. Моссовет был расположен в самом центре города, на бывшей Тверской улице, переименованной в улицу Максима Горького. Сейчас там мэрия. А мы жили на 2-й Извозной улице (ныне Студенческая), за Дорогомилевским рынком, и каждый день выходили на Можайское шоссе, садились в трамвай № 31, через полчаса выходили на скрещении Тверского бульвара и улицы Горького, в десяти минутах ходьбы от Моссовета. После работы мама забирала меня из детсада, и мы нередко в хорошую погоду совершали прогулки. Спускались по улице Горького вниз к Охотному ряду, оттуда на Красную площадь или в Александровский сад, и далее через улицу Фрунзе (ныне Знаменка) либо по Кропоткинской и Гоголевскому бульвару – к Арбатской площади, где садились в троллейбус, доставлявший нас на Можайку. Был и другой путь – по Охотному ряду налево, мимо Большого и Малого театров вверх к площади Дзержинского, а там по улицам и переулкам до пересечения с нужным нам трамвайным или троллейбусным маршрутом.

Одним из самых ярких впечатлений первого года была демонстрация трудящихся Москвы, завершавшаяся на Красной площади. Шествие 7 ноября 1936 года не помню, скорее всего, пропустил из-за болезни. А 1 мая 1937 года, демонстрацию в честь

Международного дня трудящихся, вижу как сейчас. День был солнечный и очень теплый. Люди одеты по-весеннему и нарядно. Улицы переполнены. Принаряженные продавщицы торгуют мороженым, булочками и пирожками, бутылками с водой. Из репродукторов, прикрепленных к столбам электросети, раздаются лозунги и льются песни: «Утро красит нежным светом // Стены древнего Кремля, // Просыпается с рассветом // Вся Советская земля»; «От края до края, по горным вершинам, // Где вольный орел совершает полет, // О Сталине мудром, родном и любимом, // Прекрасную песню слагает народ». Шествие, в котором участвует около миллиона человек, – дело чрезвычайно трудное. Москвичей выстраивали в два десятка районных колонн; сначала шли заводские районы, коллективы крупнейших предприятий, а вслед за ними другие районы, в том числе Советский, в который входил Моссовет.

Всё это я узнал позже, а тогда, помню, нам с мамой надо было прийти к Моссовету в восемь утра. Мы выстроились в колонну по семь-восемь человек в ряд и вскоре двинулись в путь – не в сторону центра, а от него, по улицам и переулкам, то почти бегом, то надолго останавливаясь и пережидая, пока по пересекающей наш путь улице не пройдет колонна из другого района. Наконец, может быть, часа через три мы вышли в начало улицы Горького, сразу же за площадью Белорусского вокзала и влились в колонну Советского района. К Красной площади мы подошли уже за полдень, районные колонны входили двумя потоками, слева и справа от Исторического музея. Площадь была рассечена шеренгами лиц в военной форме, демонстранты вливались в коридоры между шеренгами. Наша колонна вошла в один из средних коридоров; подгоняемые военными в форме НКВД, мы быстро поравнялись с Мавзолеем Ленина, до него было не близко; на трибуне находилось два десятка лиц, и я с моей близорукостью так и не разобрался, кто из них кто и был ли там Сталин; мне сказали, что его не было. На Васильевский спуск мы вышли примерно в половине второго.

В тот момент я почувствовал себя разочарованным, но в целом воспринял этот день как праздник. И так же его воспринимали многие демонстранты – подросшее новое поколение молодежи, для которых Сталин был уже кумиром, простые, как правило, малообразованные люди, которых не коснулись репрессии 1937–1938 годов, и тоже одурманенные культом Вождя, чуть ли не Бога во плоти и т. д. Таков был климат всех майских и ноябрьских

праздников с 1938 по май 1941-го. Как правило, я участвовал в них, и вряд ли мое восприятие изменилось. Просто я всё позабыл, в памяти осталось только то, о чём я рассказал.

Надо сказать, что, избавленный в Москве от повседневного надзора, я быстро прибавлял в самостоятельности, в том числе осваивал столичное пространство, особенно когда миновал свое первое десятилетие. И в сторону московской окраины вплоть до Филевского лесопарка, и к центру, мимо Киевского вокзала, через Бородинский мост до Садового кольца, а там куда глаза глядят. Но больше всего меня притягивали два места – Арбат и Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького. На Арбате было аж три кинотеатра, включая один из крупнейших в Москве – «Художественный», и книжные магазины, которые уже начали меня интересовать. Моим первым увлечением была фантастика, прежде всего Жюль Верн, а также советские писатели Александр Беляев, Иван Ефремов и другие. А ЦПКиО, тянувшийся вдоль Москвы-реки от Крымского моста до Ленинских (ныне Воробьевых) гор, был интересен во многих отношениях: крытые помещения, где можно было кататься на детских автомашинах, аттракционы, вкусные свежие пирожки, чередой волейбольных площадок, где в присутствии множества зрителей сражались не только любители, но и профессионалы вплоть до тренировочных матчей сборных Москвы, Российской Федерации и Советского Союза. А я непременно шел в большой крытый шахматный зал и сражался с юными и взрослыми шахматистами. В 1940-м и в первой половине 1941 года я несколько раз сыграл в квалификационных турнирах и получил пятый (низший) разряд по шахматам.

Особой и до сих пор сохранившейся нишей в моей памяти осталась Гражданская война в Испании. Вспоминая своё детство, я как-то в шутку назвал себя семилетним коммунистом-интернационалистом. В каждой шутке есть доля то ли шутки, то ли истины. Когда в июле 1936 года группа испанских генералов подняла мятеж против правительства Народного фронта, мама по моей просьбе купила карту Испании размером метр на метр. Я повесил ее на стене, обозначил с помощью булавок и тонкого шнура линию фронта и периодически менял её в соответствии с тем, как шли дела на фронтах. Я бурно радовался тому, что на помощь испанским республиканцам стали прибывать интернациональные бригады, знал имена, вымышленные и подлинные, их командиров; и еще больше радовался тому, что помощь испанскому правительству стал оказывать Советский Союз; гордился тем, что



за участие в боях в испанском небе против нацистской авиации три летчика – Сергей Грицевец, Григорий Кравченко и Яков Смушкевич получили звание Героев Советского Союза. Я декламировал стихотворение Михаила Светлова «Гренада, Гренада, Гренада моя», и когда летом 1937 года в Ленинград прибыли дети испанских республиканцев, я попросил маму купить мне такую же, как у них, красную пилотку, которые тут же были названы у нас *испанками*. Поражение республиканской Испании я воспринял как личную трагедию, а симпатии к этой стране, к ее истории и культуре сохранил на всю жизнь.

### **Мне когда-то тоже было тринадцать (Внуку Васе Рогову – к тринадцатилетию)**

Вообще-то когда я первый раз вышел в новый для меня двор в Казани, мне еще не было тринадцати. До очередного дня рождения в феврале 1942 года оставалось три месяца. Но почти все события, о которых я собираюсь рассказать, происходили после этой даты. Все, за исключением первого. Была поздняя осень 1941 года, и мы только что переехали в пятиэтажный дом, построенный управлением Казанской железной дороги для своих сотрудников. Мы – это сестра моей мамы Рита, работавшая начальником одного из отделов управления КЖД и получившая в доме двухкомнатную квартиру, и мы с мамой, покинувшие в конце августа Москву, которую каждую ночь бомбила немецкая авиация и к которой все ближе подходила линия фронта. Мы еще ждали Абрама Израилевича и Иду Григорьевну, уже покинувших Ростов-на-Дону, к которому приближались немецкие войска, и блуждавших где-то в тысячекилометровом пространстве между Нижним Доном и Средней Волгой. Два старых человека (деду – за семьдесят лет, бабушке – почти семьдесят) среди сотен тысяч беженцев, устремившихся с Запада на Восток, спасаясь от нацистской оккупации. Добралась она до Казани через три месяца, под самый Новый год.

А пока на дворе стоял ноябрь, в тот день светило солнце, и было тепло для этого времени. Я не сделал и двух-трех шагов, как оказался в окружении стайки ребят примерно моего возраста или чуть поменьше. «Новенький!», – радостно завопил один из них, и я ощутил себя под прицелом десятка двустольных взглядов. «Поколотят для начала», – подумалось мне, и, будто под-

тверждая это, один из них сказал: «Стыкнемся, что ли?» Он был немного повыше меня. Скуластый, голубоглазый, и во взгляде, цепком, уверенном и оценивающем меня с головы до ног, чувствовался характер – одним словом, лидер. Всё это мелькнуло в моей голове гораздо быстрее, чем я рассказал. В душе у меня ёкнуло, кажется, она ушла в пятки, но я не подал виду и пожал плечами: «Давай». Он стукнул меня в грудь, я ответил. Он немного прибавил силы, я тоже. Он еще сильнее, и я прибавил. Он был помощнее, и я подумал, что мне придется туго. Кто-то из пацанов закричал: «Слон, надавай ему!» Но тот, кому присвоили эту почетную кличку, поднял две разжатые ладони и произнес удивленно и уважительно: «Молодец, не сдрейфил». – «А чего дрейфить-то», – небрежно ответила моя вернувшаяся на место душа. Он засмеялся, а за ним остальные, в том числе и я. «Как тебя зовут?» – спросил Слон, и когда я ответил, что меня зовут Юра, он удивился еще больше, потому что его тоже звали Юра.

Мы обменялись рукопожатиями, и откуда нам было знать, что секундой раньше, в этот погожий осенний день 1941-го случилось событие, которое бывает только раз в жизни: два Юры, они же Юрий Антонович Борко и Юрий Александрович Удобников, стали первыми пожизненными друзьями. Мы с ним одноклассники, только я родился в феврале, а он в октябре. Он живёт в Казани, я в Москве, но мы неразлучны, несмотря на то что встречались чем старше, тем реже, а в последние два десятилетия совсем редко. Да, чуть не забыл. Я тогда спросил его: «Почему тебя прозвали Слоном?» Пацаны закричали хором: «Уши!» Юра улыбнулся и снял шапку-ушанку. У него действительно были большие и чуть-чуть оттопыренные уши – немного, но этого оказалось достаточно, чтобы к нему накрепко приклеилась меткая кличка наблюдательных и острых на язык дворовых ребят. Впрочем, в этой кличке таилось также уважение к силе и характеру их лидера.

\* \* \*

Когда мне было тринадцать, я учился в пятом классе школы № 3 города Казани. Она была расположена в небольшом здании, два этажа кирпичных, третий, надстроенный – деревянный. Маленькие классы с очень узкими проходами между партами, крохотный учительский стол и классная доска, вполтину меньше той, к которой я привык, когда учился в Москве. Расположенное неподалеку типовое четырехэтажное здание, в котором наша

школа размещалась до войны, было переоборудовано под госпиталь, и о нём я ещё расскажу. Учились мы в три смены, с утра – начальные классы, днем – с 5 по 7-е классы, в третью смену – старшие. Зимой темнело рано, и последние уроки в нашу смену и вся третья смена проходили в полутёмных классах. Лампочки были слабые и горели вполнакала; электричеством обеспечивались прежде всего казанские и эвакуированные из Москвы и других городов предприятия, производившие самолеты, орудия, боеприпасы, военное обмундирование, а также транспорт, важнейшие государственные учреждения и многочисленные госпитали.

От учебы у меня осталось немного воспоминаний. Потому, может быть, что все предметы мне давались легко, я всё усваивал на уроке и дома выполнял только письменные задания, да и то далеко не всегда. Больше всего мне запомнилось, что единственным предметом, который я не любил, был немецкий язык, и происшествие с булочкой. Немецкий я не любил, потому что на нем говорили фашисты. Учительница у нас была хорошая, и к нам относилась по-доброму, но я относился к ней неприязненно, потому что она была немка – Аделаида и по отчеству, кажется, Францевна. Вспоминаю теперь об этом с сожалением. А с булочкой вышла такая история. Каждый день на третьем уроке открывалась дверь, и в класс входила женщина с подносом в руках. На нём лежали круглые белые булочки. Маленькие, в них и 100 грамм не было. Женщина шла по проходам между партами, и каждый ученик брал свою булочку. Это был маленький праздник, потому что все мы, за редким исключением, почти всегда были голодны. Но однажды булочек не принесли, и мы были огорчены. На следующий день пришел и прошел третий урок, булочек нет, и мы совсем расстроились, как вдруг на четвертом уроке открылась дверь, и вошла женщина с подносом. Мы возликовали, а я пришел в такой восторг, что положил свою булочку на парту и радостно залаял на нее. Тут началось общее веселье, и наша учительница с большим трудом навела порядок. Но это было уже без меня, так как я немедленно был изгнан из класса с наказом, что в школу должен явиться вместе с родителями, то есть с моей мамой. Почему я это запомнил не знаю. То ли оттого, что такая проделка была неожиданной даже для меня самого, то ли потому, что я, как и почти все мои сверстники, не расставался в военные годы с чувством голода и особенно острым оно было как раз в первый год войны.

Зимы в 1941/42 и 1942/43 годах были суровые, верхняя одежда у многих ребят поношенная и не рассчитанная на такие холода; мы довольно часто болели. Но иногда кто-то пропускал школу по иной причине. К нам заходила классная наставница и сообщала, что у Иры Васиной или Руслана Файзуллина погиб на фронте отец и не надо спрашивать их, почему они отсутствовали. В классе наступала тишина, и многие из нас, наверное, вспоминали, что наши отцы или родственники тоже находятся там, где убивают. А я вспоминал Лёню, маминого брата. Перед войной он был младшим воентехником запаса Черноморского флота и ушел на войну в первый день – 22 июня 1941 года. В мае 1942-го мы получили его очередное письмо, а затем они перестали приходить. Поначалу мы успокаивали друг друга: возможно, письмо пропало, а следующее вот-вот придет. Потом взрослые замолчали, и я тоже понял, что надо молчать. Надежду давало лишь то, что нет похоронки – сложенного треугольником письма, в котором сообщалось, что такой-то с честью выполнил воинский долг и погиб смертью храбрых. Наше молчание длилось почти полгода, а осенью, когда, казалось, уже не осталось надежды, пришло Лёнино письмо, в котором он сообщал, что жив и здоров, но по ряду обстоятельств не мог писать нам. Только после войны мы узнали, что он участвовал в жесточайших боях под Керчью в составе одной из бригад Черноморской морской пехоты, был ранен и тяжело контужен. Потом несколько месяцев в госпитале, прежде чем к нему вернулись память, слух, зрение и способность писать. Вскоре лейтенант Иоан Борко возвратился в свою часть и прошел с ней весь путь до конца войны.

\* \* \*

Когда мне было тринадцать лет, одной из моих главных обязанностей в семье было обеспечение её хлебом. Продовольственные карточки в крупных городах были введены в августе, но в первые месяцы купить что-либо по ним в магазинах, за исключением хлеба, было почти невозможно. А хлебную карточку следовало отоваривать ежедневно и в проставленный на ней день. Так что это была поистине жизненно важная ценность. Для рабочих и инженерно-технических работников были установлены две нормы: для первой категории – 800 г хлеба, для второй – 600 г; норма для служащих – 500 г, для иждивенцев и детей до 12 лет – 400 г. Закупка хлеба с самого начала была возложена на меня, сначала

по трем, а после приезда Абрама Израилевича и Иды Григорьевны – по пяти карточкам. Подозреваю, что нынешнее российское население, и не только тринадцатилетние, просто не в состоянии прочувствовать, насколько высока была цена ответственности за эти серо-голубые бумажки. В шестом классе я учился в первую смену, уроки заканчивались примерно в двенадцать тридцать. Проглотив какую-то скудную еду, оставленную мамой, я бежал к хлебному магазину, к которому мы были прикреплены, и становился в хвост очереди. Она выстраивалась с утра, и мое место в ней, выведенное на ладони чернильным карандашом, всегда было трёхзначным. Хорошо ещё, если в третьей или четвёртой сотне, а нередко бывало и за семьсот–восемьсот. А казанская зима в тот год выдалась суровая, морозы зашкаливали порой за  $-40^0$ , а в пределах от  $-20$  до  $-30^0$  держались неделями. Одет я был по тем временам нормально – зимняя шапка-ушанка, валенки и знаменитая русская стеганая телогрейка, сверху обтянутая в мастерской темно-голубым сукном. И всё-таки в крепкий мороз пробирало. Хлеб в магазин привозили, как правило, пополудни, но в разное время, так что нередко приходилось простаивать по два, а то и три часа. Пробежки и притопы не спасали, и я отправлялся погреться в каком-нибудь ближайшем подъезде. Наконец подошла моя очередь, продавец вырезал талоны, я расплачивался и укладывал в сумку хлеб. И какая же была радость – обнаружить довесок, который можно было съесть на пути к дому!

\* \* \*

Когда мне было тринадцать, мы шефствовали над госпиталем, который занял здание нашей школы. Это был офицерский госпиталь для младшего и среднего комсостава. Помню, как молоденькая медсестра открыла дверь и мы первый раз вошли в большую палату. Она не могла быть иной, потому что раньше это был школьный класс. Вдоль стен, вплотную одна к другой, касаясь спинками, стояли кровати. Их было никак не меньше десятка, а, может быть, и побольше. На них лежали или сидели молодые и средних лет мужчины, одни в халатах серого или тускло-синего цвета, другие в белых больничных рубашках. Кто спал, кто просто лежал, кто читал, лежа или сидя, на одной койке сидели двое раненых и негромко разговаривали. Несколько человек сидели у стола посреди палаты: двое играли в шахматы, остальные наблюдали за игрой и, как водится, давали советы. У кого-то была

в гипсе рука, у кого-то – нога. А мне сразу бросился в глаза раненый, у которого была плотно забинтована голова. Открытым оставался только квадрат лица – от надбровий до подбородка. Позже его товарищи по палате сказали нам, что осколком снаряда ему снесло часть черепа на темени, и он остался жив только потому, что осколок каким-то чудом не задел ткань мозга. Кажется, именно он, взглянув на нас, весело сказал: «Вот и пионеры пришли».

После двух или трех посещений я обратил внимание еще на одного обитателя палаты. Он был заметно старше других, лет сорока, чуть меньше – чуть больше. Вскоре мы узнали, что он был старший по званию – капитан. У него были умные и внимательные глаза, и обращался он с нами по-отечески. Его товарищи по палате относились к нему очень уважительно. Они обращались к нему с вопросами или за советами, а когда в палате возникали какие-то небольшие конфликты, достаточно было нескольких его слов, спокойных и рассудительных, и всё кончалось миром. Но однажды я оказался свидетелем того, как на него рассердились. Дело в том, что он хорошо играл в шахматы и у всех выигрывал. Тогда несколько его партнеров стоворились играть против него сообща. Он согласился, и вскоре стал их обыгрывать, а они начали мошенничать – делали два хода подряд, кто-то стащил его пешку. Он решил ответить тем же. Увидев то, что он сделал, я от удивления открыл рот, но он, заметив это, прижал к губам палец, мол, молчи. Через пару ходов кто-то из его противников сказал, что пора атаковать короля, а его сосед, оглядев доску, воскликнул: «А где король-то?» Все загалдели, а он возразил: «Вы первые начали мошенничать, но я согласен на ничью», – и торжествующе вытащил из-под подушки своего короля. Мир был восстановлен, и все шахматисты отправились курить.

Не помню, как часто мы ходили, может, раз в месяц или чуть чаще. Иногда мы выступали с незамысловатым концертом – пели, читали стихи. Но чаще нас просто разбирали по койкам. Нам выдавали белые халаты, и мы могли присесть на кровать или на стул, если это был лежащий раненый. Мы читали раненым письма, которые им присылали из дому и фронтовые друзья, или просто разговаривали. Они расспрашивали нас о нашей жизни или сами рассказывали о местах, из которых они ушли на войну, о своих семьях. У некоторых родные места были «под немцами», и они ничего не знали о судьбе родных. Позже, повзрослев, я понял, что наши посещения были им нужны, разнообразили их

госпитальную жизнь, отвлекали от переживаний, вызванных тяжёлыми ранениями, долгим и трудным выздоровлением. И еще меня поражало то, что они много шутили, любили разыгрывать друг друга. Особенно весёлым, гораздым на проделки, был раненый с марлевой чалмой на голове. При нашем знакомстве он назвал себя «Гадкий Валька», а его сопалатники говорили, усмехаясь, что Гадкий Валька опять начудил.

\* \* \*

Я мог бы больше рассказать о той поре, когда мне было тринадцать, но записывать пришлось бы долго и рассказ получился бы длинным. Если же коротко, то в тринадцать лет я многое узнал и кое-что понял. Я впервые узнал, что такое постоянно ощущать голод и постоянно ждать с тревогой плохих вестей. Я многому научился – копать землю, сажать, окучивать и убирать картошку, таскать мешки весом в два-два с половиной пуда, пилить и колоть дрова, которые надо было заготовить на долгую зиму, потому что нас обогрела печка, орудовать молотком, клещами, стамеской и другими инструментами. И еще, в тринадцать лет я прошёл первый курс обучения в суровой подростковой школе, где главным законом было не ябедничать и не предавать.

## Кола Брюньон и Павка Корчагин

На дворе стояла поздняя осень 1943 года. Проснувшись в один из последних ноябрьских дней, я вдруг почувствовал, что болезнь моя, наконец, отступила, и ко мне впервые за три недели вернулась ясность ума и способность к размышлению. А мне было о чем размышлять! Прежде всего о школе. В ведомости оценки знаний и поведения ученика 7А класса Юрия Борко итоги первой четверти были обозначены единственной оценкой: поведение – ПЛОХО. Я не был аттестован ни по одному из четырнадцати предметов. Более того, уже после того как я заболел, педагогический совет средней школы № 19 имени Виссариона Белинского постановил отчислить меня и передать мое дело в районный отдел народного образования, которому предстояло решить мою дальнейшую судьбу. Букет моих «подвигов», закончившихся исключением, был красочным. А тайна их происхождения была проста – я пришел в новую школу. Весной 1943-го в нашей стране

было введено раздельное обучение. Школа № 3, в которой я учился, стала женской, и меня отправили в мужскую – 19-ю.

Спровалили, надо сказать, с большим удовольствием, потому что я был бузотером, то и дело что-то вытворял на уроках или сбегал, а однажды увел с собой почти весь класс, и был жуткий скандал. Я вел себя так в школе уже два года. А началось все с того, что, эвакуировавшись в конце лета вместе с мамой из Москвы в Казань, я вдруг почувствовал, что предоставлен самому себе. Шла страшная война лета и осени 1941-го. Мама и Рита, как и все люди в тылу, работали с утра до ночи. У меня тоже были семейные обязанности – дрова для железной печки, которой с осени до поздней весны отапливалась квартира, и хлебные карточки, которые каждый день надо было отоварить в булочной. Учился я в первую смену, на домашние задания тратил считанные минуты, выстаивал очередь за хлебом, а всё остальное время занимал двор.

Я наслаждался безнадзорностью и был поглощен стихией шальной дворовой жизни. Пятиэтажный кирпичный дом, в котором мы жили, был построен управлением Казанской железной дороги для его сотрудников и заселён уже после начала войны. Вскоре к нам пожаловали шпанистые подростки из соседних домов и домишек, многие из них больше походили на трущобы. Их обитатели – социальные «низы» с большой долей представителей уголовного мира. Знакомство с соседями-сверстниками проходило непросто, но после нескольких стычек отношения наладились. И тут во мне проснулось чувство собственной неполноценности, захотелось не уступать этим пацанам, как сказали бы теперь, в «крутости». В моем языке появились блатные словечки и матерщина. Матерные слова мне были известны с детских лет, так во дворе изъяснялись взрослые, не только мужики, но и немало женщин, не говоря уже о подростковой шпане. Но в семействе Борко никто не матерился, я знал, что мат неприличен, и не пользовался им. А теперь словно все клапаны сорвало. Но обновился не только язык, изменились поступки. Я участвовал в набегах на сарайчики и клетушки в подвалах нашего дома, где население хранило запасы на зиму – картошку, овощи и бочки с квашеной капустой, солеными помидорами и огурцами. Не раз я участвовал и в других рискованных похождениях, которые могли закончиться приводом в милицию с неприятными последствиями. Но во время остановился.

В таком устоявшемся образе я и пришел 1 сентября 1943 года в школу № 19. Новый класс, никого не знаю и ни с кем не знаком.



«Показать» себя я решил в первый же день. Нашел 7А класс, он был расположен на первом этаже, зашел, сел на учительский стол, вынул пачку купленных на рынке дешевых папирос и закурил. Мои новые одноклассники остолбенели, как в финальной сцене «Ревизора». А через минуту дверь открылась, и в класс вошли двое мужчин и женщина. Их имена я узнал позже: директор школы Петр Борисович Хорунжий, военрук, имя которого я давно забыл, и классный руководитель Валентина Ивановна Кулиш. Я сориентировался мгновенно: со стола на парту, с парты на подоконник, из открытого окна на улицу – и был таков! Установить мое имя труда не составляло, и когда я на следующий день пришел в школу, моя классная наставница тут же препроводила меня к директору. Он отправил меня домой, сказав, что я должен явиться к нему вместе с мамой. Прийти в школу она смогла через неделю, и после обстоятельной беседы мне было разрешено вернуться в класс.

В сентябре и октябре – время первой четверти – я учился как привык. Всё схватывал на уроках, домашние задания выполнял изредка и кое-как, в дневнике – полный набор оценок, начиная с «отлично» и кончая «плохо». Были в дневнике и записи о новых нарушениях дисциплины, но без вызовов родителей. А в начале ноября я снова сыграл роль «антигероя», подрался с парнем из параллельного 7-го класса. Звали его, насколько мне помнится, Рустем Хайруллин (имя, кажется, точно, а фамилия так или похоже). Был он лидером шпанистой компании в своем классе, привык верховодить, и я, видимо, чем-то ему не понравился. Он придрался, я «отшил», он предложил «стыкнуться», я вызов принял. Драка состоялась в тот же день после уроков, дрались один на один до первой крови, а вокруг собралось два десятка семиклассников, в основном из его класса. Он оказался намного опытнее, знал боксерские приемы, и мне крепко досталось. Домой я вернулся с распухшим носом, подбитым глазом и парой синяков.

В школу я не пошел ни на следующий, ни на второй день, а в дирекции между тем всё уже было известно. Драка-то состоялась на школьном дворе, и свидетелей было полным-полно, возможно, кто-то из учителей тоже видел. Собрался педсовет и принял решение исключить меня из школы. Но мне уже было не до этого. На третий день после драки у меня взлетела температура и началась рвота. Она продолжалась и в следующие дни; какую бы пищу я ни принимал, меня тут же выворачивало. Врачи поставили жуткий диагноз – инфекционная желтуха. Она протекала

в крайне острой форме, и к концу первой недели возникла реальная опасность, что болезнь может закончиться летальным исходом. Меня спас килограмм сахара. Приглашенные моей тетушкой Ритой врачи сказали, что надо как можно быстрее начать вводить в мою кровеносную систему сахарный раствор, так как это единственная пища, которую, вероятно, не отторгнет больной организм. Не буду рассказывать, как Рита достала его в условиях карточной системы, но с начала второй недели мне стали вводить этот раствор, не помню, дважды или трижды в день. Вскоре я почувствовал, что мне становится легче, мой желудок перестал отторгать пищу, и, как уже сказано выше, в один из последних ноябрьских дней я ощутил, что болезнь моя отступила.

Я был слишком слаб, чтобы заняться каким-то рукотворным делом, и сначала единственно посильным занятием стало чтение. Так уж случилось, что первой вызвавшей у меня интерес книгой оказался роман Ромена Роллана «Кола Брюньон».

Это было роскошное издание в альбомном формате и твердой обложке, с иллюстрациями Евгения Кибрика. Я любовался ими – фигурой главного героя, портретом его любимой женщины Ласочки и т. д., не зная, что иллюстрировал книгу один из самых талантливых советских графиков. Я начал читать книгу, и она

стала для меня открытием. Она распахнула окно в мир, о котором я имел самое смутное представление, мир высоких человеческих чувств и отношений – любви, верности, чести и достоинства, мужества и стойкости, веры в добро и неприятия зла. Я был потрясён судьбой Кола Брюньона, он стал для меня новым типом героя. Прежде я брал их из мира фантастики, особенно из произведений Жюль Верна, которые перечитал в предвоенные годы – капитан Немо, капитан Грант, к ним еще можно добавить капитана Грея из «Алых парусов»... А Кола Брюньона я воспри-



нял как героя из реальной жизни. Позже к нему присоединились иные реальные и литературные герои – итальянский революционер с подпольной кличкой Овод, Тиль Уленшпигель и т. д.

Но всё это потом, а тогда, в конце 1943-го, мои новые чувства и размышления переплелись с раздумьями о собственной судьбе. Забегая вперед, скажу, что с тех дней началось мое восхождение по ступенькам *тинейджерских* лет, а сейчас надо было решить прозаический вопрос: как быть со школой? Пока я болел, в моей судьбе наметилась перемена. На звонок



моей классной наставницы, сообщившей, что я исключен из школы, то ли мама, то ли Рита ответила, что я тяжело болен, и попросила отложить решение до моего выздоровления. Дирекция школы пошла навстречу, а когда я начал выздоравливать, к нам пришла классная наставница Валентина Ивановна и сказала, что дирекция решила допустить меня к занятиям, поставив два условия – никаких фокусов с поведением и сдать учителям в течение декабря своего рода экзамены по всем учебным программам первого полугодия. За месяц – программы по десяти предметам. Не слабо! Но выбора у меня не было. На память я не жаловался, прочитанное в учебниках усваивал с первого раза, а главный козырь был в том, что у меня не было проблем с математикой – ни с алгеброй, ни с геометрией. В общем, с выпавшим мне испытанием я справился успешно. По пяти предметам сдал полугодовые программы на «отлично», по пяти другим – на «хорошо».

Странно, но второе полугодие 7-го класса мне почти не запомнилось. Ни одной зрительной картинки, только общие впечатления. Одноклассники отнеслись ко мне сочувственно, если не все, то многие. А может, еще важнее было то, что я стал воспринимать их иначе. С меня слинял гонор, пропало желание демонстрировать перед ними свою особость и крутизну. Они стали *моими*

одноклассниками, с некоторыми возникли товарищеские отношения. Так же и с учебой. В декабре я впервые испытал, что такое повседневный трудовой режим. Нет, я не перелицевался в примерного ученика, иногда прогуливал занятия, мог не выполнить домашнее задание и заработать «неуд», но в общем рабочий режим стал для меня нормой. В третьей четверти по большинству предметов я получил пятерки (с января 1944-го была введена пятибалльная система оценок) и завершил 7-й класс отличником.

Самое важное для меня событие произошло 21 апреля 1944 года – я стал членом ВЛКСМ. Мое решение вступить в комсомол не было рождено какими-то практическими расчетами. Я с детских лет воспринял от мамы, её братьев и сестёр идею коммунизма. А их кумиром была Этель, которая стала и моим кумиром. Только вера жила сама собой, а моё повседневное бытие, мои привычки и поступки никак с ней не соприкасались, пока в критический момент я не задумался над смыслом собственной жизни. Чего я жду от нее? Чем она должна быть наполнена? Всерьёз я начал размышлять об этом в те месяцы, о которых я рассказал, а итогом размышлений стало вступление в комсомол.

Позже, 29 августа 1944-го, я записал в дневнике: «Прочел снова “Как закалялась сталь” <...> Прочел залпом, так она меня захватила <...> Я постараюсь, чтоб моя жизнь была хоть немного похожа на жизнь Николая Островского – Павла Корчагина своим беззаветным служением народу, родине» (Дневник № 5. С. 2). Это была первая запись в дневнике (я вел его с осени 1941 года), в которой я чётко сформулировал мое жизненное кредо. Я следовал ему как мог. Два последних памятных года моей учёбы в 19-й школе. Об этом я напишу отдельно. А закончу тем, с чего начал. Первым толчком к переменам в моей жизни послужила повесть «Кола Брюньон», и я благодарю судьбу за то, что так случилось.

## **Школа № 19, или Три года, перевернувшие мой мир**

7-й класс вырыл глубокую траншею между моей дворовой жизнью, которую я избрал вскоре после переезда в Казань, шеголяя прибалтнённным жаргоном и без особого раздумья участвуя в сомнительных, а то и рискованных похождениях, и новой жизнью, начавшейся во второй половине минувшего учебного года. Я возблагодарил за неё моих новых кумиров – Кола Брюньона и Павку Корчагина. Но в конечном счете причиной был я сам.

Мне пошел шестнадцатый год, через полгода – паспорт. У меня появились новые сферы интересов, новые увлечения – тяга к общественной деятельности, интерес к международным отношениям и их более глубокому познанию, чтение «взрослой» литературы, спорт, шахматы и ошеломивший меня интерес к прекрасной половине человечества в лице моих сверстниц.

Но сначала о главном: после окончания 7-го класса мне предстояло решить: остаться ли в общеобразовательной школе-десятилетке или выбрать иной вариант дальнейшей учебы. В те времена обязательным в стране было «неполное среднее образование» (семилетка), а учёба в 8–10-х классах была добровольной и платной. Очень многие подростки, особенно мальчишки, окончив семилетку, либо поступали в техникумы и профессионально-технические училища (ПТУ), где получали небольшую стипендию, либо сразу же устраивались на работу, в первую очередь на предприятиях, работавших для фронта. Подавляющее большинство населения в тылу жило в тяжелейших материальных условиях; тринадцати-, четырнадцати- и пятнадцатилетние подростки, встававшие к станкам, получали зарплату и рабочие продовольственные карточки, становясь главными кормильцами в семье.

Я размышлял. Поступив в техникум с трехлетним сроком обучения, можно было не только получить специальность, но и освоить программу старших классов школы, сдать экзамены за десятилетку, а через два года, имея на руках аттестат и справку о двухлетнем трудовом стаже, поступить в Московский университет без экзаменов (при отличном аттестате) или сдав вступительные экзамены по минимуму, минуя жесточайшие конкурсы для вчерашних школьников, где на одно место претендовало 10–15 абитуриентов. Но после разговоров с мамой и Ритой я решил остаться в 19-й школе. Я не представлял, насколько большую роль сыграет она в моей жизни.

А летние каникулы в 1944 году прошли по-новому. В конце мая или начале июня мы с моим другом Юрой Удобниковым начали заниматься легкой атлетикой на стадионе «Динамо». В октябре 1944 года я впервые участвовал в городской юниорской эстафете. Бежал триста метров на первом этапе эстафеты и пришел вторым, отстав на два метра от бегуна из спортшколы. Чтобы не возвращаться к моим занятиям в спорте, скажу, что я оказался резвым спринтером и на городском первенстве школьников летом 1945 года занял первое место в беге на восемьдесят метров с барьерами и показал абсолютно лучшее время на своем этапе эста-

феты 4х100, выведя команду школы на первое место. Летом 1946 года был включён в команду юниоров Татарии, которая готовилась к юниорской спартакиаде в регионе Среднего Поволжья. Правда, выступить мне не удалось, потому что, получив известие из Москвы о том, что тяжело заболела мама, я в считанные дни собрал свои вещи и отбыл в столицу. В Казань я уже не вернулся.

Тогда же летом 1944-го я возобновил занятия шахматами. Увлёкся я этой древней и замечательной игрой в возрасте шести-семи лет. Перед войной получил пятый (низший) шахматный разряд, покупал в киоске шахматную газету «64» и изучал партии, сыгранные чемпионами мира. В 19-й школе я обнаружил нескольких сверстников, тоже увлечённых шахматами. Мы провели школьный турнир, организовали шахматный кружок, который возглавил кандидат в мастера спорта по шахматам, а летом 1945 и 1946 годов приняли участие в городских турнирах на первенство среди школьников Казани. Мои главные соперники из нашей же школы, Асат Кончурин и Боря Алемасов, играли в ту же силу, что и я, но мне оба раза удалось обойти их на пол-очка и дважды стать чемпионом города среди шахматистов-школьников. На этом рассказ о моих спортивных победах в Казани можно завершить.

Учеба в тот год началась в октябре, потому что в сентябре миллионы школьников участвовали в уборке урожая. Мой 8 «А» заметно обновился, но его ядро сохранилось, и в первую же неделю меня ждала неожиданность – я был избран старостой класса. Помимо учёбы ученики старших классов привлекались к хозяйственным делам, в начале ноября состоялся школьный субботник – разгружали дрова. Наш класс явился и отработал лучше всех. Возможно, этот факт был замечен, потому что через несколько дней меня ждала еще большая неожиданность – на собрании школьной комсомольской организации я был избран ее секретарем. 60 человек, большинство – ученики 9-х и 10-х классов; и мне предстояло решить непростую задачу – установить с ними нормальные товарищеские отношения, убедить их – не словами, а манерой поведения, что на меня не действует присущий многим старшеклассникам гонор.

Мое положение в школе кардинально изменилось. В первую очередь изменился масштаб моих интересов и действий – уже не класс, а школа. А вскоре я почувствовал изменившееся ко мне отношение педагогического коллектива. Оно исходило прежде всего от директора. Первая беседа с Петром Борисовичем Хорунжим состоялась вскоре после моего избрания. Я помню

темы, но не детали нашего разговора. Директор рассказывал мне о хозяйственных, учебных и воспитательных проблемах школы и о том, какой помощи он ждёт от нашей комсомольской организации. Больше всего меня впечатлило то, как он общался со мной – без скидок на возраст, как со взрослым. Возникший в первой же встрече климат взаимного уважения и доверия между молодым уже, опытным, умным мужчиной и школьником, только что вступившим в пору юности, сопровождал наши отношения все два последних года моего пребывания в 19-й школе. Петр Борисович Хорунжий стал одним из тех педагогов, которых я запомнил на всю жизнь.

Новые отношения возникли и с учителями, особенно с теми, кто работал в классах, где были комсомольские группы. Иногда они обращались ко мне, когда у них возникали претензии к какому-нибудь старшекласснику-комсомольцу, и они разговаривали со мной уже не как учитель с учеником. До меня постепенно стало доходить, что я учусь в необычной школе. 11 января 1945 года я впервые упоминаю в дневнике, что школа № 19 была лучшей в Казани и одной из лучших в Советском Союзе (Дневник № 5. С. 27).

Создал ее в 30-е годы педагог, как говорится, от Бога Иосиф Ильич Малкин, заимствовавший у Антона Семеновича Макаренко методику воспитания в коллективе, используя элементы ученического самоуправления. В школе был создан ученический совет, который ежегодно переизбирался. Он не имел никакого касательства к учебному процессу, но мог вырабатывать рекомендации и после согласования с дирекцией принимать решения по вопросам организации общественной и культурной жизни в школе. Ежегодно группа старшеклассников во главе с директором отправлялась в лодочный поход вниз по Волге, и завоевать место в группе было очень непросто. Когда началась война, Иосиф Ильич отказался от брони и ушел добровольцем на фронт. Ушли и почти все учителя-мужчины. Мне ничего не известно о директоре школы, сменившем Иосифа Ильича, но ученический совет больше не избирался. И все же климат отношений между учителями и учениками, взлелеянный в довоенные годы, в какой-то степени сохранился. Его сберегли некоторые женщины-учителя, прошедшие школу Иосифа Ильича. Одну из них я запомнил на всю жизнь.

12 февраля 1945 года большой группе учителей Татарии вручались ордена и медали. Орден Трудового Красного знамени

был вручён «нашей любимой учительнице истории Надежде Евгеньевне Козыревой» (Дневник № 6. С. 9). Она преподавала в нашем 8-м классе всеобщую историю (Новое время). В её изложении история оживала. Ей особенно удавались устные портреты исторических деятелей – монархов, полководцев, революционеров, мыслителей. Однажды очень ярко рассказала о Карле Марксе и Фридрихе Энгельсе – их биографии, взгляды, отношения. Закончив, после короткой паузы добавила, что был у Энгельса один недостаток – очень увлекался женщинами и часто менял их. Сидевшие перед ней неотесанные пятнадцатилетние юнцы встретили ее слова гоготом. Заметив мой интерес к истории, Надежда Евгеньевна загрузила меня чтением первоисточников: я прочел и законспектировал «Манифест Коммунистической партии», пару статей Энгельса, ленинскую статью «Три источника и три составных части марксизма». В итоге Надежда Евгеньевна изрядно подогрела мой интерес к исторической науке.

На следующий год в наш класс пришли еще два учителя, оставшихся в моей памяти. Но сначала о нас: нам было 16–17 лет, критически мыслящие «тинейджеры», и наших учителей мы оценивали по двум качествам: профессиональным, знанию своего предмета, и человеческим – ровному и уважительному отношению к ученикам. Оба новых преподавателя были вне всяких сомнений.

Анфиса Васильевна Щепина преподавала русский язык и литературу. По возрасту – в середине шестого десятка, она ещё до революции окончила филологический факультет Казанского университета и накопила 35-летний стаж педагогической работы. Учебная программа 9-го класса по литературе была лучше не придумаешь: русская литература в XIX столетии. Анфиса Васильевна знала все идеологические акценты, расставленные в школьной программе и в учебнике для 9-го класса. Но как же различались два языка – учебника и учителя! Я говорю не о литературном качестве изложения, хотя разница тоже была огромной, а о раскрытии уникальности отечественной литературы XIX века. Весь год, переходя от автора к автору, от произведения к произведению, Анфиса Васильевна раскрывала гуманистическую сущность русской литературы и публицистики, вошедшей в золотой фонд мировой культуры. Не помню, сказал ли я при обсуждении поэзии, что первым поэтом России считаю Лермонтова с его «Убит поэт, невольник чести» и особенно «А он, мятежный, ищет бури» и что Печорин кажется мне фигурой более интересной, чем скучный Онегин. Почти наверняка не удержался, но так как зрительно не



помню, не могу сказать, как Анфиса Васильевна среагировала. Скорее всего, с присущей ей терпимостью. Произнеся слово «гуманизм», я не могу не упомянуть о том, что, помимо своего общего определения, оно заключало в себе специфический смысл. Анфиса Васильевна была нашим классным наставником и в этом качестве живым воплощением гуманного отношения к своим подопечным. Она не спускала нам фокусов: то один загулял, то другой поскандалил с кем-то из учителей-предметников. Анфиса Васильевна выдавала виновному попойкой, но всегда оставалась корректной и никогда не повышала голоса. Не жалела она времени и на доверительные разговоры *тет-а-тет*, была в таких случаях готова к диалогу, терпелива, и от неё веяло мудростью.

А вторым «новичком» был учитель математики Анатолий Петрович Невзоров. В 19-й школе он начал работать в 30-е годы. В июне 1941-го ушел на фронт, в 1944-м получил тяжелое ранение, многие месяцы провел в госпиталях, а при выписке был комиссован и после положенного ему отпуска вернулся в родную школу. С 1 сентября 1945 года он начал преподавать в нашем классе математику. Знал и преподавал блестяще, и вызывал у нас двойное уважение – как фронтовик и как преподаватель. А что касается меня, то Анатолий Петрович был первым учителем – первым за все школьные годы! – заставившим меня понять, что учеба – это труд. Он быстро выяснил, что я легко усваиваю новый материал, но не даю себе труда тщательно выполнить домашнее задание, внимательно прочесть соответствующий раздел в учебнике и решить разные варианты задач. На следующий день вызывал к доске, предлагал для начала задачу попроще, а потом заковыриваю, не отпускал, пока я не доберусь до правильного решения, и ставил в классный журнал четверку. Я как-то спросил, почему не пять, а он ответил: «Ты же решил с помощью одноклассников и моей». И так весь год. В четвертях у меня были пятерки, но в основном все те же четыре. Оба весенних экзамена по алгебре и геометрии я сдал на пять, но за год так и остались четверки. А на следующий год, в выпускном 10-м классе московской школы № 491 я на первых же уроках математики понял, что курс обучения целенаправленному и систематическому труду, который преподавал мне Анатолий Петрович, не прошел даром.

В 8-м и особенно в 9-м классах я жил в двух взаимосвязанных, но все же автономных пространствах – учёба и общественная жизнь (были еще две важные сферы – семья и личная жизнь, но здесь я их не касаюсь). Учёба, при всей ее важности, волнений у меня не

вызывала, все было predetermined – учебная программа, учебники, учителя, и дальше как по накатанной колее. А вот общественную жизнь, мое комсомольское секретарство я воспринял очень серьезно. Здесь был простор для инициативы и самостоятельности, а энергии у меня было предостаточно. Правда, вскоре начались разочарования: в комсомольской работе было много формалистики и показухи. Надо было составлять планы и сдавать их в райком комсомола, а потом писать отчеты. Из райкома то и дело приходили указания – провести такое-то мероприятие, выполнить слякое-то задание.

Но было два реальных дела. Первое – отопление школы. В 8-м классе, насколько помню, бревна нам привозили в школу, мы с помощью одного-двух рабочих разгружали грузовик и укладывали их в штабель, а потом пилили и кололи. А летом 1945-го, накануне нового учебного года директора школы предупредили, что за дровами придется ездить самим. Он вызвал меня и сказал, что сам обязать школьников заниматься погрузкой бревен не может. Петр Борисович предложил мне подобрать команду в составе 20–25 физически крепких старшеклассников, в основном из двух девятых классов, и характером покрепче. Так я и сделал, выяснив попутно, не будет ли у них проблем с родителями. Две поездки мне запомнились. В начале сентября школе выделили грузовой трамвай – моторный вагон с прицепом. Ехать надо было на пристань после полуночи, когда заканчивал работу пассажирский трамвай. Нам предстояло перенести бревна с баржи к трамвайному пути, загрузить грузовой трамвай, разгрузить его на углу улицы, где в конце квартала находилась наша школа, и перенести туда бревна. И все это до пяти тридцати, когда возобновлялось движение пассажирского трамвая, развозившего на работу, в основном на оборонные предприятия Казани, 150 тысяч рабочих и служащих. Как же это было тяжело – подниматься с тяжеленным бревном за спиной по дебаркадеру к трамвайным путям. Мы справились! Мы уложились в срок. А к весне выяснилось, что дрова кончаются. По просьбе директора школе выделили грузовик, я отбрал десять–двенадцать (точно не помню) самых крепких ребят, и мы отправились за дровами в леспромхоз. Лесовики встретили нас изумленно и сочувственно. Сами погрузили бревна, намертво скрепили их, чтобы они не раскатывались на ухабистой дороге, дали несколько советов, как разгружать машину, и мы отправились в обратный путь, держась за крепление и друг за друга. Больше до конца года проблем с дро-

вами не возникало, и я был горд тем, что справился с порученным мне делом.

А вторым и самым желанным делом были вечера. Для наших педагогов не было секретом, что устраивали мы их ради того, чтобы потанцевать с девочками, нашими сверстницами из женских школ, особенно из расположенной неподалеку 3-й школы, а они, в свою очередь, приглашали на свои вечера нас. В общем, дирекция разрешала вечера с приглашением только при условии, что они посвящены знаменательным датам или содержательной теме, скажем, какой-то доклад или вечер самодеятельности, конкурс стихов и т. п. Иногда это было интересно, иногда нет, но во всех случаях аудитория встречала окончание этой части вечера с радостью. А дальше начинались танцы, и за пианино садился ученик параллельного класса Гера Клячкин. Хороший парень, но с одним дефектом – толстый и неуклюжий, он был нулевым танцором. А играл на пианино с удовольствием и весь вечер «бацал» танго и фокстроты или просто джазовую музыку – американскую или популярного тогда советского композитора Александра Цфасмана.

Особняком стояли два вечера, состоявшиеся в 1945 и 1946 годах в один и тот же день – 29 января. Еще в 30-е в школе установилась традиция встреч выпускников со старшеклассниками, но в первые три года войны такие встречи не проводились. В моем дневнике сохранилась запись, что 29 января 1945 года такая встреча состоялась и в ней принял участие вернувшийся с фронта выпускник довоенных лет. Но в моей памяти сохранилась не эта, а следующая встреча 29 января 1946 года. В школу пришла целая группа выпускников, уж точно более десяти, может быть, пятнадцать человек. Были среди них мужчины-фронтовики, но в основном их сверстницы, тоже воевавшие или работавшие медсестрами в госпиталях, на оборонных предприятиях. Встреча началась траурной минутой в память о тех, кто не вернулся. Потом наши гости стали рассказывать о себе, о том, как прошли войну, и вспоминали довоенную 19-ю школу. Мой одноклассник и друг Женя Гортинский, лучший юный поэт Казани, прочел свое стихотворение, посвященное встрече. В зале возникла удивительная атмосфера. Все – выпускники, педагоги и старшеклассники – были взволнованы.

Отдельная страничка моих воспоминаний – мое участие в отчетно-выборной конференции комсомольской организации Казани. Она проходила в конце января 1945 года в здании

Казанского университета. Среди примерно двухсот делегатов было и несколько секретарей школьных организаций, в том числе я и Рита Матвеева из женской школы № 3, с которой мы познакомились в городском Доме пионеров, занимаясь в танцевальном кружке. Конференция продолжалась два дня и ошеломила меня острой критикой делегатов в адрес руководства городского комитета ВЛКСМ. К моему удивлению, мне было предложено выступить – папану без недели шестнадцать. Я очень волновался, но когда вышел на трибуну, вдруг успокоился и сказал все, что хотел. А на второй день конференция раскололась. Делегации двух центральных районов – Молотовского и Бауманского, где находились почти все вузы, научные центры и конструкторские бюро, предлагали оценить работу горкома ВЛКСМ как неудовлетворительную, делегаты пяти промышленных районов заняли противоположную позицию. Ее поддержал городской комитет ВКП(б), так как неудовлетворительная оценка бросила бы тень на партийное руководство комсомолом. Силы были неравные, и утвердили положительную оценку. Все эти игры были для меня внове, а я находился в возрасте повзрослевшего тинейджера, пытающегося самостоятельно разобраться в окружающей меня жизни. Так что конференция добавила мне критических размышлений. Тем не менее она завершилась вечерним балом, песнями – «Дан приказ: ему – на запад», «Вьется в тесной печурке огонь»... А мы с Ритой Матвеевой получили первый приз за лучшее исполнение вальса.

И отдельно о книгах. Читал я запоем и как попало: «Последний дюйм» Джеймса Олдриджа, «Мысли и воспоминания» Отто фон Бисмарка, трехтомную «Историю дипломатии», роман Леонида Леонова «Скутаревский» – о смерти и бессмертии, Историю ВКП(б), «Собор Парижской богородицы» Виктора Гюго, все романы Тургенева, из которых наибольшее впечатление произвели «Дворянское гнездо», «Рудин», «Отцы и дети», шекспировского «Гамлета», Лермонтова и Маяковского, Надсона и Блока...

### Самый памятный вальс

Вот встретят меня на пороге встречи с Вечностью и спросят: «А что ты любил больше всего при жизни?» Ну, отвечу, летом – на байдарке по рекам, озерам и порогам, а зимой, по субботам или воскресеньям – лыжи в руки, за плечами рюкзачок с термосом, двумя-тремя бутербродами и топориком – и по полям, холмам,

лесам и перелескам подмосковным, километров двадцать пять–тридцать, а в марте, когда и день подлиннее, и по насту можно идти свободно – все полста километров, а то и поболее. Но всё-таки больше всего я любил танцевать. Всю жизнь! В семь лет я первый и последний раз ходил в детсад, старшая группа. Почти ничего не помню, кроме одного эпизода. К какому-то празднику учили нас танцевать чардаш. В костюмах танцевали, а я впереди, и на мне бархатная венгерская курточка красного цвета. А по-настоящему я увлекся танцами, когда жил в эвакуации в Казани. Год 1943-й, было мне около четырнадцати лет, дворовые забавы и приключения надоели, и зашел я в городской Дом пионеров, расположенный в конце квартала той же улицы, где находился мой дом. Записался сразу в два кружка – шахматный и танцевальный. Про первый рассказывать не буду, а во втором вскоре вышел в солисты. Назвал бы себя лучшим, но не могу. Был у меня достойный соперник Рустам, и старались мы переплясать друг друга не из пустого тщеславия, а чтобы стать первым партнером лучшей танцорки, нашей ровесницы Риты Матвеевой. А не устроили мы сплошной мордобой лишь потому, что после первой нашей стычки Рита сказала, что если это хоть раз повторится, она с нами танцевать никогда не будет. Закончилась наша вражда неожиданно и смешно. В Казани я жил у младшей сестры моей мамы – Риты, и была у нее очень близкая подруга Миля Шамсиева. Как-то Рита говорит мне, что в семье Шамсиевых праздник, и мы приглашены к ним в гости. Приходит этот день, мы поднимаемся по лестнице, звоним в дверь, она открывается, и я остолбенел: передо мной стоит Рустам, а я вспоминаю, что фамилия-то у него Шамсиев. Он, увидев меня, тоже застыл; Рита и Миля, как оказалось, его старшая сестра, глядя на нас, всполошились, но тут уж мы пришли в себя и успокоили их, сказав, что давно знакомы, занимаемся в танцевальном кружке, но просто не ожидали такой встречи. На первом же занятии в танцкружке мы со смехом рассказали все Рите, и с тех пор в нашем треугольнике установился покой и порядок. В одних групповых танцах ее партнёром был Рустам, в других – я; случалось, что мы подменяли друг друга. А через год я ушёл из танцевального кружка, не без грусти, но выбора не было. Всё мое время поглотили три занятия – легкая атлетика, шахматы и общественная работа в качестве секретаря комсомольской организации школы № 19. А с Ритой Матвеевой я танцевал, и не единожды, потому что моя школа и ее женская школа № 3 были расположены неподалеку и мы ходили друг

к другу на вечера, самой желанной частью которых были, конечно, танцы. Но один танец с Ритой запомнился мне на всю жизнь. Случилось это в начале 1945 года. 27 и 28 января в здании Казанского университета проходила отчетно-выборная конференция комсомольской организации города. Полный конференц-зал делегатов, и среди них несколько секретарей школьных комсомольских организаций, в том числе я и Рита Матвеева, которая секретарствовала в своей школе. Я даже выступал в прениях. Днем, после того как закончилась конференция, было, к общей радости, объявлено, что вечером в здании университета состоится бал для ее делегатов. Женская их часть при этом заметно преобразилась, многие успели съездить домой и принарядиться. Бал проходил в нескольких залах, было весело и шумно. И тут объявили, что в одном из залов начинается конкурс на лучшее исполнение танцев и первыми приглашаются претенденты на лучшее исполнение вальса. Мы с Ритой переглянулись и вошли в круг. А секрет был в том, что еще в пору занятий в танцевальном кружке наша наставница заметила Ритино и мое увлечение вальсом и начала обучать нас тонкостям этого прекрасного танца. За полтора года мы изрядно преуспели в этом. Теперь, когда мы вошли в круг, охотников участвовать в этом конкурсе оказалось немного. Вальс не был в моде, это достаточно трудный танец. Так что никто другу другу не мешал. Мы двигались то размашистым, то семенящим шагом, то стремительно, то почти замирая, периодически дополняя движение какими-нибудь фигурами и меняя вращение – то по часовой стрелке, то в обратном направлении. Прозвучали последние аккорды, наступила тишина, мы раскланялись и вышли из круга. Долго ждать не пришлось. Вскоре нас объявили победителями и, кажется, даже вручили какой-то приз, но какой, не помню. С того дня прошло более семидесяти лет. Я танцевал вальс многие сотни раз – в школьные и студенческие годы, на всех моих работах, на банкетах, которыми завершались научные конференции в Советском Союзе, России и за рубежом, в санаториях и домах отдыха, в дружеском кругу. У меня были прекрасные партнерши, и среди них моя жена Лена, с которой, если будет благосклонной судьба, мы отпразднуем в будущем году 60-летие совместной жизни. Но такого погружения в мелодию вальса, полного растворения в нём и самозабвения, как в тот день, у меня больше не случалось, и воспоминание о нем – как живительный сок. Любите танцевать и пока можете – танцуйте!

## Мамин урок

Наступил год 1945-й. Бои шли уже за пределами нашей страны, за исключением небольшой приграничной территории в Прибалтике, война приближалась к концу. А в моей жизни многое изменилось. Из бузотера и разгильдяя, учившегося, впрочем, вполне прилично, я, перешагнув в 8-й класс, стал отличником и секретарем комсомольской организации в своей школе. Но в начале года меня больше всего занимало близкое шестнадцатилетие. Мне предстояло получить паспорт, и это рождало во мне два чувства – с одной стороны, меня распирала гордость, с другой – я был в замешательстве. Первое не требует объяснения. А растерянность была вызвана тем, что при оформлении паспорта в местном отделении милиции надо было заполнить среди прочего пятую графу – национальность. Мне надо было определиться, кто я – еврей или русский?

Моя мать, Надежда Абрамовна Борко, была еврейкой; мой отец, Антон Петрович Бутин, был русским. В отличие от многих государств, в которых, как я узнал позже, был установлен единообразный порядок определения национальности детей, в советском законодательстве такого правила не было. Дети от смешанных браков могли сами (или по совету, а чаще по воле родителей) выбрать свою национальность. Теперь выбор предстояло сделать мне.

Я вырос в еврейской семье. В дошкольные годы жил в Ростове-на-Дону с бабушкой и дедушкой, родителями моей мамы, а позже, в школьные годы, либо с мамой в Москве, либо – во время войны – с ее младшей сестрой Ритой в Казани. Я знал от старших о трагической судьбе еврейского народа, потерявшего две тысячи лет назад свою родину, рассеянного по миру и все-таки сумевшего, несмотря на тяжелейшие условия жизни, сохранить свой язык, религию и культуру. В нашей семье гордились и передали мне гордость за великих евреев – ученых, писателей, композиторов, которые внесли огромный вклад в мировую науку и культуру. Особенно я гордился тем, что евреем был величайший революционер-коммунист Карл Маркс, учением которого руководствовался Ленин – основатель большевистской партии и Советского государства. Дело в том, что я рос в семье, свято чтившей память об Этель Борко, героически погибшей в 1919 году в борьбе за установление Советской власти в Ростове и Донской области. Маркс почитался у нас, как святой. Я гордился тем, что из трех знамени-

тых летчиков, награжденных двумя «золотыми звездами» Героя Советского Союза еще до Великой Отечественной войны за участие в воздушных боях в Испании и Монголии, один, Яков Смушкевич, был евреем. Я гордился тем, что брат моей мамы Иоан Борко в первый же день Великой Отечественной войны ушел на фронт и сражался с немцами в составе Черноморского флота. Когда приходили газеты, в которых публиковались списки награжденных участников войны, я всегда искал – и радовался, когда находил, – еврейские имена и фамилии.

Но, несмотря на всё сказанное, я чувствовал себя скорее, русским а не евреем. Я не знал еврейского языка идиш, на котором разговаривали дома в нашей ростовской семье. Взрослые мне говорили, что в первые годы жизни я одновременно усваивал оба языка – русский и идиш. Но потом я уехал к маме в Москву и очень быстро забыл почти все еврейские слова. Я был абсолютно незнаком с еврейской культурой, если не считать одной повести и нескольких рассказов выдающегося еврейского писателя Шолом-Алейхема. Я говорил и думал на русском языке, рос в русской среде и на почве русской культуры. Моей родиной была Россия, и меня волновала её история. Так кто же я, в конце концов, – еврей или русский? Возможно, и тот и другой, но в паспорте надо указать только одну национальность. Я был в смятении.

В общем, я понял, что без помощи старших мне не обойтись. Мама уже вернулась в Москву, и я решил посоветоваться с Ритой, кем мне записаться в паспорте. Услышав мой вопрос, она даже удивилась и без промедления ответила: «Конечно, евреем». Мне не понравилось в её ответе слово «конечно». Я был в том возрасте, когда категоричный тон старших вызывает у подростков, особенно ершистых, а я был именно таким, бурный протест. Однако я промолчал, а про себя решил посоветоваться с мамой и в тот же вечер написал ей письмо. Почта работала не с такой скоростью, как до войны, но мамин ответ пришел вовремя. Я в нетерпении надорвал конверт, пробежал глазами текст и... оказался в шоке. «Сын мой, – обращалась ко мне мама, – ты получаешь паспорт и становишься взрослым человеком. А взрослый человек сам принимает ответственные решения и сам отвечает за их последствия. Тебе надо учиться этому. Ты спрашиваешь меня о выборе на всю жизнь. Ты должен сделать этот выбор сам».

Моя первая реакция была яростной: моя мать, единственный человек, чьему совету я последовал бы без колебаний, отказалась



помочь мне. Она предала меня! Не помню, как долго я пребывал в таком настроении, но выбора у меня не было. И я начал размышлять о том, что будет означать для меня мое решение; я выстраивал и сопоставлял аргументы, в том числе и такие, о которых не задумывался раньше. У меня не было выбора, кроме как сделать его самому. И я сделал это. Я впервые в жизни принял ответственное решение, принял самостоятельно, сознавая его возможные последствия.

Вскоре пришла дата моего рождения – 6 февраля, и через несколько дней я отправился в районное отделение милиции. Сидевшая за столом девушка в милицмейской форме, мельком взглянув на меня, начала заполнять пункты паспорта: фамилия, имя, отчество; место рождения; дата рождения; гражданство. Дойдя до пункта 5, она, не поднимая головы, спросила: «Национальность?» Я ответил: «Еврей». Она на мгновение оторвала глаза от стола и тут же, встретив мой спокойный взгляд, вернулась к своему делу. Через десяток минут я вышел на улицу. Во внутреннем кармане телогрейки, самой распространенной тогда модели зимнего пальто, лежал мой первый паспорт.

Я знал, почему я так решил. Мама заставила меня думать, и только тогда я понял, что мой выбор должен опираться не только на рациональные аргументы, он должен быть нравственным выбором. Я не мог отказаться от родства со своей матерью и ее семьей, потому что уже хорошо знал, что такое антисемитизм. Я сталкивался с ним во дворе, где шпанистые ребята из соседних дворов иногда обзывали жидом моего сверстника, умницу и весельчака Немку Гринбаума. Мой тезка и друг Юра Удобников, бесспорный лидер в нашем дворе, врезал одному из них и предупредил, что измордует любого, кто оскорбит Наума. После этого пацаны притихли. Слово «жид» и оскорбления в адрес евреев я много раз слышал в самых разных местах – в магазинах, трамваях, на рынке. А последним доводом была неожиданно возникающая в моем воображении картина: вот, я запишусь русским, и однажды какой-то злобный антисемит, каким-то образом прознавший, что моя мать еврейка, злорадно бросит мне: «Что, решил скрыть, что ты еврей? Струсил и открестился от матери?». Меня передернуло от этой мысли, и я сказал себе: этого не будет никогда.

С той поры минуло 67 лет, в моей жизни бывало всякое, в том числе возникали трудности и препоны, причиной которых была пятая графа в паспорте. Но я ни разу не пожалел о принятом тогда решении. Я глубоко благодарен маме за тот урок, который

она преподавала мне в далеком 1945 году. Как знать, может быть, это был самый мудрый и самый важный совет, который я получил за всю мою жизнь.

## Мой 10-й класс

Эта тема возникла из разговора с моим младшим сыном Кириллом. Мы сидели вдвоем и говорили о разном. Не помню уже, в связи с чем, он спросил, когда у меня возникло критическое отношение к советской системе и коммунизму. Вопрос был внезапный, и первым, что вспомнилось, был эпизод из школьной жизни. Это случилось в 10-м классе московской школы № 591. Я жил тогда на 2-й Извозной улице (ныне Студенческой) рядом с Дорогомиловским рынком, а школа была расположена в двадцати минутах ходьбы от нашего дома, в одном из переулков рядом с Дорогомиловской заставой. До этого я учился в Казани, уехав туда с матерью осенью 1941 года и вернувшись в Москву летом 1946-го. Новую школу я невзлюбил за казарменные порядки, и положительные эмоции у меня вызывали только три учителя – математик и классный руководитель по прозвищу Филон, физик – блестящий знаток и фанатик своего предмета, но особенно учитель литературы, на уроке которого и произошла история, о которой я рассказал Кириллу. Их имен я не помню, но сожалею лишь о том, что забыл, как звали литератора. По имени то ли Исаак, то ли Иосиф, а по отчеству – ни единого проблеска в памяти.

Был он невысокого роста, ходил в одном и том же, далеко не новом костюме, говорил негромко, никогда не повышая голоса, в общем, выглядел неприметно и даже невзрачно. Большинство моих одноклассников относились к нему либо безразлично, в основном из-за равнодушия к самому предмету, либо с некоторой иронией. Надо пояснить, что некоторые мои одноклассники жили в многоэтажных кирпичных домах, выстроенных по обе стороны Кутузовского проспекта накануне войны или достроенных сразу по ее окончании. Заселены они были в основном высокопоставленными партийными функционерами и государственными чиновниками, а также известными учеными, писателями, артистами, скульпторами и т. п. Так что некоторым (но не всем) из их отпрысков, учившихся в нашем классе, гонора было не занимать; проявлялся он и в отношении к учителям. Впрочем, преподавал наш литератор хорошо и относился к нам доброжелательно.

А потом случилось событие, после которого он вознесся в наших глазах до небес. Накануне 7 ноября – очередной годовщины Октябрьской социалистической революции – в школе состоялся неприменный праздничный вечер. И учителя и ученики явились, принарядившись, кто как мог. Тогда было положено приходить на официальные мероприятия при всех орденах и медалях. Пришел и наш преподаватель литературы. Тут-то мы и остолбенели. По обе стороны его пиджака красовались боевые награды. Точно уж я не помню, но справа это могли быть ордена Отечественной войны и Красной Звезды, а слева – орден Боевого Красного Знамени и несколько медалей. Он, конечно, не мог не заметить нашего изумления, но сохранил невозмутимость и приветливо ответил на наше «здравствуйте».

На первом же уроке литературы мы почти хором спросили его, за что он получил столько наград. Он буднично ответил, что во время войны был командиром роты, сейчас уже запомнил, то ли дивизионной, то ли армейской разведки. Мы уже понимали, что одинаковые награды имеют очень разную цену, в зависимости от того, где и за что они получены. Награда разведчика, в каждой операции балансирующего между жизнью и смертью, имела в наших глазах наивысшую цену. Наше восприятие учителя кардинально изменилось. Он понял это, и у нас установились, я бы сказал, доверительные отношения. Ребята стали прилежнее относиться к предмету, никому не хотелось выглядеть дураком. Мы стали задавать вопросы, время от времени возникали дискуссии, выходявшие за рамки литературы. И однажды наш литератор вновь удивил нас.

Шел урок повторения программы 9-го класса, ее некоторые темы входили в экзаменационные билеты на выпускных экзаменах. Тема урока – «Война и мир» Льва Толстого, в частности философия солдата Платона Каратаева, которая в нашем учебнике по литературе была решительно осуждена как ошибочная и враждебная нашей идеологии. Вызванные учителем или добровольно вызвавшиеся одноклассники, один хлеще другого, громили «каратаевщину» за «непротивленчество» и фатализм. Наставник наш слушал, слушал, а потом сказал, что ему Платон Каратаев понятен и он с ним во многом согласен. Это было необычно: учитель думает не так, как написано в учебнике, и не скрывает это от нас. А когда кто-то из ребят вступил с ним в спор, наш литератор добавил, что на войне одни, и он в их числе, выходили живыми из самых безнадежных ситуаций, а другие погибали, когда, казалось

бы, им ничто не угрожало – от шальной пули в часы затишья, от несчастного случая или какой-либо иной невесть откуда возникшей напасти. «Я верю в судьбу», – закончил учитель.

Я до сих пор терзаюсь мыслью, что после этого эпизода мы в своих отношениях с ним перешли грань предосторожности, которая в то жестокое время была первейшим правилом поведения каждого советского человека, стремившегося уберечь себя и своих близких от известных всем, но не произносившихся вслух «неприятностей», таких как визиты неожиданных «ночных гостей» в сапогах и шинелях или кителях, смотря по погоде. Мы уже кое-что об этом знали, если не все, то многие, вероятнее всего, большинство.

Но каким образом мы узнавали и как это влияло на наше поведение? Мне кажется важным пояснить это, потому что даже те, кто родился после смерти Сталина, с середины 50-х по конец 80-х годов, плохо представляют себе, каков был климат повседневной жизни в сталинские времена. Тем более это относится к поколению, выросшему в постсоветской России.

В те полтора страшных года – с весны 1937-го по осень 1938-го, – согласно рассекреченным через полвека данным, было приговорено к высшей мере наказания и расстреляно около 700 тысяч человек. Мне и моим одноклассникам было 8–9 лет. Никто из простых, не совсем простых и даже очень непростых граждан не знал масштабов развернувшегося террора в стране. Я подозреваю, что цифр не знали даже на советском олимпе. И не хотели знать! Аресты шли по ночам, а назавтра соседи по дому и коллеги по работе обнаруживали, что исчез человек, с которым они встречались, разговаривали, пили чай вчера или позавчера. Обнаруживали и – молчали. Никто ни о чем не спрашивал, не комментировал, и само имя исчезнувшего человека вычеркивалось из коллективной памяти окружающих людей. Его нет, потому что его никогда не было! Мало кто понимал, что происходит, и никто не ведал, что сулит ему следующая ночь. И это чувство полной неизвестности усиливало леденящий страх, охвативший десятки миллионов людей.

И все же что-то до нас доходило, что-то мы узнавали из неизбежных соприкосновений с этой потаенной действительностью. У каждого из нас накопился свой личный опыт таких соприкосновений. У одних арестованы родители, у других – близкие родственники, о чем дети узнавали из услышанных обрывков разговора между взрослыми членами семьи. У третьих – аресты соседей в коммунальной квартире. У четвертых – аресты друзей

родителей или их коллег по работе, о чём они также узнавали из семейных разговоров. У многих – из таких небольших, но запомнившихся событий семейной жизни, как уничтоженные портреты, выброшенные книги, разорванные фотографии и письма. И если не у всех, то у большинства – из разговора с родителями, который во всех его вариантах завершился настоятельным советом, а чаще категорическим наказом не вступать ни в какие обсуждения политики, тем более арестов, и ничего не рассказывать самим. Был такой опыт и у меня, я расскажу о нём позже.

В общем, к последнему году школьной жизни мы кое-что уже знали об арестах, доносах и всевидящем оке «органов». Знали, но, к сожалению, иногда забывали, что об этом надо помнить постоянно, днём и ночью. Мы бывали порой наивны и беззаботны.

А дело было так. На одном из уроков незадолго до Нового года, посвящённом советской литературе (она входила в программу 10-го класса), кто-то из ребят спросил литератора, как он относится к поэзии Анны Ахматовой и писателю-сатирику Михаилу Зощенко. Мы замерли. Полгода назад было опубликовано Постановление Центрального комитета ВКП(б) о журналах «Ленинград» и «Звезда», в котором Ахматова и Зощенко были подвергнуты жесточайшей критике за «безыдейность», «аморальность», «искажение советской действительности» и т. д. По сути, они были отлучены от советской литературы. Мы видели, что наш литератор был в затруднении, но, несколько помедлив, он ответил так, как и должен был, пересказав все обвинения в адрес поэтессы и писателя, изложенные в постановлении. Но мы знали это и без него. Нас просто обуяло желание узнать его собственное мнение. Мы вошли в азарт, продолжая настаивать на том, чтобы он открылся. В конце концов, наш литератор «раскололся». Не помню уж, в каких словах, но он похвально отозвался и об Анне Ахматовой, и о Михаиле Зощенко. На том мы и расстались, чтобы встретиться снова в январе.

Пришел и прошел Новый год, начались и пробежали зимние каникулы. Мы вновь сели за парты, и когда настал черед урока литературы, оказалось, что нас ждет сюрприз. Дверь открылась, и в класс вошли директор школы и незнакомый человек, которого она (директором была женщина, напоминая мне скорее солдафонку) представила как нового учителя литературы. На наш вопрос, где наш литератор имярек, она кратко и сухо ответила нечто среднее между «он ушел» и «его у нас больше нет». Охота спрашивать дальше отпала, но мы все-таки попытались выяснить

причину замены у нашего классного руководителя. Однако и он ответил очень неопределенно, всем своим видом показывая, что продолжать разговор на эту тему не желает.

Первое, что мне пришло в голову, – школьному начальству стало известно о произошедшем на уроке литературы перед Новым годом. Да и как было не подумать об этом, если нам определенно не хотят объяснять, почему у нас внезапно сменился учитель литературы. Ведь он не собирался уходить, иначе попрощался бы с нами, как это обычно делают учителя, особенно в старших классах, и уж непременно, если у них сложились хорошие отношения с учениками. Сначала я предположил, что директриса подслушала за дверью, что происходило на том уроке. Скажем, обходила по обыкновению школьные коридоры, приостанавливаясь на миг у той или иной двери, и вдруг замерла около нашего 10-го класса, услышав имена Ахматовой и Зощенко. Вполне правдоподобно, не так ли? Ну а если не она, то дежурный педагог или завербованный «органами» стукач, который был непременной принадлежностью каждого трудового коллектива – на заводах, в колхозах, учреждениях, институтах и т. д. Самое худшее, если это был одноклассник, и в этом случае не исключено, что он спровоцировал разговор о Зощенко и Ахматовой. Тогда жертвами этой истории могли стать мы сами, однако нас судьба помиловала, а у нашего литератора, видимо, были неприятности. Хорошо, если они ограничились предложением директора подать заявление об увольнении по собственному желанию. Но могло быть и хуже. Я этого не знаю. Спрашивать было не у кого, а любопытствовать небезопасно. Но ощущение возникшей тогда тревоги за судьбу учителя, порядочного и умного человека, вместе с чувством вины перед ним, долго не оставляло меня.

Вечером того же дня, когда состоялся наш разговор с Кириллом, я нашел тетрадку моего дневника за 1946–1947 годы. Я был в полной уверенности, что найду в нем записи о дискуссиях с нашим литератором и его внезапном уходе из школы. К моему изумлению, обо всем этом не было ни слова, за исключением лаконичной записи 16 января 1947 г.: «По немецкому и литературе новые учителя» (Дневник № 10. С. 30). Вздохнув, я сказал спасибо самому себе за то, что хотя бы один факт из этой истории в дневнике все-таки зафиксирован.

И все же я был вознагражден, потому что обнаружил в дневнике запись о другом событии, которое начисто стерлось из памяти. Вот этот текст от 13 декабря 1946 года: «Сегодня спорили

с историком о троцкистах, бухаринцах и пр. Мы ругали книги и печать за фальсификацию истории. Леонид Павлович (историк. – Ю. Б.) потом в разговоре со мной признал это, хотя порицал меня за отрицание, например, процессов. Немудрено перешеголять, когда в печати столько вранья. Н-да, диктатура... Хотя и большинство у власти, но вбивать в голову людям, что надо, не перестают. Значит, не очень надеются на классовое сознание, на “делание” истории массами». (Там же. С. 21). А эпизод-то намного опаснее дискуссии об Ахматовой и Зощенко. И мой комментарий в дневнике весьма резок. Были и другие случаи, когда мои высказывания встречали возражения со стороны учителей. Так, историк в ответ на мои слова о массовых арестах и расстрелах демократов в Иранском Азербайджане (эти события происходили в 1945–1946 годах) ответил, что на сей счет есть разные мнения, к тому же иногда предпочтительно держать свое мнение при себе. А литератор, возвращая мне домашнее сочинение на тему «Гуманизм Горького», где я, в частности, писал об увлечении писателя богоискательством, заметил, что этот период в творчестве Горького оценивается как его меньшевистские колебания и потому лучше об этом не упоминать.

Читая эти записи через шестьдесят с лишним лет, я поражаюсь тому, насколько был наивен и неосмотрителен. Ведь в застенки Лубянки тогда попадали подростки и помоложе нас, семнадцатилетних юнцов. Отнюдь не все школьные учителя были такими порядочными и милосердными, как наши преподаватели истории и литературы. Нам очень повезло с ними. Но еще больше я удивился другому открытию: оказывается, в 10-м классе я уже понимал, что реальная история Советского Союза и партии коммунистов-большевиков отличается от ее официальной версии, и кое-что знал о том, что происходит за невидимой и потому особенно зловещей Стеной Молчания. Это было очень давно, в иной жизни и в иной стране; немудрено, что к старости очень многое забылось.

Да, кое-что я знал уже тогда. И то, что знал, собиралось по крохам с того времени, когда я пошел в школу. Собиралось и откладывалось в памяти, чтобы всплыть потом, когда возникнет потребность в поиске новых смыслов.

Но начинать надо с начала. Почти все дошкольные годы я прожил в Ростове-на-Дону у родителей моей мамы – Иды Григорьевны и Абрама Израилевича Борко. Мы жили в двухкомнатной квартире, где в большой комнате на одной из стен висел портрет Этель,

погибшей в 1919 г. в борьбе за установление Советской власти на Дону. В семье царил культ Этель. И культом стало все, с чем была связаны ее жизнь и смерть, – идея коммунизма, Октябрьская революция, Советская власть, Ленин. Веру Этель в коммунизм восприняли ее брат и сестра – Ленья и Рита, ставшие моими первыми наставниками в Ростове. Так что я впитывал веру старшего поколения, можно сказать, с пелёнок.

Вечером все собирались за большим столом ужинать, и сразу же начинался оживлённый разговор. Помимо семейных забот или каких-то дел, которыми занимались в этот день дед, Ленья и Рита, обсуждались примечательные события, происходившие в жизни страны или за рубежом. Вероятно, первым таким событием, которое отложилось в моей памяти, была героическая эпопея спасения экипажа парохода «Челюскин», совершавшего рейс из Мурманска во Владивосток через Арктику и раздавленного в начале 1934 года паковыми льдами в Чукотском море. На льду оказались 104 человека, успевшие выгрузить палатки, часть продовольствия и снаряжения. За организацией их спасения следила вся страна. Вывезли их на самолетах наши опытейшие полярные летчики. Семерым из них было присвоено впервые учреждённое звание Героя Советского Союза. Их имена были у всех на устах, и я тоже называл их без запинки, хотя мне только что исполнилось пять лет. Активно обсуждались и международные дела: внутренняя и внешняя политика фашистской Германии, агрессия Японии против Китая... Я не только слушал разговоры старших и радиопередачи. В четыре года я обучился чтению, а с шести начал читать газеты.

В общем, в семь лет я был коммунистом-интернационалистом и советским патриотом. Романтика Гражданской войны и её герои – Чапаев, Буденный, Блюхер. Строка из стихотворения детского поэта Льва Квитко: «Климу Ворошилову письмо я написал: // Товарищ Ворошилов, народный комиссар!». Мне был ненавистен фашизм – германский и итальянский, ненавистны имена Гитлера и Муссолини, и всем моим мальчишеским сердцем и умом я был на стороне республиканской Испании.

А на фоне больших и громких событий иногда в моей жизни возникали ситуации, вызывавшие недоумение и вопросы. Помню, в 1-м классе московской школы № 65, куда я поступил осенью 1937 года, наша учительница Елена Петровна предложила нам открыть учебник и замазать чернилами портрет героя Гражданской войны Василия Блюхера. На наше детское «почему» она



ответила, что он оказался «врагом народа». Про врагов я знал. Они устраивали диверсии, убили Кирова, любимца и ближайшего соратника великого Сталина. Наши отважные пограничники непрерывно вылавливали вражеских диверсантов, а пионер Павлик Морозов разоблачил своего отца, оказавшегося вредителем. Так что я старательно замазал портрет. Потом это забылось, а вспомнилось в конце школьной жизни, когда, как я уже рассказывал выше, у меня возникли сомнения по поводу бывших партийных вождей, которые вдруг оказались «врагами народа» и были расстреляны в середине 30-х годов.

Запомнился ещё один эпизод. На одной из полок небольшой этажерки, которая по совместительству заменяла в нашей комнате книжный шкаф, лежала среди прочих книг «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)», написанная группой авторов во главе с Емельяном Ярославским, соратником Владимира Ульянова-Ленина с 1903 года. Сейчас это кажется немыслимым, но я в восемь-девять лет не раз перелистывал ее, рассматривал иллюстрации, в основном портреты видных деятелей партии, читал какие-то страницы, которые казались мне доступными. А потом вдруг обнаружил, что ее нет, а вместо нее лежит другая книга с таким же названием. Список составителей и редакторов в ней отсутствовал, а на обложке было сказано, что она выпущена «под редакцией ЦК ВКП(б)». Издана она была в конце 1938 года, и мама, идейная коммунистка старого закала, вступившая в партию в 1920 г., когда ей было всего 17 лет, купила книгу, как только она поступила в продажу, вероятно, в начале 1939 года. Я тут же сунул в нее нос. Мне только что исполнилось десять лет, и мои впечатления соответствовали этому возрасту. Вникнуть в содержание, а тем более оценить его я не мог, но – помню – мне не понравились сухой, «скучный» стиль повествования и очень грубые характеристики, которыми награждали авторы учебника противников сталинской «генеральной линии партии». Может быть, самым точным будет сказать, что мне показался неприличным *такой* стиль в *такой* книге. «А где старый учебник?» – спросил я. Мама ответила, что он устарел, в нем есть ошибки и она его выбросила. Вроде бы логично, но впечатление странности такого поступка у меня сохранилось: зачем выбрасывать книгу, в которой обо всём рассказано гораздо подробнее?

Тогда я не знал ответа на этот вопрос. Теперь, через семьдесят с лишним лет, могу ответить. Выписав в научной библиотеке два издания старого учебника – 1926 и 1930 годов, я пролистал их,

и всё стало понятно. Помимо того, что среди составителей были жертвы террора 1937–1938 годов, Сталина категорически не устраивало то, что в первом томе, охватывавшем период с 1880 по 1907 год, он был упомянут только раз – как делегат Пятого съезда РСДРП Иосиф Джугашвили. Упомянут без каких-либо пояснений – откуда он, как оказался участником съезда и под какой фамилией вошел в историю Коммунистической партии и Советского государства. Это было тем более унижительно для Сталина, что низверженные им враги Григорий Зиновьев, Лев Каменев и особенно Лев Троцкий были упомянуты многократно. Мама понимала, что держать дома старый учебник истории партии стало крайне опасным, но сказать мне об этом не могла.

Еще пара воспоминаний из довоенной поры. В нашем пятиэтажном доме, который был построен в начале 30-х годов, было 50 четырёхкомнатных квартир, по 10 квартир в каждом подъезде. Назывались такие квартиры коммунальными: четыре комнаты – четыре семьи. Кажется, единственным исключением на весь дом была квартира напротив нашей, где одна семья проживала в двух комнатах. Одну из комнат в нашей коммуналке занимала семья работника Наркомата внешней торговли, вернувшаяся в Москву из какой-то европейской страны, где глава семейства работал в торговом представительстве Советского Союза. По понятиям того времени, они были зажиточными людьми: и мебель в комнате не чета нашей, и одежда качества для нас недоступного. Запомнились мне не столько они, сколько граммофон с красивой трубой, который они изредка, в праздники, выносили в общую довольно просторную прихожую, и мы слушали необычную музыку, которую никогда не передавали по радио, – классический джаз, русские и цыганские романсы первых десятилетий XX века. Лето 1937 года я провел в Ростове-на-Дону, а, вернувшись в конце августа в Москву, удивился: вместо той семьи, о которой я рассказывал, жили другие люди. На мой вопрос, где прежние, мама коротко ответила, что они уехали. Я был чуток к интонациям ее голоса и быстро улавливал, когда она хочет отвечать, а когда уходит от ответа. На сей раз ее тон не оставлял сомнений – отвечать она не хотела, и я остался в недоумении. Но через пару-тройку дней я спросил маму, куда делась семья, жившая в двух комнатах соседней квартиры. Я был очень огорчен тем, что вместе с той семьей исчезла моя одногодка с пышными пшеничными кудрями и необычным именем (не могу вспомнить, то ли Клара, то ли Элла). Эта семья тоже недавно вернулась из-за границы. Мама ответила

так же коротко и безразлично, как и в первый раз, и я вопросов больше не задавал, а вскоре и забыл об этом, поглощённый своей школьной, а еще больше дворовой жизнью.

Интересная деталь: я не помню, чтобы разговор об исчезающих семьях возникал в нашей дворовой детской среде. Конечно, я мог забыть об этом, но, скорее всего, так оно и было, ведь дети зачастую начинают разговор фразой: «Мой папа, моя мама сказал(а), что...», но наши родители молчали, ибо стены тоже имели уши. А вот эпизод с появлением в нашей квартире соседки Люси, жившей этажом ниже, я и теперь вижу, как на телеэкране. Случилось это за год-два до начала войны с Германией, мне было 10–11 лет, я стал более наблюдателен и научился замечать то, что раньше ускользнуло бы от моего внимания. Люське, как ее называли за глаза, было где-то между тридцатью и сорока годами; худая, если не сказать тощая, с белесыми, коротко подстриженными волосами, всегда немного возбужденная. Я знал от мамы, что эта женщина была ответственной от домоуправления за порядок в нашем подъезде. Периодически она обходила квартиры, расспрашивала, все ли в порядке, нет ли ссор между соседями или жалоб на какую-либо семью, и вообще «совала нос не в свои дела». Меня это не интересовало, но однажды я оказался свидетелем ее прихода и разговора с мамой. Я был потрясен, увидев, как лебезит перед Люськой, поддакивает ей и унижается моя мать, и как самоуверенно, с чувством собственного превосходства ведет себя эта вертлявая и неприятная женщина. Я гордился мамой. Гордился тем, что в 1919 году, в свои шестнадцать лет, она помогала старшей сестре-подпольщице в ее борьбе против утвердившейся в Ростове белогвардейской диктатуры Деникина. Гордился тем, что в 1925 году она окончила Московский университет. И вот теперь эта покоробившая меня сценка. Я ничего не понимал, но так и не задал маме вопрос, почему? Видимо, я почувствовал: для нее было бы неприятно обнаружить, что я заметил это.

Я вряд ли уловил тогда какую-либо связь между этим эпизодом и исчезновением двух семей из нашей и соседней квартир. Но это неважно, потому что все эти факты быстро ушли на дно моей памяти и забылись там под толщей отложившихся в ней новых фактов и моих эмоций. Вспоминать их я стал уже после войны, особенно в 1946-м, когда вернулся в Москву. Люська в нашем подъезде уже не жила, а вскоре я узнал, не помню от кого, что она была «стукачкой» и жители нашего подъезда об этом знали. Стало быть, знала и мама. А если не знала, не могла не догадываться:

обязанность «ответственного» наблюдателя за порядком в подъезде сама по себе была подозрительной, и вдвойне подозрительной из-за назойливого любопытства Люски, так что лучше было держаться как можно осторожнее.

Память человеческая похожа на свалку. Всё в кучу – были и небыли, люди и фантомы, мысли и вымыслы... И всё вперемешку, вне всякой временной и логической связи. Приводить в порядок хранящуюся в памяти информацию некогда и незачем, за исключением профессиональной деятельности и личной жизни. Но иногда какие-то внешние обстоятельства или внутренние мотивы побуждают и даже заставляют тебя вспомнить прошлую жизнь и выстроить всю относящуюся к ней информацию в хронологической последовательности и логической связи, чтобы понять нынешний мир, в котором ты живёшь, и свое место в нём. Со мной это случилось в последний год школьной жизни. И тогда выплыли из глубин памяти и сложились вместе и те факты, о которых я рассказал выше, и те, о которых поведаю ниже.

Я внимательно прочел два дневника, охватывавших период с марта 1946-го по июнь 1947-го, то есть последнюю четверть 9-го класса, последние летние каникулы и весь выпускной класс. Несколько школьных тетрадок, более ста страниц убористого, подчас трудночитаемого текста. Мешанина фактов, эмоций и размышлений. В том, что касается мировоззрения, если можно говорить о таковом, я был материалистом и коммунистом. Маркс, Энгельс и Ленин были для меня непререкаемыми авторитетами. Я твердо усвоил, что капитализм – это плохой, несправедливый строй и у него нет будущего, а социализм – первый шаг к коммунистическому обществу, и к нему, рано или поздно, придет наша страна и все человечество. Не раз повторял в дневнике, что вижу свою жизненную цель в том, чтобы активно участвовать в созидании этого общества. Замахнулся даже написать поэму о рождении в 1917 году нового мира, «о нашем поколении, родившемся в годы возникающей зари коммунистического общества», и нашем долге перед родителями – завершить их дело, «сбросить окончательно... оковы капитализма и водрузить знамя коммунизма над всем миром» (Дневник № 9. 29.08.1946. С.58). О поэме я больше ни разу не упомянул, вероятно, просто забыл о своей заявке, но идейное кредо изложил четко.

Это был последний панегирик коммунизму. На страницах следующего дневника, запечатлевшего мою жизнь и учебу в выпускном классе, тема коммунизма возникает неоднократно. Ничто

в этих записях не говорит о том, что я сомневался в справедливости, необходимости и неизбежности перехода человечества к социализму и коммунизму. Но это уже не славословие, не «ода в честь», а размышления о первом опыте строительства социализма в СССР, о проблемах, которые надо решить, и трудностях, которые предстоит преодолеть на пути к коммунизму. Размышления такого рода появились у меня в Казани. Рассуждая о коллизии между свободой воли и общественным долгом, я резюмировал: «Человек – животное общественное, и все изыскания ученых, как совместить индивидуальное с общественным в лучшей форме, пока не привели к положительным результатам. Социализм пока нового ничего не внес. Коммунизм? Но это ещё мечты. А ведь если бытие – основное, то экономическое принуждение (запрещение частной инициативы) должно привести к идеологическому закреплению. У нас в СССР сейчас это и происходит, а это уже вызывает разлад между общественным и личным» (Дневник № 9. 5.04.1946. С. 11). Сделав такую запись, я, видимо, настолько поразился собственной смелости, что тут же добавил: «Я хочу работать согласно идеям построения коммунизма, но тогда для чего же я критикую это учение (отдельные его части)?» (Там же). В дневнике за 10-й класс подобные критические суждения встречаются по всему тексту. Я вернусь к ним позже, но сначала о моей жизни и учебе в Москве.

Последний школьный год оказался переломным. Однажды я назвал его в дневнике «моей второй школой». Крутые перемены произошли в нашей семейной жизни. Мамина болезнь быстро прогрессировала, все чаще давало перебои сердце. Она дважды и подолгу лежала в больницах, а в апреле 1947 года вышла на пенсию по инвалидности. И хотя ей была назначена повышенная пенсия, размер её был примерно втрое ниже заработной платы, которую мама получала в качестве старшего экономиста Плановой комиссии Московского совета депутатов трудящихся. К тому же в феврале мне исполнилось 18 лет, и перестали приходить алименты, ежемесячно выплачиваемые на мое содержание отцом, которого я никогда не видел. Большинство домашних забот легло на меня, включая и расходование маминой пенсии. Экономить приходилось на всём, в том числе на питании. Эта перемена не была главной причиной новых настроений и мыслей, но она как бы опустила меня на «грешную землю», где я очутился в гуще повседневных забот и тягот, таких же как у всех обыкновенных людей, живших в нашем доме и встречавшихся на улицах, в магазинах, метро...

Отчасти поэтому, отчасти от того, что повзрослел на год, я стал более зрячим. «Последнее время... стараюсь больше наблюдать, запоминать, делать выводы из житейских наблюдений. Главное – люди» (Дневник № 10. 31.10.1946. С. 7). Я начал размышлять над смыслом фактов. С одними я сталкивался с самых ранних лет, но никогда раньше не задумывался, так как еще не дорос до того, чтобы искать их социальные или моральные корни. Почему, например, в стране «победившего социализма» одни семьи, очень немногие, живут в квартирах, другие – в коммуналках (сколько комнат – столько семей), а третьи – большинство – в старых домах-развалюхах или в понастроенных везде и всюду бараках. И так далее и тому подобное. Другие факты были новыми и тем более толкали к раздумьям. Переезд в Москву летом 1946 года не вызвал такого ошеломления и восторга, как в июне 1945-го, когда, приехав на каникулы, я встретился со столицей после почти четырёхлетнего отсутствия. «После Казани, – записал я тогда в дневнике, – Москва поражает и, если хотите, подавляет своим превосходством» (Дневник № 6. 2.07.1945. С. 35). Теперь я вернулся в город, с которым уже восстановил знакомство. Настало время всмотреться в него более пристально.

Очень скоро я заметил, что на улицах, рынках, в магазинах постоянно встречаются инвалиды. Чаще всего в выцветших, стиранных-перестиранных солдатских гимнастерках, без руки, без ноги, с изуродованным шрамами лицом или закрывающей глаз черной повязкой. Особенно больно было смотреть на безногих инвалидов, передвигавшихся на низко сидевших тележках-самоделках (деревянная платформа такого размера, чтобы на ней уместился взрослый мужчина с обрубками ног; четыре стальных колеса диаметром в 12–15 см, обычно на подшипниках), отталкиваемая двумя деревянными баклушами. Не всегда, но достаточно часто солдаты-инвалиды собирали милостыню. Некоторые из них явно страдали от алкоголизма. Я был далек от каких-либо серьезных обобщений, но один вопрос в голове все же крутился: как же получилось, что солдаты, победившие в этой страшной войне, очутились в таком бедственном и унижительном положении? Пройдет немного времени, и безногие, а также другие тяжелые инвалиды исчезнут с московских улиц, но я, как и большинство москвичей, еще долго не буду знать, что их вывезли в дома-интернаты, расположенные в отдаленных местах, с глаз долой, подальше от столицы и крупных промышленных центров. Самый крупный из них был создан на Ладожском озере, в домах и кельях знаменитого Валаамского монастыря.

А к концу лета и осенью Москву заполнили беженцы-крестьяне из центральных и южных областей страны, пострадавших от сильнейшей засухи. Женщины с малолетними детьми, они приехали спасаться от голода. На улицах побираться было опасно, поэтому они ходили по домам, из подъезда в подъезд, с этажа на этаж, в надежде на какую-то милостыню – кусок хлеба, несколько картофелин, денежную мелочь. За день, бывало, в дверь нашей «коммуналки» стучали по десятку раз, если не больше. Прошло 70 лет, но я и теперь помню щемящее чувство жалости, возникавшее при виде детишек, одетых непонятно во что, исхудавших и с потухшими глазами. У меня тогда впервые возникла крамольная мысль: неужели так бедна наша колхозная деревня и почему Советская власть не помогает жителям пострадавших районов? Весной 1947 года я рассказал об этом моему дядюшке Лёне. Демобилизовавшись и не сняв еще военно-морского офицерского кителя, он приехал в Москву повидаться со старшим братом Ефимом и сестрой – моей мамой. Она была в больнице, и мы сидели вдвоем в нашей комнате на 2-й Извозной (Студенческой) улице. Мы не торопясь разговаривали на разные темы – о войне, маминой болезни, моей учебе, его планах и т. д. Тогда-то я и поделился своими впечатлениями о крестьянках с детьми, искавших в городах спасения от небывалой засухи, подобной той, что случилась в начале 1920-х годов. Лёня внимательно слушал и вдруг, наклонившись ко мне и понизив голос до шёпота, сказал, что помнит голод, унесший в 1932–1933 годах миллионы жизней в южных областях страны, в том числе на Дону. Увидев мои округлившиеся глаза, он так же тихо предупредил, что это засекречено и я никому не должен об этом рассказывать. Ему не пришлось объяснять мне, почему не надо этого делать. Я уже понимал, насколько это было бы опасно, прежде всего для меня.

И еще одно событие вызвало у меня противоречивое впечатление: в середине августа 1946 г. главная партийная газета «Правда» опубликовала Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», а 21 сентября – полный текст доклада об этом постановлении, с которым выступил в Ленинграде один из руководителей партии, секретарь по идеологии А.А. Жданов. Я воспринял как само собой разумеющееся то, что литература «должна служить народу», отражать его жизнь и способствовать воспитанию молодежи в духе коммунистических идей и патриотизма. Я был согласен с обличением безыдейности и пошлости в литературе. Но почему в качестве главных мишеней критики были избраны известный поэт Анна Ахматова и еще более известный, как

мне тогда казалось, писатель-сатирик Михаил Зощенко? И почему их критикуют так категорично и грубо? Эти вопросы возникли, когда я читал постановление, а доклад Жданова меня просто потряс бранью и хамством в их адрес.

Имя Зощенко я впервые услышал ещё до войны. Как-то мы с мамой были в гостях у ее старшего брата Ефима. Накануне он купил новый сборник рассказов Зощенко и теперь зачитывал вслух понравившиеся ему пассажи. Потом я не раз читал рассказы Зощенко или слушал их по радио. (В 30–40-е годы чтение художественной литературы было ежедневной и популярной радиопрограммой, а исполнителями выступали профессиональные чтецы и известные театральные актеры.) Мне нравилось не всё, но, воспитанный русской литературной классикой с такими ее шедеврами, как «Горе от ума», «Мертвые души», «Свадьба Кречинского», «Палата № 6» и т. д., я не видел в сатире Зощенко ничего предосудительного: «Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно». В отличие от него с поэзией Анны Ахматовой я не был знаком, да и о ней знал очень мало. Но мне было известно, что Анна Ахматова уже вошла в русскую литературу как самобытный феномен русской поэзии начала XX века, и это засвидетельствовали Александр Блок и Борис Пастернак. Ждановскую эскападу в адрес Ахматовой, которую он обозвал «не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой», я воспринял, помимо всего прочего, как беспардонное хамство по отношению к женщине.

От этих событий в стране и в собственной жизни, от воспоминаний из времен детства и сопоставлений в моей голове началось поистине броуновское движение вопросов и мыслей. В поисках ответа я отправился в мир книги. Ни раньше, ни позже я не поглощал книги с такой ненасытностью, как в тот год. «Читаю все свободное и несвободное время» (Дневник № 10. 31.10.1946. С. 7). Читал дома, пренебрегая подготовкой к урокам, читал исподволь на уроках, исключая математику и физику, читал в трамвае и метро. В начале учебного года я поставил своей задачей окончить 10-й класс с золотой или серебряной медалью, что сулило мне поступление в вуз без экзаменов или с экзаменом по профильному предмету. Первые две четверти я завершил в основном на пятерки, однако в третьей поставил на этих планах жирный крест. В конце января после тяжёлого сердечного приступа вновь легла в больницу мама. Я остался один и решил по-своему распорядиться доставшейся мне свободой.



Придя в школу после двухдневного отсутствия, вызванного устройством матери в больницу, я объяснил классному руководителю причину и предупредил его, что иногда буду вынужден пропускать занятия. А спустя два-три дня остался дома и появился в школе лишь через три недели. Мои друзья-одноклассники рассказывали учителю, что я много времени провожу в больнице, но они сообщают мне о пройденных темах и заданиях. В том, что они говорили, была доля истины. Путь от дома до больницы занимал примерно два с половиной часа: трамваем до Киевского вокзала, метро – до Ленинградского вокзала, а далее по Октябрьской железной дороге до станции Ховрино. Пригородный состав бежал неторопливо за старым паровичком под названием «Шука», а от платформы – еще минут двадцать через заснеженное поле до больницы. Какое-то время проводил с мамой, а затем столь же долгий обратный путь. Так что в целом на одну поездку уходило до шести часов. Но ездил-то я один-два раза в неделю, а остальное время сидел дома и в основном читал. Запоем, прерываясь на немудрёную трапезу: изредка пельмени или сосиска/сарделька с толстыми макаронами или вареной картошкой, а в основном те же макароны или вареная картошка, приправленные крохотным кусочком масла; утром манка или гречка-продел (гречка-ядрица появлялась в магазине редко, да и стоила дороже), иногда какой-нибудь простецкий постный суп или борщ. А в общем постоянный недоед. В большой степени из-за этого я перестал ездить на стадион «Динамо», где занимался в юношеской легкоатлетической группе, которой руководила замечательный тренер, заслуженный мастер спорта СССР Зоя Георгиевна Романова.

Незадолго до конца третьей четверти я появился в школе. Классному бодро доложил, что мама на днях возвращается домой, и этого объяснения оказалось достаточно. А по итогам четверти нахватал кучу троек и мысленно справил тризну по загубленным медалям.

Перечисление того, что я прочёл за учебный год, заняло бы не одну страницу. Три учебника по древней истории – Греции, Рима и Востока, трехтомная «История дипломатии», мемуары бывшего советского посла в Великобритании Майского, публицистика русских демократов середины XIX века, «Развитие социализма от утопии к науке» Фридриха Энгельса и «История ВКП(б)», Гете и Гюго, Барбюс и Гамсун, Стейнбек и Фейхтвангер, пьесы Александра Островского и Сухово-Кобылина, поэзия Серебряного века, а в конце учебного года – несколько капитальных книг по

естествознанию и биологии. Это не всё, а лишь выборка из того, что упомянуто в дневнике и не входило в школьные программы.

Особняком стояли четыре имени: из российских – Чехов, Горький и Маяковский, из зарубежных – Шекспир. Ранних Горького и Маяковского я воспринял как бунтарей. Помню, с каким восторгом я прочел стихотворную строку Максима Горького: «Я в жизнь пришел, чтобы не соглашаться». Мне нравилось, что их бунтарство не было втиснуто в жесткие идеологические и политические рамки. Бунтарство во имя свободы духа и дерзания. Я декламировал наизусть песни о Соколе и Буревестнике, поэму «Облако в штанах» и «Если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно...».

Была и другая причина моей тяги к ним и ещё к двум упомянутым корифеям – Шекспиру и Чехову. Я буквально заболел темой: человек и смысл его жизни. А она тут же трансформировалась в другую тему – человек и общество. В дневнике осталась запись отрывка из монолога Гамлета в 4-м акте: «Что значит человек, когда его заветные желанья – еда да сон? Животное – и все. Наверно, тот, кто создал нас с понятием о будущем и прошлом, дивный дар вложил не с тем, чтоб разум гнил без пользы» (Дневник № 10. 31.10.1946. С. 8). Я не нашел в дневнике объяснения, чем потряс меня Гамлет. Но, судя по контексту, он поразил меня своей рефлексией, напряженным внутренним диалогом в попытке преодолеть противоречивость собственного «я», раздвоенность, рожденную контрастами человеческого бытия. Во мне этой рефлексии было сверх головы.

А Чехов открыл мне такую палитру человеческих характеров, их чувств, мыслей и поведения, о которой я просто не подозревал. К тому же меня, видимо, впечатлило его неоднозначное отношение к людям, большей частью критическое, порой безжалостное, а за всем этим вдруг ощущаешь печаль и жалость. Пишу «видимо», потому что не помню, тогда ли до меня это дошло, или я это лишь почувствовал, а осознал позже, может быть, на третьем курсе исторического факультета МГУ, когда мы прослушали полугодовой курс лекций, а потом сдавали экзамен по русской литературе. Моему открытию Чехова очень помог МХАТ. В тот год мне удалось посмотреть две великие чеховские пьесы – «Три сестры» и «Вишневый сад». Чтобы попасть на «Три сестры», мне и Володе Долгому, моему однокласснику и другу, пришлось с вечера занять очередь в кассу предварительной продажи билетов на репертуар ближайших десяти дней. В те годы ночные сборища

людей были категорически запрещены, но МХАТ был в фаворе, и в местном отделении милиции относились к театральным снисходительно. Но время от времени появлялся ночной наряд милиции и с вежливой настойчивостью предлагал гражданам разойтись. Очередь тут же растворялась во тьме – кто по дворам, кто по подъездам, – чтобы через полчаса-час снова собраться и сделать переключку, сверяясь с записью, которую вел, как правило, один из первых очередников. Пьеса потрясла. Играл основной состав: Ольга – Клавдия Еланская, Маша – Алла Тарасова, Ирина – Ирина Гошева, барон Тузенбах – Павел Массальский, штабс-капитан Соленый – Борис Ливанов, доктор Чебутыкин – Алексей Грибов. Парадоксально, но от просмотренной пьесы у меня осталось менее грустное впечатление, чем от ее чтения. В дневнике я объяснил это тем, что слова надежды и веры: «через двести, триста лет жизнь на земле будет прекраснее» (подполковник Вершинин), «надо жить» (Маша), «надо работать» (Ирина), «музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем» (Ольга), – звучали со сцены гораздо сильнее и эмоциональнее, чем я воспринял их с книжных страниц.

Какую роль сыграли книги в моих раздумьях об окружающей жизни, я и тогда не смог бы объяснить, а уж теперь за давностью лет тем более. Но что несомненно – всё прочитанное, увиденное, услышанное, вспомнившееся смешалось, сплелось в единый клубок, так что не поймешь, где начала и где концы. «Путаница в уме и душе ужасная... В мировоззрении, если так можно сказать, творится черт знает что» (Дневник № 10. 14.11.46. С. 11). «Я все больше становлюсь скептиком, я пропитан скептицизмом» (Там же, 28.11.1946. С. 15). «Во мне сидят два человека, и один все время спорит с другим» (Там же. 14.11.1946. С. 11). Это становилось драмой: зашаталась незыблемая прежде базовые представления о том, в каком мире я живу и как он соотносится с тем идеальным миром, который должен наступить в будущем. Наступит ли? И когда? «То я правоверный большевик: признаю все, что было, есть и предполагается; то я критик, оппозиционер и критикую многое, что было, есть и предполагается» (Там же. 1.12.1946. С. 17).

На одной из страниц, между впечатлениями о романе Джона Стейнбека «Гроздь гнева» и открытием, что люди-то, оказывается, не так плохи, как кажется вначале, я сообщаю, что «хочу разобрать, повлияла ли на человека жизнь при Советской власти, в годы социалистического строительства» (Там же. 22.11.1946.

С. 13). Всего лишь! Через десять лет, после XX съезда КПСС, пятеро друзей, в их число входил и я, организовали нелегальный кружок, задавшись целью разобраться в том, как происходило перерождение партии коммунистов-большевиков и Советской власти. И еще двенадцать лет прошло, прежде чем я – в августе 1968 г., после вторжения советских войск в Чехословакию – произнес последнее «нет» ленинизму и большевизму, советской власти и советскому социализму, коммунизму как идеалу и как мировоззрению. А тогда, в далёком 1946-м, масштаб задачи, которую я вознамерился решить, мне был абсолютно неведом и была она не по силам. Но кое-какие крамольные мысли в голову приходили. Достоверности ради я упомяну только те, которые отражены в дневнике.

Мне и сейчас кажется, что я никогда так остро не воспринимал, как в тот год, разрыв между идеалами – и действительностью, принципами – и поступками, словами – и делами. Вероятно, мне впервые открылись масштаб и постоянство несоответствий, и они вызывали во мне внутренний протест, который иногда прорывался наружу, например в спорах с учителями истории и литературы. Я уже упоминал, что некоторые мои одноклассники были детьми ученых, известных артистов, режиссеров и т. п., партийных работников, живших значительно лучше, чем основная масса населения. Ребята были разные. Двое из них, назову их Д. С. и Б. С., открыли мне глаза на сферу жизни, к которой они уже прикоснулись, а я о ней ничего не знал. Замечу сразу же, что я в тот год нередко чувствовал себя провинциалом, этаким чуть-чуть Лариосиком. «Познакомился с жизнью “золотой молодежи”. Послушал гадостей о жизни так называемых знаменитостей, артистов, министров и т. п.» (Дневник. 13.04.1947. С. 40). В памяти остались какие-то крохи из этих рассказов. Вначале меня разбирало любопытство, особенно в том, что касалось сексуальных походов моих сверстников, но потом его сменило чувство брезгливости. Я почувствовал, что мне неприятно слушать, когда о женщине и интима рассказывают похабно и смакуется нечистоплотность. Из историй о «знаменитостях» ничего в памяти не осталось, а в дневнике сохранился комментарий: «Мораль, нравственность и т. п. существуют только для затуманивания мозгов дуралеев» (Там же).

Тема расхождения между идеалом и действительностью занимала меня весь год. Мне пришлось признать, что оно существует во мне и в моих сверстниках. Воспитанные на коммунистических

идеалах, мы автоматически, по неискушенности отождествляли их с реальной жизнью. Однако и «печать наша выдает идеалы за действительность», только делает это она осознанно. Теперь, когда мы подросли и ближе познакомились с жизнью, «очень резко отозвалась открывшаяся истина» (Дневник. 29.11.1946. С.17). Приукрашивает советскую действительность не только пресса. То же самое делает «тенденциозное искусство, обедненное художественностью» (Дневник. 18.05.1947. С. 42). Сейчас уже не припомню, какое произведение вызвало мою реплику, но, очень возможно, это был роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Дело в том, что вскоре после его выхода в газете «Правда» появилась статья, в которой после похвал в адрес автора, занимавшего, между прочим, пост первого секретаря правления Союза писателей СССР, роман был подвергнут резкой критике за то, что в нем не отражена роль подпольной партийной организации, руководившей молодогвардейцами. Статья вызвала у меня вопросы. По канонам, так и должно было быть, но было ли на самом деле? Если было, то не мог же Фадеев, не просто автор, а член Центрального комитета партии, проигнорировать эту руководящую роль. А если он ни словом не упомянул о ней, значит, в данном конкретном месте, в Краснодаре, её не было? В общем, статью я воспринял в штыки, а последовавшее затем публичное покаяние автора посчитал неискренним.

К коллизии между «личным» и «общественным» я возвращался в дневнике много раз. Одно из моих критических суждений – о том, что наш советский социализм не привел к ее преодолению и что экономическому принуждению у нас сопутствует идеологическое закрепощение, – я уже процитировал. В моих рассуждениях об этой коллизии много нестыковок, но главный вывод, а точнее прогноз, выглядит отважным и для того времени и для моего возраста. «Идеальное коммунистическое общество, – утверждал я, – не увидят ни наши родители, ни мы, ни, наверное, наши дети. Наверное, потому, что трудно судить наперед, да еще в семнадцать лет. Но главная трудность – в духовной, нравственной революции, а на это уйдет – опять наверное – лет сто» (Дневник № 10. 31.10.1946. С. 8). За публичное заявление такого рода в те времена можно было заработать обвинение в «неверии в сталинский генеральный курс на ускоренное строительство социализма и коммунизма».

Размышляя о противоречивой взаимосвязи между общественным и личным, я не мог не задуматься и над родственной темой –

личность и власть. Понятие «диктатура пролетариата» мне было уже известно, и оно, как я его расшифровывал, означало, что марксизм отводит пролетарскому государству роль прогрессивной и динамической силы. Однако, по моим наблюдениям, на практике роль государства в ходе строительства социализма в СССР выглядела противоречивой. «У меня несколько раз возникла мысль, что государство в своей сущности консервативно. Дело в том, что законы и нормы, а равно государственная мораль, идеология не могут ежедневно изменяться... Кроме того, жизнь можно сравнить с потоком, разливающимся во все стороны, тогда как государство – канал, в который должна быть отведена... бурная лавина. В одном направлении наше государство прогрессивно, но оно консервативно, потому что душит все попытки жизни разметаться в разные стороны» (Дневник № 10. 2.04.1947. С. 37).

И всё-таки я по-прежнему верил в коммунизм как самую великую, прогрессивную и справедливую идею. Верил в марксистскую концепцию истории, в закономерность и неизбежность перехода человечества от капитализма к социализму и коммунизму. Продолжал верить в то, что революции – локомотивы истории. Маркс, Энгельс и Ленин оставались моими *гуру*. Я перечитал «Манифест Коммунистической партии» (первый раз прочел его в 8-м классе по совету нашей любимой учительницы истории Надежды Евгеньевны Козыревой), прочёл и восхитился брошюрой Фридриха Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке», начал читать последнюю ленинскую книгу «Государство и революция». Мои сомнения и критические суждения относились к практическому опыту советского социализма. О них я рассказал выше. Настало время дополнить их рассказом о сложившемся у меня особом отношении к Вождю и Кумиру советского народа.

Поразительно, но более чем на ста страницах дневника, охватывающих период с лета 1946-го по лето 1947-го, я ни разу не упомянул Сталина. Весь год меня сопровождало раздражение огромным количеством его портретов и памятников, названных его именем городов, предприятий, колхозов и т. д., непрерывное, с раннего утра до позднего вечера, славословие в его адрес. Я впервые решился заговорить об этом с другим человеком. Не с мамой. Будь она здорова, я поделился бы с ней своими размышлениями, потому что доверял ей, как никому иному. Но для неё такой разговор был бы сильнейшим нервным стрессом, и я не мог

позволить себе этого. Так что открылся я одному однокласснику, о котором расскажу позже.

Я не могу точно определить, когда и в какой связи началось мое переосмысление его личности, деятельности и роли в истории Советского Союза. Но семена сомнений были впервые посеяны за десять лет до этого. В треклятый год Большого террора был арестован жених маминой сестры Риты, Яков Гик – журналист, корреспондент второй по важности советской газеты «Известия». Я был слишком мал – всего восемь лет и узнал об этом из разговоров мамы с Ритой, которая, приезжая в Москву, останавливалась у нас. По всей вероятности, это произошло в 1938 году, когда она, получив диплом инженера-железнодорожника и направляясь на работу в Казань, на несколько дней задержалась в столице. Не помню, когда, но, скорее всего, уже в Казани, став постарше, я догадался, что они не верили в то, что Яков Гик был «врагом народа» (Подробнее об этом см. в главе о Рите Борко, с. 74-76). Не помню и другого – когда я начал сомневаться в том, вправду ли бывшие руководители Коммунистической партии и соратники Ленина, как и высшее военное руководство во главе с героями Гражданской войны маршалами Тухачевским и Блюхером, были «заговорщиками» и «агентами империализма». Я не мог не задать этот вопрос маме. Как минимум – о мальчишеских кумирах-маршалах и, скорее всего, спросил по свежим следам, то есть в 1937–1938 годах. Не помню маминых ответов. Зато помню, словно фотоснимок, зрительное впечатление: как только я задавал маме «неудобный вопрос», а он мог быть и не связан с политикой, у неё появлялся рассеянный, устремленный в бесконечность взгляд и она произносила нечто неопределённо-невразумительное вроде «мы не всё знаем», «есть разные мнения», «ещё не пришло время говорить об этом» и т. д. Так что ответа я не получил.

А потом началась война. Началась жуткой военной катастрофой, неожиданной и потрясшей подавляющее большинство советских людей и меня, двенадцатилетнего мальчишку, тоже. Я спрашивал себя: как же так? Ведь мы пели: «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов». И триумфальный фильм (не помню его названия) перед войной смотрели, как наши войска в считанные дни громят напавшего на нас агрессора. А как же просмотрел эту угрозу Сталин, которому мы верили, «как, может быть, не верили себе»? Я помню, что гнал от себя этот вопрос, не решаясь даже про себя произнести напрашивавшийся ответ. Маме и Рите я вопросов не задавал. Не решился.

В 1943 году произошло событие, которое вновь заставило меня задуматься. В центральных газетах появилось сообщение о том, что за выдающееся техническое изобретение (создание прямоточного парового котла) Сталинской премией первой степени награжден Леонид Константинович Рамзин, доктор технических наук и профессор. Мамин брат Ефим, который по профессии был металлургом и работал на одном из военных заводов в Казани, прочитав это сообщение, ахнул от удивления. Он тут же вспомнил, что в 1930 году Рамзин был арестован по обвинению в создании подпольной контрреволюционной организации, которая именовалась Промышленной партией, и приговорен к смертной казни. Позже приговор был заменен десятилетним тюремным сроком, но об этом никогда не сообщалось. Ни слова не было об этом и в сообщении о Сталинской премии, равно как и о том, где и как был осуществлен получивший премию проект. Но из разговора между Ефимом и мамой я понял, что они знали о Рамзине ещё с тех давних времен и не верили в историю с подпольной организацией. Вспомнил ли я тогда, по аналогии, о судебных процессах в середине 30-х годов? Не помню. Но разговор этот в подсознании отложился и как-то поучаствовал в эволюции моего отношения к Сталину.

Осенью 1943 года, после разделения школ на мужские и женские, я перешел в школу № 19 им. Виссариона Белинского и вскоре подружился с двумя одноклассниками – Женей Гортинским и Роальдом Орловым. Женя был коренным казанцем, жил вместе с мамой и младшим братом Стасом в старом одноэтажном деревянном доме, на одной улице со мной, и мы иногда заходили друг к другу. Постепенно между нами установились доверительные отношения, и он рассказал мне, что в 1937 году его папа был арестован и осужден на десятилетнее заключение в лагере за антисоветскую деятельность. Меня это очень удивило: до сих пор я знал, что в тюрьму сажают и даже расстреливают тех, кто находился у власти или занимал видное положение, а здесь «врагом народа» объявлен рядовой геодезист, работающий в каком-то сельскохозяйственном учреждении, которое не имеет никакого отношения к военным секретам и безопасности страны. Панорама репрессий оказалась гораздо более масштабной, чем я предполагал.

О судьбе Жениного отца я узнал через несколько лет. Летом 1947 года в Москву после окончания школы ненадолго приехал Роальд и рассказал мне, что Гортинского-старшего освободили,



но предписали жить в зоне, прилегающей к лагерю, в котором он отмотал свой срок. Это был северный район нынешней Пермской области, которая тогда именовалась Молотовской в честь В.М. Молотова, одного из ближайших соратников Сталина. Летом 1947 года, сразу же после окончания школы Женя приехал к отцу. Он не знал, что это будет их последняя встреча. Вскоре в том же году его отец, как и почти все, кто был осужден в 1937–1938 годах на десять лет как «враг народа», был арестован и осужден еще на десять лет. Второго срока отец Жени не перенес и то ли умер, то ли погиб; как именно и где он похоронен – этого Женя так и не узнал, потому что скоропостижно скончался в 1987 году, в возрасте 58 лет. Доступ детям к хранившимся в архивах КГБ следственным делам их родителей был открыт позже.

Что касается Роальда – Рольдика, как мы его обычно звали, – я тогда еще не знал, что его родители тоже были репрессированы в 1937 году. Рассказал он мне об этом в 1952-м, приехав в конце лета по неотложному делу в Москву и остановившись у меня. Его отец, работавший главным инженером Пермского авиационного завода, был осужден на десятилетний срок без права переписки; мать была сослана в один из лагерей в Казахстане, а после освобождения нашла жилье в одном из подмосковных поселков на 101-м километре от столицы, куда переехали из Казани Рольд и его жена Катя. Они периодически встречались и помимо прочего гадали о судьбе Орлова-старшего. Повсему выходило, что он вряд ли жив, но только после смерти Сталина, и то не сразу, Роальд узнал, что слова «без права переписки» означали «приговорен к расстрелу» и приговор приведен в исполнение.

А жизнь как будто задалась целью раскрывать мне глаза. В Москве несколько моих одноклассников, с которыми я сблизился, дружили с компанией сверстниц из женской школы № 665. Среди них выделялась Марина Берг. Мне нравилось общаться с ней: симпатичная, умница, начитанна, нестандартна в своих мнениях и реакциях. И так как, выражаясь словами Марины Цветаевой, мы не были «больны» друг другом, общаться нам было легко и непринужденно. Я стал бывать у неё дома и в первый же вечер познакомился с ее отцом. Он только что пришёл с работы и был в адмиральском мундире. Академик и инженер-контр-адмирал Аксель Иванович Берг был крупнейшим специалистом по радиоэлектронике и одним из создателей радарной системы во время войны с фашистской Германией. Каково же

было мое удивление, когда я, уже не раз побывав в этой семье, узнал, что в 1937–1941 годах он тоже был «эзком». Значит, действительно арестовывали невинных и по ложным доносам? А ведь могли и расстрелять<sup>8</sup>.

Весной 1947 года один из моих одноклассников прочел мне четверостишие, предварительно взяв с меня клятву, что я ни с кем не поделюсь им. Вот оно:

Шуршит по крыше снеговая крупка.  
 Качаются истории весы.  
 Все та ж насквозь прокуренная трубка  
 И кровью обгаренные усы.

Я был в шоке, но – помню! – оно не вызвало во мне внутреннего протеста, потому что я уже понимал, что ответственность за расстрелы бывших руководителей ленинской партии и Советского государства несёт прежде всего Сталин. Так что меня потрясло не их содержание, а образ – вождь с кровавыми усами, а ещё больше то, что кто-то осмелился сочинить их и кому-то прочесть, а тот – дальше и они стали растекаться по стране.

С тех пор прошло 70 лет. Поразившее меня четверостишие я спрятал в сейф моей памяти и вспомнил о нем 7 марта 1953 года, на второй день похорон Сталина, когда вместе со своей однокурсницей искал по моргам ее старшего брата. Мы нашли его; он погиб накануне в страшной давке на Трубной площади, которая стала смертельной ловушкой для многих сотен людей, жаждавших проститься с почившим земным богом. Не помню, как часто я вспоминал эти строки и читал ли их кому-нибудь впоследствии, но точно могу сказать, что ни от кого их не слышал. В начале нынешнего века я купил книгу «Поэзия узников ГУЛАГа. Антология» (М.: Материк, 2005). 990 страниц, 315 авторов, почти 1100 стихо-

<sup>8</sup> Арестованный в декабре 1937 г. по обвинению во вредительстве, начальник Научно-исследовательского морского института связи и телемеханики А.И. Берг два с половиной года провел в тюрьме под следствием. В мае 1940 г. был реабилитирован и восстановлен на работе. Во время войны руководил и принимал непосредственное участие в разработке новых технологий военного назначения. В 1943 г. был избран членом-корреспондентом, в 1946-м – действительным членом Академии наук СССР. Ему очень повезло. Творцу прославившейся в Великой Отечественной войне реактивной установки «Катюша» Георгию Лангемаку и начальнику Реактивного института Ивану Клейменову, поддержавшему изобретателя и давшему дорогу его проекту, не довелось увидеть установку в действии; они были арестованы по ложному доносу и расстреляны в 1938 г., а реабилитированы и посмертно награждены в 1991-м.

творений, в том числе с пометкой «Автор неизвестен». Но этих четырех строк в ней нет<sup>9</sup>.

А возвращаясь к тому, как эволюционировало моё отношение к Сталину, скажу, что я уже пришел к выводу: он был главным виновником гибели миллионов людей во время насильственной коллективизации и массовых репрессий в 30–40-е годы и на нём же лежит наибольшая вина за военные поражения в первые полтора года Великой Отечественной войны. Однако я не был готов сбросить Сталина, хотя бы виртуально, с пьедестала двойного победителя, под руководством которого были построены основы социализма в СССР и разгромлена нацистская Германия. Образно говоря, я увидел и уверился в том, что в пьедестале есть трещины и пустоты. Не более того, но и это было опасным открытием, которое следовало держать при себе.

Перечитывая дневник, к которому последний раз прикасался четверть века назад, когда мы переезжали на новую квартиру, я обнаружил, что через него осью проходит тема одиночества. Иногда это был воистину вопль души. По мере чтения в памяти всплывали отягчающие обстоятельства: тяжелобольная мать, оставшиеся в Казани друзья и первый из них – мой тезка и ровесник Юра Удобников; и Наташа Иванова – моя первая любовь, пронзительная и серьезная, какой она может быть в 16–17 лет, не говоря уже о юношеских патопсихологических комплексах, напомиравших страдания молодого Вертера (я как раз прочел этот роман Гете). Но была ещё одна причина, обострявшая чувство одиночества, – несовместность времени и человеческого общения. В пене было молчание, и платой зачастую была сама жизнь. А меня одолевали каверзные вопросы и крамольные ответы.

Из взрослых я мог довериться только маме и соседу по коммуналной квартире Анатолию Павлову. К сожалению, я не записал ни одного разговора с ними, а они были. Почему? Может быть, они не стоили записи? Или не записывал из осторожности? Ведь в дневнике записано отнюдь не всё, о чем я рассказал выше. Ни о дискуссии с литератором об Ахматовой и Зощенко, ни о нищих крестьянах в Москве и рассказе Лени про голод в начале 1930-х годов. Не записал я и четверостишие о Сталине.

---

<sup>9</sup> Мой старший сын Дмитрий, прочитав эти воспоминания, нашел по Интернету, откуда оно произошло. В 1941 г. Алексей Сурков в очередной раз восславил Сталина. Начало было такое: «Шуршит по крышам снеговая крупка. // На Спасской башне полночь бьют часы. // Знакомая негаснущая трубка, // Чуть тронутые проседью усы». Заимствование очевидно, но смысл противоположный. Автор переделки, вероятно, так и остался неизвестным.

О маме я могу сказать то, что ни одного обстоятельного и откровенного разговора, который врезался бы в память, у нас не было. Я уже упоминал о рассеянном взгляде, который у неё появлялся, когда я задавал ей «неудобные вопросы». Повзрослев, я начал понимать, что умолчание тоже может быть красноречивым. Я не слышал от нее дифирамбов в адрес Сталина. Ни разу. И это было контрастом славословию, которое извергали каждый день радио и пресса. Теперь я могу сказать, что она не была сталинисткой в том смысле, в каком ими были комсомольцы и молодые коммунисты 30-х годов. Они знали о революции и Гражданской войне, о первом десятилетии Советской республики и внутрипартийной борьбе, завязавшейся после смерти Ленина, в той версии, которую продиктовал сам Сталин и которую расцветили его приближенные и пропагандистский аппарат, особенно в том, что касалось лично вождя. Тогда я не смог бы сформулировать это так чётко, как делаю сейчас. Но я знал, что мама усвоила коммунистические идеи от Этель. Знал, что в Коммунистическую партию она вступила при жизни Ленина и была свидетелем борьбы в партийных верхах не на жизнь, а на смерть, после его смерти. Сталин одолел своих противников, но не был её кумиром. Я догадывался, что она относилась к нему сдержанно, и, возможно, не решился бы заявить учителю истории, что процессы 30-х годов были сфальсифицированы, если бы не прочел в её уклончивых ответах, что так, вероятно, думает и она. Это прибавило мне уверенности.

В моем взрослении немалою роль сыграл мой сосед по коммуналке Анатолий Павлов. Мы были соседями с 1936 года, когда я переехал из Ростова в Москву, по 1958 год, когда он переехал по обмену в меньшую по размерам комнату в другом подъезде нашего дома. До войны он жил вместе с матерью Елизаветой Ивановной и сестрой Нонной, которая была гораздо моложе его; ему перед войной было около сорока лет, а ей, студентке педагогического института, не более двадцати пяти. Анатолий и моя мама работали в одном и том же учреждении – Плановой комиссии Московского городского совета депутатов трудящихся (Моссовета) и были в дружеских отношениях. Я очень быстро и сильно привязался к нему, а он относился ко мне даже не по-соседски, а по-отечески, и я, несмотря на почти тридцатилетнюю разницу в возрасте, называл его просто Толей. Узнав, что я увлечен шахматами, он взял надо мной шефство. Учил он своеобразно: разыгрывал все новые начала и... громил. Я огорчался, чуть не плакал, сердился,

бросал игру, а он невозмутимо повторял: «За одного битого двух небитых дают». К началу 1941-го я стал иногда побеждать его. Я только позже понял, что он учил меня вести себя по-мужски. Когда в конце августа мы покидали Москву, Анатолий проводил нас на Казанский вокзал. Ему, командиру запаса, в ближайшие дни предстояло отправиться на фронт, и я тоже понимал, что расстаемся мы, может быть, навсегда. Он расцеловался с мамой, потрепал меня по вихрастой голове, внес в вагон два наших увесистых чемодана, и поезд тронулся.

В Казани мама рассказала мне историю жизни Анатолия и его семьи. Павловы были родом с Урала, из староверческого села неподалеку от губернского города Перми. Глава семейства отправился на заработки в Пермь, да так и не вернулся, оставив жену с четырьмя сыновьями-подростками. Елизавета Ивановна после измены мужа перестала верить в бога, и неизвестно, как бы это аукнулось в староверческой деревне, но грянула революция. Старший сын Александр, было ему примерно двадцать лет, вступил в партию большевиков и стал секретарем уездного комитета РКП(б). В Гражданскую войну его подстерегли на дороге и застрелили местные кулаки. Второй и третий, Виктор и Анатолий, им не было и двадцати, ушли в Рабоче-крестьянскую Красную армию и провели в ней всю Гражданскую войну. Виктор стал кадровым военным, Великую Отечественную войну встретил полковым комиссаром и погиб вскоре после ее начала.

Анатолий избрал другой путь – школа, рабфак, институт, не помню уж какой. По рассказам мамы, он был прекрасным организатором и в начале 30-х возглавил строительный трест. Но вскоре случилась история, содержание которой если я и узнал от мамы, то забыл. Помню только, что двум его заместителям были предъявлены какие-то обвинения, а Павлов взял их под защиту. Поплатился он за свою смелость снятием с должности и в 1934 году поступил на работу в Плановую комиссию Моссовета. Мама сказала, что с того времени Анатолий пристрастился к водке. На моей памяти он периодически впадал в запой, который затягивался на неделю, а иногда и больше. Но работник он был высшего класса, и финальная часть подготовки годовых финансово-экономических планов развития Москвы и Московской области поручалась, как правило, ему.

Не помню, кем Анатолий начал войну, но на каком-то ее этапе он был назначен командиром саперного батальона и в 1943-м или в 1944 году подорвался на mine, потерял ноги, глаз и по паре

пальцев на каждой руке. После первой операции на раненой ноге началась гангрена, его ещё трижды оперировали, отпиливая пораженные части, последний раз выше колена, и все-таки его уральский организм одолел гангрену. Когда я вернулся в Москву, меня встретил похудевший, как бы ссохшийся мужчина. Коротко стриженный бобрик посеребрённых волос; лицо не то чтобы постаревшее, но с проступающими следами недавних тягот и перенапряжений; шрам на нем, проходящий через прикрытую черным кружком глазницу. Передвигался Анатолий с помощью костылей или прикрепив к обрубку ноги деревянный костыль и опираясь на палку. Жил один. Елизавета Ивановна умерла во время войны, а Нонна вышла замуж и переехала к супругу.

Мы прожили соседями еще десять-одиннадцать лет. Общались мы далеко не каждый день, но и не так уж редко. Сражались за шахматной доской, теперь уже с переменным успехом, чаще моим, и разговаривали на самые разные темы. Секрет его влияния на меня крылся не в разговорах, а в том, каким он был. Магия не слов, а личности. Фронтовик, офицер, командир саперного батальона. И я помнил его довоенный подвиг, о котором мне рассказала мама. В семнадцать лет я уже понимал, каким мужеством обладал и на какой риск шел Анатолий, вступившись в 30-е годы за своих помощников и товарищей по работе. Он был человеком, который не изменил себе, своим принципам в самой критической ситуации.

Что же касается общения, то я уже не помню ни одного конкретного разговора, но остались некоторые общие впечатления. Анатолий не поучал меня, ему это было несвойственно; поучительными были его трезвые, зачастую очень резкие оценки тех или иных сторон жизни, обычаев, человеческих отношений и т. д. О войне говорить не любил. Когда я вскоре после приезда спросил его, где и как он воевал, Анатолий ответил, что не может понять, как он остался жив осенью сорок первого, потому что на фронте дела шли плохо, потери были огромные, в управлении войсками был бардак, а воевать научились к сорок третьему. Что касается персонально Сталина, то Анатолий относился к нему отрицательно, ставя ему в вину и террор довоенных лет, и поражения в первый год войны с Германией. Но я не припомню, когда мы впервые разговаривали об этом – до смерти Сталина или после нее. И всё же мне кажется, что я еще в 10-м классе уловил негативное отношение Анатолия к Сталину, то ли из какой-то его реплики или уклончивого ответа, но главным образом из-за того, что я ни разу не слышал от него каких-либо дифирамбов в адрес

«вождя всех времён и народов»<sup>10</sup>.

Что касается моих новых одноклассников, то я с первых дней начал внимательно присматриваться к ним. Разговоры на переменах, до или после уроков не выходили за рамки трепа о девчонках, «шмотках», футболе и вообще спорте, джазе и т. п. Я больше помалкивал или отделялся репликами. Девчонок московских я не знал, тема «шмоток» была для меня чужой по причине прозаической – отсутствия денег, джаз меня не зацепил и, признаться, я почти не знал его. Оживлялся только в разговорах о спорте, но такие разговоры возникали от случая к случаю. О политике разговоры возникали редко, да и то скорее в виде реплик типа «ребята, а вы слышали?». Во-первых, всерьёз она мало кого интересовала, и, во-вторых, лучше было держаться в стороне от этой темы; как говорится, «береженого бог бережет». И все-таки моя гуманитарная, заикленная на социальных и политических проблемах душа требовала общения.

Среди старожиллов класса наибольшим авторитетом пользовался Лёва Зонненшайн. Не потому, что был лучшим учеником, а в силу своей естественной доброжелательности, ровного отношения ко всем, готовности помочь и умения «разруливать» возникавшие временами конфликты между одноклассниками. Мы сблизились довольно быстро. В отличие от меня сферой Лёвиных интересов были естественные науки (после окончания школы он пошел на геологический факультет МГУ), но это различие не мешало нашему общению. Поводов и тем для разговора было достаточно. Он, однако, сторонился разговоров на общественно-политические темы, и когда я попал в его дом, мне стало понятно, что это идет от родителей – вернувшегося с войны отца, который работал механиком на одном из подмосковных аэродромов, и от

---

<sup>10</sup> Судьба Анатолия была трагичной. По возвращении из госпиталя он пару лет не прикасался к водке, в том числе в тот год, когда я заканчивал школу. Но однажды сорвался, и это, как оказалось, было началом его конца. Запой учащались. Через некоторое время он ушёл с работы, но продолжал сотрудничать с экономической комиссией Моссовета на договорной основе, или, как тогда говорили, аккордно. Потом и эта работа закончилась. Время от времени он лечился от запоев в больнице, но это давало временный и всё более слабый эффект. Я периодически захаживал к нему в его новой коммуналке. В конце 50-х гг., не дожив до шестидесяти лет, он скончался от белой горячки. Провожали его в последний путь три человека – сестра Нонна, её муж и я. О причинах, которые сломали Анатолия Павлова – незаурядного человека с острым умом и твердыми нравственными принципами, я умолчу. Скажу лишь, что нередко человек с сильным характером скорее сломаётся, нежели согнётся, и что бесчётными жертвами сталинской системы были не только люди, расстрелянные в застенках НКВД–МГБ или погибшие в лагрях ГУЛАГа.

матери, профессиональной стенографистки, работавшей по вызовам. Отметив для себя, что Лёва развит «по-школьному» и мыслит «по-книжному», я раз и навсегда исключил из сферы нашего общения мало-мальски опасные в те времена темы. Наши дружеские отношения продолжались, но я нуждался в общении со сверстниками, близкими мне по ментальности и кругу интересов.

Вскоре в поле моего зрения появились еще два одноклассника – Володя Долгий и Аполлон (в обиходе – Лёля) Теников, близкие мне по гуманитарной ориентации и критическому настрою. В дневнике появилась запись: «Я думал, что у меня одного такие противоречия, но оказалось, что Теников тоже никак не вырвется из этого проклятого круга» (Дневник № 10. 14.11.1946. С. 11). А затем добавил, что всё больше сближаюсь с ними; «я и до них был проникнут порядочно скептицизмом, но теперь окончательно пропитался им» (Там же. 23.11.1946. С.14). К сожалению, я не записывал ни темы наших разговоров, ни каковы были наши взгляды. Нашел только два конкретных эпизода. Однажды Теников и я втянули учителя истории в дебаты о том, насколько наша система школьного образования содействует развитию личности. Мы заявили, что она мешает этому. Видимо, он сумел парировать наши аргументы, потому что, суммируя в дневнике итоги дискуссии, я записал, что большинство учащихся нынешняя школа вполне удовлетворяет, но в каждом классе есть два-три талантливых ученика, которым в ней тесно. И еще упомянул любопытный разговор, уже в конце учебы, с Володией Долгим: «Друг другу каялись в индивидуалистически-эгоистической гнильце. Поговорили хорошо. У него такая же эволюция от “я” к “не-я”» (Дневник. 3.06.1947. С. 46). Хотел бы я знать, что мы тогда друг другу наговорили, но увы! А в целом негусто. Так что я уже не помню, в чем конкретно проявился наш общий скептицизм, во всем ли мы были согласны и где проходил рубеж нашей взаимной доверительности. К тому же я как-то признался себе, что «долго не могу быть скептиком, будь то отношение к действительности или как философское течение агностицизм. Скепсис производит впечатление ширмы, за которой скрывается бессилие ума» (Дневник. 6.12.1946. С. 19). И очень эмоциональной репликой отозвался на «Жизнь Клима Самгина»: «Самгин... это безверие, скептицизм. Быть Самгиным – ужас» (Дневник. 20.01.1947. С. 31). Я очень сомневаюсь в том, что отваживался излагать им мои сомнения по поводу Сталина. Мы встречались какое-то время после окончания школы, а потом разошлись по своим университетским



компаниям; Долгий и Теников учились на философском факультете МГУ, я – на историческом.

С Димой Солоницким я сблизился во второй половине учебного года. Вначале он мне очень не нравился – манерный и иронично-высокомерный. Но потом все гладилось, и он оказался вполне приемлемым товарищем. Жил он в том же доме, что и Марина Берг, и я иногда заходил к нему. Как-то его мама сказала мне, что её беспокоит, сумеет ли Дима сдать экзамены по математике и физике, и спросила, не смогу ли я позаниматься с ним, но не от случая к случаю, а систематически. Она добавила, что готова платить мне как репетитору, но с условием, что я не проговорюсь Диме. Я согласился, и наши занятия начались – дважды в неделю, пара часов, как правило, у них дома, но иногда и у меня. А в перерывах мы отвлекались на самые разные темы – от скабрзных анекдотов до философии. И как-то само собой получилось, что у нас не осталось запретных тем и более открытым был Дима. Мы говорили о нищих колхозниках и школах-казармах, о репрессиях и культуре Сталина. Он-то и прочел мне приведенное выше четверостишие. Я не могу сказать, что кто-то на кого-то влиял. Главное различие между нами состояло в том, что я продолжал верить в коммунизм, а Дима не верил, и каждый остался на своей позиции. Его эти вопросы мало трогали, он был талантливым художником и собирался пойти в архитектурный институт. После окончания школы мы около года поддерживали связь а затем после моего поступления на истфак МГУ она полностью прекратилась.

В общем, от 10-го класса пожизненных друзей у меня не осталось. То ли одного года совместной учебы было недостаточно, то ли ни с одним из одноклассников не возникло эффекта полного совпадения. Как в песне: «Мы выбираем, нас выбирают, // Как это часто не совпадает...» Не могу сказать, что кто-то из них оказал на меня глубокое влияние. И все же некоторые прожили в моей памяти 65 лет. Значит, что-то я приобрел от общения с ними и какой-то след во мне они оставили. На том и завершу.

Итогом моих метаний, внутренних дискуссий и частичной переоценки ценностей стало радикальное изменение жизненных планов. В 9-м классе и даже накануне последнего учебного года всё казалось ясным: я воспринимал себя гуманитарием и колебался только в конкретном выборе – литература, журналистика, философия, возможно, международные отношения. Сомнения возникли в первые же месяцы учебы в новой школе. Я вдруг вспомнил, что в Казани «большинство наиболее развитых

и одарённых» старшекласников, вместе с которыми я учился в нашей 19-й школе, не собирались посвящать себя общественной деятельности и намеревались связать свою жизнь с наукой и преподаванием. Один из самых талантливых выпускников школы Игорь Мексин как-то сказал мне (я учился в 9-м), что будет поступать в медицинский институт. Врач, объяснял Игорь, – профессия нужная и уважаемая, а свое увлечение философией и литературой я смогу совместить с основной профессией, как это нередко бывало еще в старой России.

Колебания закончились в зимние каникулы: «Отлегло на душе. Решил идти на биологический факультет университета» (Дневник № 10. 9.01.1947. С.29). И через некоторое время пояснение: «Насколько раньше любил гуманитарные науки, настолько сейчас не люблю их за связь с политикой. А эта (политика. – Ю. Б.) мне просто претит» (Там же. № 10. 2.04.47. С. 37). Почему биология? К ней привел меня проснувшийся острый интерес к человеку как мыслящему и одухотворенному существу. Я решил, что займусь изучением физиологии высшей нервной деятельности. Мама Димы Солоницкого вывела меня на ее знакомого, профессора биологии МГУ Алексея Алексеевича Захваткина. В один из апрельских дней, приглашенный к нему в гости, я с любопытством и почтением осматривал его рабочий кабинет. Вдоль одной из стен тянулся книжный стеллаж с застекленными полками. Судя по обложкам, многие книги были изданы до революции. Меня впечатлили его заинтересованность и уважительный тон разговора со мной. Эта встреча укрепила мое намерение поступать на био-фак. Ещё до нее я прочел «Мировые загадки» Эрнста Геккеля, а после неё и по совету профессора прочел книгу русского биолога Климента Тимирязева «Чарлз Дарвин и его учение». В дневнике упомянут также главный научный труд Ивана Сеченова «Рефлексы головного мозга», взятый мной в библиотеке, но не сказано, прочёл ли я его. Скорее всего, не прочел. На носу были выпускные экзамены – тринадцать предметов и по учебным программам за 8–9-й классы.

Сдал я их не лучшим образом: «тройка» по тригонометрии, «четверки» по алгебре и геометрии, русскому и немецкому языкам, остальные – на «пять». 25 июня отгулял выпускной вечер, даже два – сначала в своей школе, а затем в расположенной напротив женской школе № 76, закончив праздник гулянием вчетвером – Лёва Зонненшайн, я и две выпускницы из 76-й, Наташа Зонненшайн (они с Левой были близнецы) и Лиза Бушуева – до

утренней зари по Москве, через Красную площадь и далее, куда глаза глядят – по набережной, улицам и площадям. 4 июля я записал в дневнике, что подал заявление на биологический факультет МГУ и прошел собеседование с деканом. «Итак, биология. Хочу заняться физиологией и биохимией головного мозга». И тут же приписал: «Философию бросать не хочу. Точнее, не бросаю мысль серьезно заняться ее изучением» (Дневник № 10. 4.07.47. С.46). До вступительных экзаменов на биофак – с 1 августа – оставалось менее месяца, и я начал подготовку к ним.

Занимался почти каждый день до позднего вечера. Когда засыпала мама, я тушил верхний свет и зажигал керосиновую лампу. В один из вечеров, прервавшись к полуночи на короткий отдых, я записал в дневнике: «Сейчас слушаю по радио концерт Надежды Андреевны Обуховой. Только что она спела мою любимую “Элегию” Жюль Массне. Вечер. По подоконнику стучат дождевые капли. Сквозь мокрое окно в черноте неба, слившейся с темной массой зданий, дрожат расплывшиеся жёлтые пятна огней. В комнате тишина. Мягкий свет керосиновой лампы освещает только дневник. Полумрак, на стенах большие колышущиеся тени. Этот сумрак и приглушённые звуки музыки и прекрасного голоса из наушников создают какой-то особый мир, зовут куда-то, вызывают в душе неясное чувство желания, ожидания и грусти. Да-а, всё ждешь сказку» (Там же. 3.06.47. С. 44). И не знал, не ведал я тогда, какой долгий, извилистый и тернистый путь – мировоззренческий, нравственный и профессиональный – предстоит мне пройти.

Закончил я дневник-10 уже в Казани, куда съездил на десяток дней во второй половине июля. Попытался даже подвести итог последнего года моей школьной жизни. Получился он негативным, так как главной цели, которую я ставил перед собой прошлой осенью – окончить школу с медалью, – я не достиг. Причину неудачи я усмотрел не столько в сложных домашних обстоятельствах, сколько в том, что «у меня много самоуверенности и мало целеустремленности» и «довольно сомнительно», что у меня есть большая сила воли (Там же, 4.07.47. С. 47). Весьма самокритично. Но я тут же утешил себя тем, что моя самоуверенность основана на оптимизме, любви к жизни, «если не ошибаюсь, по-бальзаковски», и природных способностях (там же). И последним аккордом в дневнике, на обложке школьной тетради, запечатлена фраза-нетленка: «Для меня самое ценное в человеке – это труд, труд созидательный, творческий. Всякая жизнь без

активной деятельности – это лишь все те же красивые декорации» (Там же. С.49).

Надо прожить целую жизнь, чтобы осмыслить и оценить, какую роль в ней сыграли те или иные ее периоды и те события, которые тогда произошли. Последний год школьной учебы сыграл в моей жизни очень важную роль. Я вошел в этот год тинейджером, а вышел взрослым. Тинейджерство – время осознания себя как личности, осознания своей «особости» и растущей претензии на то, чтобы взрослые воспринимали тебя как равного, при сохранении беззаботной детской привычки к тому, что тебя кормят, поят, одевают и т. д., словом, привычки к безответственности. Я вышел из тинейджеров на рубеже 17–18 лет. Моей заслуги в этом нет. Хотя, может быть, капелька такой заслуги была в том, что я перебрался в Москву по окончании 9-го класса, хотя мама и Рита предлагали мне окончить школу в Казани, где мне во всех отношениях было бы легче и я наверняка получил бы медаль, если не золотую, то серебряную. Просто до меня дошло, что маме стало худо и мое место рядом. А потом наступил момент, когда ответственность за нашу маленькую семью легла на меня. Без выходящих. И ответственность за самого себя. Эту науку надо было еще освоить, главным образом, психологически и, судя по записям в дневнике, у меня было немало промахов. И всё же я чувствовал себя в ином возрастном статусе. Это во-первых.

А во-вторых, именно в тот год я впервые всерьез задумался над фундаментальными вопросами бытия, окружающей меня действительности, общественных и межличностных отношений, задумался над смыслом жизни и своим месте в ней. Зная то, что происходило дальше, я теперь могу сказать, что 10-й класс вместе со следующим 1947/48-м годом был первым этапом моих умственных и духовных поисков. За ним последовало ещё немало этапов. Но некоторые мои принципы и правила жизни определились уже тогда.

### **Два дня в марте 1953 года**

Мое эмоциональное отношение к Сталину изменилось в один день – не образно, а в буквальном смысле, как два лика Януса: сегодня – один, а завтра – противоположный. Это произошло за три года до XX съезда КПСС и доклада Никиты Хрущева о «культе личности». Но все по порядку. Наступил 1953 год. Я учился на

пятом курсе истфака, начался наш последний семестр. Лекции и семинары были сведены к минимуму, и почти все учебное время нам полагалось тратить на подготовку дипломных работ. Днем мы трудились в меру своих способностей и прилежания, а по вечерам отдыхали от трудов праведных, общались в сложившейся дружеской компании, по субботам и воскресеньям уходили на лыжах в подмосковные просторы. Кончался февраль, а с ним и зима. Но утром второго марта по государственному радиовещанию (иного тогда не было) прозвучало сообщение, которое взбудоражило весь мир, а наша страна буквально оцепенела: тяжело болен Сталин. Для людей, мало-мальски понимающих, было ясно, что только самые крайние обстоятельства могли вынудить высшую власть предать гласности то, что было тайной всех тайн – жизнь Вождя, Хозяина, Диктатора; все эти (и другие) определения имели хождение в народе и употреблялись разными людьми и в разных обстоятельствах. В тот же день – разумеется, в разговорах между абсолютно доверяющими друг другу людьми – родилась версия, что Сталин уже мертв и власти готовят ошеломлённое население к известию о его кончине; но даже если он еще жив, дни его сочтены, иначе его приближенные и преемники ни за что не решились бы на такой шаг. Четыре дня страна жила в ожидании, слушая и читая всё более мрачные медицинские заключения о болезни Сталина. В последнем бюллетене о состоянии его здоровья на шестнадцать ноль-ноль 5 марта говорилось о периодических коллапсах сердечно-сосудистой системы. Даже не-сведущим людям стало ясно, что до кончины Сталина остались, может быть, считанные часы.

Утром 6 марта знаменитый диктор того времени Юрий Левитан зачитал, как умел только он, заявление ЦК КПСС, Советского правительства и Президиума Верховного Совета СССР, в котором сообщалось, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера скончался Председатель Совета Министров СССР, Секретарь ЦК КПСС Иосиф Виссарионович Сталин. «Бессмертное имя Сталина, – говорилось в заявлении, – всегда будет жить в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества». Одновременно было опубликовано медицинское заключение о болезни и смерти И.В. Сталина. В утреннем сообщении Комиссия по организации его похорон объявила, что гроб с телом усопшего будет установлен в Колонном зале Дома Союзов, о времени доступа будет объявлено особо. Позже стало известно, что доступ начнется в этот же день, во второй его половине.

Я воздержусь от рассказа о том, как восприняли смерть Сталина разные люди, всё это всплыло позже. А 6 марта главным и сохранившимся навсегда впечатлением от увиденного было умопомешательство тысяч и тысяч москвичей, ринувшихся на улицы, чтобы влиться в очередь и увидеть мертвого человека, который с большим основанием, чем сам Людовик XIV, мог сказать о себе: «Государство – это я». «Я» обратилось в прах, и это было воспринято миллионами советских граждан почти как крушение мироздания.

Я тоже был потрясен. Все мои критические размышления, которые накапливались в течение нескольких лет, словно стерло. Много лет спустя, перебирая архив, я нашел обрывок пожелтевшего листка с четверостишием, посвященным смерти Сталина. Прочел, и меня покорило. Банальные пафосные строки, из которых в памяти осталась одна: «Какое сердце перестало биться». Даты не было, но ошибиться в ней было нельзя: 6 марта 1953 года, утром или днем. Позже мне было не до стихов; к вечеру того дня, в ночь и утром 7 марта произошли события, навсегда изменившие мое отношение к власти, созданной Сталиным, и положившие начало моим раздумьям о его роли в истории нашей страны.

Сразу же после траурного извещения я созвонился с друзьями-однокурсниками, и мы договорились встретиться во дворе нашего истфака, небольшого трехэтажного здания, расположенного на углу двух улиц – Герцена и Грановского (ныне Большая Никитская улица и Романов переулочек). Собралось нас человек пятнадцать или чуть больше, и где-то около одиннадцати часов мы двинулись в путь, чтобы влиться в очередь к Дому Союзов. Она брала начало у станции метро «Кировская» (ныне «Чистые пруды»), далее шла по левой проезжей части Сретенского и Рождественского бульваров, круто спускаясь к Трубной площади, затем поворачивала на Неглинную улицу, с нее – по Рахмановскому переулку и налево – по Петровке, заканчиваясь у бокового входа в Дом Союзов. Мы сразу же решили не искать хвост очереди, а влиться в нее на Трубной площади, сократив таким образом путь примерно вдвое. Как оказалось, до этого додумались очень многие. Покинув двор, мы влились в толпу людей, бежавших вверх по улице Герцена. Это была именно толпа, разноликая и предоставленная самой себе, одержимая одной целью и движимая слухами. Кто-то на ходу сообщил нам, что выход из улицы на Манежную площадь перекрыт и надо попытаться

выйти к Трубной через Тверской и Петровский бульвары. Но это не удалось, выход с Тверского бульвара на Пушкинскую площадь тоже был перекрыт. Пересекли бульвар и, блуждая по лабиринту улиц, переулков и проходных дворов, перелезая через ограды, мы вышли наконец на Цветной бульвар возле Центрального рынка. Путь на Трубную был открыт, и через несколько минут мы уже были на площади, изрядно заполненной людьми. Но нас ожидало ещё одно препятствие: площадь была перегорожена колонной стоявших вплотную один к одному военных грузовиков. Это были знаменитые тогда американские «студебеккеры», полученные нашей страной во время войны по ленд-лизу. В кузовах сидели солдаты и младшие офицеры, служившие во внутренних войсках, подчинявшихся Министерству государственной безопасности. Очередь находилась по ту сторону этой изгороди. Впрочем, были смельчаки, нырявшие под грузовики и мгновенно исчезающие в очереди. Кто-то из наших ребят предложил последовать их примеру. Мы заколебались, но нас остановил звонкий голос Нели Гершановой: «Мальчики, мы под машины не полезем. Неужели вы бросите нас одних в этой толпе?» Этот отчаянный возглас вернул нас на землю. Возбуждение, не отпускавшее нас с утра, вдруг погасло, и рыскать по улицам, чтобы пробиться в очередь, расхотелось. Мы растерянно переглянулись и решили разойтись по домам. Уходя, я ещё раз оглянулся. За «студебеккерами» очередь была видна не очень хорошо, но достаточно, чтобы заметить, что она была плотной, в несколько рядов, и скорее стояла, чем двигалась. И было в ней что-то непривлекательное, рождающее смутное беспокойство. Однако в тот момент это осталось на периферии сознания и вспомнилось только вечером, когда мы узнали, что происходит на Трубной площади. Позже я не раз встречу людей, которые побывали в тот день на площади, но, присмотревшись к очереди, торопливо уходили, как говорится, от греха подальше. Скопление людей на Рождественском спуске и входе на площадь много раз будет вспоминаться мне как предвестье кровавой трагедии.

Я вернулся домой, чувствовал себя уставшим, скорее не физически, а морально. Вечером я собирался встретиться со своей подругой-однокурсницей Галей Р., но вдруг, ближе к пяти, раздался телефонный звонок, перечеркнувший мои планы. Звонили из факультетского комитета комсомола и сообщили, что Краснопресненский райком ВЛКСМ мобилизует комсомольский актив для выполнения срочного задания; сбор назначен у здания райко-

ма в восемнадцать ноль-ноль. На вопрос, зачем, мне было сказано, что всё узнаю на месте.

Райком был расположен на Красной Пресне, в самом начале Шмитовского проезда. Явившись туда, я встретил знакомых ребят со своего и соседних курсов истфака, в том числе друзей-однокурсников – Тома Петрова, Лёню Гордона и других. Нам сказали, что в районе Трубной площади создается внешнее кольцо, перекрывающее все переулки, ведущие к площади. На чью-то реплику, что там полно солдат, инструктировавший нас человек явно не комсомольского возраста неохотно ответил, что военные решают свои задачи, они находятся на Трубной с утра, а нам необходимо остановить поток людей, стремящихся туда попасть. О том, что происходит на площади, он не сказал ни слова, но это и была самая важная информация: там произошло нечто такое, о чём представитель власти не хотел говорить. Умолчание как знак беды – это чувство возникло мгновенно, и, судя по переменявшимся лицам стоявших рядом товарищей, оно было общим. Вслух, однако, никто из нас ничего не сказал. Произнести то, о чём власть решила умолчать, было в те времена небезопасно: лицо «при исполнении служебных обязанностей» могло объявить неудобное ему слово «распространением клеветнической информации». Стало понятно, что власти экстренно мобилизовали нас, так как ситуация вышла из-под контроля. Надо было идти и помогать.

Вскоре наш отряд быстрым шагом двинулся в путь и ближе к восьми вечера занял отведенное ему место. Это был узкий переулок, спускавшийся к Цветному бульвару. Встретивший нас милицкий офицер предупредил, что надо встать плотно друг к другу, в несколько рядов; стоящие сзади должны держать тех, кто впереди, потому что среди пытающейся прорваться толпы есть «криминальный элемент» и от них можно ожидать всякого. Вначале толпа была многочисленной, но ближе к ночи она уменьшилась, люди постарше ушли, осталась в основном шпана, изрядно подвыпившая и нахальная. Они разгонялись, пытаясь прорваться с ходу и все больше стервения. Мы тоже «завелись», выхватывали наиболее наглых и швыряли их назад, где их подхватывали стоявшие сзади товарищи и препровождали в находившееся неподалеку отделение милиции. Труднее всего было в первом ряду, и мы постоянно менялись местами. Где-то далеко за полночь шпана выдохлась, начала постепенно рассеиваться, и стало полегче.

Утром, около восьми, нас отпустили, а я тут же поспешил к ближайшему телефону-автомату. Еще с вечера, когда мы пере-



городили переулок, я позвонил Гале и объяснил, где я нахожусь и чем буду занят всю ночь. В ответ я услышал ее взволнованный голос: Толя, ее старший брат, еще днем ушел к Колонному залу, он до сих пор не вернулся, и она очень встревожена. Я попытался ее успокоить, сказав об огромной очереди, которая движется крайне медленно, и пообещав позвонить утром. Но я умолчал, что уже знал о том, что произошло на Трубной площади. Ещё вечером, сдерживая толпу, мы узнали, что там есть жертвы. Не помню, то ли проговорился милиционер, заважавший нас и признавший за «своих», глядя, как мы управляемся с толпой, то ли случайный прохожий, торопясь и оглядываясь, сообщил нам, что на Трубной возникла страшная давка, обезумевшие люди топтали друг друга и есть погибшие. За ночь нам сообщали об этом не раз, хотя и без подробностей. Я был в большой тревоге, но всё же надеялся, что Толя, крепкий тридцатилетний мужчина, прошедший войну, сумеет выбраться из давки или, может быть, успел миновать площадь и медленно движется к Дому Союзов.

Теперь я набирал номер телефона. «Толя не вернулся», – сказала Галя. Во мне что-то оборвалось. Это рухнула надежда. И то, что Галя больше ничего не сказала, означало, что она тоже это поняла. «Никуда не уходи, дождись меня. – Я старался говорить как можно спокойнее. – Я забегу домой переодеться и сразу же к тебе». Вскоре я был у неё, и мы тут же ушли. Было светлое мартовское утро, а мы молча шли по улице, направляясь к ближайшему моргу в 1-й Градской больнице, расположенной на Ленинском проспекте, как раз напротив Галиного дома. Мы уже издали увидели около морга скопление людей. Их вид не оставлял сомнений в том, что они пришли сюда по той же причине, что и мы. В этом морге Толи не оказалось. Мы нашли его в следующем; не помню, где он находился и как мы до него добрались. Там тоже были потрясенные и раздавленные горем люди, искавшие своих родственников. Сотрудник морга бегло просмотрел список и назвал имя, отчество и фамилию Галиного брата. Процедура опознания прошла быстро. Отвечая на наш вопрос, патологоанатом сказал, что Толю нашли возле одного из домов на Трубной площади, рядом с низко расположенным окном, закрытым массивной чугунной решеткой. Его с такой силой вдавили в нее, что грудную клетку раздробило на множество частей.

Мы вернулись в Галину квартиру и тут же отправились на Ленинградский вокзал. Их мама находилась в санатории, расположенном в Подмосковье, вблизи от станции Сходня. Когда мы

приехали, Галя сказала, что надо немедленно ехать в Москву. «Что случилось и где Толя?» – спросила мать. «Все расскажу дома», – ответила дочь. Видимо, мама все поняла, потому что вплоть до дома она не проронила ни слова. Все последующие дни видятся теперь в плотном тумане. Галя была занята похоронами, я в чем-то помогал ей. Тяжкое зрелище похорон. Власти и рабски подвластные им радио и пресса хранили молчание. А по Москве с телеграфной скоростью распространялись слухи о том, что на Трубной погибли многие сотни людей. Московские морги и ЗАГСы получили указание выдавать справки о смерти с ложной записью о её причинах.

Первые публикации об этой трагедии появились в нашей печати в конце 80-х годов, когда объявленная Михаилом Горбачевым гласность положила конец диктату главного цензора в стране – Главлита. Каких-либо официальных сообщений о том, сколько человек погибло в тот день на Трубной площади, я не встречал. И было ли такое заявление? Но в двух публикациях я нашел две цифры – более полутора тысяч и около двух тысяч жертв.

\* \* \*

«Интересно было бы знать, о чём вы разговаривали в те вечерние и ночные часы в переулке», – сказал мой сын Кирилл, прочитав в первом наброске мои воспоминания. Его вопрос был и неожиданным, и уместным. Действительно, в моём тексте этой теме места не нашлось. Задумавшись и прокрутив в памяти кадры событий, я понял, почему ничего не написал о разговорах. Их просто не было. Мы, конечно, перебрасывались короткими фразами соответственно ситуации в нашем противостоянии с толпой или разговаривали на посторонние темы, когда возникали паузы. Но самых главных вопросов, которые уже не могли не занимать наши умы, мы не касались. И дело было не столько в том, что мы пребывали в состоянии двойного стресса, узнав утром о смерти Сталина и сдерживая напор агрессивной толпы вечером. Никому из нас не могло прийти в голову обсуждать прилюдно, каковы, скажем, итоги его 25-летней безраздельной власти, почему произошла трагедия на площади и что ожидает нашу страну. Мы стояли вплотную друг к другу. Вокруг было множество людей, и хотя это была университетская среда, но многих я и мои друзья не знали: где-то рядом мог оказаться и комсомольский карьерист, и стукач. Времена были крутые. Всего лишь четыре месяца назад страну как обухом

оглоушили сообщением о том, что врач Кремлевской больницы некая Тимашук разоблачила «банду врачей-убийщ», пытавшихся отравить руководителей партии и государства. В списке арестованных значились ведущие советские медики, так сказать, корифеи отечественной и мировой медицины. Но это пояснение для тех, кто, к счастью, те времена уже не застал. А у нас механизм самосохранения срабатывал подобно условному рефлексу.

Да, диалогов в тот вечер не было. Их заменили внутренние монологи, которые, впрочем, больше походили на диалоги с самим собой. Не знаю, у всех ли, но, во всяком случае, так было со мной. Я задавал себе вопросы и размышлял. По сути, их было три. В те дни я не ответил на них, но они стали ориентирами в моих первых размышлениях.

Еще вечером в ходе наших сражений с толпой мне вдруг пришло на ум: почему похороны Сталина так отличаются от того, как хоронили Ленина? Я не думал тогда о том, что мои представления о траурных январских днях 1924 года были частью «ленинианы» – давно сложившейся мифологии об основателе большевистской партии и Советской власти. Позже, и очень нескоро, я расставляю все по своим местам – и то, что касается отношения разных социальных слоев и просто разных людей к Ленину, и то, что относится к его личности и исторической роли. Но чего в том январе определенно не было, так это взвинченной и неуправляемой людской стихии. Те, кто пришел проститься с Лениным, сделали это в основном по убеждению и терпеливо дожидались своей очереди, спасаясь у костров от накрывшей Москву лютой крещенской стужи. Миф о Ленине стал твориться после его кончины, миф о Сталине – с конца 20-х годов, за четверть века до его смерти. Не в том ли была одна из причин рождения толпы, «в безумстве рвавшейся увидеть // в прах обратившегося Бога» (это из стихотворения, написанного мною через полвека после похорон Сталина) и растоптавшей сотни своих сограждан? Что надо было сделать, чтобы довести народ до такого состояния? Это стало одной из главных тем моих раздумий еще до XX съезда КПСС, на котором новый партийный лидер Никита Хрущев выступил с докладом о так называемом «культе личности».

Другой вопрос естественно родился, после того как нам стало известно о событиях на площади: почему это случилось и кто виноват? Он не оставлял меня весь следующий день, когда мы ходили по моргам, видели там десятки отчаявшихся людей, и прояснялся масштаб случившейся трагедии. Я к этому времени уже

достаточно критически относился к государственной власти. Поводов было много, и я расскажу о них в другой раз. И все же масштаб безответственности и беспомощности властей в первый день похорон Сталина меня потряс, а их попытку «спрятать концы в воду» я оценил как подлость. Позже мне пришло на ум, что центральная и московская власти имели огромный опыт организации демонстраций 1 мая и 7 ноября. В них участвовали сотни тысяч, а иногда и более миллиона москвичей. Почему он не был использован теперь? Здесь могли быть разные версии, но в те дни, о которых я рассказываю, у меня не было времени подумать об этом. Было лишь возникшее острое чувство неприятия власти, сменившее прежнее двойственное, отчасти нейтральное отношение к ней. Так из моих вопросов о причинах произошедшей трагедии возникли новые темы для размышлений – о природе Советской власти, ее отношении к народу и о том, как она действует. Например, о ее способности быстро реагировать на внезапно изменившуюся ситуацию.

И как синтез двух предыдущих вопросов, родился третий, самый важный и самый сложный вопрос: в чём состоит внутренний смысл кровавой тризны, сопутствовавшей похоронам Сталина? Как связано одно с другим и что всё это означает? Странное дело, я уже многое знал о Сталине – о его причастности к «раскулачиванию» и голоду в деревне в начале 30-х годов, к показательным политическим процессам и репрессиям во второй половине тех же 30-х и так далее. Но в день его смерти всё забылось, и я метался вместе с тысячами москвичей, чтобы влиться в очередь желавших проститься с усопшим вождем. Отрезвление пришло на следующий день, и вместе с ним ожила память. Всплыла в ней и строка о «кровью обгаренных усах» из четверостишия, прочитанного моим товарищем-одноклассником. Было это в 1947 году, на излете моей школьной жизни. Тогда я был в шоке от этих строк. Теперь они воспринимались иначе. Кончилось раздвоение образов: деспот – и победитель, построивший социализм в нашей стране и выигравший войну с нацистской Германией. В день его похорон я с горечью и злостью сказал себе: ему было мало той крови, которую он пролил при жизни, и теперь, мёртвый, он прихватил с собой сотни новых жертв. Так началось мое прозрение. Но это уже иная тема, и я закончу эту повесть одним эпизодом, случившимся несколько позже.

Был ясный летний день, я сидел вдвоем с товарищем в скверике в Шмитовском проезде, и мы разговаривали. Он учился на

историческом факультете курсом старше меня, мы два года вместе работали в студенческой колхозной бригаде и очень сблизились. По завершении учебы он начал работать инструктором в Краснопресненском райкоме комсомола, а я – учителем истории в одной из московских школ. Мы продолжали общаться. На этот раз я заехал к нему в райком, а он предложил пойти в находившийся неподалеку скверик. Мы сели на скамейку, рядом никого не было, и мой товарищ заговорил о ситуации в стране. Факты, которыми он оперировал, были в основном мне известны, но его оценки были для меня новыми и отчасти неожиданными. Он их уже сформулировал, а я был в поиске. Его главный вывод состоял в том, что за 25 лет абсолютной диктатуры Сталина Компартия и Советское государство полностью переродились. Политическая система находится в глубоком кризисе, и ее надо свергнуть. Мы проговорили более двух часов, и этот разговор сильно продвинул меня в собственных размышлениях о послеоктябрьской истории нашей страны.

Звали моего собеседника Лева Краснопевцев. Стояло лето 1954 года. С мартовских дней, о которых я повествовал выше, прошёл год с небольшим. До XX съезда КПСС оставалось два года. И чуть больше оставалось до организации подпольного кружка, который мы создали, чтобы разобраться в том, почему и каким образом переродились партия большевиков и Советская власть. Мы – это Лева Краснопевцев, я и мои друзья-однокурсники Том Петров, Арлен Меликсетов и Эдуард Клопов. Но это уже другая история.

## Как я стал старшим пионервожатым

Похороны Сталина состоялись 9 марта 1953 года, на Красной площади. А за день до его смерти скончался один из величайших композиторов XX века Сергей Прокофьев. Но взбудораженная страна, похожая на развороченный муравейник, не заметила этого. Несколько тысяч москвичей хоронили своих родственников и друзей, растоптанных и раздавленных в первый день доступа к телу усопшего диктатора, но так как власти и пресса не проронили ни слова, этой трагедии будто бы не было. Устный телефон, однако, работал исправно, и весть о ней распространилась на всю страну. В первые две недели после похорон в центральных газетах шли потоком соболезнования в связи со смертью Сталина. 12 марта первый секретарь Союза писателей СССР А. Фадеев опу-

бликовал в «Правде» статью «Гуманизм Сталина», заявив в ней, что «Сталин, как никто другой, определил великое гуманистическое значение художественной литературы» и «на протяжении трех десятков лет направлял» ее развитие, «одухотворяя ее все новыми и новыми идеями и лозунгами». Через неделю «Литературная газета», орган ССП, выдала передовую статью с указующим, как перст, заголовком «Священный долг писателя». В ней предписывалось, что «самая важная, самая высокая задача, со всей настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов – бессмертного Сталина».

Люди между тем возвращались к своим будням, и на поверхности жизнь вроде бы вернулась на круги своя. Да и мне поначалу и, насколько я помню, моим друзьям-однокурсникам казалось, что ровным счетом ничего не изменилось. Да и что могло измениться? Власть перешла в руки приближенных Сталина, что было явлено советским гражданам на траурном митинге. Председательствовал на нем Н.С. Хрущев; с речами, как и предполагалось, выступили Г.М. Маленков, А.П. Берия и В.М. Молотов. В иерархии высшего партийного руководства они занимали второе, третье и четвертое места. Первый из них еще 7 марта был назначен Председателем Совета министров, следующие двое – его первыми заместителями. Такой же пост занял ещё один из близких соратников Сталина – А.М. Каганович. Хрущев был избран секретарем ЦК КПСС, правда, одним из пяти, но назван был первым, а по канонам тех времён порядок перечисления никогда не бывал случайным.

Не могу сказать, что мы только и делали, что размышляли обо всём этом. Дел у нас было невпроворот. Предстояло сдать экзамены за пятый курс, защитить выпускные дипломы (их еще надо было дописать) и сдать государственные экзамены. И всё это – за три месяца, с апреля по июнь. Отчасти по этой причине, но больше из-за неопытности и отсутствия негласных источников информации мы вначале не замечали каких-либо признаков перемен. Правда, я вскоре обнаружил, что призывы увековечить память о Сталине довольно быстро исчезли со страниц печати, упоминания о нем стали более сдержанными, ссылки на него, цитаты из его выступлений появлялись всё реже. 26 марта, ровно через неделю после упомянутой передовицы, в «Литературке» была опу-

бликована еще одна передовая статья: «Достойно показывать великие дела народа». Оказывается, «важнейшая задача всей советской литературы» заключается в том, чтобы достойно отображать в художественных произведениях «великие дела нашего народа, его борьбу за коммунизм». Имя Сталина в статье не было упомянуто ни разу.

Разумеется, никто из нас не знал, что скрывается за этой метаморфозой – призыв возвеличивать Сталина, замененный через неделю призывом возвеличивать народ. Об этом через тридцать пять лет рассказал тогдашний главный редактор «Литературки» Константин Симонов. По его словам, на следующий день после появления первой статьи в редакцию, а затем в Союз писателей позвонил «сам» Хрущев и потребовал отстранить «главного» от руководства газетой. «Видимо, – комментировал давнее событие К. Симонов, – это был личный взрыв чувств Хрущева, которому тогда, в пятьдесят третьем году, наверное, уже не была чужда мысль через какое-то время поставить точки над “i” и рассказать о Сталине то, что он считал нужным рассказать на XX съезде»<sup>11</sup>.

Да, вроде бы ничего не изменилось – так, какие-то нюансы, намеки, едва уловимые подтексты. Пожалуй, главным подтекстом было молчаливое ожидание. Ждали все: партийные функционеры и государственные служащие всех уровней и рангов, ждала творческая интеллигенция, ждали миллионы родственников миллионов жителей лагерных бараков, ждали сами лагерники и так называемые «поселенцы» – те, кто отбыл срок, но не имел права вернуться домой, к своим семьям. Наверху шла скрытая от посторонних глаз и смертельно опасная для ее участников борьба за власть. Люди, которые по занимаемой ими должности и (или) неформальным связям постоянно соприкасались с верхами, знали об этом, но подавляющее большинство рядовых граждан могли лишь догадываться, в основном по аналогии с тем, что происходило в 20–30-е годы.

Первым ответом на ожидания стал Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии», опубликованный 27 марта. Из мест заключения освобождались лица, «не представляющие большой опасности для государства и своим добросовестным отношением к труду доказавшие, что они могут вернуться к честной трудовой жизни и стать полезными членами общества». Это было огромным благом для нескольких сотен тысяч людей. Но

---

<sup>11</sup> Знамя. 1988. № 4. С. 119–120.

вместе с ними на свободе оказались и многие тысячи уголовников, хотя в Указе оговаривалось, что он не применяется к лицам, осуждённым на срок более пяти лет за крупные хищения социалистической собственности, бандитизм и умышленные убийства. Во-первых, под амнистию попало много уголовников, осуждённых на небольшие сроки и не имевших претензий со стороны администрации; во-вторых, среди освобождённых – по недосмотру, попустительству или сговору – оказалось немало матерых преступников и рецидивистов. В весенние и летние месяцы 1953 года по всей стране, с востока на запад, прокатилась волна грабежей и убийств, особенно в крупных городах, включая и Москву. Тем не менее амнистия была как первый вздох облегчения.

А следующее событие потрясло страну. Как сообщило 4 апреля Министерство внутренних дел, при проверке материалов следствия по делу группы врачей выяснилось, что обвинения являются ложными, а показания арестованных, подтвердивших эти обвинения, получены «путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами методов следствия». Все арестованные врачи реабилитированы и освобождены из-под стражи; лица, виновные в применении этих методов, арестованы и привлечены к уголовной ответственности<sup>12</sup>. Указ от 20 января 1953 года о награждении орденом Ленина врача Тимашук Л.Ф., по доносу которой было заведено уголовное дело против врачей, отменён. Надо сказать, что освобождены были не все врачи; некоторые из них не дожили до свободы, не выдержав пыток и условий, в которых они находились. С сыном одного из них, профессора Якова Этингера, тоже Яковом и профессором, но не медицины, а экономики, мы проработали многие годы в Институте мировой экономики и международных отношений. Через два дня в «Правде» были названы два главных «стрелочника» – министр государственной безопасности С.Д. Игнатьев и его заместитель, начальник следственной части МГБ М.Д. Рюмин. Судьба их сложилась по-разному: первый был снят с постов министра и секретаря ЦК КПСС, однако не только избежал суда, но и остался партийным функционером высокого уровня. Позже он активно участвовал в подготовке заговора и отстранении от власти Н.С. Хрущёва в 1964 году. Рюмин и несколько работавших под его началом следователей были осуждены и расстреляны.

---

<sup>12</sup> Правда. 1953. 4.апр.



Я встретил это сообщение с двойным чувством. Прежде всего и главным образом с чувством огромного облегчения. Однородное физическое ощущение свалившегося – с души? с плеч? – груза. Ведь с середины января по начало апреля 1953 года в стране нагнеталась и принимала всё более зловеший характер антисемитская кампания. Начались массовые увольнения евреев с работы, отстранение их от руководящих должностей, даже от таких, как директор небольшого магазина или бригадир на малом предприятии. Заболевшие люди отказывались идти на прием к врачам-евреям, работавшим в районных поликлиниках. Поползли тревожные слухи о том, что готовится депортация всех советских евреев в северные и восточные районы, фактически представлявшие собой почти сплошную лагерную зону, под чудовищным по своей лжи предлогом – уберечь евреев от народного гнева, вызванного тем, что большинство «врачей-убийц» тоже были евреями. Теперь власть дала отбой.

Но были и другие чувства – досада, раздражение и даже презрение. Сообщение министерства положило начало новой манере «общения» власти с населением – смешения правды, полуправды и лжи. В нем заявлялось, что «презренные авантюристы типа Рюмина <...> пытались разжечь в советском обществе <...> глубоко чуждые социалистической идеологии чувства национальной вражды»<sup>13</sup>. Но не было сказано о том, что объектом этой вражды были советские евреи, и о том, что антисемитскую политику проводило высшее руководство страны начиная с кампании против «безродных космополитов» и разгрома Еврейского антифашистского комитета. Намек на то, что вражда разжигалась против евреев, можно было усмотреть в последней фразе сообщения, где говорилось, что «был оклеветан честный общественный деятель, народный артист СССР Михоэлс». Авторы сообщения, разумеется, умолчали о том, что Самуил Михоэлс не погиб под колесами грузовика, как было ранее объявлено, а убит сотрудниками МГБ.

И все-таки самым важным было то, что «дело врачей-убийц» было объявлено ложным, евреи оказались ни в чем не повинными и арестованные вышли на свободу. В этой истории был еще один немаловажный нюанс: власти впервые публично осудили донос. Конечно, это не было осуждением доносительства как такового, оно не исчезло из нашей жизни и по-прежнему широко использовалось карательными службами. И всё же оно сыграло роль пред-

---

<sup>13</sup> Правда. 1953. 6.04.

упреждения нечистым на руку людям, что ложный донос не всегда срабатывает, а может обернуться неприятностями. Всё это рождало надежду. Пусть небольшую и хрупкую, но надежду.

А через три месяца последовало новое, еще большее потрясение умов: 10 июля в «Правде», как и в других центральных газетах, было опубликовано сообщение о Пленуме ЦК КПСС, на котором были разоблачены преступные действия Л.П. Берии, «направленные на подрыв Советского государства в интересах иностранного капитала», а также его «вероломные» попытки «поставить Министерство внутренних дел СССР над Правительством и Коммунистической партией Советского Союза». Ещё вчера всесильный «шеф» карательных органов, теперь он был исключён из партии, снят со всех постов, и дело о его «преступных действиях» было передано на рассмотрение Верховного суда СССР. И хотя об этом не сообщалось, всем простым и не очень простым смертным было ясно, что он арестован. Как тогда водилось, по всей стране прошли митинги. Ораторы клеймили «врага народа» и «предателя». И хотя, опять же, люди думающие понимали, что причины ареста вовсе не те, что объявлены властями, но каковы бы ни были причины, низвержение Лаврентия Берии, ближайшего и самого зловещего человека из окружения Сталина, вызвало радость у миллионов советских людей. В декабре последовало сообщение о том, что Берия и несколько лиц из состава высшего руководства министерств госбезопасности и внутренних дел были приговорены к расстрелу; приговор, говорилось, немедленно был приведен в исполнение.

Мы обсуждали эти и другие события в кругу друзей, в основном однокурсников. Самыми активными участниками обсуждений были Арлен Меликсетов, Лёня Гордон, Том Петров, я, Эдик Клопов, реже Андрей Авдулов. Осенью он поступил в Московский вечерний машиностроительный институт, твердо решив кардинально сменить профессию – из историков в технари. Надо сказать, что мы имели самые смутные представления о том, что происходит наверху», кто с кем, кто против кого. Но всё-таки воспринимали события, о которых я рассказал выше, как свидетельства острейшей борьбы в верхах власти. Было件нятно, что её участники объединились прежде всего против самого опасного конкурента, который опирался на мощную и, по сути, бесконтрольную структуру – МГБ и МВД, имевшие в своем распоряжении так называемые внутренние войска, прежде всего дислоцированную в Москве Дивизию имени Дзержинского. После того как руковод-

ство этих органов было устранено и уничтожено физически, они были поставлены под контроль высшего партийного органа – Политбюро ЦК КПСС. О том, что борьба в верхах продолжается, засвидетельствовало последовавшее в сентябре сообщение об очередном Пленуме ЦК КПСС, где был восстановлен пост его первого секретаря, каковым стал Н.С. Хрущев.

Между тем в стране происходили и другие события, которые вызывали у нас не меньший интерес. В июне решением Президиума ССП был вновь принят в члены Союза Михаил Зощенко. Это был тот же Президиум, члены которого семь лет назад клеймили писателя и исключили его из Союза за клевету на советскую действительность. Ни я, ни мои друзья-однокурсники ничего не знали в ту пору о Джордже Оруэлле и его романе-антиутопии «1984», где он, в частности, размышлял о присущем тоталитарным режимам феномене «двоемыслия». Но мы и без того хорошо знали, что в нашей жизни давно стало нормой думать одно, а говорить другое. История с Зощенко была подтверждением этого правила, но именно поэтому его восстановление в Союзе мы восприняли как признак позитивных перемен.

А в июле «Правда» опубликовала очерк журналиста Валентина Овечкина «На переднем крае», который, как сообщалось в редакционном предисловии, открывает серию очерков о сельской жизни под общим названием «Районные будни». Публикация стала событием. Автор без какой-либо патетики, профессионально и спокойно рассказывал и размышлял о реальных проблемах колхозной деревни – о производстве, быте, культуре. На нашей памяти так о сельском хозяйстве, о жизни колхозников известные нам советские журналисты и писатели не писали.

Для меня и нескольких моих друзей эта тема была знакомой и очень близкой. Мы все летние каникулы между первым и пятым курсами истфака МГУ по месяцу, в августе, работали в составе студенческих бригад на уборке урожая в колхозах Зарайского района Московской области, в том числе два года – в колхозе под названием «По ленинскому пути» или что-то в этом роде. Первая поездка была открытием неведомого мира: мы увидели деревню и крестьян, которые были очень далеки от того, что мы привыкли читать в наших газетах и журналах. Меня больше всего поразили два открытия – крайне низкий уровень жизни, на грани бедности и нищеты, и фактическое отсутствие мужчин. В колхозе, объединявшем три деревни, числилось всего три мужика-колхозника. Один, без ноги, заведовал колхозным зерновым амбаром и током.

Другой, без руки, был бригадиром в дальней деревне Потлове; в разгар страды он запил, и по просьбе шестидесятилетнего председателя колхоза Аверьяныча командир нашей студенческой бригады Толя Адо отрядил меня на две недели руководить той бригадой, состоявшей из сорока с гаком горластых женщин, сумевших кое-что добавить в мой нецензурный лексикон. Через много лет в стихотворении, посвященном умершему другу Арику Меликсетову, я вспоминал о наших университетских годах, и там были строки: «И вуз второй, который мы прошли // в колхозе безлошадном и безмужнем // с плешинами непаханой земли // и бытом отупелым и натужным».

У Овечкина всё было смягчено и многое опущено, но и то, что он рассказал и о чем размышлял, воспринималось как откровение. С его очерка началась «новая деревенская проза» в отечественной литературе.

В том же месяце произошли два события в международной жизни, которые были восприняты как свидетельство некоторых изменений во внешней политике Советского Союза. 27 июля в корейском городке Паньмыньчжоне было подписано соглашение о перемирии, положившее конец трёхлетней войне между двумя корейскими государствами, в которой открыто участвовали Китайская Народная Республика и США, а фактически и наше государство, отправившее туда авиационные, зенитные и ракетные подразделения. Советские летчики и артиллеристы носили северокорейское военное обмундирование. Но это было секретом Полишинеля.

Не меньшее, а пожалуй, большее внимание в нашей стране привлекло другое событие, случившееся немного раньше: 15 июля были восстановлены дипломатические отношения между Советским Союзом и Израилем, *де-факто* прерванные Москвой в 1949 году. Опросов общественного мнения в ту пору у нас не проводилось, но я вряд ли ошибусь, предположив, что многие люди, не говоря уже о еврейском населении, догадывались о связи этой акции с разоблачением «дела о врачах-убийцах» и реабилитацией арестованных врачей, а также деятелей Еврейского антифашистского комитета во главе с Михозлсом.

Тем не менее государственная политика фактической дискриминации евреев продолжалась, поощряя антисемитские настроения в обществе. Это сказалось и на судьбе некоторых студентов нашего курса. В те времена все выпускники вузов получали назначение на работу путем централизованного (государственного)

распределения. В вузах или на факультетах, как это было в МГУ, создавались комиссии по распределению, которые начинали работу сразу же после завершения государственных выпускных экзаменов. Как и везде, нашей комиссии предстояло распределить всех выпускников, за исключением тех, кто был рекомендован в аспирантуру и подал заявление на любую соответствующую их специальности кафедру, набирающую аспирантов. В частности, в аспирантуру был рекомендован один из самых ярких студентов нашего курса Леонид Гордон, написавший блестящую дипломную работу и получивший красный диплом (их выдавали тем, кто за пять лет учебы получил более 75% отличных оценок). Но в комиссии ему было сказано, что мест в аспирантуру кафедры востоковедения, где он специализировался, нет, и он был направлен работать школьным учителем истории. Лёне солгали. Комиссия закрыла ему путь в аспирантуру, потому что в пятом пункте его паспорта, где указывалась национальность владельца, было записано: еврей. Один из его друзей, позвонив на кафедру и назвавшись выпускником другого института, спросил, может ли он подать заявление в аспирантуру. Да, ответили ему, вакантные места есть. Однако распределение состоялось, и одному из основоположников современной отечественной социологии Леониду Абрамовичу Гордону пришлось начать свой путь в науку с двухлетнего учительства в вечерней школе рабочей молодежи. Здесь его «пятый пункт» барьером не послужил. А стартом в науке стала работа в Фундаментальной библиотеке общественных наук Академии наук СССР, куда он был принят в 1955 году в должности младшего научного сотрудника.

Было отказано в аспирантуре на той же кафедре и рекомендованному в неё Андрею Авдулову, ближайшему другу Леонида то ли с пятого, то ли с шестого класса школы. Только причина отказа была иной: отца Андрея, биолога, одного из ближайших сподвижников всемирно известного биолога-генетика Николая Ивановича Вавилова, арестовали в 1937 году и расстреляли как «врага народа». Его жене, тоже арестованной и сосланной на десять лет в один из лагерей ГУЛАГа, сообщили, что муж приговорен к десяти годам заключения «без права переписки», а это означало, что он расстрелян. И хотя «великий вождь советского народа» Иосиф Виссарионович Сталин сказал однажды, что «дети за родителей не отвечают», детям «врагов народа» многие пути были перекрыты.

Я узнал о трудностях, ожидающих таких детей, чуть раньше. Как я уже писал, летом 1952 года в Москву приехал и у меня

остановился мой казанский школьный друг Рольд (Роальд) Орлов. Он окончил физико-математический факультет Казанского университета по специальности «оптика» и был распределён на завод оптических приборов в столице Башкирской Республики Уфе. Однако дирекция отказалась принять его на работу, так как в анкете, выданной ему в отделе кадров, он сообщил, что его родители были репрессированы; завод же выпускает военную продукцию, имеет гриф секретности, и люди, у которых есть родственники, осуждённые за антисоветскую деятельность, работать на таком предприятии не могут. Рольд приехал выяснять свою судьбу в Министерстве среднего машиностроения, которому был подчинён уфимский завод. Ему ответили, что в министерстве нет предприятий, которые не выпускали бы военную продукцию. Это была сухая правда: Минсредмаш был ядром советского военно-промышленного комплекса. Кончилось все тем, что министерство выдало ему справку о том, что трудоустроить его не может. В итоге Рольд получил карт-бланш на свободное трудоустройство. Выпускники университетского физмата с красным дипломом на дороге не валяются! После недолгих поисков он нашел работу в Москве – в Горном институте, крупном научно-исследовательском учреждении, которое возглавлял крупнейший специалист в горном деле академик Скочинский. Там Рольд защитил две диссертации и стал доктором технических наук и признанным специалистом в своей области знаний.

Возвращаясь же к теме распределения, следует отметить, что и здесь отчетливо проявилась реальная система социальных отношений в советском социализме. Хотя, как и в оруэлловском государстве, все были равны, некоторые всё-таки были «более равными». Значительная часть моих однокурсников была обеспечена присланными в комиссию персональными заявками на распределение, о которых заранее позаботились родители, использовавшие свой должностной или социальный статус либо неформальные связи, имеющиеся в их распоряжении материальные ресурсы. Подавляющее большинство иногородних выпускников имели заявки с мест (республик, краев и областей), откуда они приехали на учебу в МГУ. Остальным, большей частью москвичам, комиссия предлагала на выбор несколько вариантов работы – в основном в школах, техникумах или институтах, иногда в общественных организациях или государственных учреждениях и, как правило, вне Москвы.

В этой части выпускников оказался и я. Аспирантура мне не светила, хотя я тоже получил красный диплом. На кафедре истории КПСС, которую я окончил, дорога в аспирантуру была открыта только для выпускников-партийцев. Распределяли меня три дня. В первый день я сказал, что готов работать в любом районе страны, но прошу направить меня туда, где по закону за мной будет забронирована комната в Москве, так как родителей у меня нет и, стало быть, иного пристанища тоже нет. Меня определили преподавателем истории КПСС в Благовещенский педагогический институт, расположенный, как пелось в популярной песне тех времен, «на далеких берегах Амура». Но в Министерстве высшего образования, куда я обратился в тот же день, мне ответили, что город не входит в зону, дающую право на бронирование московской жилплощади. Явившись на следующий день в комиссию, я выдал полученную информацию, и мне предложили место в другом институте. Его название я забыл, но пункт назначения запомнил – знаменитый Комсомольск-на-Амуре, воспетый в сотнях статей, песен и стихотворений, в кинофильмах и театральных постановках. Председатель комиссии заверил меня, что на сей раз все будет в порядке. Распределение мне понравилось, от него веяло комсомольской романтикой, которой я был отнюдь не чужд. Но я всё же решил проверить насчет бронирования комнаты. Да, сказали в Минвузе, но поинтересовались, какая у меня специальность, и, услышав – история КПСС, спросили, есть ли у меня партийный билет. В ответ на мое «нет» они разъяснили, что беспартийные преподавать историю партии не могут.

Мое третье явление поставило комиссию в тупик. Меня попросили подождать в коридоре, где я был тут же окружён моими сокурсниками, ждавшими своей очереди на распределение. Они выслушали мой рассказ, кто со смехом, кто вздыхая, но никто из нас не предполагал, чем это закончится. А финал оказался почти сказочный: председатель комиссии сказал, что в следующем учебном году будет создана общеуниверситетская кафедра марксизма-ленинизма, куда меня распределяют заранее, а пока – свободное распределение, дающее мне право устроиться на любую работу по специальности в Москве.

Июль я провел в Казани, в гостях у моей тети, и в начале августа вернулся в Москву. В отделе народного образования Киевского района, на одной из улиц которого я проживал, мне назвали три школы, где есть вакансии учителя истории. Мне хватило двух. Директорами в них были женщины среднего возраста, 40–45 лет.

Обе очень обрадовалась тому, что я выпускник истфака МГУ, к тому же с отличием; обе спросили, как обстоят дела с моим распределением, и, узнав, что с этим все в порядке, еще раз порадовались.

Директор первой школы открыла блокнот, чтобы записать мои формальные данные. Я назвал фамилию, имя и отчество, год и место рождения. Национальность, спросила она, я ответил – еврей, и тут по её лицу скользнула тень, как это бывает у человека, получившего неожиданную и неприятную весть. Надо отдать ей должное, она мгновенно исправилась, записала данные о моем образовании и сказала: «Ну, всё в порядке, осталось лишь выяснить в РОНО, нет ли у них собственного кандидата на место историка в нашей школе». Наградив меня под занавес любезной улыбкой, попросила позвонить через пару дней. Во мне заговорило недоброе предчувствие, но я решил не делать поспешных выводов. Предчувствие оказалось вещим: позвонив на третий день, я услышал, что директор школы сожалеет, но РОНО присылает своего историка.

Директор второй школы на слово «еврей» никак не среагировала, уточнила мою специальность, как она значится в дипломе, продиктовала свой телефон и... слово в слово повторила то, что сказала насчет выяснения ситуации в РОНО её коллега из первой школы. Сходство меня настолько поразило, что звонить во вторую школу я не стал. Выслушивать повторно лживый и оскорбительный ответ было выше моих сил.

Я бросил клич моим друзьям. В начале сентября, когда в школах уже начался учебный год, мой друг Том Петров, приступивший к работе в Молотовском райкоме ВЛКСМ (район Таганки и Курского вокзала), сообщил мне, что есть вакансия старшего пионервожатого в школе № 479 с одновременным преподаванием Конституции СССР. На мой вопрос о пятом пункте он ответил, что старших пионервожатых назначает райком и его первый секретарь Юрий Финатъев готов немедленно подписать приказ о моем назначении. Несколько дней ушло на знакомства и оформление документов в райкоме и РОНО о моем зачислении на обе должности, и в конце первой декады сентября я начал трудовую деятельность в школе № 479. Я приступил к работе, не подозревая о том, что она сыграет в моей жизни гораздо более важную роль, чем я тогда предполагал.



## Лена

Неисповедимы пути Господни. Что определяет наш путь – провидение, генетика, случай? В первом я сомневаюсь, второе – несомненно, потому что мы делаем свой выбор и принимаем решения в соответствии с нашим интеллектом и нашими нравственными качествами. И всё же, как подсказывает мне мой жизненный опыт, в нашей судьбе огромную роль играет случай или цепь случайностей. К нам, Елене Борисовне и Юрию Антоновичу Борко, это имеет самое прямое отношение. 24 января 2020 года мы отметим 60-летие нашей совместной жизни. А 59 лет назад в тот же день я привёз Лену в свою комнату, одну из четырёх в коммунальной квартире жилого дома на Студенческой улице, в районе бывшей Дорогомиловской слободы. На дворе был год 1960-й, и ничего бы этого не случилось, если бы я не встретился в 1953 году с Николаем Ермоленко, учеником 10-го класса школы № 479.

Я уже рассказал в предыдущем очерке (см. с. 165–176), какая цепь неожиданных событий привела меня в эту школу, куда я, выпускник истфака МГУ с красным дипломом, был принят в качестве старшего пионервожатого и учителя Конституции СССР в седьмых классах. А дальше последовали новые случайности. Через пару-тройку месяцев после начала работы я дал два урока в 10-м классе, заменив приболевшую учительницу истории Веру Николаевну Бочкову. Примерно в это же время дирекция предложила мне взять шефство над ученической комсомольской организацией. Как оказалось, Коля Ермоленко был восхищён моими уроками – эрудицией и тем, как я их выстраивал, а также манерой моего общения со старшеклассниками, свободной, как с равными, и открытой для диалога. Он рассказал обо мне родителям – Тамаре Антоновне и Борису Васильевичу. Как-то Тамара Антоновна пожаловала по каким-то делам в школу, и мы познакомились.

Что касается Николая, меня поразили его интеллигентность, безупречный литературный язык и его высокие нравственные принципы, которые – я был тому свидетель – он решительно отстаивал. Мы сблизились, и однажды он пригласил меня на свой день рождения. Было это в апреле 1954-го, там я и встретился с его старшей сестрой Леной. Миловидная девушка с двумя косичками, не помню, как она была одета, что-то светлое, но запомнил на всю жизнь ее молниеносный взгляд, как выстрел, и точно в цель, потому что сердце мое вздрогнуло, впрочем, без каких-либо последствий. Через год мы вновь встретились на каком-то праздновании

у ее родителей. Фамилия у нее была уже другая, она стала женой Володи Скребичко, её сокурсника на биофаке МГУ. Мы познакомились, и я стал бывать у них в гостях. В 1957 году они окончили биофак, Володя поступил в аспирантуру; Лена получила свободное распределение и устроилась в школу преподавателем биологии, сначала по месту жительства, но вскоре перешла в 479-ю, где работал я. Школа была хороша тем, что находилась в двухстах метрах от дома, в котором жили родители. Мы общались теперь почти каждый день, я воспринимал Лену как друга, но насколько близкого и к чему это может привести, я себя не спрашивал, хотя, возможно, что-то во мне вызревало.

И вызрело в начале 1959-го, когда Лена сказала мне, что решила расстаться с Володей и переехала к родителям. Я видел, что решение далось ей с огромным трудом, и первой моей реакцией было желание быть рядом и поддержать ее. Я не помню, в какой момент я почувствовал нарастающую нежность к Лене, и когда я понял, что во мне проснулась любовь. Возможно, своим женским чутьем она поняла это раньше, чем я признался ей в своём чувстве. Мы стали проводить вместе почти все свободное время. Её родители заметили это и встревожились: дочь только что пережила тяжёлую драму, и не обернется ли для неё драмой сближение со мной? Но мы уже не могли остановиться. В конце года мои ближайшие друзья Арлен и Ира Меликсетовы пригласили меня и всю нашу дружную компанию истфаковцев на вечер 31 декабря, чтобы отпраздновать Новый год и день рождения Арика в первый январский день. Я сказал, что приду не один, и это вызвало ажиотаж у моих друзей. У всех уже были семьи и по ребенку. Лена была в новом сиреневом платье – глаз не отвести. Встретили ее радушно. Сперва она чувствовала себя стесненно, но мои друзья, особенно Том Петров, помогли ей преодолеть это состояние. Вскоре после полуночи мы, извинившись, ушли; до моего жилья было сравнительно недалеко, и вскоре мы были дома.

А через три недели я сказал Лене, чтобы она собрала всё, что ей необходимо на первое время, и я завтра заеду за ней. Наутро заказал такси, извинился перед Тамарой Антоновной и Борисом Васильевичем, забрал сумку с вещами и увёз Лену к себе. На листке отрывного календаря стояла дата 24 января 1960 года. В марте она забеременела, в июне или июле мы уехали в литовский город-курорт Друскининкай, куда каждое лето приезжали десятки тысяч людей пить целебные воды для излечения желудка или печени. Лене они тоже были нужны. Ещё весной она подала заявле-

ние на развод с мужем, но эта процедура тогда была длительной, и по возвращении в Москву выяснилось, что решение суда затягивается и есть опасность, что мы не успеем оформить наш брак до рождения ребенка. В этом случае, согласно принятому в годы войны закону, в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» ставился прочерк. К счастью, сотрудники и в суде, и в ЗАГСе, как правило, женщины, взглянув на вызывающий уважение живот Лены, приняли решения в ускоренном порядке. 10 ноября был зарегистрирован наш брак, а 30 ноября 1960 года родился наш сын, которого мы назвали Дмитрием.

Рождение желанного ребенка – праздник. Так началась наша семейная жизнь, и можно ли придумать лучшее начало? И мог ли кто-то из нас хоть на миг предположить, что к началу 1966 года наша семья окажется на грани распада? Я не буду рассказывать об этом – далекое прошлое, поросшее быльем. Скажу лишь, что все было настолько плохо, что надо было решать: или – или. У нас состоялся откровенный и трудный разговор, и мы решили сохранить семью. Главным аргументом был наш сын. Диме шел шестой год – в этом возрасте ребенок уже кое-что понимает и многое чувствует. Расставание родителей могло обернуться для него глубокой психологической травмой, которая сохранится на всю жизнь. И ещё я сказал Лене, что никогда и ни при каких обстоятельствах её не брошу.

Однако на этом наши испытания не закончились. 8 ноября появился на свет малыш, которого мама нарекла Кирюшей, а его полное ФИО – Кирилл Юрьевич Рогов, мой сын. Я сблизился с его мамой, когда наши с женой семейные отношения опустились на самое дно. Я сказал Лене о Кирилле, повторил, что остаюсь верен нашему решению сохранить семью, но теперь всё зависит от нее. Можно лишь догадываться, какие эмоции бушевали в её душе, но она ответила – пусть будет так, как мы решили. Мне не пришлось в голову опуститься на колени перед ней, но чувство в душе было именно такое.

Итак, в 1966 году мы заново начали нашу семейную жизнь. К счастью, в самые важные первые годы наладить ее помогло резкое улучшение наших материальных и бытовых условий. Я работал в редакции журнала «МЭиМО», который публиковало издательство «Правда» – главное и самое богатое издательство в стране. Мой оклад, вместе с премиальными, тринадцатой зарплатой и гонорарами, был выше, чем у докторов наук, а в 1968 году издательство выделило редакции квартиру в одном из строившихся

им жилых домов, я был в редакции первым на очереди, и главный редактор журнала Яков Семенович Хавинсон отдал квартиру мне. Мы въехали в большую двухкомнатную квартиру, и восторгу нашему не было предела. И всё же главной причиной налаживания семейной жизни были не эти удачные обстоятельства, а перемены в наших отношениях. Ушли куда-то на задний план те черты наших характеров, которые так раздражали нас в первые годы нашей совместной жизни; мы стали спокойнее относиться к той череде радостей и огорчений, близости и охлаждения, которые сопровождают жизнь практически любой семьи. И главное, мы стали открывать друг в друге достоинства; кое-что мы знали и раньше, но далеко не всё, а то, что знали, находилось в тени.

Как все это происходило у Лены, может рассказать только она. А я расскажу, как «открывал» её. Сначала о том, что мне было известно и раньше. Мы вместе проработали в 479-й школе три года – достаточный срок, чтобы понять, что представляет собой Лена как учитель. Есть две категории школьных учителей – предметники и педагоги. Предметники бывают разные – посредственные, хорошие, выдающиеся. Но их объединяет то, что они оценивают учеников по их интересу к предмету и успеваемости. Педагоги тоже бывают разные, а сходятся они в том, что их подопечные воспринимаются ими не только как ученики, но и как личности. Лена была педагогом. Эта профессия стала её призванием, и она осталась верна ему вплоть до выхода на пенсию в начале 1990-х. Как предметник и педагог она предпочитала работать в пятых–седьмых классах. Дети в этом возрасте очень интересуются природой, особенно животным миром, и они непосредственны, идут на контакты с учителем легче, чем старшеклассники, а уже если он очень понравился, то становится для них гуру, подчас более авторитетным, чем собственные родители. Лена была именно таким гуру.

Мне надо пояснить: я говорю «была», потому что вспоминаю прошлое. Но Елена Борисовна Борко не была, а есть. В нынешнем, 2019-м, ей исполнится 88 лет. О том, как мы живём, что нас волнует, о чём говорим и с кем общаемся, я расскажу позже. А теперь вернусь к главной теме.

В школьной жизни, помимо отношений с учениками, есть и другая сторона – отношения в учительском коллективе. Мы четыре раза меняли место жительства. Лена сменила четыре школы и всякий раз вскоре становилась неформальным лидером (или одним из лидеров) коллектива. Такая роль была обусловлена некоторыми качествами её личности. Об одном из них я уже сказал – она была трудоголиком, работавшим много, увлеченно

и профессионально. Лене присущи и другие свойства. Она надедена не часто встречающимся чувством сострадания, своей сопричастности к жизни окружающих людей. Она равнодушна к невзгодам, которые случаются с кем-то из коллег, и её сочувствие не «диванное», а деятельное. Я не могу не рассказать о её нравственных принципах. В их основе лежат христианские заповеди. Лена глубоко верующий человек, как и её мама. И она, так же как Тамара Антоновна, разделяет Веру и Церковь. Можно не соблюдать некоторые церковные ритуалы, но нельзя отступать от нравственных основ Веры. Преступать каноны – занятие трудное. Мы то и дело идём на компромиссы. Но у глубоко нравственного человека есть граница, пересечь которую он не может, потому что, преступив ее, предаст самого себя. Таким человеком была и остаётся Лена. Я утверждаю это на основании более чем полувекового опыта нашей совместной жизни.

Наша семейная жизнь в 70-е – 90-е годы была достаточно напряжённой. Не между нами, а в связи с возникшими проблемами – со здоровьем родителей Лены и с поисками подростком Дмитрием своего места в жизни. Решали мы эти проблемы вместе. Здоровье Тamarы Антоновны быстро ухудшалось, в начале 1970-х она слегла, помимо суставов и сердца, ее поразила болезнь Альцгеймера. Все семейные заботы легли на плечи Бориса Васильевича, а у него начались перебои в сердечной деятельности, и в какой-то момент мы поняли, что они вот-вот уйдут из жизни вместе. Нам удалось довольно быстро обменять наши квартиры на трехкомнатную квартиру недалеко от той, в которой мы жили, так что Лене не пришлось менять школу. Тамару Антоновну мы не спасли, и она через два месяца скончалась. Но Борису Васильевичу мы жизнь продлили на восемь лет. Однако сердце функционировало всё хуже, он перенёс несколько инфарктов и последний, кажется, четвёртый, стал роковым. Мы похоронили его в 1986 году. В том же году мы разъехались с Борко-младшими, разменяв нашу трехкомнатную квартиру на «двушку», в которую въехали мы, и однокомнатную квартиру для Димы с Машей. А Дима доставил нам много тревожений. Окончив в 1977 году школу, он сдал, не без приключений, вступительный экзамен и стал студентом престижного факультета программирования Московского института инженеров железнодорожного транспорта. Но через полгода бросил его. На следующий год Дима поступил на вечернее отделение такого же факультета в Московском энергетическом институте и вновь ушёл из него ещё до зимней сессии. Потом была работа на закрытом предприятии, попутно, шёл ему двадцать первый год,

он женился на девятнадцатилетней студентке художественного училища Маше Даниловой, которая при первой встрече потрясла меня тем, что, здороваясь, делала книксен, а через многие годы стала знаменитым дизайнером по театральным костюмам. В 1985 году Дима наконец выбрал профессию, поступив на работу фоторепортером в газету «Советский цирк». Выбор был неслучайным. Фотографировать его ещё в школьные годы научил Борис Васильевич, а, заметив его талант и увлечённость, подарил внуку первый классный отечественный аппарат – ФЭД. Рассказывать о работе Дмитрия в качестве фоторепортера я не буду, скажу лишь, что она была блистательной, нам оставалось только радоваться и гордиться им.

Для меня одним из самых радостных событий в 80-е годы была встреча Димы и Кирилла. Вообще-то имя Кирилл в наших разговорах с Леной никогда не звучало. Лена знала, что ежемесячно я перечисляю на имя его мамы некую сумму денег, но никогда ни о чём не спрашивала. Между тем, время бежало, в 1984-м Диме шел двадцать четвертый год, Кирилу – восемнадцатый. Он заканчивал школу и начал тусоваться в обширной молодежной компании, в которой уже не первый год активно участвовал Дмитрий. А дальше неизбежная встреча, знакомство и немая сцена, как в «Ревизоре», – у нас общий отец! Я решил, что лучше будет, если познакомлю их сам. Я сказал об этом Лене, она не возражала. Я так и сделал, и Дима с Кириллом стали не просто братьями, а близкими друзьями по сей день. Кирилл стал бывать у нас, и я еще раз поразился её мудрости и душевной щедрости.

Все эти события сблизили и сплотили нас, с такими чувствами мы и вступили в новый век и новое тысячелетие. Мне исполнилось 70 лет в 1999-м, Лене – в 2001-м. Возраст старости. Правда, я продолжаю работать в Институте Европы РАН, но о себе буду упоминать лишь в связи с нашей семейной жизнью. Она продолжается. В начале 2010 года мы отпраздновали золотую свадьбу. В симпатичном кафе на проспекте Мира, с широкими окнами, выходящими в заснеженный парк, собралось множество друзей, было шумно и весело. А в повседневности жизнь ощущается прежде всего физически. У Лены целая корзина болезней, и она переносит их с поразительной стойкостью. В последние годы выходит только во двор – с весны до поздней осени. Двор у нас зеленый, рядом с детской площадкой стоят две скамейки со спинками. Там собираются дамы преклонного возраста, все моложе Елены Борисовны, обсуждают разные разности, и она признанный авторитет. У Лены ясный ум, она внимательно следит за событиями,

происходящими в нашей стране и за рубежом. Мы обсуждаем их, и у неё есть свое отношение к ним.

За последние полтора десятка лет повседневная жизнь Лены очень изменилась. Она всегда была образцовой хозяйкой, а уж по части кулинарии всегда приводила в восхищение наших друзей. Ей было подвластно всё – от салатов и холодца до пирогов и тортов. Но всему приходит конец. Пришлось искать домработницу, и в нашем доме появился новый человек – Алена Беглярова. Она дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, призывает к нам из Дмитрова, покупает продукты, готовит обеды и ужины на все дни недели, убирает квартиру и делает попутно массу мелких дел. Нам очень повезло, Алена поразила нас своей открытостью, равнодушием и преданностью. Она моложе Лены примерно на тридцать лет, но это не помешало, а может, способствовало их сближению. Алена вошла в нашу жизнь, а мы, особенно Лена, – в её семейные заботы.

В повседневной жизни у нее есть три постоянных занятия – чтение отечественной и зарубежной беллетристики; любимые телепрограммы («Романтика романса», «Модный приговор» и т. д.) или мелодраматические телесериалы, а в качестве хобби – решение сканвордов. Но главным содержанием ее внутренней жизни являются человеческие связи. Лена почти каждый день общается по телефону с первой женой Димы Машей Даниловой, периодически она бывает у нас. Они разговаривают на разные темы, но главным образом о ее дочери. Ева – последняя и безграничная любовь Лены. Ей уже двадцать лет, и с раннего детства вплоть до недавнего времени бабушка была её самым близким другом, которой поверялись все тайны. Но в последний год отношение Евы к бабушке резко изменилось, это связано с особенностями её психики, и остаётся надеяться на то, что её состояние нормализуется.

Что касается человеческих связей Лены в целом, то они устойчивы и поразительно разнообразны. Это и подруга школьных лет Коли Ермоленко Марина Иваницкая, и дочь Лениной школьной подруги Зои (Коростельцевой) Лесковой Ирина Лескова, и близкая подруга университетских лет Лиля Смирнова. Лена часто перезванивается с первым мужем Володей Скребицким (он же академик и писатель Владимир Георгиевич Скребицкий), изредка он навещает нас. Особо хочу сказать о душевной щедрости и широте натуры, проявившейся в отношениях Лены с семейством Роговых, возникших еще в 1980-х годах. Они периодически приезжали к нам в разных составах и по различным поводам. С Кириллом у Лены установились отношения обоюдной симпатии и взаимного уважения. К Насте она относится с нежностью, они сблизилась,

и я с удовольствием наблюдал, как трогательно они общаются. Старший сын Вася в студенческие годы периодически приезжал пообщаться со мной и иногда оставался ночевать. А младшего, Федю, она видела дважды, сначала его в годовалом возрасте привезла Настя, а в нынешнем феврале Кирилл привёз к моему дню рождения новый экран для компьютера, захватив с собой Стасика и Федю. Кирилл устанавливал экран, а пацаны занялись обследованием квартиры. Известие о гибели Феди потрясло Лену, она восприняла это как собственное горе.

«У тебя мудрая жена», – сказали мне недавно и по разным поводам две наши давние и близкие приятельницы.

А закончить мой рассказ о Лене я хочу тремя стихотворениями. Первое из них принадлежит мне. Последний год XX века был для меня юбилейным, в феврале 1999-го мне исполнилось 70 лет, и сорок из них мы с Леной прожили вместе. Я как бы снова прожил их и поблагодарил судьбу.

А итогом раздумий стало *стихотворение-исповедь*:

### *Лене*

С «прости» – мое послание любви.

За то, что недодал и не восполнил.

За то, что я с тобой жесток порою был.

За все грехи, что помню иль не вспомнил.

Петлистый след пролегал из дальних лет,  
Где сплетены лета и лихолетья,  
Где слиты миф и явь. Там женский силуэт,  
Твой тонкий силуэт мне сверху светит,

Как месяц бледный, что по утренней заре  
Меня очаровал. В закатной сини  
Он снова надо мной. Пусть на моем дворе  
Уже ноябрь и на виски лег иней.

Два серебра – зорь наших отсвет – в волосах.  
И две судьбы, как нитей двух сплетенье.  
Двух взглядов глубь, две чаши на весах...  
Лишь жизнь одна и – как одно мгновенье.  
Не изменить, не обменять, не отменить –  
И то, что отжило, и что ожило.  
Прости за все, в чем можешь ты простить.  
А я благодарю – за все, что было.

*Февраль 1999*



\* \* \*

Второе стихотворение принадлежит Лене. Родилось оно в драматичный период, когда под угрозой оказалась моя жизнь. В начале 2002 года меня стали беспокоить боли в желудке. Я терпел, но в конце концов пришёл к врачам. Приговор, произнесённый после обследования, был ошеломляющим: раковая опухоль в нижней части кишечника, ложиться на операцию надо было на восемь–десять месяцев раньше, а теперь – экстренно. Через несколько дней я лег больницу и после необходимой подготовки – на операционный стол. Оперировал меня опытейший хирург-проктолог Павел Викторович Еропкин. Операция была трудной, длилась четыре с половиной часа, несколько дней я был в коме, и кончилось всё благополучно. Состоялась она 9 сентября, а 10-го на чистый лист бумаги легли строки, написанные рукой Лены. Я назову их *Стихотворение-мольба*:

Не оставляй меня одну.

Я так боюсь холодных стен  
И окон темных  
И тишины глухой бездонной.  
Не оставляй меня одну.

Не оставляй меня одну.  
Не оставляй на этом свете,  
Где наши внуки, наши дети,  
Где без тебя и свет не светел,

Не оставляй меня одну.

Хочу, чтоб всё было как в сказке,  
Где есть мечты, любовь и ласка,  
Где свет всегда сильнее, чем тень,  
Где умирают в один день.

Лишь об одном тебя молю:  
Не оставляй меня одну.

10 сентября 2002

\* \* \*

Я недавно спросил Лену, когда она отдала мне стихотворение. Она ответила: «После того как ты пришел в себя». Но я приходил в себя дважды. Вскрыв на первой операции мою брюшную полость, Павел Викторович обнаружил в печени метастаз. Вырезать ее без обследования было невозможно, меня зашили, назначили два курса химиотерапии и 31 января 2003 года вырезали поражённую часть печени. Было это уже в другой больнице, и оперировал меня другой хирург – Гарник Арташевич Шатверян. Вот тогда-то, после того как снова пришёл в себя, я прочел Ленино стихотворение. Долго сидел молча. Перечитывал строки. А потом, тут же не отходя от стола, написал ответ:

Я тебя не оставляю одну и судьбе  
Благодарен за это, а значит, – тебе,  
Потому что судьба моя – ты и с тобой  
Неразлучна она. Словно снежной крупой

Забелило нам головы, словно резцом  
Паутиной морщин исчертило лицо  
Нам бесстрастное время. Ну что ж, не беда.  
Мы ведь знаем, что годы бегут, как вода

Убегает по склону. Пусть склон наших лет  
Мы пройдем, я надеюсь, с тобою след в след,  
Рука об руку. И у последней черты  
Я тебе подарю, как бывало, цветы,

Золотистых, как осень, букет хризантем.  
Мы присядем с тобой у стола перед тем,  
Как расстаться. Успеть бы лишь, небо молю,  
Тебе тихо и нежно промолвить – люблю.

2007

Как назвать этот стих? Может быть, «Последнее желание»? Не знаю. На этом я и заканчиваю мой рассказ о Лене.

## Пятидесятники<sup>14</sup>

Меня с давних пор занимал вопрос: почему, вспоминая о том, как изменилась жизнь в нашей стране в первое десятилетие после смерти Сталина и как изменились тогда взгляды и поведение многих и очень разных людей, в основном из среды интеллигенции, но не только, всегда говорят о «шестидесятниках»? Ведь многие из тех, кого поименно относят к «шестидесятникам», громко заявили о себе 1950-е годы, одни – сразу же после смерти Сталина, другие – после XX съезда КПСС и доклада Н.С. Хрущёва о «культе личности». А с этим вопросом соседствует и другой: кого мы имеем в виду, когда говорим «шестидесятники»? Только тех, кто в силу их таланта, статуса или благоприятных обстоятельств вещал со страниц печатных изданий, главным образом литературных и общественно-политических («толстых») журналов? Или кроме них еще множество людей, которые под их влиянием или самостоятельно пришли к признанию тех же нравственных ценностей и к критической оценке положения дел в стране, что и авторы нашумевших текстов?

Не так давно у меня появился повод вернуться к этим вопросам. В марте 2011 года в Горбачев-фонде состоялась конференция, посвящённая «шестидесятникам» и их роли в жизни страны. Известные и уважаемые люди из того и из следующих поколений, очень интересные выступления. Но удивительно: выступает мой ровесник, рассказывает о том, как изменились его взгляды после доклада Хрущёва, упоминает произведения Эренбурга, Дудинцева, Овечкина и т. д., опубликованные в 50-е годы, и называет авторов, а заодно и себя «шестидесятниками». Поистине магия устоявшегося понятия.

### *Немного о словах-символах (брендах)*

В одной из статей о российском писателе и журналисте Станиславе Рассадине, появившейся, как и другие, сразу же после его кончины, ему приписывалось авторство двух понятий, вошедших в историю послевоенной общественной жизни Советского Союза – «оттепель» и «шестидесятники». Первое мне кажется весьма сомнительным, и я скажу об этом позже. А вот второму понятию

---

<sup>14</sup> Перекомпонованный и дополненный вариант очерка под тем же наименованием, опубликованного в журнале «Россия и современный мир». 2014. № 4. С. 178–201; 2015. № 1. С. 181–193.

дал путевку в жизнь именно Рассадин, опубликовавший в декабре 1960 года в журнале «Юность» статью «Шестидесятники». Она не прошла незамеченной, и в «Хронике важнейших событий» 1953–1962 годов, автором которой был составитель трёх уникальных сборников советской литературы времен «Оттепели» Сергей Иванович Чупринин<sup>15</sup>, отмечен факт выхода этой статьи с лаконичным пояснением: «О писателях нового литературного поколения, их героях и их читателях»<sup>16</sup>. Никакого особого смысла заголовку автор не придавал. Много лет спустя, вспомнив о нем в одной из статей, заметил вскользь, что «понятие “шестидесятник” заболтано, обесмыслено, да и с самого начала не имело поколенческого смысла, являясь приблизительным псевдонимом времени», и потому он употребляет «сомнительный термин в неизбежных кавычках»<sup>17</sup>. Однако слово вылетело и обрело собственную судьбу.

Читая спустя полвека эту статью, я сделал для себя три открытия. Во-первых, это статья не столько о литераторах, сколько о новом явлении, родившемся в самой гуще жизни. О феномене нового поколения молодежи, непохожего на молодежь 30-х годов. На него-то и обратили внимание молодые писатели (замечу в скобках, и не только молодые), попытавшиеся понять, в чем же заключается его новизна.

Во-вторых, пишет автор не о шестидесятых, а о пятидесятых годах. Это равным образом относится и к живым лицам или литературным героям, о которых он упоминает, и к датам литературных произведений, посвященных новому поколению молодежи. Тракториста-целинника Егора студент Станислав Рассадин встретил летом 1956 года, отправившись вместе с сокурсниками трудиться на целинных землях Казахстана. Три медика 1932 года рождения, героини повести Василия Аксенова «Коллеги», окончили институт и начали трудовую жизнь в 1955 году, а написал он ее в конце 50-х и опубликовал в 1960-м. Повесть М. Бременера «Передача ведется из класса», посвященная школьной жизни, отношениям учеников и их учителей, появилась в «Юности» в 1956-м. Молодежи 50-х годов посвящены и другие упомянутые Рассадиным произведения – пьеса Александра Володина «Фабричная девчонка»

<sup>15</sup> Оттепель. 1953–1956. Страницы русской советской литературы. М.: Московский рабочий, 1989. С. 417–480; Оттепель. 1957–1959. Страницы русской советской литературы. М.: Московский рабочий, 1990. С. 366–428; Оттепель. 1960–1962. Страницы русской советской литературы. М.: Московский рабочий, 1990. С. 446–527.

<sup>16</sup> Оттепель. 1953–1956. Страницы русской советской литературы. С. 471.

<sup>17</sup> Рассадин Ст. Время стихов и время поэтов // Арион. 1996. № 4.

(1956 г.), повести А. Михайлова «День и вечер» (1959)) и Николая Дубова «Жесткая проба» («Новый мир». 1960. № 9–10).

В-третьих, и это самое поразительное, в статье не упомянуты ни XX съезд КПСС, ни доклад Н.С. Хрущёва о «культе личности». Вины автора в этом нет. Просто она появилась в самое неудачное время. Вскоре после потрясшего всю страну (да и многие другие страны) рассказа Хрущёва о сталинских преступлениях была дана негласная команда закрыть эту тему. В ноябре 1957 года, выступая с докладом на юбилейной сессии Верховного Совета СССР, посвященной 40-летию Октября, он заявил: «Как преданный марксист-ленинец и стойкий революционер, Сталин займет должное место в истории. Наша партия и советский народ будут помнить Сталина и отдавать ему должное». Весной 1960 года, чтобы опубликовать дополнительную главу «Так это было» к опубликованной ранее поэме «За далью – даль», а глава была посвящена встрече с другом, вернувшимся после семнадцатилетнего пребывания в лагерях, Александру Твардовскому пришлось обратиться с письмом к Хрущёву. Тот, прочитав главу, дал ей зеленый свет, после чего ее опубликовали в «Правде» и «Новом мире». Но кто еще из писателей мог пробиться с такой темой к «Первому»? А команда не раскручивать ее продолжала действовать.

Аксенову же пришлось говорить эзоповым языком. Он лишь однажды намекает на какие-то произошедшие события, да и то словами героев аксеновской повести. Леха Максимов в споре с Сашей Зелениным о ценности «высоких слов» в сердцах бросает: «Сейчас, когда нам многое стало известно, они стали мишурой». Зеленин возражает: «Нам открыли глаза на то, что мешало идти вперед, – так надо радоваться этому, а не нудить, как ты. Теперь мы смотрим ясно на вещи и никому не позволим спекулировать тем, что для нас свято». Разумеющий да разумеет. Очевидно, что оба имели в виду XX съезд партии. Но от чьего имени говорил Саша Зеленин – Аксенова или того поколения, к которому принадлежали автор и его герой? Об Аксенове могу лишь предположить, что он вложил в уста своего героя слова, которые не вызвали возражений цензуры. Что же до поколения, к которому принадлежу и я, то о нём отдельный разговор.

Но прежде вспомним еще об одном феномене 50-х годов, который также не назван в статье, а в нём-то вся соль. Речь идет об Оттепели как общественном явлении, которое возникло вскоре после смерти Сталина.

В мае 1954 года журнал «Знамя» опубликовал повесть Ильи Эренбурга «Оттепель». Произведение маститого писателя и публициста вызвало у читающей публики огромный резонанс и разноречивые отклики. Да и могло ли быть иначе, если её смысл состоял в том, что после смерти Сталина в жизни людей начались некоторые перемены к лучшему и у них появились новые надежды. Название повести стало названием недолгого, но памятного периода истории нашей страны, закончившегося, по одним оценкам, в 1964-м, а по другим – в августе 1968 года. Но Эренбург не был автором этого понятия.

Небольшое стихотворение, опубликованное в октябре 1953 года в журнале «Новый мир», вряд ли запомнилось читателям. И тем более вряд ли кто-либо обратил внимание на то, что оно было написано пять лет назад, в 1948 году. Его автором был поэт Николай Заболоцкий, арестованный в 1938 году и освобождённый после шестилетнего пребывания в тюрьмах и лагерях НКВД. А главным редактором журнала был Александр Твардовский, который дал путевку в жизнь не одному произведению пятидесятников. Стихотворение было посвящено началу весны, а в октябре, когда его опубликовал журнал, леса и парки уже полыхали осенней красно-жёлтой листвой. Называлось оно – «Оттепель». И как не предположить, что публикация стихотворения не была случайной. В ней был скрытый смысл, понятый и принятый Эренбургом, давшим своей повести это название.

### *Оттепель и пятидесятники*

Зная о том, как скончалась Советская власть, мы вправе назвать Оттепель временем несбывшихся ожиданий. Костер надежд то разгорался (лето 1953-го – осень 1956-го), то едва тлел (осень 1956-го – октябрь 1961-го), то вновь принимался (октябрь 1961-го – октябрь 1964-го), а затем стал быстро затухать, пока не был окончательно раздавлен 21 августа 1968 года армадой советских танков, закатавших в землю первые ростки Пражской весны. И всё-таки Оттепель не прошла бесследно. Она породила новые веяния в литературе, искусстве и общественной мысли, напомнила об извечных нравственных ценностях и дала новое направление умам. И так как начало всему этому было положено в 50-е годы минувшего века, тех немногих творческих людей, которые стояли у истоков этих веяний, правильнее было бы именовать не шести-

десятниками, а пятидесятниками. Это не покушение на устоявшееся понятие. Я полностью согласен с некоторыми участниками конференции в Горбачев-фонде, в частности с Виктором Кувалдиным и Мариэттой Чудаковой, в том, что шестидесятников надо рассматривать как конкретный исторический феномен. На мой взгляд, это феномен 60-х годов, не раньше и не позже.

Между шестидесятниками и их предшественниками была не только глубокая общность. Между ними были и различия. Если говорить о пятидесятниках как глашатаях Оттепели, то их отличали три признака: почти все они вступили во взрослую жизнь в предвоенное десятилетие или в Отечественную войну; все они исключительно литераторы – писатели, журналисты, драматурги и поэты; в их произведениях не было и намека на оппозицию Советской власти и правящей партии.

В упомянутой «Хронике важнейших событий «Оттепели» перечислены 25 авторов опубликованных в 50-е годы произведений, вызвавших, по мнению ее составителя Сергея Ивановича Чуприна, наибольший литературный и общественный резонанс. Почти все они участники Великой Отечественной войны, за исключением троих, родившихся в 30-е годы, – Аксенова, Гладилина и Евтушенко. Большинство солдаты или командиры рот и взводов, пехотинцы, сапёры, связисты, артиллеристы, один танкист. Да и те, кто работал военкорами в дивизионных и армейских газетах, нередко, особенно в первые, самые тяжелые годы войны, непосредственно участвовали в боях. Не воевали в буквальном смысле этого слова ленинградская поэтесса, блокадница Ольга Берггольц, Твардовский и Эренбург. Но кто возьмётся утверждать, что они не были активными участниками той войны?

Все они (исключая Илью Эренбурга) родились в промежутке между началом XX века и серединой 20-х годов. Самые старшие помнили времена Гражданской войны и новой экономической политики (НЭП). Все прошли через 30-е годы с их вопиющими контрастами. Воспринимали они всё происходившее по-разному: у одних были репрессированы родители или близкие родственники, других такая судьба миновала. Они переосмысляют это время позже, когда задумаются над трагической связью между репрессиями, в том числе уничтожением большей части высшего и старшего комсостава Красной Армии накануне войны, и её катастрофическим началом. Это поколение вынесло на себе основную тяжесть войны и стало ее главной жертвой. «Немногие вернулись с поля». Вернулись с чувством исполненного долга и самоуваже-

ния, горькой памятью о погибших фронтовых друзьях и надеждами на лучшее. Но уже вскоре они стали свидетелями возрождения казарменно-лагерных порядков, напоминавших 30-е годы, и, как знать, возможно, и дошло бы до их повторения в таких же масштабах, если бы не смерть Сталина, прощание с которым сопровождалось кровавой трагедией на Трубной площади.

### *Исповедь лейтенанта Д.*

Роман Даниила Гранина «Мой лейтенант» был издан в 2013-м. Но я прочел его уже после того как опубликовал свой очерк «Пятидесятники». То, что я писал о чувствах и размышлениях вернувшихся с войны литераторов, положивших начало Оттепели, было моими предположениями. Теперь, дополняя и дорабатывая свой очерк, я могу опереться на этот роман. Его герой – лейтенант Д. Но это он, Даниил Гранин, такой, каким он вернулся с войны. И потому лучший заголовок роману – Исповедь. Автор подробно, с поразительной честностью повествует, как он вживался в мирную жизнь первых послевоенных лет, как у него открывались глаза на ее скудость, дефицит всего и вся, на ее изнанку, непорядки и контрасты. Я мог бы пересказать всё это, но тогда потерялось бы острое чувство живого общения читателя с писателем. Поэтому он будет рассказывать о себе сам, а я лишь поменяю местами некоторые фрагменты его романа и добавлю кое-где связующие фразы.

Вот первые цитаты – о радости возвращения: «Жизнь достается либо как подарок, перевязанный розовой ленточкой, либо как обязанность. Разворачиваешь – чего там только нет. Всегда сюрпризы. Всегда праздник. Примерно так я думал о себе, когда вернулся с войны живой, в основных своих частях невредимый. Удивление перед этим подарком не проходило» (с. 207–208). «Демобилизованные гуляли. Мы узнавали друг друга в шашлычных, в пивных, в забегаловках. Фронтовики. Те, что стреляли. Других мы не признавали своими... – это была фронтовая шушера. Признавали только связистов и медиков» (с. 212–213).

Жена Римма молча терпела его загул, но время от времени взрывалась. «Как-то вдруг она стала старше меня, смотрела на меня как на недоумка. Дома убеждала, что время наше кончилось, в смысле вольницы. Я не желал про это слушать, “наше время” – да оно не начиналось. Чего ради мы воевали? Опять помалкивать? Не пойдет» (с. 217).



Кончилось всё это крутыми разговорами на работе и дома. До войны Д. окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института и начал работать инженером на Кировском заводе. Теперь, отозванный в январе 1945-го из армии как инженер-энергетик, он был направлен в Ленэнерго восстанавливать электроснабжение города, чинить и прокладывать кабельные сети. Его назначили руководить одним из участков прокладки новых кабелей, но он не торопился приступать к работе. «Пил, гулял в каких-то компаниях». Кончилось тем, что его вызвал директор, «предложил сесть и долго смотрел на него. – Всё гуляешь? Пора бы очухаться... Тебя для чего отзывали, вывих нам и без тебя хватало... – И пошел драить» (с. 219–220). Дома он всё рассказал жене, но Римма, «выслушав его обиду... присоединилась к директору... Она говорила холодно, ничего не смягчая... Сколько можно гарцевать, пить, гулять? Они имеют право выяснить, остался в нем инженер или он уже пустой номер» (с. 234). Д. мог бы в эти месяцы обустроить семейный быт, но он и здесь ничего не сделал. Римма вернулась из эвакуации еще в начале 1944-го, здесь родила дочку Марину, которую они зачали, встретившись на два дня в 1943 году в городе Горьком. Пустая комната – ни стола, ни кровати – осталась такой и после его возвращения. Он выслушал жену молча, оправдываться было нечем, соглашаться мешало мужское самолюбие.

Неизвестно, как сложились бы дальше его служебные и семейные дела, но в них вмешался его величество случай. Д. получил письмо от фронтового друга Клима Васильчука, которому он, уезжая в Ленинград, передал командование танковой ротой. Друг сообщал, что был тяжело ранен, ослеп и хотел бы повидаться со своим бывшим ротным. Директор, к которому Д. обратился с просьбой отпустить его на три дня, сказал, что ценит закон фронтового братства, но впредь «цацкаться» не будет. В тот же день Д. отбыл в город Б., где проживал его друг. «В поезде он продолжал рассматривать свое расположение в этой жизни. От молодости ничего не осталось. Всё растрчено – его убивали, он убивал, он провонял смертью, всё обрыдло... Он издержался от страхов, злости, отупел, ему кажется, что всё главное уже с ним было» (с. 235). Гранин подробно рассказывает о трёх днях, проведённых его героем в городе Б., потому что они положили начало переменам в его жизни и умонастроении. Его друг поведал, что вскоре после отъезда Д. танковая рота потерпела поражение в одном из боев и почти полностью погибла, а его чудом вытаци-

ли из горящего танка, он выжил, но вышел из госпиталя слепым. Его просьба состояла в том, «может ли Д., его командир, сходить к местным начальникам, потребовать комнату для Васильчука» (с. 236), и тогда он оставит квартиру родителям и семье сестры, а сам приноворится.

Д. понимал, что дело трудное и вряд ли возможное, но тут был особый случай: у его фронтового друга «были права на ротного», а у него «никаких прав не было, потому что он покинул свою роту, своих ребят, и всё, что там произошло, задевало его совесть» (Там же). Это было первое серьезное дело после его возвращения из армии, в которое ему надо было вложить весь свой характер, всю изобретательность и хватку. Выйдя на руководителя местной энергетической службы и городское начальство, он выяснил, что они заинтересованы в ленинградском энергетике, который мог бы помочь им в приобретении дефицитного трансформатора. Стороны пришли к соглашению «баш на баш», как это было принято в те времена: «Договорились по-честному. Никаких расписок» (с. 243). В тексте нет ни слова о том, в каких чувствах наш герой уезжал из города Б., но очевидно, что они были совсем иными, чем три дня назад, когда он ехал к другу.

Поездка повлияла на лейтенанта, изменила его восприятие окружающей жизни, его самооценку и отношения с женой. Обиду оттеснило понимание того, что Римма знала тыловую жизнь лучше, чем он. Она твердила ему, что «городская жизнь сильно отличалась от фронтовой», что «деньги в тылу значили совсем немного, значил блат... В городе всё зависело от партийного начальства – прописки, ордера» (с. 217). Она напомнила мужу его рассказ о том, с каким скандалом проходила у него на работе подписка на первый послевоенный заем на восстановление народного хозяйства СССР. Большую часть коллектива его отделения составляли женщины, в основном матери-одиночки, либо потерявшие мужей на фронте, либо не имевшие их, и он вместе с главным инженером и парторгом вызывал работниц поодиночке, чтобы «уломать» и принудить их подписаться, как было указано «сверху», на месячный заработок. Руководство отделения нужной жёсткости не проявило, оно оказалось в числе отстающих, и Д. вместе с парторгом были вызваны к первому секретарю райкома партии, который обвинил их в «политическом недомыслии». А Д., глядя на роскошный камин с мраморными богинями, думал о том, что «люди в этом княжеском особняке не чувствуют, что вести себя здесь следовало бы по-другому, и ещё о том, что

победа не принесла нам снисхождения» (с. 225). Не меньше он был возмущён отношением государства к фронтовикам-инвалидам. «Что получали инвалиды от власти? Скучную пенсию, и все. И обязанность каждый год являться на комиссию, показывать, что отрезанная рука не выросла» (с. 250).

Потом возникло «Ленинградское дело». Всё началось с того, что исчез его начальник Михаил Иванович, в блокаду прокладывавший через Ладогу высоковольтный кабель. «Директора заводов, институтов исчезали один за другим. Секретари райкомов... Был – и не стало. Ни строчки в печати, никаких сведений, человека растворяли, как будто его никогда и не существовало... Обвинений никому не предъявляли... Не могла же быть причиной блокада. Между тем брали именно тех, кто работал в блокадном городе. Вместо почета блокада стала подозрением. Паника охватила город. Боялись, не зная, чего бояться, виноваты, а в чем, мать вашу...» (с. 258).

А потом наступил март 1953-го. «Когда умер Сталин, плакал не я – мой лейтенант. Он стоял у репродуктора на кухне, слезы катились сами по себе... Сталин был жесток, неоправданно жесток в войну, совершал одну ошибку за другой, перекалывал свою вину на других и этих, других, казнил. Но мы победили... Он не жалел солдат, и его генералы тоже не жалели... Мы утаивали свои чудовищные потери. Деревни обезлюдели, страна наполнилась вдовами, инвалидами, беспризорными детьми, но мы победили. Так твердил мой лейтенант в своих горестных рассуждениях» (с. 260–261). Они вернулись к этому разговору в третью годовщину смерти Сталина, которая отмечалась «как-то смущенно, робко». Д. рассказал своему двойнику, что встретил двух сотрудниц из Ленэнерго и напомнил им, как они рыдали 6 марта 1953-го, стоя вместе с ним на одной из ленинградских площадей. Они никак не хотели признаваться в тех слезах. «Лейтенант не соглашался со мной, он был убежден, что слезы были оправданны, что мы оплакивали конец... великой эпохи с великой мечтой...». Где твоя партия, которая провозгласила эту мечту, спросил Д., она исчезла в августе 1991-го, и «никто... не поднялся на ее защиту, не было ни баррикад, ни митингов». Значит, «это была ошибка, – сказал Д. – Нет, я никогда не соглашусь. Скорее ошибка – это то, что вы имеете сейчас» (с. 252–253).

На этом тему переосмысления фронтовиком Д. окружающей его жизни в первые послевоенные годы, своего места в ней и отношений между ним и его лейтенантом, можно было бы закончить.

Но все-таки хочется знать, как эти отношения складывались в дальнейшем, и помочь в этом могут еще две-три цитаты из романа Даниила Гранина. Первая тема – о войне. «Почему прошлое не отпускает его? Оно все время шевелится под пленкой нынешней жизни. То там, то тут прорывается, не остывает. Иногда ни с того ни с сего. Недавно в разговоре с дочкой ему вспомнилось, как в батальоне они съели последнюю артиллерийскую лошадь» (с. 279). Не о подвигах и выигранных боях вспомнилось, а о том, что идет под рубрикой «солдатской правды» и «лейтенантской прозы». Однажды в праздник Дня Победы Д. рассказывал в большой аудитории про оборону Ленинграда. А перед ним выступал генерал. И оказалось, что они воевали на Пулковских высотах. Генерал командовал дивизией, а в соседней дивизии командовал танком лейтенант Д. Сражались рядом, а рассказали по-разному, и потом генерал пенял лейтенанту, что тот не знает, как в штабах разрабатывались планы обороны или наступления и какая огромная работа проводилась для реализации этих планов. «А что генералы могли знать о том, как мы спим, не раздеваясь по три недели? .. Они ни разу к нам в землянку не заглядывали... понятия не имели, как мы хороним друг друга, сбрасывая в траншеи... а по весне в воду... Я не подозревал, сколько во мне скопилось злобы ко всем этим золотым погонам, откормленным, упрятым в джипы, машины, ко всей этой непотопаемой шелупени» (с. 248).

И как-то к этой теме примыкает еще одна, возникшая в разговоре с журналисткой, пришедшей к Д. взять интервью в очередной юбилей Победы. «Поспрошав про мою войну... она сказала: «Вам, конечно, крупно повезло, но вот что интересно – стали вы от этого смелее или нет? – Что вы имеете в виду? – Тогда она спросила то, над чем я и сам раздумывал: что есть смелость на войне и есть смелость на гражданке. Это разные состояния души. Война требует одной смелости, а гражданка – другой» (с. 264). И вот что интересно: Даниил Гранин не вложил в уста своему герою ответа на этот вопрос. Судя по разговору, он состоялся через многие годы после окончания войны, и автор не однажды был свидетелем того, как прошедшие огонь и воду фронтовики оказывались трусами в мирное время.

А со своим лейтенантом Д. всё-таки расспрошался. «Мне подумалось, что, кроме всего прочего, мы сохранили город белых ночей. Многое мы сохранили, да вот людей не сохранили. Они уходили, почти все ушли, кто куда. Среди них я вдруг увидел

моего лейтенанта. Он тоже уходил вместе с Женей Левашовым, Володей Лаврентьевым. Совсем молодой, тоненький, перетянутый ремнем, густая шевелюра торчала из-под лихо сдвинутой фуражки. Сбоку болталась планшетка. Он мне нравился. Хотя, честно говоря, порядком надоел. Надоела его наивность, доверчивость, он никак не мог понять, что со мной произошло. Конечно, жаль, что мы расстаемся, но пора жить без него, без его мечтаний и упреков» (с. 286).

Даниил Гранин расстался со своим двойником-лейтенантом, а мы расстаемся с романом писателя, который рассказал нам о том, какой непростой путь переосмысления окружающей его послевоенной жизни прошел он, прежде чем возникла взволновавшая его острая социальная тема и он решил ее отобразить и опубликовать ее в виде рассказа «Собственное мнение», одного из самых острых «оттепельных» произведений, опубликованного в 1956 году в журнале «Новый мир». Этот путь прошли и другие вернувшиеся с войны литераторы-«оттепельщики». У каждого из них он был свой, особый путь, но во всех случаях, от надежды – к разочарованию, от иллюзий – к правде жизни, от заученных литературных штампов – к «искренности в литературе» (так назвал свою напумевшую статью Владимир Померанцев, опубликованную в журнале «Новый мир», 1953, № 12 ).

### *Оттепель и пятидесятники (продолжение)*

Им было что сказать. Вопрос заключался в том, появится ли у них возможность, и если да, то решатся ли они сказать больше, чем было принято говорить в только что минувшем прошлом, когда ценой неосторожного слова была лагерная зона и сама жизнь. Уход диктатора породил надежды, но стране, находившейся в оцепенении, нужен был сигнал. Ни на конференции в Горбачев-фонде, ни на предыдущей, тоже посвященной «шестидесятникам» (она состоялась в мае 2006 года в Театре на Таганке), никто не вспомнил, что сигнал пришел оттуда, откуда только и мог прийти в ту пору, – сверху. Была целая серия сигналов, один другого ошеломительнее. В апреле, после трехмесячной истерии по поводу избличенных «врачей-убийц», страну потрясло сообщение о том, что всё это сфабриковали сотрудники Министерства государственной безопасности СССР во главе с заместителем министра Рюминым; группа выдающихся советских медиков, прохо-

дивших по этому «делу», была реабилитирована и освобождена, а виновные лица осуждены и большей частью расстреляны. Это был первый случай публичного разоблачения преступных действий сотрудников карательных органов если не за всю их историю с 1918 года, то уж точно со второй половины 20-х годов.

А 10 июля последовало еще более ошеломляющее сообщение: на Пленуме ЦК КПСС был «разоблачен» член Политбюро Л.П. Берия, обвиненный в действиях, «направленных на подрыв Советского государства в интересах иностранного капитала», и «вероломных попытках» поставить Министерство внутренних дел над правительством и правящей партией. Низвергнув все-сильного шефа карательных «органов», высший партийный синклит вернул себе полный контроль над ними и всей страной. Вскоре втихую начался пересмотр других сфабрикованных дел о подпольных «антисоветских» организациях. В столице появились люди, вернувшиеся из лагерей, иные в стеганых ватниках, с котомкой за плечами, наподобие одного из героев пронзительного фильма «Холодное лето 1953-го». Об этом ничего не сообщалось, но страна уже давно привыкла жить «слухами», как именовалась тогда передававшаяся из уст в уста неизвестно откуда и как просочившаяся закрытая информация.

Были сигналы и другого рода. 19 марта «Литературная газета» («ЛГ»), орган Союза советских писателей (ССП), выдала передовую статью «Священный долг писателя», согласно которой самая важная задача советской литературы состояла теперь в том, чтобы запечатлеть для современников и грядущих поколений «образ величайшего гения всех времен и народов – бессмертного Сталина». Через неделю в «Литературке» появилась еще одна передовица, объявлявшая важнейшей задачей советской литературы достойное отображение «великих дел нашего народа, его борьбы за коммунизм». Имя Сталина в статье не было упомянуто ни разу. Людям, родившимся после 1991 года, возможно, уже непонятен сакральный смысл передовых статей. Это официоз – статья, выражающая точку зрения руководства страны или как минимум той организации, в чьем ведении находится данная газета или журнал. Действительно, появлению второй статьи предшествовал звонок в редакцию и Секретариат ССП секретаря Центрального комитета КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва, потребовавшего отстранить от руководства газетой её главного редактора Константина Симонова. Весть об этом быстро распространилась и произвела большое впечатление в столичных лите-

ратурных кругах. С середины апреля имя Сталина фактически исчезло со страниц центральных газет.

В июле 1953 года газета «Правда» опубликовала очерк журналиста Валентина Овечкина «На переднем крае», открывший цикл его очерков «Районные будни». Автор повествовал о трудных буднях и наболевших проблемах сельской жизни. Рассказывал со знанием дела, спокойно и беспафосно, вопреки набившей оскомину приторной патетике произведений об успехах колхозно-совхозной системы и счастливой жизни сельских тружеников. Секрет появления этого очерка в главной партийной газете открылся скоро: в сентябре состоялся пленум ЦК КПСС, посвящённый сельскому хозяйству. На нём же был восстановлен пост первого секретаря, который занял Хрущев. Публикация «Районных будней», с ведома и при поддержке «сверху», была единственным случаем такого рода, и решающую роль в этом сыграл «Первый», считавший тогда приоритетной сферой своей деятельности сельское хозяйство.

Вряд ли кому-нибудь «в верхах» могло прийти в голову, что очерк Овечкина положит начало негустому, но не прерывавшемуся в 50-е годы потоку «оттепельной» литературы. Тем не менее ячейки цензурского сита несколько расширились. В декабре 1953 года «Новый мир» опубликовал статью Владимира Померанцева «Об искренности в литературе». Искренности – вот чего, на взгляд автора, «не хватало иным книгам и пьесам». Неискренность не обязательно ложь; это и «деланность вещи», «лакировка действительности». Автор не затронул напрямую тему нравственного выбора литераторов и не называл имен, но и того, что он сказал, было достаточно, чтобы вызвать переполох в литературном мире и у партийных идеологов.

В феврале 1954 года в журнале «Театр» была опубликована пьеса Леонида Зорина «Гости» – о жизни трёх поколений семьи, где дед – старый большевик, его сын – переродившийся партийный чиновник, а внук – студент, который дружит с дедом и ненавидит отца. В апреле Федор Абрамов публикует статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» («Новый мир». 1954. № 4), поименно перечисляя авторов-лакировщиков, изображающих колхозную жизнь, как «праздничный фейерверк». Появляются новые очерки В. Овечкина в серии «Районных буден», первая часть повести И. Эренбурга «Оттепель». В сентябре 1955 года Сергей Смирнов публикует книгу «Крепость над Бугом» – первый открытый призыв вспомнить и отдать дань уважения за-

бытым, опороченным и даже репрессированным героям первых дней и недель войны.

Уже в этих произведениях выплыла ключевая тема пятидесятников – взаимосвязь нравственного и гражданского начал в жизни человека, в его поведении и деятельности. И естественно, в литературном творчестве. Но в полную силу она прозвучала в 1956-м, под прямым воздействием ключевого события того десятилетия – состоявшегося в феврале XX съезда КПСС. В марте–декабре того же года было опубликовано полтора десятка произведений, вошедших в литературный фонд пятидесятников. Их появление стало возможным потому, что после доклада Хрущёва и принято в июне Постановления ЦК КПСС «О культе личности и преодолении его последствий» главный форпост цензуры Главлит на некоторое время утратил чёткие критерии – что «дозволено» и что «не дозволено» пропускать в печать. Некоторые из этих произведений оказались в центре внимания широкого круга читателей, вызвали острую дискуссию в литературных кругах, переполох в руководстве ССП и крайне отрицательную реакцию в высших партийных инстанциях, особенно тех, которые ведали вопросами идеологии, культуры, пропаганды и агитации.

Реакция эта была неадекватной. На конференции в Горбачевфонде не раз повторялось, что шестидесятники придерживались разных убеждений, были среди них и антикоммунисты, противники существующего строя. Вполне возможно, хотя имен никто не назвал, а в 50-е годы истинные убеждения советских граждан были тайной за семью печатями. Но для анализа того, что сделали и чего не сделали пятидесятники, это не имеет значения. Общественную значимость имели их тексты, которые, прежде чем они были опубликованы, прошли тройную цензуру – авторскую, редакционную и Главлита. Но дело было не только в цензуре. Значительное большинство авторов были членами правящей партии, вступившими в нее большей частью – и это очень важно – в годы войны, как правило, на фронте. Они не покушались на основы и символы, а помышляли самое большее о некоторых переменах, которые сделали бы советский социализм более справедливым и гуманным, согласующимся с изначальными нравственными ценностями. По сути, они желали того, что в Чехословакии десятью годами позже будет названо «социализмом с человеческим лицом».



### *Тексты и неконтролируемые ассоциации*

Надо сказать, что думающему читателю и тогда было видно, что авторы отнюдь не всегда были искренними, к чему призывал их В. Померанцев, и что их тексты содержат лишь толику правды, впереमेжку с полуправдой и неправдой. Это не в упрек им. Они сделали то, что могли сделать в то время: рассказали читателям несколько историй – о конкретном человеке, действующем и размышляющем в конкретных обстоятельствах; о конкретных событиях или ситуациях, открывающих новые стороны в отношениях между людьми и заставляющих их думать и поступать иначе, чем они привыкли. Что же вызвало поток «крутых» оценок и зловещих обвинений, которые обрушились на пятидесятников?

Мы вернемся к этому вопросу позже. А самое простое объяснение, на мой взгляд, звучит так: некоторые истории были рассказаны с такой художественной достоверностью и убедительностью, что, независимо от того, задумано было это автором или нет, читатель, приближаясь к концу повествования, начинал улавливать глубинный, скрытый смысл произведения, его подтекст. Возникал тот самый эффект «неконтролируемых ассоциаций», который пыталась, но так и не смогла обуздать советская цензура.

Деревня оказалась одной из главных тем пятидесятников. Помимо серии очерков Овечкина, это рассказ Александра Яшина «Рычаги» и «Деревенский дневник» Ефима Дороша, рассказ Николая Жданова «Поездка на родину» и повести Владимира Тендрякова «Не ко двору» и «Ухабы». Это роман Федора Абрамова «Братья и сестры», законченный в 1956 году, дважды отвергнутый редакциями столичных журналов и всё же опубликованный в 1958 году в ленинградском журнале «Нева». Это не было случайностью. Здесь сошлось многое. И то, что едва ли не половина авторов-пятидесятников либо родились в деревне, либо их родители, перебравшись когда-то в город, сохранили связи с деревенскими родственниками или друзьями детства и воспринимали всё, что там происходило, как что-то непосредственно их затрагивающее. И то, что первые два очерка Овечкина, неожиданно опубликованные в «Правде», так сказать, пробили дорогу в печать другим произведениям на эту тему. А за всем этим стояло бедственное состояние колхозов и всей деревенской жизни в первые послевоенные годы, особенно в европейской части страны, включая разве что черноземный Юг.

Авторы деревенских текстов не понаслышке знали о самых трагичных и самых фальсифицированных страницах истории коллективизации сельского хозяйства. Как и о том, что на войне деревня потеряла почти всё мужское население и все военные годы жила впроголодь, только за счёт небольших приусадебных хозяйств, так как почти всё собранное зерно колхозы вывозили в государственные закрома, получая за него гроши. В названных произведениях нет ни слова о том, как проходила коллективизация (расстрелы, арестантские эшелоны, лагерные зоны, голод в 1933 году). На эти темы было наложено табу. Но авторы нарисовали такое безрадостное полотно жизни послевоенной советской деревни, что живописать её так, как раньше, было уже невозможно, и сам собой возникал вопрос об истоках и корнях.

Задумался об этом и главный персонаж рассказа «Поездка на родину». Павел Алексеевич Варыгин, ответственный чиновник столичного учреждения (кабинет, секретарша, стопка служебных бумаг, ждущих его подписи), получает телеграмму о том, что умерла его мать и похороны будут в субботу. До деревни, расположенной к северу от Москвы, более суток езды, и он добирается до нее, когда мать уже отпевают в церкви. После похорон он возвращается в родную избу. Скорый поезд, на котором он собрался вернуться в Москву, сделает минутную остановку на полустанке ровно в полночь, и Варыгин коротает время в разговорах с местными жителями. С соседом-стариком, зашедшим с четвертинкой помянуть усопшую; с соседкой, солдатской вдовой Деревлевой, выложившей ему всё, что она думает о колхозной жизни и местной власти; с молодой акушеркой, арендовавшей у матери пол-избы, где она устроила акушерский пункт; с её женихом, инженером с МТС, который рассказал о тяжёлом состоянии большинства колхозов в их районе и пожаловался на «казенных бодрячков», которым нет дела «до настоящего дела». В полночь Варыгин сел в поезд, все пассажиры в купе уже спали, а он никак не мог отделаться от чувства какой-то вины. «Сон не шел, и сквозь тягучую дрему воображение рисовало ему бревенчатые кресты на фоне серого неба, длинную тесовую скамью вдоль стены, старый самовар в углу, накренившийся набок. За струганым столом сидит мать, лицо у неё маленькое и темное, как было в церкви; она подвигается к нему и спрашивает с надеждой и ожиданием, как спрашивала солдатка Деревлева: Верно ли, нет ли с нами сделали?»<sup>18</sup> Поиск ответа на этот вопрос автор оставляет на усмотрение читателя.

<sup>18</sup> Там же. С. 414.

И неизбежно возникала обжигающая тема – крестьянин и власть. Та местная власть, с которой он имел дело изо дня в день. Их отношения складывались в двух измерениях – личном и производственном. И в обоих случаях власть выглядела неприглядно, равнодушная к жизни крестьянских семей, их быту и заботам, однако неукоснительно взимавшая двойную дань – хлебопоставки и налоги – с сельских тружеников и старательно обустроившая собственную жизнь.

Один из шедевров литературы пятидесятников – рассказ Александра Яшина «Рычаги»<sup>19</sup>. В сельском клубе четверо мужчин, члены колхозной партийной ячейки, ждут пятого, чтобы начать партийное собрание, и ведут невеселый разговор о посевной кампании – о том, что райком требует пустить лучшие поля под зерновые, вопреки утвержденному колхозниками плану оставить эти земли для льна – традиционной для их климатической зоны и выгодной для колхоза культуры, а приступить к пахоте требует немедленно, хотя земля еще не подсохла и т. д. Но вот приходит пятая – припоздавшая сельская учительница. Они пересаживаются лицом к столу. Один из них, оказавшийся секретарем партячейки, открывает собрание; второй, председатель колхоза, сообщает, что райком настоял на своём и им надо принять «правильную» резолюцию. Остальные трое выступают в прениях. «Расхождений во мнениях, – комментирует автор, – не обнаружилось, как не было их и во время той дружеской беседы до начала партийного собрания; правда, *сейчас согласованность и единодушие проявлялись несколько в ином, можно сказать, обратном значении*». Приняв резолюцию и несколько конкретных решений, собрание заканчивается. Участники расходятся, и по пути к дому «возобновился разговор о жизни, о быте, о работе – *тот самый, который шел до собрания*».

Вряд ли автору было известно, и уж точно он не читал вышедший в 1949 году роман-антиутопию «1984», в котором Джордж Оруэлл, подобно хирургу, препарировал организм тоталитарного государства, показав, что одной из его базовых характеристик является «двоемыслие». Но именно этот феномен Яшин запечатлел с фотографической четкостью, и неудивительно, что его рассказ стал одной из главных мишеней критиков-ортодоксов, ополчившихся на литераторов-пятидесятников.

Тема власти и управления, уже не на сельском, а городском материале, громко прозвучала в небольшом рассказе Даниила

<sup>19</sup> Литературная Москва. Сборник второй. М., 1956. С. 502–513.

Гранина «Собственное мнение» и в романе Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Сюжетный стержень рассказа<sup>20</sup> – конфликт между директором крупного проектного института, расположенного в энском городе, от которого сутки езды до Москвы, и молодым сотрудником этого института. Директор Владимир Пахомович Минаев знакомится со статьей инженера Ольшанского, который убедительно доказывает неэкономичность новых двигателей конструкции академика Строева. Минаев полностью согласен с инженером. Ольшанский даже симпатичен ему; он сам был таким в молодости, когда пришел работать на Сельмаш и вскоре вступил в спор с главным конструктором, предложив свой вариант решения одного технического вопроса. Но Строев является ведущим и самым авторитетным специалистом в этой области технологии, а ему, Минаеву, предстоит в ближайшее время утверждение в должности директора на коллегии министерства, которому подчинен институт, и академик, с его-то связями, может повлиять на решение коллегии в любую сторону. Конечно, молодому инженеру надо будет помочь опубликовать статью, но пока надо придержать её и к тому же смягчить, убрав имя Строева и смягчив кое-где критику.

Это и предлагает Минаев в разговоре с Ольшанским, но тот категорически отказывается. Более того, он пишет письма в горком партии и министерство, критикуя «трусливую политику Минаева». Его возмущает уже не столько судьба собственной работы, сколько «*природа той вязкой, непробиваемой преграды, на которую он наткнулся впервые в жизни*». Не встретив понимания со стороны инструктора горкома партии Локтева, Ольшанский критикует его на партийном собрании за «тупое равнодушие к живой мысли». Минаев испытывал противоречивые чувства: досады и раздражения, с одной стороны, жалости и сочувствия – с другой. Молодой инженер слишком далеко зашел в своей борьбе, и именно Локтев «в силу своей бездарности» не забудет и не простит Ольшанскому его критики. Открыто вступаться за Ольшанского было бы чревато конфликтом со многими влиятельными лицами.

Накануне отъезда на коллегию министерства Минаева вызвали в горком. Зашел разговор и об Ольшанском. Локтев предложил уволить его из института как склочника и отправить на опытную станцию в другой город. Истинные мотивы предложения

<sup>20</sup> Гранин Д. Собственное мнение // Новый мир. 1956. № 8. С. 129–136.

были Минаеву понятны, но возражать он не стал, пообещав закончить разговор по возвращении из Москвы. Коллегия прошла благополучно. С претензиями в адрес института Минаев согласился, тем более что все упреки были списаны на прежнее руководство. В должности директора он был утвержден и даже сумел выпросить новое дефицитное оборудование, в чем его поддержал академик Строев. В этой ситуации только что утвержденный директор счёл неудобным заговаривать о деле Ольшанского. Оно вспомнилось ему на обратном пути, когда он сидел и курил один в купе полупустого спального вагона.

И вдруг на фоне ночной черноты в двойном зеркальном стекле возникли сразу два Минаева: тот, молодой, в потёртом пиджачке студенческих времен, и этот – изрядно располневший, в полосатой пижаме и с папиросой во рту. Тогда их, выступивших наперекор, было трое – он и двое друзей. Сначала уволили одного друга, потом второго. Очередь была за Минаевым, и он сделал вид, что смирился. Надо пойти в обход, сначала добиться независимости, а потом отстаивать собственное мнение и громить бюрократов. И он терпел, поддакивал и голосовал «за» вопреки собственной совести. А когда становилось нестерпимо – молчал. Минаев поднимался по ступеням, но каждый раз возникали какие-то обстоятельства, мешавшие высказать собственное мнение. «Еще рано. Всякий раз было еще рано!» Список его долгов рос, и *«чем выше он забирался, тем меньше он становился самим собой. Тем труднее ему было рискнуть»*. И теперь тот, молодой, спорил с этим, постаревшим, который успокаивал молодого, что так-де сложились обстоятельства, и обещал помочь Ольшанскому, как только они изменятся к лучшему. «И был еще третий Минаев», комментирует их спор автор, «который знал, что никогда этого не будет. Он всегда будет хитрить с самим собой... не имея сил вырваться из плена собственного двоедушия. У него всегда будут оправдания. Он всегда будет стремиться стать честным завтра»<sup>21</sup>. Писатель не утверждает, что Минаевым несть числа, и, повествуя об эволюции своего героя, не называет ее перерождением. Однако именно эти ассоциации возникают у мыслящего читателя.

Среди всех произведений пятидесятников наибольший, можно сказать, небывалый по тем временам резонанс вызвал роман «Не хлебом единым»<sup>22</sup>. В первую очередь, – своей масштабностью.

<sup>21</sup> Там же. С. 135–136.

<sup>22</sup> Новый мир. 1956. № 8–10.

В. Дудинцев рассказал читателю поистине эпопею борьбы талантливого и бескомпромиссного изобретателя-одиночки Дмитрия Лопаткина за то, чтобы добиться признания и запуска в производство придуманной им машины. Борьбы, длившейся не один год и втянувшей в себя десятки людей. Борьбы, в которой Лопаткину противостояла вся советская система управления, начиная с Николая Ивановича Дроздова, директора комбината, на котором работал изобретатель, и включая министерство, поддержавшее директора, а также областные партийные органы и просто «органы», продолжавшие и после памятных событий 1953–1954 годов играть роль опричнины, уже под партийным контролем. Борьбы, не оставлявшей никаких шансов Лопаткину, но тем не менее выигранной им, несмотря ни на что и вопреки всему. Роман не мог завершиться иначе, потому что автор не мог себе позволить этого то ли по идейным, то ли по цензурным соображениям. Но ценой такого сюжета был диссонанс между первой половиной романа, повествующей о злоключениях героя, и второй – о чудодейственном перевоплощении Лопаткина из жертвы в победителя. Первая часть была жизненной и сочной, вторая – бледной и неубедительной. Для думающего читателя это несоответствие было очевидным.

Выступая 22 октября 1956 года на обсуждении романа, организованном секцией прозы Московского отделения СП, Константин Паустовский сказал, что он не собирается говорить о литературных достоинствах или недостатках романа, дело сейчас не в этом: «Роман Дудинцева – это первое сражение с дроздовыми, на которых наша литература должна накинуться, пока они не будут уничтожены в нашей стране»; «Книга Дудинцева – это беспощадная правда, которая единственно нужна народу на его трудном пути к новому общественному строю. Книга Дудинцева – это очень серьезное предупреждение: Дроздовы не уменьшились, они существуют» и даже «процветают»; «Это новое племя хищников и собственников, не имеющих ничего общего ни с революцией, ни с нашей страной, ни с социализмом»<sup>23</sup>. Такие слова в советских аудиториях давно не звучали.

Была еще одна общественнозначимая тема, более локальная, но чрезвычайно важная для интеллигенции, занятой в сфере литературы и искусства, культуры и науки в целом, – тема свободы

<sup>23</sup> Краткая запись речи К. Паустовского на обсуждении романа В. Дудинцева «Не хлебом единым» // <http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/bio/ne-hlebom-edinym.htm>

творчества. Тема крайне острая, потому что вопрос о партийном руководстве культурой, в том числе процессом литературного творчества, обсуждению не подлежал. Тем не менее после XX съезда и он был поднят. В «Заметках писателя»<sup>24</sup> ленинградский писатель Александр Крон выступил против «административного стиля руководства искусством». Главное внимание он уделил театральному искусству, которое, по его мнению, находилось в застое. Причины – «игнорирование объективно существующих законов художественного творчества, гипертрофия редакции, создание бюрократической иерархии в искусстве». Автор подверг жесткой критике навязанную чиновниками теорию бесконфликтности, вынуждающую драматурга к лакировке действительности. Он высказался против беспорядка драматурга, полностью зависящего и от редакций журналов, и от администрации театров, не говоря уже о «многочисленных инструкторах и инспекторах», присутствующих при сдаче готовых спектаклей и зачастую решающих их судьбу. А. Крон говорил «театр», а подразумевал всю сферу культуры. Это подтвердил заключительный тезис автора: «*Необходимо решительно покончить с рецидивами политики кнута и пряника в искусстве*»<sup>25</sup>. Да-да, в искусстве, а не только в театре.

Статья прозвучала как манифест в защиту свободы литературного творчества, хотя такая формула в тексте отсутствовала. Она была первой публикацией такого рода. Но еще до нее тема свободы творчества писателя прозвучала в ряде устных выступлений. В июне того же года на состоявшемся в Доме литераторов семинаре, посвященном литературной жизни в странах народной демократии, Ольга Берггольц заявила, что пора освободиться от такого наследия периода культа личности, как «*всем известное догматическое постановление сорок шестого года*»<sup>26</sup>. А в ноябре К. Симонов, выступая на межвузовском совещании по вопросам изучения советской литературы, к изумлению присутствующих, подверг резкой критике это же постановление ЦК КПСС, назвав его устаревшим и предложив принять другой документ, который открыл бы дорогу новым силам советской литературы<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Крон А. Заметки писателя // Литературная Москва. Сборник второй. М., 1956. С. 781–790.

<sup>25</sup> Там же. С. 789.

<sup>26</sup> Оттепель. 1953–1956. С. 470.

<sup>27</sup> Там же. С. 476.

К. Паустовский был прав, назвав роман В. Дудинцева крупным общественным явлением. Это определение относилось не только к названному роману, но и к ряду других произведений пятидесятников. Но в этом и крылась для них опасность.

### *Крестовый поход против пятидесятников*

В потоке обвинений, которые вскоре обрушились на пятидесятников – тех, кто наступил на больные мозоли системы, – иногда проскакивали неожиданные откровения. Выступая в марте 1957 года на пленуме Московской организации писателей с докладом о некоторых проблемах развития прозы, один из забойщиков разоблачительной кампании Дмитрий Еремин выразил сожаление по поводу того, что «в прошлом году появились и такие произведения, в которых авторы... не учли обобщающей силы искусства»<sup>28</sup>. Признание, как говорится, не в бровь, а в глаз!

Но то, что мимоходом и сквозь зубы процедил Еремин, моментально и гораздо раньше оценили читатели первых же произведений пятидесятников. «Первые ласточки оттепели, – вспоминала о них Лилианна Лунгина, – неслыханной смелости статьи в “Новом мире”, ставившие под вопрос священные понятия: соцреализм и партийность литературы. В первую очередь – статья Померанцева “Об искренности в литературе”. Номер с этой статьей исчез из киосков в мгновение ока – шёл нарасхват». Мы, пишет она, получали журнал по подписке, «и у нас собралось человек пятнадцать друзей, чтобы почитать вслух»<sup>29</sup>. Это происходило в тысячах, может быть, в десятках тысяч квартир, где в небольших компаниях доверяющих друг другу людей обсуждались статья Померанцева, очерки Овечкина, эренбургская «Оттепель». Обсуждали их и мы, друзья-однокурсники, недавно получившие дипломы об окончании исторического факультета МГУ.

И точно так же, но с противоположным отношением, восприняли эти произведения люди, которые в силу своего служебного положения, взглядов и/или избранной роли в литературном мире были призваны или сами вызвались охранять идеологическую чистоту советской культуры. Декабрьский номер «Нового мира» со статьей Померанцева дошёл до массового читателя

<sup>28</sup> Оттепель. 1957–1959. С. 370.

<sup>29</sup> Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана. М., 2010. С. 233.



в первой половине января 1954 года, а уже 30 января в «ЛГ» появилась статья «С неверных позиций», в которой автору было высказано несколько критических замечаний, пока еще в спокойной манере, без хлестких фраз и обвинений.

Они последовали в феврале, после того как вышел второй номер журнала «Театр» с пьесой Л. Зорина «Гости». Через сорок лет автор в беседе с журналистом, бравшем у него интервью, сказал, что это была пьеса «о перерождении нашей власти, нашего высшего круга, о неприкрытой буржуазности нашего высшего эшелона»<sup>30</sup>. Но сюжет и текст были настолько очевидными, что реакция последовала немедленно. Пьеса была обсуждена на специально созданной коллегии Министерства культуры СССР и признана «враждебной» и «клеветнической».

А дальше всё пошло по накатанному пути. В последующие месяцы и вплоть до конца года не прерывался поток критических статей в центральных газетах и некоторых журналах. За привычное дело – бичевать «оступившихся» – взялись критики-тяжеловесы, мастера литературного мордобоя Владимир Ермилов и Борис Рюриков, а заодно с ними писатели Всеволод Кочетов и Михаил Шолохов. Если не считать двух новых очерков Овечкина из серии «Районных будней», опубликованных, как и первый, в «Правде» (28.02.–01.03. и 30.08.–01.09.), вне критики не осталось ни одного произведения, в котором присутствовал в той или иной степени дух Оттепели. Помимо Померанцева и Зорина постоянными мишенями стали статьи Ф. Абрамова, М. Лифшица и М. Щеглова в «Новом мире», в которых были названы и получили нелицеприятную оценку некоторые писатели-«лакировщики». Вновь пошли в ход знакомые по сталинским временам формулировки: «искаженные образы советских людей», «клевета на советскую действительность», «идейная незрелость» и т. п. Не миновали критики, хотя и более осторожной, «мэтры». Как оказалось, «Оттепели» Эренбурга и роману Веры Пановой «Времена года» недостает «идейной ясности», подмененной «абстрактным душеустроительством». В том же ключе проходили заседания отделений ССП в Москве и Ленинграде, партийные собрания московских и ленинградских писателей.

Главные действия предпринимались за кулисами. 19 мая к секретарю ЦК КПСС П.Н. Поспелову были приглашены Твардовский и Симонов, в беседе с которыми он дал резко критическую

<sup>30</sup> <http://www.ourbaku.com/index.php>.

оценку статье Померанцева и деятельности редколлегии «Нового мира». «Скорее всего, придется уходить из журнала», – записал в дневнике Твардовский общее впечатление от визита<sup>31</sup>. Так оно и случилось. 4 августа секретариат ЦК КПСС принял постановление, осуждающее ошибочную линию редакции журнала и рекомендовавшее освободить Твардовского от обязанностей главного редактора. 9 августа состоялось заседание редколлегии журнала, которое открыл секретарь ССП А.А. Сурков. Ознакомив присутствующих с постановлением ЦК, он сказал: «Некоторые товарищи, печатавшие статьи, и авторы этих статей подумали, что у нас происходят какие-то существенные перемены... что после смерти товарища Сталина будет не так, как было при Сталине... что решения Центрального Комитета, принятые после 1946 года, устарели»<sup>32</sup>. 11 августа Президиум ССП осудил «неправильную линию» журнала «в вопросах литературы» и вместо А.Т. Твардовского назначил главным редактором «Нового мира» К.М. Симонова.

Это была кульминация кампании, призванной навести порядок в советском литературном хозяйстве. Очевидно, «наверху» решили, что дело сделано. На встрече руководителей КПСС и Советского государства с писателями, состоявшейся 13 декабря в связи с предстоящим II Всесоюзным съездом советских писателей, сидевшие за столом президиума «люди большого государства», как засвидетельствовал в своем дневнике Твардовский, были «внимательны, осторожны и сдержанны в репликах»<sup>33</sup>. Соответственно был срежиссирован и сам съезд, открывшийся через два дня в Большом Кремлевском дворце. В содокладе секретаря ССП К. Симонова, посвященном проблемам развития прозы, были осуждены и «повышенный интерес к одним теневым сторонам жизни», и «ложное приукрашивание». И имена прозвучали как «критиканствующих», так и «лакировщиков». На трибуну выходили литераторы не просто разные, но антиподы – Эренбург и Кочетов, Яшин и Рюриков, Ольга Берггольц и Грибачев. Говорили «свое», однако от стрельбы по мишеням воздерживались. В этой усыпляющей тональности съезд и завершился. Если вспомнить, что он состоялся ровно через двадцать лет после I съезда совет-

<sup>31</sup> Твардовский А. Из рабочих тетрадей // Знамя. 1989. № 7. С. 137.

<sup>32</sup> Заседание редколлегии журнала «Новый мир», 9 августа 1954 г. // Н. Бианки. К. Симонов, А. Твардовский в «Новом мире». М.: Виоланта, 1999. С. 121–122.

<sup>33</sup> Оттепель. 1953–1956. С. 444.

ских писателей, то его можно назвать пустопорожним. Спасибо и на том, что дело обошлось без кровопролития. Зато на следующий год не появилось ни одного произведения, вызвавшего такой же общественный резонанс, как статья Померанцева или очерк Овечкина.

Длившееся больше года затишье на литературном фронте взорвал XX съезд КПСС. Именно после него были опубликованы произведения пятидесятников, в которых с наибольшей силой проявилась «обобщающая сила искусства», на которую так посетовал Д. Еремин. О некоторых из них было сказано выше. Роль авангарда, как и в 1953–1954 годах, играл «Новый мир». Журнал, вспоминала Людмила Алексеева, «способствовал не только распространению идей либерализма, но и сплочению его приверженцев: опознавательным знаком единомышленников стал “торчащий из кармана” очередной [его. – Ю.Б.] выпуск»<sup>34</sup>. Только руководил журналом уже не А. Твардовский, а К. Симонов – один из секретарей ССП и член Ревизионной комиссии ЦК КПСС, шестикратный лауреат Сталинской премии за период с 1942 по 1950 год. То, что Симонов открыл дорогу произведениям, которые – а он это понимал – не понравятся партийным и литературным консерваторам, оказалось для них, да и не только для них большой неожиданностью. Но, если вдуматься, Симонов действовал согласно своим убеждениям. Он был человеком веры; глубоко верил в правоту коммунистической идеи и партии, которая решила эту идею воплотить в жизнь; поверил в очистительную силу XX съезда партии – и именно поэтому дал дорогу пятидесятникам – Дудинцеву, Гранину, Тендрякову, Кирсанову, Кардину...

В 1956 году тираж «Нового мира» составлял 140 тысяч экземпляров. Произведения пятидесятников публиковали и другие журналы: из «старых» – «Октябрь», «Знамя», «Театр», «Звезда», к которым прибавились новые – «Нева» (с апреля 1955 г.), «Юность» (июнь 1955 г.), «Наш современник» (март 1956 г.), «Молодая гвардия» (июль 1956 г.). Их суммарный тираж превышал 800 тысяч экземпляров, их аудитория насчитывала несколько миллионов думающих читателей, которым были понятны ассоциативные смыслы текстов. Власть имущие и вправду испугались «обобщающей силы» литературы, особенно ее воздействия на чувства и умы молодого поколения. Партийные верхи тревожились не напрасно.

<sup>34</sup> Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. М., 1992. С. 195.

Первым сигналом к новому «крестовому походу» против пятидесятников стал роман Дудинцева. Вряд ли можно ошибиться в том, что в ЦК КПСС и КГБ на следующий же день стало известно о состоявшемся в конце октября обсуждении романа на заседании секции прозы Московского отделения ССП: о положительных оценках, которые дали ему Всеволод Иванов, Симонов, Тендряков, Овечкин и другие известные писатели, о призыве Паустовского изгонять из нашей жизни «дроздовых». Его речь, вспоминал Лев Копелев, перепечатывали и распространяли первые самиздатчики, а позже ее стали изымать при обысках как «антисоветский документ»<sup>35</sup>. Наэлектризованность атмосферы, возникшей вокруг романа, к концу октября многократно возросла из-за начавшегося в Венгрии восстания против репрессивного режима, установленного коммунистической партией во главе с Матфяшем Ракоши. Москва квалифицировала восстание как «попытку контрреволюционного переворота» и в начале ноября ввела в Будапешт советские войска, сломившие в результате жестоких боев сопротивление восставших. Самые рьяные противники «оттепели» и всего, что с нею связано, заговорили об идейной связи между вдохновителями «венгерской контрреволюции» и «критиканствующими» столичными литераторами. 22 ноября в «ЛГ» было опубликовано открытое письмо тридцати пяти советских писателей, которые полемизируя с французскими писателями, осудившими советское вторжение в Венгрию, назвали действия Советского Союза правомерными. Через два дня к ним публично присоединилась еще одна группа писателей (31 подпись). Среди тех, кто подписал эти письма, были К. Паустовский, И. Эренбург, А. Твардовский и некоторые другие авторы-пятидесятники.

Готовившейся кампании против нездоровых идейных тенденций в литературе эти подписи остановить не могли. 15 декабря в «ЛГ» появилась передовая статья «Литература служит народу», в которой говорилось, что, несмотря на «некоторые достоинства» романа «Не хлебом единым», «писателю не хватило верного, широкого взгляда на жизнь, чтобы всесторонне показать процессы, которые происходят в обществе»<sup>36</sup>. Еще раньше на высоком уровне было принято решение остановить подготовку к изданию романа двумя издательствами – Гослитиздатом и «Молодой гварди-

<sup>35</sup> Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве. Анн Арбор, 1988. С. 47.

<sup>36</sup> Оттепель. 1953–1956. С. 479.

ей» – тиражом в два с половиной миллиона экземпляров. В начале декабря два секретаря ЦК КПСС, Е.А. Фурцева и П.Н. Поспелов, подписали документ, в котором Гослитиздату было рекомендовано отказаться от издания романа «в связи с идейными недостатками этого произведения». Вместе с тем издательству «Молодая гвардия» было разрешено выпустить роман тиражом 30–50 тысяч экземпляров, чтобы «лишить демагогических элементов» поводов для утверждений, будто бы он «запрещён». Однако руководство ЦК ВЛКСМ во главе с А. Шелепиным («железным Шуриком», как его негласно называли), в подчинении которого находилась «Молодая гвардия», воспротивилось этому, и «Не хлебом единым» выпустило в свет издательство «Советский писатель». Было это уже в марте 1957 года; тираж был срезан до 30 тысяч экземпляров<sup>37</sup>.

Между тем 26 ноября был подписан к печати и в декабре отпечатан альманах «Литературная Москва. Сборник второй». Выпущенный тиражом в 75 тысяч экземпляров, восьмисотстраничный сборник исчез с прилавков в считанные дни. И неудивительно, его без преувеличения можно назвать квинтэссенцией оттепельного, пятидесятнического духа. Вошли в него и самые «неудобные» для власти произведения – рассказы А. Яшина и Н. Жданова, писательские заметки А. Крона. А были в нем еще «Деревенский дневник» Ефима Дороша, статьи Ильи Эренбурга – о поэзии Марины Цветаевой, и Марка Шеглова – о реализме современной драмы. Предвидела это или не предвидела редакционная коллегия, в которую входили, в частности, М. Алигер, К. Паустовский, В. Каверин, А. Бек, Э. Казакевич и В. Тендряков, но выход сборника был расценен в партийных кругах и в правлении ССП как вызов, чуть ли не как формирование центра идейной оппозиции. Их реакция не заставила себя ждать.

Новый «крестовый поход» против «отступников» отличался от кампании двухлетней давности. На этот раз высокие партийные инстанции выступили сразу и открыто. Список опальных литераторов намного увеличился, в нем значилось более трёх десятков имен. Критика стала более жёсткой и политизированной. Наибольшей интенсивности она достигла в 1957 году, но продолжалась почти без пауз до конца десятилетия.

Началом ее можно считать состоявшиеся в конце января 1957 года партийные собрания писательских организаций Москвы

<sup>37</sup> Архив. В. Горбунов. 25.03.1957. Ф. 5. Оп. 36. Д. 37. Л. 1.

и Ленинграда. Помимо названных выше произведений Дудинцева и Гранина, Яшина и Крона, критике подверглись поэма Семена Кирсанова «Семь дней недели» и стихи только что заявившего о себе Евгения Евтушенко, речь Паустовского в защиту «Не хлебом единым» и предложения Берггольц и Симонова пересмотреть принятые после войны партийные постановления по идеологическим вопросам. В феврале журнал «Коммунист» (№ 3), главный теоретический орган партии, опубликовал редакционную статью «Партия и вопросы развития советской литературы и искусства». Ее смысл состоял не столько даже в перечислении и критике авторов «идейно порочных» произведений, сколько в том, чтобы подчеркнуть «немеркнущее значение» упомянутых постановлений ЦК ВКП(Б). С января и все последующие месяцы шел поток статей, в которых назывались всё новые произведения, занесённые в список «идейно незрелых» и «несостоятельных» в трактовке «сложных вопросов жизни». В него попали писатели Ю. Нагибин, В. Тендряков и М. Бреженер, драматурги А. Володин и А. Штейн, некоторые стихотворения Маргариты Алигер и Бориса Слуцкого, литературные критики В. Кардин, Л. Жуховицкий и М. Лифшиц.

13 мая на встрече руководителей партии и государства с участниками назначенного на следующий день правления ССП выступил Н.С. Хрущёв. Распалив себя, как с ним нередко бывало, разносом романа В. Дудинцева и сборника «Литературная Москва», он оглушил замёрший зал зловещей репликой: «Мятежа в Венгрии не было бы, если бы своевременно посадили двух-трех горлопанов»<sup>38</sup>. Это выступление предопределило содержание и климат правления ССП, осудившего «отдельных литераторов», которые поставили под сомнение линию партии в области литературы. До конца 1957 года трижды были проведены партийные собрания московских писателей, в том числе дважды вместе с партийной организацией правления ССП, где продолжалась «проработка» провинившихся литераторов. Им были адресованы такие формулировки, как отступление от «генеральной линии литературы социалистического реализма» и «ревизия основ нашей советской действительности».

Каких-то пять-шесть лет назад такие обвинения могли стоить «разоблачённым» писателям головы. Но времена были уже иные. В декабре 1954 года был реабилитирован первый из расстрелян-

<sup>38</sup> Оттепель. 1957–1959. С. 376.

ных в 1930-е годы советских писателей Исаак Бабель. Вскоре такие же решения были приняты в отношении Бруно Ясенского, Михаила Кольцова, Бориса Пильняка, Ивана Катаева. После XX съезда партии при секретариате ССП была создана комиссия по литературному наследству репрессированных писателей. Состоявшийся в конце июня 1957 года Пленум ЦК КПСС вывел из состава руководящих органов «антипартийную группу Г.М. Маленкова, В.М. Молотова и Л.М. Кагановича», которой среди прочего было поставлено в вину намерение обелить имя Сталина и упрятать в архив всё, что связано с судебными процессами и репрессиями 30-х годов. Так что подобная участь «оступившимся» литераторам не грозила. Тем не менее политические обвинения могли очень серьезно сказаться на их дальнейшей творческой деятельности, да и на жизненных судьбах.

В январской статье 1958 года, опубликованной в «ЛГ», писатель Михаил Алексеев назвал одним из главных итогов минувшего литературного года то, что он показал, «сколь мала группка нигилиствующих очернителей, окопавшихся» вокруг журнала “Новый мир” и альманаха “Литературная Москва”<sup>39</sup>. Эта оценка ситуации в литературном мире стала стержневой в последующих документах, отразивших позицию руководства ССП. 18 мая 1959 года в Большом Кремлевском дворце открылся III съезд писателей СССР. Выступивший с докладом секретарь ССП А. Сурков, осудив ревизионистские, правооппортунистические и очернительские тенденции, которые проявились в произведениях некоторых литераторов, отрапортовал, что «большинство тех, кто допустил ошибочные высказывания или искаженно изображал... явления действительности, осознали свои недавние заблуждения и проявили стремление освободиться от них в дальнейшей своей литературной деятельности»<sup>40</sup>. На состоявшемся месяцем позже московском собрании писателей один из руководителей Союза писателей Российской Федерации С. Сартаков заявил, что «это было принципиальное столкновение двух политических точек зрения, в котором все нападки ревизионистов на линию партии потерпели закономерное и полное поражение»<sup>41</sup>.

Если отвлечься от стилистики, то фактический итог борьбы с «ревизионистами» и «очернителями» зафиксирован достаточно

<sup>39</sup> Там же. С. 397.

<sup>40</sup> Там же. С. 420.

<sup>41</sup> Там же. С. 423.

точно. Кучка литераторов, осмелившихся приоткрыть занавес и показать некоторые сцены из реальной советской жизни, образно говоря, обнаружила себя стоящей посреди площади, а по ее периметру рассредоточились кольцом их собратья по перу, при вражде и агрессии одних, испуге других, равнодушии третьих и молчаливой симпатии четвертых. И большинство, как уведомил всех А. Сурков, признали свои ошибки. Однако в этих фактах не вся правда и не только правда. В них не всё было сказано о большинстве и ничего – о меньшинстве. А ведь Померанцев, Дудинцев и тем более, Эренбург как и выступившие в их защиту Паустовский и Каверин, речей покаянных не произносили. Не каялись и молодые поэты Евтушенко и Рождественский, чьи стихи тоже попали под критику. Все они были беспартийными, а признавались в своих ошибках литераторы-коммунисты – А. Твардовский, С.С. Смирнов, Н. Дементьев, К. Симонов, О. Берггольц, М. Алигер, А. Бек, Э. Казакевич<sup>42</sup>. Признавались на партийных собраниях, которым, по замыслу организаторов разоблачительной кампании, надлежало стать главной ареной промывания мозгов. Партсобрания не литературные форумы. У большевиков они давно стали ристалищем для идейных и политических баталий, а в 1930–40-е годы превратились в некое подобие аутодафе, где изобличались и клеймились «враги народа». Отмолчаться было невозможно, а отстаивать свою правоту никто из писателей-коммунистов не был готов: можно предположить, что кто-то из них считал в принципе неприемлемым для себя вставать в оппозицию партии и власти, а кто-то находил это бессмысленным и самоубийственным. Так что для каждого из них это было вынужденное признание и компромисс с самим собой.

Это был не худший компромисс. В связи с выходом в Италии романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» (ноябрь 1957 г.) и присуждением ему Нобелевской премии по литературе (октябрь 1958 г.) в СССР была развернута небывалая по масштабам и хамству кампания против автора. Среди тех, кто подписался под письмами, осуждающими Пастернака, или выступил с осуждающими его речами, были Твардовский, Дудинцев, Симонов,

---

<sup>42</sup> Оттепель. 1953–1956. С. 436, 440–441; Оттепель. 1957–1959. С. 381–382, 392. О том, как реагировали на критику коммунисты Д. Гранин, В. Тендряков и А. Яшин, сведений не сохранилось. Можно предположить, что у них также не оставалось выбора, кроме как признать свои ошибки, но точный ответ могли бы дать стенограммы партийных собраний, если они сохранились в архивах ССП и других писательских организаций.



Овечкин, Яшин, С.С. Смирнов, В. Панова и другие литераторы-пятидесятники, а также близкие к ним поэты Слуцкий и Мартынов. О некоторых из них, например о Вере Пановой и Борисе Слуцком, известно, что они до конца жизни не могли простить себе этого поступка. А. Твардовский уже через два месяца после этой истерии, закончившейся так же быстро, как она возникла, записал в своих рабочих тетрадах: «Из Пастернака мы сделали “мученика”... сами сделали, своей высокоумной глупостью»<sup>43</sup>.

Полностью перекрыть клапан литературе, пахнувшей воздухом Оттепели, духом пятидесятничества, партийным консерваторам и ретроgrадам не удалось. На верхнем этаже партийного руководства такая задача и не ставилась. Там считали необходимым наглухо закрыть путь произведениям, которые ставят под сомнение «основы». Более того, возможно, посчитав, что принятых мер – публичной порки провинившихся и ужесточения цензуры – достаточно, секретарь и член Президиума ЦК КПСС Е.А. Фурцева предложила сделать обратную рокировку – вернуть на пост главного редактора «Нового мира» Твардовского вместо сменившего его в 1954-м Симонова. В июне 1958 года после одобрения этой инициативы Хрущевым секретариат правления ССП утвердил назначение Твардовского. Правда, в своей редакционной политике он был поставлен в настолько жесткие условия, что не раз задумывался над тем, правильно ли он поступил, приняв предложение вернуться в «Новый мир».

В 1958–1960 годах в печати не появилось ни одного произведения, которое по своей остроте и общественной значимости стояло бы вровень с романом «Не хлебом единым» или яшинскими «Рычагами». Практически была закрыта и тема сталинизма. Твардовскому, написавшему к поэме «За далью – даль» новую главу, посвящённую двойственной роли Сталина в истории страны, пришлось обратиться лично к Хрущёву с просьбой прочесть и дать добро на ее публикацию. Хрущёву, по словам его помощника В.С. Лебедева, глава «очень понравилась», и ее под названием «Так это было» тотчас же опубликовала «Правда» (29.04.1960), а затем и «Новый мир» (1960, № 5)<sup>44</sup>.

Вместе с тем именно в эти годы в повестях Ю. Бондарева («Батальоны просят огня», 1957), Г. Бакланова («Южнее главного

<sup>43</sup> Твардовский А. Из рабочих тетрадей // Знамя. 1989. № 9. С. 168.

<sup>44</sup> Там же. С. 183–184.

удара», 1958; «Пядь земли», 1959) и В. Богомолова («Иван», 1958) по-новому зазвучала тема Отечественной войны – как повседневного, невероятно тяжкого солдатского труда. Герои этих произведений стояли насмерть. Но они не бросали громких слов, не вставали в атаку с лозунгом «За Родину! За Сталина!», и официальная критика окрестила новую литературу о войне «окопной» или «лейтенантской прозой». С трудом пробил себе путь роман Ф. Абрамова «Братья и сестры» о тяжёлой, на грани выживания, жизни вологодской деревни («Нева», 1958, № 9). А в 1960-м появились последние из резонансных произведений пятидесятников – упомянутая выше глава «Так это было» А. Твардовского, первая часть воспоминаний И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» («Новый мир», 1960, № 8 и 10) и первая повесть В. Аксенова «Коллеги» («Юность», 1960, № 6,7).

Пятидесятые годы кончились, пятидесятники остались в истории. В 2013 году, к 80-летию со дня рождения Роберта Рождественского, вышла книга его стихов и воспоминаний о нем. Рассказывая о Роберте и своих отношениях с ним, Булат Окуджава вспомнил о тех временах, когда они вышли на поэтическую арену, и тех людях, которые стояли у истоков новых веяний в литературе и жизни. «А что касается шестидесятников, – размышляет он, – я вообще-то не очень хорошо понимаю это слово. Я думаю, что это небольшая группа людей, чья общественнополезная деятельность началась в пятидесятые годы. Интеллигенция. Интеллектуалы. Мыслящие люди. Люди, у которых был не протест против коммунизма вообще, а протест против искажения этой замечательной идеи; они внесли “свою лепту в дух общества”, заставили “людей задумываться”»<sup>45</sup>. Пятидесятники заставили задуматься над тем, что представляет собой советское общество и государство, в какой мере они соответствуют провозглашенным идеалам и нравственным ценностям, идее коммунизма. В частности, задуматься и над тем, в какой мере правящая партия готова выслушивать своих граждан, в первую очередь мыслящих людей, стремящихся сотрудничать с ней на основе и во имя реализации ее собственной программы. По сути, пятидесятники, сами того не осознавая, поставили эксперимент с целью выяснить, каковы границы дозволенного свободомыслия. Как выяснилось, пространство дозволенного оказалось куцым. Эксперимент завершился, и в этом смысле пятидесятники

---

<sup>45</sup> Рождественский Р. Мгновения, мгновения, мгновения... М.: ЭКСМО, 2013. С. 328.

сделали свое дело. Дальнейшие их творческие и жизненные судьбы были разными, но для большинства из них минувшее десятилетие стало временем пересмотра взглядов и избавления от иллюзий. Это определенно относится к Аксенову, Гладилину, Некрасову, Абрамову, Дудинцеву, Тендрякову, Яшину и ряду других пятидесятников, самые значительные произведения которых были написаны в следующие десятилетия.

В 1960 году произошли три события, оставшиеся тогда неизвестными для широкой публики, но, как выяснилось позже, послужившие как бы мостками от пятидесятых к шестидесятым и, далее, к семидесятым–восьмидесятым. Зимой 1959/60 года Александр Гинзбург выпустил первый номер машинописного журнала «Синтаксис»<sup>46</sup>. До своего ареста в июле он успел отпечатать три выпуска. Так начиналась история советского Самиздата. Ее продолжил В. Осипов, выпустивший в ноябре первый номер нового машинописного журнала «Бумеранг»<sup>47</sup>. В декабре на заседании редколлегии «Знамени» прошло обсуждение книги Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», подписавшего в мае договор с редакцией о публикации этого романа. Это был первый случай, когда редакции советского журнала был предложено произведение, в котором действующие лица обсуждали и критически оценивали историю развития советского общества и государства, не обходя такие острые темы, как репрессии 30-х годов, проявления и причины антисемитизма и т. д. Роман, как и следовало ожидать, был единодушно признан антисоветским и отвергнут<sup>48</sup>. Фактически он был провозвестником появившихся позже произведений А. Солженицына, Ю. Домбровского, В. Шаламова. Но всё это, а также многое другое прояснилось значительно позже.

### *Феномен рядовых пятидесятников*

Выступая на упомянутой встрече в театре на Таганке, Василий Аксенов сказал о себе: «А вообще, если говорить о тех явлениях, которые начались в обществе, то я смело могу себя назвать скорее пятидесятником, чем шестидесятником... Я прозрел гораздо раньше, чем все другие»<sup>49</sup>. У Аксенова были веские основания

<sup>46</sup> Оттепель. 1960–1962. М., 1990. С. 449.

<sup>47</sup> Там же. С. 468.

<sup>48</sup> Там же. С. 457, 469–471.

<sup>49</sup> Шестидесятники II. Встреча поколений. Ч. 1. М. 27.05.2006 // [www.liberal.ru/articles/](http://www.liberal.ru/articles/) С.6.

утверждать, что он прозрел раньше других. Репрессированные в 1937 году родители, голодные годы войны (о них он рассказал в автобиографической повести «Лендлизовские»), два года жизни вместе с матерью, Евгенией Гинзбург, в Магадане – центре Колымской зоны ГУЛАГа и поселений бывших «эзков». И всё же его слова могут служить эпитафией к рассказу обо всем поколении, которое вступило в самостоятельную жизнь в 50-е годы. Юный Аксенов был далеко не единственным прозревшим в этом поколении и, стало быть, не единственным пятидесятником в том смысле, в каком он употребил это слово. Их было достаточно много. В 50-е годы обрели известность лишь трое – помимо него еще Евгений Евтушенко и Анатолий Гладилин. Позже известными станут и другие. А пока все они – *иллярк*, никому не известные *рядовые пятидесятники*, не известные в этом качестве даже самим себе.

Это было первое молодое поколение, не попавшее на фронт по возрасту. Самые старшие его представители родились в конце 20-х годов, самые младшие – накануне войны. Это и мое поколение – я родился в 1929 году. Поколение, в котором миллионы мальчиков и девочек потеряли отцов, матерей, близких родственников, расстрелянных или сгинувших в тюрьмах и лагерях в годы сталинского террора 30-х годов. Поколение, в котором другие миллионы детей и подростков не дождались отцов, а иногда и матерей, погибших или пропавших без вести в бескомпромиссной и безжалостной схватке с нацистской Германией. Поколение, которое познало ужасы и тяготы этой войны, одни – на оккупированной немцами территории, другие – в прифронтовых городах и селениях, в блокадном Ленинграде, третьи – в эвакуации. Оно рано узнало, что такое голод, и рано, в тринадцать–пятнадцать лет, а в деревне гораздо раньше начало трудовую жизнь. Оно духовно возросло в обстановке патриотического подъема и параллельно познавало обратную сторону жизни, становясь свидетелями, а то и жертвами вечных спутников войны – жестокости, подлости и предательства. Те, кто родился на рубеже 20-х–30-х годов, окончили школу и поступили в университеты и институты в первые послевоенные годы, а окончили их в первой половине 50-х, на переломе эпохи – от сталинского казарменно-лагерного, тоталитарного социализма к хрущевско-брежневскому авторитаризму и постепенному погружению советского «развитого социализма» в состояние стагнации и склероза.

Жизнь этого поколения – тема огромная, неподъемная в рамках краткого очерка о пятидесятниках. Оно было пестрым, воз-

можно, более пестрым, чем предыдущее. С одной стороны, родившиеся в послевоенные годы новые молодежные субкультуры: романтики в ковбойках и с гитарой, с головой ушедшие в туристскую жизнь, с песнями за полночь у костров; родственные им студенты-энтузиасты, ежегодно отправлявшиеся убирать урожай в подшефных колхозах и на целине; так называемые «стиляги», перенесшие на советскую почву западные молодежные модели, от одежды и прически до пристрастия к джазу, року и бару. С другой стороны, «правильная» молодежь – карьерные выпускники престижных вузов; новая, более образованная поросль комсомольских функционеров и комсомольцы-дружинники, люто преследовавшие «стиляг». А между первыми и вторыми – основная масса молодежи, именуемой «болотом», обывателями и т. п., но фактически неизменно разнообразной и единой лишь в своей непробиваемой общественно-политической индифферентности.

50-е годы обрушили на нас множество событий. О некоторых из них еще недавно невозможно было помыслить, и вдруг они стали явью, будоража наши умы и чувства. Выставка живописи и скульптуры Дрезденского музея в 1955 году и вернувшиеся вскоре в музейные залы картины зарубежных и российских импрессионистов. Всемирный фестиваль молодежи в Москве летом 1957 года, который был воспринят нами примерно так же, как Колумб и его команда восприняли открытие Америки. Первый конкурс им. П.И. Чайковского, где высшую премию по классу фортепьяно получил американский пианист Ван Клиберн. Взрыв популярности поэзии, и многие сотни ее молодых поклонников, приходивших к памятнику Владимиру Маяковскому послушать таких же молодых, как и они, поэтов. Несколько кинофильмов, перевернувших страницу в истории советской кинематографии, среди них «Летят журавли» Михаила Калатозова (1957) и «Баллада о солдате» Григория Чухрая (1959).

Но это случилось чуть позже, а начало сомнениям и вопросам, раздумьям и постепенному прозрению положили события 1953 года – смерть Сталина, публичное разоблачение фальшивого дела о «врачах-убийцах», низвержение Лаврентия Берии. На этом фоне к месту и ко времени пришлось два литературных текста – первый очерк из «Районных будней» Овечкина и статья Померанцева. «Новые руководители страны еще клянутся Сталиным, – вспоминал Борис Вайль, – но уже входит в жизнь что-то новое. И вдруг появляется статья “Об искренности в литературе”... и автор ее – Померанцев – говорит о неслыханных вещах: что ли-

тература должна быть искренней»<sup>50</sup>. Все эти события горячо обсуждались в среде молодых специалистов, студентов, а также, хотя и редко, в рабочей среде. Постепенно складывались группы друзей, близких по своим критическим раздумьям и связанных взаимным доверием. Так в нашем поколении рождалась еще одна молодежная субкультура – «инакомыслящих».

А затем – XX съезд КПСС, который произвел эффект архимедова рычага, перевернув сознание миллионов советских людей. Стало возможным говорить о таких сторонах нашей жизни и страницах нашей истории, упоминать о которых и после смерти Сталина решались немногие, да и то в тесном кругу. «В середине пятидесятых, – вспоминала Людмила Михайловна Алексеева, – компании возникали мгновенно, какое-то время бурлили, потом распадались. Ни до, ни после ничего подобного в России не наблюдалось. Компании появились в определенный период как социальный институт, востребованный обществом. У нашего поколения была психологическая, духовная, а возможно, и физиологическая потребность открыть свою страну, свою историю и самих себя. В то время это можно было сделать только одним способом – посредством живого общения»<sup>51</sup>. После съезда из инакомыслия проклюнулись первые ростки политической оппозиции режиму, сотворенному в сталинские времена, и его внутренней политике.

О том, как в 50-е годы зарождалась политическая оппозиция и как реагировала на это власть, в отечественной литературе почти ничего нет. В капитальной книге об истории инакомыслия в СССР, написанной Л. Алексеевой, мельком упомянуты три такие группы, арестованные в 1956–1958 годы: группа молодых ленинградцев – Револют Пименов и его товарищи, девять москвичей во главе с Львом Краснопевцевым и группа С. Пирогова<sup>52</sup>. Между тем в найденных автором материалах упоминается 21 «дело» (16 групповых и 5 индивидуальных), возбужденное в 1955–1958 годах Комитетом госбезопасности (КГБ) против лиц, обвиненных в «антисоветской деятельности» (ст. 58 УК РСФСР). Командой «органам» стало закрытое письмо секретариата ЦК КПСС от 19 декабря 1956 года «О мерах борьбы с антипартийными и демагогическими элементами».

---

<sup>50</sup> Вайль Б. Особо опасный. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1980. С. 45.

<sup>51</sup> Алексеева Л. Поколение оттепели. М.: Захаров, 2006. С. 90–91.

<sup>52</sup> Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Вильнюс; М.: Весть, 1992. С. 201.

География арестов достаточно широка: пять «дел» в Москве, три в Ленинграде, по два в Киеве и Минске, по одному – в Алма-Атае Тбилиси, Вильнюсе, Харькове и Сталино (ныне Донецк), Армавире, Таганроге, Сызрани, Архангельске. В группах было от двух до девяти человек, а в целом были арестованы и приговорены к лишению свободы – от года до 10 лет – 65 человек<sup>53</sup>. Примерно 85% из них – в возрасте 19–30 лет. Это именно то поколение, о котором рассказано выше. Самой большой группой были студенты – 19 человек из 53-х, о которых есть сведения, причем не только с обществоведческих факультетов, но и медики, физики, строитель. Вторая группа – 17 человек – специалисты с высшим образованием, в основном преподаватели, а также научные сотрудники и инженеры. Неожиданностью оказалось то, что в подпольных группах заметное участие приняли рабочие – 11 человек – слесари, маляр, шофер, электросварщик, грузчик и т. д., а также шесть конторских служащих.

Приводя эти данные, нельзя не задаться вопросом: насколько они полны? На встрече участников группы Краснопевцева с редакцией журнала «Вопросы истории» один из них, Николай Обушенков, вспоминал: «Когда нас привезли в Дубравлаг в апреле–мае 1958 года, нас поразило обилие молодежи среди заключенных. Были представлены целыми группами Московский, Ленинградский, Киевский и некоторые другие ведущие университеты СССР. В 1957–1958 годах среди лагерной молодёжи было довольно много бывших комсомольских активистов, выступавших до ареста и в лагере с идеями очищения ленинизма от сталинизма или марксизма от ленинизма»<sup>54</sup>. В воспоминаниях об одном из активнейших участников группы Пименова Борисе Вайле рассказывается, что во время его скитаний по лагерям Мордовии и Сибири он встречался с молодыми участниками «подпольных организаций» из разных городов, в том числе из Барнаула и Свердловска, исключенными из разных вузов. Сам он «делал доклады» о состоянии освободительного движения в Ленинграде, в частности «о деле Лени Тарасюка; о деле Дмитриева; да и о более ранних Красильникове, Красовской, Гидони –

---

<sup>53</sup> Крамола: Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежнев. 1953–1982 гг. М.: Материк, 2005; *Молоствов М.* Ревизионизм-58 // [http://scepsis.net/library/id\\_1328.html](http://scepsis.net/library/id_1328.html); Дело Поленова-Пирогова // <http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&id=6055>; Иофе В. Тридцать лет назад, на том же месте (Былое. 1989. № 2/4) /.

<sup>54</sup> «Дело» молодых историков (1957–1958) // *Вопросы истории.* 1994. № 4. С. 124.

всё околонуниверситетская молодежь»<sup>55</sup>. Среди двадцати одного «дела», упомянутого выше, нет ни организаций из Барнаула и Свердловска, ни перечисленных имен ленинградцев. Выходит, во второй половине 50-х годов судебных процессов политического характера, групповых и индивидуальных, было заметно больше? Насколько? И сколько человек было осуждено тогда за антисоветскую деятельность? Можно предположить, что их количество измерялось трехзначным числом.

История молодёжной политической оппозиции 50-х годов пока ждёт своих исследователей. Здесь же я ограничусь кратким рассказом об одной из самых крупных и, так сказать, «продвинутых» организаций, о которой знаю не только по письменным источникам, но и по личным воспоминаниям, и очень сжатой характеристикой подпольного движения в целом.

Группа, неформальным лидером которой был Лев Краснопевцев, состояла в основном из выпускников исторического факультета МГУ. Она складывалась в течение 1953–1956 годов, а в июне 1957 года конституировала себя как нелегальная организация, решившая приступить к пропаганде и агитации против преступного режима, созданного Сталиным и, как полагали ее участники, по сути, не изменившегося после его смерти<sup>56</sup>. Пропагандой они занимались среди своих бывших однокурсников, вместе с которыми окончили истфак в начале 50-х годов, или, став его преподавателями – в студенческой аудитории, главным образом на семинарских занятиях и в индивидуальных беседах с «продвинутыми» студентами.

В июле группа провела первую акцию – разбросала в подъездах жилых домов и в метро триста листовок с подписью «Союз патриотов». Акция была посвящена Июньскому пленуму ЦК КПСС, который ее авторы рассматривали как схватку за власть двух кланов – Хрущёва и Маленкова–Молотова. Победа группы Н. Хрущёва расценивалась ими как государственный переворот с целью укрепления сталинской системы угнетения. Авторы призывали к борьбе против нее и предлагали программу конкретных преобразований, направленных на демократизацию политической системы. В число ключевых пунктов были включены: проведение партийной и общенародной дискуссии; созыв

---

<sup>55</sup> Пенская Е. Умер Борис Вайль (1939–2010) // <http://www.russ.ru/pole/Umer-Boris-Vajl-1939-2010>.

<sup>56</sup> Подробно там же.



чрезвычайного съезда партии и ее чистка; суд над всеми сообщниками Сталина, виновными в убийствах; отмена статьи 58 УК РСФСР; усиление роли Советов; узаконение права трудящихся на забастовку и создание рабочих советов на предприятиях с правом смены администрации.

В листовке были изложены ближайшие требования. Что касается подготовки программы, излагающей идеологические основы и долгосрочные цели деятельности организации, то ее участники даже не приступили к этой работе; аресты последовали слишком скоро. Единственным письменным текстом, который они успели обсудить, была работа Краснопевцева «Основные моменты развития русского революционного движения 1861–1905 годов». Хотя анализ истории большевистской партии и сорокалетнего существования Советской власти остался за рамками работы, автор дал общую оценку большевизму, определив его, а равно и все революционные партии и идеологии в России как «синтез пугачевщины и разинщины с Евангелием»<sup>57</sup>. Рассматривая большевизм как смену одной формы насилия (самодержавия) другой формой – насилием во имя революционной утопии, автор не усматривал различия между ленинизмом и сталинизмом, отвергая и то и другое. В реферате нет ни слова о целях и методах деятельности «Союза патриотов». Судя по всему, автор и не ставил перед собой такую задачу. Единственным намеком на его предпочтения могла служить ссылка на то, что «социализм на Западе встал на реальную почву жизни, всё больше начал сближаться с демократией»<sup>58</sup>. Однако следующую работу – «Кризис социализма», написанную в августе 1957 года, Краснопевцев завершил выводом: «Марксизм кончился в августе 1914 года. И большевизм, и социал-демократия Шейдемана – это уже не марксизм... Социализм откладывается, по крайней мере, до того времени, пока оба эти антипода не расшибуют себе лбы и не будут сломлены новыми течениями в рабочем движении»<sup>59</sup>.

Эту работу автор не успел раздать. В августе–сентябре 1957 года участники группы были арестованы, обвинены в создании нелегальной организации и антисоветской деятельности и отданы под суд. Он состоялся в начале февраля 1958 года, и сразу же после его завершения председатель КГБ И. Серов направил

---

<sup>57</sup> Вопросы истории. 1994. № 4. С. 111.

<sup>58</sup> Там же. С. 111.

<sup>59</sup> Там же. С. 135.

в Политбюро ЦК КПСС «сов. секретную» записку. В ней сообщалось, что 12 февраля Московский городской суд приговорил к лишению свободы на срок от шести до десяти лет участников подпольной антисоветской организации. В основном это выпускники исторического факультета МГУ (год окончания – в скобках): аспирант кафедры марксизма-ленинизма МГУ Лев Краснопевцев (1952); к. и. н., ассистент кафедры новой истории МГУ Николай Обушенков (1952); к. и. н., ассистент кафедры источниковедения МГУ Николай Покровский (1952); преподаватель истории Всесоюзного заочного техникума легкой промышленности Леонид Рендель (1950); научные сотрудники Института востоковедения АН СССР Марат Чешков (1954) и Владимир Меньшиков (1955); студент 4-го курса истфака МГУ Вадим Козовой, а также инженер Пролетарского РЖУ г. Москвы Марк Гольдмарк и инженер-конструктор завода № 156 (ЦАГК) Михаил Семененко.

Председатель КГБ также информировал, что в ходе следствия удалось выявить «лица, которые в некоторой степени были причастны к антисоветской деятельности ликвидированной организации» или знали «об антисоветских настроениях отдельных участников»<sup>60</sup>. В документе были названы пятнадцать лиц, все они также окончили истфак МГУ. В числе «причастных» значились: жена Л. Краснопевцева, сотрудница библиотеки им. Горького МГУ Любовь Краснопевцева (выпуск 1956 г.) и три его однокурсника – к. э. н., м. н. с. Института мировой экономики и международных отношений Борис Михалевский, преподаватель истории 93-й средней школы г. Москвы Натан Эйдельман и к. и. н., м. н. с. Института востоковедения АН СССР Леонид Фридман (1952). К «знавшим» о взглядах Краснопевцева были причислены пять истфаковцев выпуска 1953 г.: мл. редактор Госполитиздата Том Петров; преподаватель истории 479-й средней школы г. Москвы Юрий Борко; м.н.с. Института марксизма-ленинизма Эдуард Клопов; м. н. с. Института китаеведения АН СССР Арлен Меликсетов; сотрудник Фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР Леонид Гордон. В записке рекомендовалось принять в отношении всех названных лиц административные меры, а в отношении членов КПСС – партийные взыскания.

---

<sup>60</sup> Цитаты и факты приведены по хранящейся у автора копии упомянутой записки, сверенной с копией, находящейся в архиве «Мемориала» (ф. 167 оп. 1, д. 1), в свою очередь, скопированной с оригинала, хранящегося в ЦХСД (ф. 89, оп. 6, д. 8).

Первая четверка действительно всё знала и активно участвовала во встречах и дискуссиях, но по разным причинам не участвовала в заседании, конституировавшем подпольную организацию. Что касается нашей пятерки, то мы подружились с Львом Краснопевцевым еще в студенческие годы. В частности, Арлен и я в течение двух лет трудились вместе с ним в студенческой бригаде, выезжавшей на уборку урожая в одном из подмосковных колхозов подшефного Зарайского района. Летом 1956 года, после XX съезда КПСС, он предложил нам создать кружок, чтобы вместе профессионально разобраться в истории Советского государства и правящей партии после смерти Ленина, вплоть до марта 1953 года. Мы согласились, сразу же договорившись о строжайшей конспирации. Встречались редко, когда возникала совпадавшая пауза в делах и позволяли домашние условия. Всего за год, с лета 1956-го по конец лета 1957-го, у нас состоялось не более пяти встреч, последний раз в начале июня, когда Краснопевцев рассказал нам о поездке в Варшаву и встречах с молодыми польскими оппозиционерами. Надо сказать, что мы обсуждали в основном не историю, а текущую ситуацию в стране и за рубежом. В частности, были солидарны с восстанием венгров против репрессивного режима Матиаса Ракоши и осудили действия нашего правительства, бросившего против восставших советские войска. Были единодушны с Краснопевцевым в критике советской политической системы после прихода к власти Н.С. Хрущева и его внутренней политики, но расходились с ним в оценке отношения большинства населения к этой системе и персонально к Хрущеву. Краснопевцев считал, что народ готов свергнуть этот режим и остается только подтолкнуть его к действиям. Мы считали, что он ошибается. На первой же встрече он спросил нас, ограничимся ли мы академическим обсуждением нашей истории или сделаем из него практические выводы. Вопрос был неожиданным, но смысл – понятным, и Арлен Меликсетов ответил: давайте сначала разберемся в том, как и почему произошло то, что произошло, а потом решим, что нам делать. Больше к этому вопросу Краснопевцев не возвращался, но, как стало ясно позже, перенес центр своих усилий на создание действующей нелегальной организации.

Мы о ней узнали после ареста Краснопевцева, последовавшего 29 или 30 августа 1957 года. Мне на следующий же день сообщил об этом однокурсник, направленный после окончания истфака работать в аппарат вице-ректора МГУ по обществоведческим

и гуманитарным факультетам. Он сказал, что в ректорат пришло из КГБ письмо, в котором были названы как арестованные бывшие истфаковцы, так и некоторые их друзья, в том числе я и три моих друга, и предупредил, что нас могут вскоре вызвать на Лубянку, и нам надо как можно скорее выработать общую позицию, что мы и сделали. Но нас не вызвали, а в марте 1958-го в партийную организацию школы, где я работал, пришло распоряжение районного комитета КПСС рассмотреть мое персональное дело и вынести взыскание с предложенной райкомом жесткой формулировкой. Мне был объявлен строгий выговор «за потерю политической бдительности и примиренческое отношение к буржуазной и ревизионистской идеологии». Примерно такие же взыскания получили и мои друзья.

Как стало известно в 90-е годы, до того как состоялся суд, в КГБ был составлен гораздо более обширный список лиц, находившихся в дружеских связях с арестованными. В нем значилось около 150 имен, включая 12 человек, которых КГБ намеревался арестовать в дополнение к девятке. Но Генеральная прокуратура СССР не дала санкции на их арест, поскольку они не входили в состав подпольной организации и не участвовали в распространении листовок. На упомянутой выше встрече в редакции «Вопросов истории» В. Меньшиков, рассказывая об организации, аресте, пребывании в лагере и т. д., упомянул, что, как говорили им следователи, «случись это годика три назад, вас бы просто расстреляли, а человек триста точно бы село по вашему делу лет на десять минимум»<sup>61</sup>.

У группы Краснопевцева было много общего с другими группами, попавшими в сети КГБ в те же годы. Все они, за исключением одной, возникли как нелегальные организации в короткий период с февраля 1956-го по первую половину 1957 года, то есть после XX съезда КПСС, сыгравшего роль катализатора оппозиционных настроений в стране, особенно среди молодежи. На воображаемом знамени этих групп был начертан девиз: «От слов – к делу!» Переход к действиям происходил в двух формах – устной пропаганде своих взглядов, включая, главным образом в вузах, открытые выступления на собраниях, диспутах и т. п., и распространении листовок. По неполным сведениям, половина групп до ареста успели или готовились распространить листовки. Некоторые группы намеревались самостоятельно собрать гекто-

---

<sup>61</sup> Вопросы истории. 1994. № 4. С. 113.

граф для печатания агитационных и пропагандистских материалов, однако времени на это у них не оказалось.

Дать какую-то обобщенную характеристику программных взглядов всех групп представляется почти невозможным делом. Единодушия не было даже внутри групп. В группе Краснопевцева, например, спектр взглядов простирался от полного отрицания марксизма и социализма, которому был противопоставлен реальный опыт развития капитализма и западной демократии, до резко отрицательного отношения к сталинизму при сохраняющейся приверженности марксизму-ленинизму. Как вспоминал через многие годы член этой группы Владимир Меньшиков, «до лагеря (да и в лагере, может быть, в меньшей степени) ни у кого из нас (как и у ребят из других групп) не было законченной, четко выстроенной, до конца продуманной и понятной идеологии»<sup>62</sup>.

Тем не менее кое-что можно обозначить. Общим для всех подпольных групп было осуждение сталинизма, наследником которого большинство участников считали Хрущёва. Сталинизму, как правило, противопоставлялся марксизм-ленинизм. Минский студент-медик В. Козлов, создавший в 1954 году вместе со своим другом и, возможно, однокурсником Д. Морошеком подпольный литературный кружок с целью его последующего преобразования в подпольную организацию, написал «Манифест русских марксистов-ленинцев»<sup>63</sup>. Возникшая в Ленинграде группа В. Трофимова, состоявшая в основном из студентов, учредила осенью 1956 года «Союз коммунистов-ленинцев» в целях борьбы за «истинный социализм». Созданный в 1956 году в Сызрани «Комитет борьбы за свободу» (трое из четырех его участников были рабочими) распространил в июне 1957 года листовку, в которой объявлял: «Мы... отвергаем сталинско-хрущевский социализм – государственный капитализм. Мы за социализм Ленина»<sup>64</sup>. Вероятно, на такой же идейной основе был создан «Социалистический союз борьбы за свободу» («Дело Фельдмана-Парташникова», Киев, 1956).

По-видимому, сторонников более радикальной точки зрения – противопоставления марксизма не только сталинизму, но и ленинизму – было немного. Во всяком случае, ни одна группа, о которой мы имеем какие-либо конкретные сведения, не заявляла об

<sup>62</sup> Меньшиков В. Мысли по поводу...// История инакомыслия. С. 73.

<sup>63</sup> ГА РФ, Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 71161.

<sup>64</sup> ГА РФ, Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 86658.

отказе от социализма как такового. В числе конкретных задач назывались борьба против засилья партийной и государственной бюрократии, реабилитация жертв сталинских репрессий, демократизация, «борьба за правду», рабочее самоуправление, «улучшение жизни народа». Собранные вместе, эти задачи можно оценить как первые наброски программы реформ, которую в середине 1960-х годов, вне всякой связи с подпольем 50-х годов в Советском Союзе, разработали чехословацкие руководители во главе с Александром Дубчеком, решившие построить в стране «социализм с человеческим лицом».

Особняком от всех стояла группа, созданная в Москве в 1956 году и назвавшая себя «Народно-демократической партией». Входили в нее пять человек, а основали ее шофер В. Поленов и студент Ю. Пирогов. По сути, это был эмбрион русского национализма. Участники группы называли себя «русскими патриотами» и ставили своей задачей возрождение традиционных ценностей русского народа и борьбу с еврейским засильем в СССР. В мае 1958 года они были арестованы и осуждены за пропаганду своих взглядов и распространение листовок на длительные сроки заключения<sup>65</sup>.

В целом политическая оппозиция 1950-х годов представляла собой слепок с российского революционного движения в конце XIX века, вплоть до того, что одна из подпольных групп, которую попытались создать в Таганроге, была названа «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса», подобно той организации в Санкт-Петербурге, в которой начинал свою революционную деятельность в 1895 году Владимир Ульянов. Начальный этап революционной деятельности на базе марксистской доктрины, кружковщина, курс на радикальное изменение или свержение политической системы, не исключая, как было заявлено в двух-трех случаях, вооруженного восстания. Подпольное движение было разгромлено очень быстро. Первый судебный процесс состоялся в январе 1955 года, последний – в декабре 1958 года. Неискушенным конспираторам противостояла мощная и многоопытная организация, насчитывавшая десятки тысяч сотрудников и опиравшаяся на плотную сеть осведомителей. Как правило, аресты следовали вскоре после первой акции с распространением листовок, иногда через несколько дней, а в ряде случаев еще в период подготовки такой акции. Средний срок существования груп-

---

<sup>65</sup> <http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&id=6055>

пы составлял примерно год, некоторые группы прожили три-четыре месяца, две группы продержались около двух лет. После такой «чистки» молодёжное подполье не давало о себе знать несколько лет.

В целом это был эмоциональный порыв – «Не можем молчать!» – последовавший за XX съездом КПСС и ускороенный событиями в Венгрии и Польше. Он заслуживает глубочайшего уважения. Но непосредственного продолжения он не имел. В иное время и в иных странах один-два политических процесса, подобных тем, о которых рассказано выше, вызвали бы огромный отклик в обществе. Имена участников стали бы известны не только в своей стране, но и за ее границами. В Советском Союзе они, возможно, сыграли бы роль, сходную с той, какую столетием раньше сыграли декабристы, «разбудившие Герцена». Но ничего подобного не случилось. За три года в стране прошло более двадцати таких процессов – и никакого резонанса. Сталин умер, Берия расстрелян, «культ личности» разоблачен. Но система изоляции общества от того, что ему не положено было знать, и тотального контроля над информацией продолжала действовать. От подпольщиков не сохранилось никаких «самиздатовских» рукописей. Информация о них расплзалась по стране, но те, кто что-то знал, были очень осторожны, потому что распространение «враждебных и клеветнических слухов» было уголовным преступлением и грозило лагерным сроком. О процессах и приговорах знали в коллективах Московского, Ленинградского, Киевского университетов, других вузов и учреждений, студенты, выпускники или сотрудники которых были арестованы и осуждены, не говоря уже о семьях, родственниках и друзьях, у которых тоже были друзья, – словом, десятки тысяч человек. Далеко не все, но всё же многие знали о критических взглядах, нравственных и общественных идеалах осужденных. И опять же не все, кто знал об этом, но немалая часть из них сочувствовали им, в той или иной степени были солидарны с ними.

Упоминания о лицах, связанных с подпольщиками, встречаются в материалах, посвященных и другим группам. На судебном процессе, где на скамье подсудимых находились пять человек во главе с Р. Пименовым, были упомянуты 23 человека, так или иначе связанных с ними, но не участвовавших в распространении листовок. Глухо упоминаются единомышленники в материалах о группах В. Трофимова и М. Молоствова. В апреле 1956 года «Правда» опубликовала статью о чистоте коммунистической иде-

ологии. В ней, в частности, сообщалось, что в одном из академических институтов нашлись четыре члена партии, которые «поют с голоса меньшевиков и эсеров»<sup>66</sup>. Работали они в институте теоретической и экспериментальной физики АН СССР, а лидером этой группы был Юрий Орлов, впоследствии ставший одним из лидеров «диссидентского» движения в стране. Все они были исключены из партии и уволены из института. В 1957 году аспирант Института востоковедения Виктор Шейнис написал статью «Правда о Венгрии», осудив в ней советское военное вмешательство во внутренние дела страны и подавление восстания венгров против террористического, подобного сталинскому режиму. Автор был исключён из комсомола, отчислен из аспирантуры и направлен «для перевоспитания» на Кировский завод, где проработал у станка шесть лет. Аспирант биологического факультета МГУ Сергей Ковалев в эти же годы выступил с критикой «лысенковщины» и защитой генетики, еще при жизни Сталина объявленной ложной и идеологически вредной научной теорией.

Надо сказать, что для тех, кто находился в тесных отношениях с осуждёнными товарищами, все произошедшее было шоком и вместе с тем отрезвляющим душем. Одни отныне избегали любых разговоров на общественно-политические темы, другие обсуждали, как себя вести, чтобы «не было мучительно больно...». В частности, такие дискуссии велись в кругу выпускников МГУ, историков, философов и экономистов, окончивших его в 50-е годы. Возникла даже концепция «малых дел» как альтернативы заведомо проигрышной нелегальной политической борьбе против власти. Вкратце она выглядела так: делай свою работу профессионально, не отступай от нравственных императивов, иди на разумный риск и не избегай компромиссов, если это необходимо и если ты при этом не предаешь самого себя или своих единомышленников. Конечно, изложенная в общей форме, эта концепция звучит очень дидактично, тем не менее она может быть подтверждена практическим опытом многих конкретных людей, работавших во всех сферах жизни нашей страны в 60-е – 80-е годы.

Сколько их было – единомышленников, не раскрытых «органами», или взятых на заметку, но не подпадавших под памятную статью 58 УК РСФСР? Тысячи? А сколько таких, кто никакого отношения не имел к осуждённым, вообще ничего не знал о них, но регулярно читал в 50-е годы «толстые» общественно-политические

---

<sup>66</sup> Правда. 1956. 5 апр.



и литературные журналы? Их аудитория, напомним, насчитывала несколько миллионов думающих читателей, и существенную часть из них составляло молодое поколение, о котором идет речь в этом разделе. Процесс их прозрения развивался подспудно и негласно, с какого-то момента по внутреннему побуждению, на свой страх и риск. Это их имел в виду Виктор Шейнис, вспоминая много позже о подъеме демократического движения в конце 80-х годов: «Молодое поколение – люди, чья социализация пришлось на после- сталинское время, стали ядром такого общественного движения, о котором и помыслить нельзя было за два-три года до того»<sup>67</sup>.

Во всяком случае, мы вправе говорить о *рядовых пятидесятниках как о специфическом феномене советского общества в 50-е годы*. При всем разнообразии личных качеств, профессий, биографий, типов поведения и т. д., их сближали три признака – высокие нравственные стандарты, критическая оценка сложившейся политической системы как антидемократической и бюрократической, а также принципов деятельности и фактической роли правящей партии и – несмотря на это – сохраняющаяся за редкими исключениями приверженность социализму. «Большинство из нас, – вспоминала позже Л. Алексеева, – придерживались социалистических взглядов и в 1953-м, и в 1956-м, затем в течение двенадцати славных лет “оттепели” мы об этом почти не задумывались. В 1968 году мы еще верили в социализм»<sup>68</sup>.

Из этого поколения вышли почти все участники восьмерки, вышедшие на Красную площадь 25 августа 1968 года в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию; диссиденты и правозащитники 70-х и 80-х годов – Владимир Буковский, Александр Гинзбург, Сергей Ковалев, Людмила Алексеева, Анатолий Марченко и другие. Из него вышли и выдвинулись на первые позиции молодые ученые-обществоведы, поставившие во главу угла поиск научной истины и преодолевавшие рамки догматизма, псевдонауки и официальной идеологии – Борис Грушин, Герман Дилигенский, Татьяна Заславская, Лен Карпинский, Юрий Левада, Мераб Мамардашвили, Георгий Мирский, Станислав Шаталин; Виктор Шейнис, Николай Шмелев и т. д. Из него вышли молодые писатели, поэты, драматурги, журналисты, кино- и театральные режиссеры, актеры, художники и скульпторы, компо-

<sup>67</sup> Шейнис В. Власть и закон. Политика и конституции в России в XX–XXI веках. М.: Мысль, 2014. С. 361.

<sup>68</sup> Алексеева Л. Поколение оттепели. М.: Захаров, 2006. С. 216.

зиторы, продолжавшие и развивавшие творческие направления, родившиеся в 50-е годы. Наконец – последнее по месту, но не по значению, – из него вышли сотни тысяч учителей, врачей, инженеров и конструкторов, агрономов, научных сотрудников, руководителей предприятий и даже низовых партийных функционеров и советских служащих, которым в перспективе предстояло стать критической массой движения за обновление советского общества и государства.

### *Что нового привнесли «шестидесятники»?*

Эта тема заслуживает отдельного исследования и здесь изложена лишь тезисно. 50-е годы действительно были временем Оттепели. Множество людей постепенно оттаивали, освобождались от леденящего страха, который, подобно арктическому паку, в течение трех десятилетий сковывал их души. Немалую роль в этом – хотя не будем ее преувеличивать – сыграл тот круг людей, которых я назвал пятидесятниками. В их среде родилась и в разных видах проявилась новая общественная субкультура – *инакомыслие*. С этим образом мыслей и поведения, с накопленным жизненным опытом они вошли в новое десятилетие. Пятидесятники стали шестидесятниками. Разница между Оттепелью 50-х и шестидесятничеством заключается как в содержании инакомыслия, так и в масштабе и формах общественной активности инакомыслящих. В начале десятилетия прошла вторая серия судебных процессов против подпольных групп, а затем протестное движение в стране повернуло на новый путь: в Советском Союзе впервые с 20-х годов возникла открытая оппозиция, выступившая с протестом против попыток власти реабилитировать Сталина и потребовавшая от нее соблюдать декларируемые в Конституции демократические свободы, права человека, провести экономические и политические реформы.

Основные направления и формы шестидесятничества:

- публичная постановка назревших проблем советского общества и государства. В 1963 году состоялась первая с конца 20-х годов открытая дискуссия об экономической реформе, в ходе которой были критически проанализированы недостатки действующей директивной экономической системы;

- первые публичные протесты против действий или намерений властей: 1965 год – митинг в Москве с требованием гласности суда над писателями Ю. Даниэлем и А. Синявским; 1966 год – от-

крытое письмо двадцати пяти видных деятелей науки, литературы и искусства Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу против реабилитации Сталина; август 1968 года – акция протеста на Красной площади против вторжения войск стран ОВД, в первую очередь советских, в Чехословакию;

– развитие правозащитного движения: сбор и распространение информации о новых репрессиях – Самиздат (1960 – «Синтаксис»; 1968 – «Хроника текущих событий» и т. д.); в 1970 году А.Д. Сахаров, А.Н. Твердохлебов и В.Н. Чалидзе создали Комитет по защите прав человека в СССР;

– формирование политической оппозиции советскому государству и монопольному положению КПСС (П.Г. Григоренко, В.К. Буковский, Ю.Т. Галансков и др.);

– первые литературные произведения (А.И. Солженицын. Один день Ивана Денисовича) и публикации в журналах воспоминаний и документов о массовых репрессиях и жизни заключенных в лагерях ГУЛАГа;

– «инакомыслие» в общественных науках (философия, экономическая наука, политология и социология, филология);

– «инакомыслие» в литературе, кино, театре, живописи и скульптуре (А.И. Солженицын, В.Т. Шаламов, Ю.О. Домбровский; «Современник», вечера поэзии в Политехническом; Ленком; В. Высоцкий; Эрнст Неизвестный).

Общая характеристика 60-х годов: от строительства коммунизма – к подавлению «социализма с человеческим лицом». 17–31 октября 1961 года состоялся XXII съезд КПСС. В утвержденной съездом III программе партии главной целью было декларировано построение коммунистического общества в СССР. «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», – заявил с трибуны съезда Н.С. Хрущёв. «Строительство коммунизма» началось с того, что в мае 1962 года цены на мясо и сливочное масло в стране были повышены на 35%, а в 1963 году впервые с 20-х годов начался импорт зерна, продолжавшийся вплоть до 90-х годов. В делах внутренних среди всего прочего КПСС и государство проводили политику кнута и пряника в отношении творческой интеллигенции. Завершением 60-х годов стали советские танки, раздавившие в августе 1968 года недавно посаженные деревца Пражской весны. Эта акция предопределила дальнейший путь развития внутренней и внешней политики СССР, закончившийся крахом советского «развитого социализма» и распадом советской империи.

Август 1968 года подвел черту и под шестидесятничеством. Оно себя исчерпало. Его важнейшая особенность состояла в том, что трезвое, критическое восприятие советской действительности и политики партийно-государственной номенклатуры сочеталось в нем с родившейся надеждой, можно сказать, романтикой Оттепели 50-х годов, ожиданием дальнейших преобразований и расширения пространства свободы, которое в конечном счете является главным свидетельством общественного прогресса. После 1968 года стало ясно, что оно не только не расширилось, но, скорее всего, начнет сужаться. В этом смысле шестидесятничество потерпело поражение. А шестидесятники – те, кто не сломался, не ушел в личную жизнь, не эмигрировал или не был изгнан из страны, – заново оценили перспективы советского социализма, содержание и условия оппозиционной деятельности. В числе произошедших перемен более четко выделились три направления диссидентства – политическая оппозиция правящей партии и государству; правозащитное движение; отстаивание свободы творчества, свободы мысли и образа в науке, литературе и искусстве. Все три направления проявляются на протяжении 70-х – 80-х годов, вплоть до перестройки и гласности. В этом смысле шестидесятничество продолжало жить и играть позитивную роль в общественной жизни страны вплоть до наступления новой эпохи в истории России.

## Мой друг Том Петров

«Том Петров», – сказал он, протягивая руку и глядя мне в глаза. Знакомство как знакомство. Но мгновенно возникшее чувство необычности было настолько острым, что я носил его в себе долгие годы. Оно и сейчас, через полвека, таится где-то в глубинах моей души.

\* \* \*

Полвека нашей дружбы – это 1998 год. Я начал записывать мои воспоминания о Томе в 1999-м. Время от времени я возвращался к записям, чаще всего неожиданно, когда какое-то событие или случайный разговор напоминали мне о прошлом, в котором неизменно присутствовал Том, и в моей памяти всплывал какой-нибудь забытый эпизод, или в моих размышлениях о давно ушедшем друге возникало что-то новое. Последние записи относятся к лету 2009 года.

\* \* \*

Он ушел из жизни 8 апреля 1986 года, за две с половиной недели до своего 56-летия. В этом была какая-то чудовищная несправедливость. С юных лет спортсмен, отличный баскетболист и лыжник, Богом одаренный силой и выносливостью. И вдруг – поворот, еще не предвещающий скорой развязки. Всего лишь ангины. Ну с кем не бывало? Тома она «наградила» аритмией сердца. А дальше – больше: тахикардия прогрессировала, стала неизбежной тяжелейшая операция – замена износившихся сердечных клапанов новыми, искусственными. Вместо импортных клапанов, работающих в течение четырнадцати лет, поставили свои, отечественные, с наполовину меньшим сроком годности. Том прожил с ними восемь лет. Он мог бы прожить дольше, если бы вел себя иначе до первой операции и тем более после нее. Том мог бы прожить больше, если бы он не был Томом. К такому заключению я пришел не сразу. Время успокаивает, и тогда начинаешь размышлять и видишь то, что нельзя и, возможно, не хочется видеть, когда рана открыта и саднит, саднит... А тогда, в день его смерти, у меня родились первые строки, посвященные Тому.

Недобродили по земле,  
Недогляделись на закат...  
Идут часы, друзья сидят,  
А Ты плывешь в крошечной мгле.

Недосмеялись за столом,  
Недомолчали у костра.  
Остались все «недо» вчера,  
И не махнешь рукой: «Потом!»

Бокал нетронутый стоит,  
И стул заждался по теплу,  
И вечер сумрачно молчит,  
Прильнув к оконному стеклу.

Мы – здесь, в кругу. А Ты незрим,  
Затих и не откроешь уст.  
Тебе – покой, а нам, живым, –  
Живая боль, живая грусть

И в память – твой открытый взгляд...  
Прощай, мой друг. Прости, мой брат.

Ну что ещё я мог сказать в те дни? Я имею в виду не стихи; тут уж что есть – то есть, сколько Бог вложил, столько и выдаешь, а по сути – вошь души. И так весь год. Я писал ещё и ещё. Затем поэтический пыл пропал, и я несколько лет ничего не сочинял. А Том ушёл в иную сферу моей внутренней жизни, где его судьба была уже неотделима от судеб его родителей и его собственной семьи, судеб его друзей, от судьбы страны и царивших в ней порядков. Размышления накатывали – по случаю, по ассоциации, а то и без повода. Я не задавался целью привести их в какую-то логическую систему, а идея записать некоторые воспоминания и размышления о Томе пришла мне в голову, когда я прочел книгу Миши Подгородникова. Я не претендую на бесспорность моих суждений.

\* \* \*

Том ушёл из жизни и унёс с собой какую-то тайну. Тайну своей притягательности и тайну своей так и не раскрывшейся личности. Наша дружба зародилась после первого курса учебы на истфаке МГУ и длилась по день его смерти; тридцать семь долгих лет, проведённых – за исключением двухлетней паузы – бок о бок. Но он остался в чем-то неразгаданным для меня. Однажды я сказал об этом Арлену Меликсетову, который был среди нас его самым ранним другом.

Накануне, это было 8 апреля 1998 года, мы сидели у Эдика Клопова и вспоминали Тома. Мы собрались в день его смерти уже тринадцатый раз. Арик принес повесть о Томе и его родителях, написанную их общим одноклассником Михаилом Подгородниковым. Я прочел ее тотчас. Повесть не получилась. Да и с чего бы ей получиться, если после окончания школы Михаил с Томом практически не общались. Правда, их класс ежегодно встречался в течение многих десятилетий, но на таких встречах дверь распахнута только в общее прошлое, но не в личную жизнь и внутренний мир расслабляющихся «мужиков». Так что нового Тома, оставившего где-то в юности роль бессменного лидера-заводилы и не знающего устали капитана баскетбольной команды, умудренного и уставшего Тома с его нелёгкой судьбой, душевными драмами и прогрессирующей болезнью сердца автор не знал. Он беседовал с некоторыми университетскими друзьями Тома, но, как оказалось, даром проникновения, позволяющим воссоздать из собранных сведений живую фигуру, он не обладал. Я про-

чел повесть залпом и тут же позвонил Арику. «Ты знаешь, – сказал я, – в том, что у Миши не получилось, нет ничего неожиданного. Он не знал Тома. Но меня ошеломило другое – я тоже не очень-то представляю, о чем бы написал, если бы вздумал рассказать о нем».

\* \* \*

Есть разные виды незаурядности. Я бы сказал, что существует столько видов незаурядности, сколько видов человеческой деятельности, вариантов самовыражения личности. Никто никогда не подсчитал, каков потенциал незаурядности и какая его часть реализуется в делах необыкновенных. По-видимому, очень малая, и потери начинаются в самом раннем возрасте. Ведь говорят, что в каждом ребенке сокрыт гений. Возможно, здесь есть преувеличение, но дети, действительно, поразительно талантливы. Куда все пропадает, когда они вырастают? Дело даже не в том, что остается невостребованным талант. Самое худшее – ломаются натуры, пропадают кураж и воля, без которых ничего не получится, будь ты семи пядей во лбу.

Возможно, именно поэтому так редок и так впечатляет особый вид незаурядности – врожденная и проходящая через всю жизнь самобытность человеческой натуры. Она не обязательно воплощается в творческие, новаторские дела – открытия учёного, творения композитора, спортивные рекорды и т. д. Это незаурядность каждодневной верности себе и своему пониманию понятия «личность». Жребий трудный, требующий очень крепкого характера. Но повышенной концентрации этого качества зачастую сопутствует нехватка некоторых других качеств, которые гораздо более полезны для устройства личных дел, служебной карьеры, добывания жизненных благ и т. п.

Всё это имеет прямое отношение к Тому Петрову – его личности и его судьбе. Он как никто другой из тех людей, с которыми мне довелось встретиться и общаться за мои восемьдесят лет, обладал именно такой незаурядностью. Это впечатление возникало буквально с первых минут знакомства с ним. Было что-то магнетическое в его мгновенном взгляде, в движении руки, протянутой для рукопожатия, в тональности его голоса. Я испытал это на себе, и много раз наблюдал, когда он знакомился с другими людьми. А превратности его жизненного пути убедительно говорят о том, насколько тяжела эта ноша – оставаться верным себе. Кстати,

и это очень важно, Тому была чужда жертвенность, а тем более нередко сопутствующая ей сентиментальность. Мне кажется, что Тома порой тяготила «вылитость» его характера, но изменить себе он не мог. Это было выше его сил. Прав ли я в своем предположении? Как знать. Ни подтвердить его, ни опровергнуть уже нельзя. Во всяком случае, так мне кажется теперь, когда я перебираю в памяти прошлое.

\* \* \*

Шефство студенческого комсомола над советским селом началось не с целины. Не знаю, как было до Отечественной войны, но после ее завершения студенческие бригады «встали на трудовую вахту» в колхозах уже в 1946–1947 годах. Тогда их бросали прежде всего на уборку зерновых. Так было в Московской области, и так же, насколько я знаю, обстояло дело и в других областях с мало-мальски значительным зерновым клином. В те времена это был «ударный фронт» – не просто хлеб, но стратегический продукт, насильственно и задаром изымаемый у крестьян в виде хлебопоставок. Мне теперь кажется, что студентов ставили на эту работу не только из-за катастрофической нехватки мужской рабочей силы в послевоенной деревне, но еще и потому, что уборку и сдачу зерна «родному Советскому государству» надежнее было возлагать на них. В отличие от измотанных и затырканых деревенских женщин, оставшихся без мужиков, с постоянно голодными мал мала меньше детьми студентам незачем было воровать зерно. А уж приезжали-то добровольцы один идейнее другого.

И мы были такими, когда записались по окончании первого курса «в колхозники». Эдик и я почему-то задержались и приехали в деревню дней на пять или шесть позднее. Пришли мы к вечеру и, как говорится, в судьбоносный час нашей бригады. Только что свершилась маленькая революция: переизбрали командира и комсорга бригады. Я не помню, пришли ли мы к концу собрания или после него. Помню, что «свергнуты» были Дим Петров и Неля Радина, но, странное дело, я не могу припомнить, кого избрали вместо них. Не уверен, что бригадиром был избран Том, но неформальным лидером, несомненно, был он. Лидер по природе – это человек, готовый взять на себя ответственность, особенно в критической ситуации, когда надо принимать решение, сопряженное с риском, в том числе и особенно для себя. Том сполна обладал этим качеством, оно было органичным для него. И вот



что удивительно: тогда ни у кого из нас еще не было случая лично убедиться в том, что это так. Но его лидерство принималось как нечто само собой разумеющееся. Может быть, немалую роль играло то, как ловко он работал, подцепляя вилами увесистые снопы ржи и швыряя наверх молотилки, где их принимала, мгновенно рассекала ударом ножа перевязку и бросала в чрево рычащей машины наша однокурсница Люся Астафьева. И еще, Том был человеком действия. Это особенно бросалось в глаза на нашем общем гуманитарно-интеллектуальном фоне, где каждый второй обладал бездонными ресурсами красноречия и обсуждение простого вопроса могло растянуться на часы. Я не припомню конкретных случаев – полвека пролетело, но то, что я имею в виду, выглядит примерно так: можно три дня спотыкаться о расшатанный дверной порог, а всего-то и дела, что взять молоток и тройку гвоздей да и накрепко закрепить порог. Фирменный стиль Тома – взять молоток и гвозди. А делал он всё очень споро. И крепче других был физически, и брал на себя – как бы между прочим – больше, и шноровкой отличался отменной.

\* \* \*

Недавно я прочел этот отрывок моим друзьям – Эдику Клопову и его жене Лене Белозеровой. Прослушав, она рассказала, что как-то, разговаривая с Лёней Гордоном, спросила его, кто в нашей мужской компании является лидером. Он не раздумывая ответил: «Том». – «А разве не ты?» – спросила Лена. «Нет, – эмоционально отреагировал Леонид, – лидером был и остается Том». Услышать от него такое, зная, насколько высоки его собственные лидерские амбиции, многого стоит.

В наше возникшее на истфаке и прошедшее через всю дальнейшую жизнь мужское содружество, о котором упомянула Лена, входило шесть однокурсников – помимо Тома Петрова Арлен Меликсетов, Леонид Гордон, Эдуард Клопов, Андрей Авдулов и автор этих воспоминаний. Шесть человек, очень разных – по характеру, складу ума, темпераменту, манере поведения и т. д. Все шестеро обладали лидерскими качествами, которые быстро проявились там, где они работали, – как правило, в научно-исследовательских и учебных институтах. Но в самой шестерке явного и признаваемого всеми лидера не было. Это было содружество равных, в этом заключалось одно из высших его достоинств и секрет его устойчивости. Тем не менее, Лёня был прав, выделив

Тома среди остальных. Правда, была в его словах одна неточность: Том к этому времени не был лидером, но он оставался первым среди равных. Первым, потому что он был началом. От Тома и к нему потянулись нити взаимных симпатий, связавшие в большую товарищескую компанию пришедших из разных мест сокурсников и сокурсниц. Позднее, не к концу даже, а уже после окончания истфака, сложились и шестерка, и более широкая, устоявшаяся дружеская компания. И встречаться мы стали в разных домах. Но мы помнили, «откуда есть пошла» наша дружба и кто разжёт наш костер. Том Петров был первым среди нас.

\* \* \*

У Тома была своя, ни на кого не похожая манера знакомиться. Он протягивал, нет, скорее выдвигал вперед руку, чуть согнутую в ладошке. Этот жест-приглашение вместе с доброжелательно спокойным взглядом, глаза в глаза, создавал впечатление открытости и готовности к товарищеским, даже доверительным отношениям. Я не помню, так ли мы знакомились или нет, – я слишком часто был свидетелем этого церемониала. Но, скорее всего, было именно так. А вот впечатление его открытости могло ввести в заблуждение. Том, несомненно, располагал к доверительности – манерой общения, интересом к новому человеку, умением слушать собеседника. Он как бы приглашал к доверительности, но сам оставался закрытым. Это не всегда понимали его новые знакомые. Мне приходилось наблюдать, с какой невозмутимостью – жёстко по сути, но не по форме – он осаживал тех, кто пытался пересечь установленную им самим границу, за которой начинался мир его «я». А уж амикошонства он и подавно терпеть не мог. Том бывал не просто закрытым, а очень закрытым человеком, и с годами всё больше.

\* \* \*

А в общем, до поры до времени Том представлялся мне баловнем судьбы: природа щедро одарила его, жизненные обстоятельства сложились лучше некуда, характер – как крепкий орех, лидер от рождения. Казалось мне, что и сомневаться Тому несвойственно – ни в том, что надо делать в том или ином случае и как себя вести, ни в его призвании быть лидером. А поскольку я был идейным романтиком и к тому же изрядным книжником, по

самое горло нашпигованным литературными образами, то и Тома в какой-то степени сравнивал с образом молодого напористого, не знающего сомнений героя, выписанного советской литературой довоенных лет. Сам я был весьма склонен к рефлексии, каждый раз долго размышлял и колебался, прежде чем принять какое-то решение, и с некоторым преклонением относился к тому качеству Тома, которое я ему приписывал. Прошли годы. Мы уже работали: он – инструктором Молотовского райкома комсомола, я – старшим пионервожатым и учителем истории в одной из школ этого же района. Мы тогда часто общались, помимо обычных вечерних сборищ или уикэндовских турвылазок. Не помню, о чем мы говорили, но по ходу разговора я сказал, что мне нравятся люди типа Павки Корчагина и Левинсона – целеустремленные, твердые, не признающие колебаний. Я был уверен, что Том меня поддержит. Каково же было мое удивление, когда он резко, как отрубил, ответил, что терпеть не может «железобетонных» людей, что они способны на самые страшные преступления и что саморефлексия и сомнения свойственны каждому думающему человеку. Каюсь, я тогда подумал, что каждого привлекает то, чего ему не хватает. Мне понадобилось еще несколько лет, чтобы понять, что мой друг был глубоко рефлексирующий человек. А может быть, разгадка в том, что это качество как бы дремало или находилось в тени других его качеств, которые делали его неоспоримым лидером? В 1958–1959 годах жизнь его круто развернулась, и это не могло не сказаться на его образе мыслей и действий, на его характере.

\* \* \*

Господи, как же он был красив! У меня на книжной полке стоят рядом две его фотографии. На одной – молодой Том, вскоре после окончания истфака. Кажется, этот снимок был сделан в год его свадьбы, если не на свадьбе. У него была ослепительная улыбка. Так улыбаются люди широкой натуры, до отказа наполненные жизнью и душевно щедрые. Том просто завораживал своей улыбкой, он как бы приглашал радоваться тому, чему радовался сам; и это было так заразительно, что и ты тут же расплывался в улыбке. Смеялся Том от души, лучше сказать, хохотал. Меня восхищала его реакция на какую-нибудь неожиданность. Услышав что-нибудь этакое, Том отвечивал громким «Хо!» Следует сказать, что делал он это не часто. Его надо было сильно удивить или озада-

чить, чтобы у него вырвался этот звуковой символ восхищения или удивления. Я как-то задался целью выудить из Тома его «хо». Не помню, удалось ли мне, да и не важно это. Просто Том был красив и пластичен во всем – эмоциях, реакциях, движениях.

Мужская красота специфична. Том был наделен именно такой красотой. Крушная лепка лица. Черты его мужского характера – твердого, решительного, может быть, даже властного – проступали наружу, когда какие-либо внешние обстоятельства требовали концентрации. Если что-либо выводило Тома из себя, его веки чуть-чуть сходились, он как бы прищуривался, но это не был прищур, серые глаза его еще больше серели, можно сказать, что они мрачнели, на резко обозначившихся скулах начинали играть желваки. Злость? Нет, слово «злой» к Тому не подходит. Он становился гневным. Я видел его гневным не однажды – и каждый раз из-за чьих-то несправедливых действий, чьего-то головотяпства. Безмозглость вызывала у него просто приступ ярости, но вместе с ней – чувство изумления перед самим фактом безмозглости: как такое возможно? Правда, в полной мере всё это относится к нашим молодым годам. Мы всю жизнь привыкем, мы привыкаем ко всему, привыкают все, в том числе самые непримиримые. Не привыкая невозможно жить, нельзя выжить. Том зрелых лет – а рубежом, за которым началась пора его зрелости, я назвал 1958–1960 годы – реагировал на нелепости и мерзости жизни так же, как в пору молодости, но уже спокойнее, и со временем – даже не в словах, а в глазах – всё больше проступала усталость.

\* \* \*

В нашей шестерке почти у всех учебные дела шли лучше не придумаешь. И Эдик, и Арлен, и Леня, и Андрей, и я учились на пятерки. Четверка была не просто редким, а редчайшим исключением. Том из этой благостной картины выпадал. На первых двух курсах он не раз заваливал экзамены, и троек у него было предостаточно. Начиная с третьего курса, Эдик, Том и я учились на кафедре истории КПСС. Была такая страничка в нашей жизни! Том по-прежнему учился неровно, нередко хватал тройки. Между тем на теоретических семинарах он был весьма активен. У него был пытливый ум, и на наших вечерних дискуссиях – мы обычно собирались у него на Большом Афанасьевском – нередко был закоперщиком. Мне было непонятно, почему у него не ладятся учебные дела, и однажды я спросил об этом у Арлена. Он учился вместе

с Томом начиная с шестого класса в знаменитой тогда 59-й школе на Арбате, а на истфаке – в одной группе, до того как на третьем курсе они разошлись по разным кафедрам. Арик ответил с досадой, что Том занимается чем угодно, но только не учёбой. Сказал как отрезал. Я понял, что ему не хочется продолжать, и сменил тему.

Позже, узнав Тома поближе, я понял, что всё обстояло именно так, как обозначил Арлен. Учеба на истфаке требовала концентрации. И хотя все мы на первых курсах в той или иной степени полагались на свою способность к штурму перед экзаменами, но кое-что делали и в течение семестра. Том жил иначе. В его жизни учеба занимала гораздо меньше места, чем у его друзей, к примеру, у Арлена и Леонида с их рано прорезавшейся склонностью к научной деятельности или у Андрея, который помня трагическую судьбу родителей и тяжёлое детство, поставил своей целью сделать все возможное, чтобы встать на ноги, занять прочное место в жизни. У Тома всегда было множество дел и увлечений – автомашина, спорт, общение с друзьями, общественная работа, выставки... Таков был стиль его жизни, которому он не изменил даже после того как тяжело заболел.

\* \* \*

По разнообразию своих интересов и – главное – по вовлеченности в эти интересы Том, как мне кажется, превосходил всех своих друзей. С ним мог бы соревноваться Лёня Гордон, если бы он не был абсолютно равнодушен к спорту, не считая туризма, который в нашем варианте вряд ли можно было назвать спортом.

У Тома спорт был на почетном месте. В школьные годы он занимался легкой атлетикой на стадионе «Динамо», в знаменитой школе заслуженного мастера спорта Зои Георгиевны Романовой. Он хорошо играл в баскетбол и в первые университетские годы был членом баскетбольной команды истфака. Мы ходили большой компанией болеть за команду именно потому, что в ней играли Том и Дим Петровы. Том имел второй разряд по лыжам и не раз участвовал в межфакультетских лыжных соревнованиях.

Любовь к спорту сохранилась у него на всю жизнь. Том нередко ходил на крупные соревнования, особенно международные, по баскетболу, легкой атлетике и теннису. С ним было интересно ходить на такие состязания; он тонко разбирался в тактике и стиле игры, будь то баскетбол или теннис, помнил имена спортивных

звезд, нынешних и прошлых лет. Футбол увлекал его меньше, тем нем менее он был постоянным участником наших коллективных выходов на стадион, возглавляемых неистовым болельщиком, или, по-нынешнему, фанатом «Спартака» Арленом. Я был умеренным болельщиком, Эдик – заинтересованным, но скорее объективным зрителем, а Том успевал наблюдать за игрой и время от времени «подкалывать» Арлена, что было непременно частью футбольного спектакля.

\* \* \*

В учебе Том «прорезался» на четвертый год, когда избрал темой курсовой работы новую экономическую политику (НЭП) Советской власти в 20-е годы. Она тоже шла негладко. Том затягивал, установленный срок прошел, а он никак не мог закончить. Нам казалось, что он по обыкновению занимался кучей дел, не имеющих отношения к учебе. Отчасти, может быть, так оно и было. Но в наших разговорах он то и дело сворачивал на свою тему, и видно было, что его, как говорится, «заело». Курсовую работу он выдал отменную. Воспроизвести ее содержание я не могу – столько лет прошло! А ощущение необычности запомнил. Видно было, что Том перелопатил гору источников и литературы, пропустил через себя, и это придало его работе оригинальность. На пятом курсе он взял ту же тему – как дипломную работу. Он опять затянул, но сдал ее в срок. Это было исследование с индивидуальным авторским почерком. В идейно-теоретическом плане оно не выходило за рамки того марксизма-ленинизма, который нам преподносился как истина в последней инстанции. Если Том и был в чём-то не согласен с какими-нибудь её положениями, относящимися к его теме, он, как и все мы, уже понимал, «что к чему» и «что почему». За годы нашей учебы в МГУ пропадали «в никуда» не только студенты, но и маститые профессора, как это было в разгар борьбы с «безродными космополитами». А в начале 1953 года – мы уже заканчивали истфак – вся страна была в шоке от ареста группы выдающихся врачей, которым тут же выжгли жуткое клеймо «врачей-убийц».

Тем не менее у меня осталось впечатление, что я прочел оригинальную работу. То, что я скажу, выглядит банально, но она была оригинальна уже тем, что Том привел в ней множество интересных фактов и, как правило, следовал принципу – от факта к выводу. В ту пору – а это были последние годы сталинского режима –

на идеологических кафедрах такое встречалось не часто; гораздо чаще факты подгонялись под марксистско-ленинские прописи. У Тома факты иногда топорщились, вылезая из рамок предписанной схемы, и бдительный преподаватель истории КПСС, возможно, нашел бы поводы придрататься к дипломнику. Но его научный руководитель, профессор Анна Михайловна Панкратова, пользовавшаяся в ту пору огромным авторитетом, не была придирчива и положительно оценила дипломную работу. Она вполне могла бы стать основой будущей диссертации, но Тому аспирантура не светила, да он, похоже, к ней и не стремился.

\* \* \*

Том любил машины и любил скорость. В школьные времена родители подарили сыновьям велосипед с двумя сиденьями – тандем, и они гоняли на нем. Наездившись по арбатским переулкам, они выскакивали на большую улицу, где их тут же останавливал милиционер с намерением оштрафовать нарушителей: ездить вдвоем на одном велосипеде было запрещено. Состроив простодушную мину, братья-близнецы зывали: «Товарищ милиционер, поглядите, этот велосипед с двумя сиденьями, называется тандем, на нем даже спортивные соревнования проводятся». В университетские годы Том пересел на мотоцикл. Был у него знаменитый «харлей», и он некоторое время, как говорится, не слезал с него. Гонял сам, катал девушек, а также Лёню Гордона, который страстно хотел научиться водить мотоцикл. Однажды ранним утром, ни свет ни заря, они отправились то ли в сторону Владимира, то ли в направлении Можайска. За рулем сидел Том. Проехав изрядное расстояние, они остановились, чтобы поменяться местами. Том вынул сигарету, но даже не успел закурить, как раздался треск, и «харлей» с другом за рулем пропал в утреннем тумане. Том, как он сам рассказывал, сначала изумился, затем усмехнулся, сел на придорожный камень и закурил. Сигарета кончилась. На шоссе было тихо и пустынно, и он затушевался второй сигаретой. Минут через десять послышался нарастающий треск, из тумана вынырнул мотоцикл, и перед Томом предстал донельзя смущенный Леонид. Он сказал, что, запуская стартер, был абсолютно уверен, что его друг сидит сзади, и только через некоторое время ему почудилось, что за его спиной никого нет. «Ничего, – успокоил его Том, – все-таки ты хватился через десять минут, а не через час».

Но это присказки. У Тома была одна, но пламенная страсть – автомашина. Он научился водить еще до университета. Родителям, кажется, Зинаиде Александровне, по статусу была положена машина с шофером. Том быстро установил с ним неформальные отношения, вошел в доверие, и водитель научил его азам шоферского ремесла. Своя машина, по-моему, послевоенная «победа», появилась у Тома, когда он, Римма и Максим жили уже на 1-м Балтийском переулке, вблизи станции метро «Сокол». Племя владельцев автомашин разнообразно, как и любая другая группа землян. Том не просто был водитель, он был классный механик. Днями и неделями возился со своим сокровищем, разбирал, чинил, менял детали, что-то совершенствовал и, собрав, выводил машину на всеобщее обозрение. Он щедро тратил на это свое время, но, как утверждали в своей первой книге по социологии досуга Леонид Гордон и Эдуард Клопов, хобби – это самоцельное и самоценное занятие. Том был наглядным подтверждением этой дефиниции.

Плохо было то, что услугами Тома-водителя и Тома-механика пользовались все, кто мог, и он редко кому отказывал. Пользовались родители – Борис Дмитриевич, когда ему надо было вылетать куда-то из Внукова или Шереметьева; Зинаида Александровна – по дачным делам. Время от времени пользовались друзья и знакомые – по самым разным надобностям. Но больше всего донимали Тома такие же, как он, владельцы автомашин. Его знала вся округа, он был авторитетом, с ним советовались и нередко просили помочь в ремонте. Я как-то сказал: «Ты бы хоть деньги брал за оказанные услуги». Он засмеялся.

Мне не раз приходило в голову, что он, возможно, выбрал не ту профессию. Из него вышел бы отличный инженер или конструктор, а если учесть его отменные качества организатора, то и руководитель предприятия в автомобилестроении. Может быть, так оно и вышло бы, если бы он завершил учебу в техническом институте, как его друг Андрей Авдулов, сделавший блестящую профессиональную карьеру инженера и менеджера в станкостроении. Но Андрей был человеком предельной концентрации и самоотдачи, и в этом, пожалуй, никто из нас не мог сравниться с ним, а Том – меньше других.

\* \* \*

Наверное, можно целую поэму написать о глазах Тома, его взгляде. Вот говорят, выразительные глаза. Это значит, что человек себя глазами выражает. Это не каждому дано, может быть,



людям крайне эмоциональным, а может, напротив, уравновешенным, но с сильными чувствами. У Тома глаза были выразительными. Кое-что я уже сказал. Взгляд, в котором была через край полнота жизни и расплескивалось брызгами веселье. Взгляд с подвохом, когда ему удавалось припечатать шуткой кого-нибудь из друзей. С Томом надо было держать ухо востро; юмора у него хватало, и если ты давал ему повод, особенно в споре, возмездие было незамедлительным. Его остроты были меткими, но в них отсутствовал сарказм. Во всяком случае, не помню, чтобы я обиделся на его шутку, хотя иногда досадовал на свою оплошность. И мгновенный взгляд, глаза в глаза, как знак доверия и признательности. Однако я помню его и другим: холодный взгляд, будто вдруг захлопнулась дверь перед незванным посетителем, попытавшимся заглянуть туда, куда ему хода нет. Сколько разных выражений глаз! Но больше всего мне помнятся три из них. Открытый и спокойно-доброжелательный взгляд молодого Тома, как бы приглашающий к столу ли, к беседе, к костру... Темнеющие от гнева глаза Тома, уже испытывавшего на себе, что такое предательство, познавшего изнанку советско-коммунистической системы – в Молотовском райкоме комсомола, в Госполитиздате, на заводе, куда его отправили для «перевоспитания» после краснопевцевской истории.

И я до конца дней своих не забуду подернутые грустью сквозь смертельную усталость глаза моего друга в последние месяцы его жизни. Этот снимок из фотоальбома, сделанного Бобой – Борей Жutowским в Кунцевской больнице, всегда стоит у меня на книжной полке, рядом с фотографией молодого Тома, о которой я упомянул выше.

\* \* \*

Мудрость – функция возраста, если, конечно, Бог сподобит даровать ее. Боба в одном из своих интервью «Вечерке» посетовал, что никак не наберется мудрости. Сказано не без кокетства, но я понимаю его и подписываюсь под его словами. А вот умные глаза – они от рождения. У Тома были умные глаза. Есть такое выражение: в его глазах светился ум. Мне приходилось встречаться с умными людьми, в глазах которых не то что ум, но вообще ничего не светило; однако это были без всяких скидок умные люди. У Тома были умные глаза – пытливые, испытующие. Пытливость была свойством его натуры. Я очень любил наблю-

дать за ним, когда он ввязывался в дискуссию, а зачастую сам же и затевал ее. Уж что-что, а задавать неожиданные вопросы он умел. Возможно, никто не задавал столько вопросов нашему неистощимому автору идей и концепций Лёне Гордону, сколько Том. И вряд ли я ошибаюсь в том, что Лёня относился к ним очень ревниво. Том как бы провоцировал его. Лёня загорался, по лицу его перекачивались эмоции, в голосе прорывались альтовые ноты. Казалось, Тому доставляет удовольствие испытывать друга «на прочность», подбрасывать ему, как поленья в костер, все новые задачки и слушать, как он парирует возражения, выстраивая систему аргументов в защиту своей концепции. Увлекательная игра ума, в основе которой лежала закодированная в генах потребность докапываться до истины? Может быть, как знать.

\* \* \*

Если можно применить к человеческой жизни слово «эпоха», то для всего нашего дружеского круга эпохой был истфак. Именно он сделал нас такими, какими мы прошли через всю жизнь. Можно, конечно, порассуждать о том, что было заложено в годы детства и отрочества, и о том, как сказались на каждом из нас обстоятельства, случившиеся позже. Но, повторюсь, осознанный выбор нравственной позиции был сделан на истфаке. О себе я говорю это категорично. Убеждён, что так думали и все мои друзья. И когда я думаю об эпохе истфака, то неизменно вспоминаю большой серый дом на углу Большого Афанасьевского и Сивцева Вражка. Там, на третьем этаже слева, была дверь в квартиру, где проживали с родителями Том и Дим Петровы. Для нас она стала неотъемлемой частью эпохи истфака, и мне думается, что в том выборе, о котором я сказал выше, она сыграла очень большую роль.

\* \* \*

Всё сходилось. Два брата, Том и Дим, и Арлен, их «кореш» по 59-й школе, уже в первый год стали центром притяжения – сначала в шумной и взбаламошной 10-й группе, в которой они учились на семинарских и языковых занятиях, а вскоре и на курсе. Кстати, различия между братьями-близнецами угадывались довольно быстро. Том был первенцем не только потому, что родился на несколько минут раньше Дима: он выделялся прежде всего своими

человеческими качествами. Но поначалу они воспринимались в связке. В пятикомнатную квартиру многие из нас, в том числе и я, выросшие в коммуналках» или в других, не менее стесненных жилищных условиях, в первый раз входили, как в иной мир. Там было где разместиться, хотя иногда кампания разрасталась до трех десятков шумных ребят и девчонок. У братьев была своя комната, но располагались мы в более просторной комнате, служившей как бы гостиной. Размеры размерами, а ведь самое важное в том, как ты себя чувствуешь, придя в чужой дом, к тому же столь непохожий на те, к которым ты привык. Эта непохожесть усиливала чувство стесненности, даже скованности, которое возникало, когда ты впервые пересекал порог. Но у меня не осталось ощущения, что это длилось долго. Атмосферу легкости, раскованности создавали Том и Дим, а меня сразу же поразило, что в их поведении ощущалась уверенность в том, что так и должно быть, что они свободны в своем намерении привести в дом шумную ораву друзей и что это будет благожелательно встречено их родителями.

Борис Дмитриевич Петров был в прошлом и сотрудником одного из отделов ЦК КПСС, затем директором 1-го Московского медицинского института, а во времена нашего студенчества – членом Академии медицинских наук СССР, занимаясь изучением и преподаванием истории отечественной и мировой медицины. Зинаида Александровна Лебедева, мама Тома и Дима, была крупнейшим специалистом по детскому костному туберкулезу, директором Всесоюзного института детского костного туберкулеза; кроме того, она была депутатом и членом Президиума Верховного Совета СССР. Зная о том, какое они занимают положение, я с любопытством и настороженностью ожидал их появления. Они были приветливы (это позже увиделось, что мера их внимания к друзьям Тома и Дима была очень разной). Но больше всего бросилась в глаза их манера обращения с сыновьями – доверительная и как бы на равных, а уж когда ребята называли отца Борисом, я ахнул про себя. Позже я узнал и отчасти был свидетелем сложных отношений в семейном четырехугольнике Том – Зинаида Александровна – Борис Дмитриевич – Дим. В судьбе Тома эти отношения сыграли без преувеличения, трагическую роль. Однако в ту пору, о которой я рассказываю, они казались гармоничными и вызывали чувство уважения и даже удивления.

\* \* \*

Возможно, в какой-то степени они действительно были гармоничными. В русских семьях до сих пор можно встретить те или иные проявления домостроевщины. Кстати сказать, как и в еврейских, но уже от другого источника – Талмуда. Я испытал это в детстве и очень рано начал отстаивать свое право на самостоятельность. А в семьях наших соседей по коммунальной квартире и моих одноклассников в школе я наблюдал это много раз. В семье Тома и Дима патриархальностью не пахло. Уважительное отношение обоих родителей к сыновьям было очевидным и выглядело естественным. Правда, истоки такого отношения у Зинаиды Александровны и Бориса Дмитриевича были различными. Борис Дмитриевич шёл скорее от ума, я бы сказал, от умствования. Но во всяком случае сутью выстроенной им схемы отношений с сыновьями был принцип равенства «отцов и детей», и он стремился осуществить ее в том числе с помощью необычной манеры обращения: «Том-Борис», «Дим-Борис». Зинаида Александровна, при всей ее занятости, не меньшей, если не большей, чем у Бориса Дмитриевича, была ближе к ним, лучше знала и уж точно лучше чувствовала их. Это объясняет многое, но не всё. Когда мы познакомились, только Арик знал, возможно, самую важную причину тех доверительных отношений, которые сложились между Зинаидой Александровной и сыновьями, особенно с Томом. Остальные его друзья узнали об этом гораздо позже. Причиной были давно треснувшие отношения между родителями. Семья держалась на Зинаиде Александровне, и опорой ей пришлось искать в сыновьях. Дим был болен, и мы это тоже не сразу узнали. Так что опорой ей мог быть только Том, он и стал опорой. Повидимому, это началось еще в школьные годы, потому что мы, появившись в их доме, неоднократно были очевидцами того, как Зинаида Александровна и Том уединялись и подолгу обсуждали домашние дела.

\* \* \*

В работе я наблюдал Тома дважды. Первый раз это было сразу же после окончания университета. Мы завершили учебу в памятном 1953 году. Тому, как я уже упоминал, аспирантура не светила, и он, как и многие московские студенты-выпускники, устроил себе заявку на распределение в Молотовский райком комсомола

в качестве инструктора по агитации и пропаганде. О начале моего трудового пути в том же районе я рассказал в очерке «Как я стал старшим пионервожатым» (см. с. 165-176). На собственной работе останавливаться не буду. Скажу только, что на следующий год, 1954-й, меня избрали членом пленума, а еще через год – членом бюро Молотовского РК ВЛКСМ. Я стал бывать там очень часто, каждую неделю проходило заседание бюро, а между заседаниями в райкоме всегда находилось какое-либо дело, требовавшее моего участия. Мы встречались с Томом регулярно, и я видел, как он работает, как ведет себя в различных ситуациях, какие у него отношения с сотрудниками райкома и т. д.

Меня с первых посещений поразило и порадовало, как уверенно и спокойно он держится. Том был не старше своих коллег по работе и даже моложе некоторых, но выглядел опытнее, особенно когда возникала внештатная ситуация и необходимо было трезво оценить ее и найти наилучшее решение. Не исключено, что его приход в райком вызвал сначала настороженность: что за редкая птица прилетела с дипломом МГУ, престиж которого был тогда очень высоким? Если это и было, то недолго. Когда я появился, от нее не осталось и следа. С ним советовались, к нему прислушивались, с ним шутили и с удовольствием воспринимали его шутки.

Немалая часть времени у сотрудников райкома уходила на посещения первичных комсомольских организаций – на предприятиях, в учреждениях, научных и учебных институтах, школах, творческих коллективах (в их число, например, входил знаменитый театр на Таганке). Том был очень мобилен. Вскоре у него установились постоянные связи с некоторыми комсомольскими «первичками», особенно на предприятиях. Среди них я запомнил одно из крупнейших в нашем районе – завод «Манометр», с комсомольским секретарем которого у Тома установились товарищеские отношения. Вообще для Тома посещения «первичек», знакомство с предприятиями и учреждениями, с их порядками, с положением и проблемами работавшей там молодежи и т. д., были своего рода школой познания жизни, ранее ему известной лишь понаслышке. К этому времени он, как и все мы, стал воспринимать то, что сообщалось в средствах массовой информации, острожно и критично. Непосредственные наблюдения и впечатления, полученные от погружений в гущу жизни, немало способствовали формированию критического взгляда на советскую действительность. По сути, это было началом эволюции мировоззрения Тома, пересмотра им своих взглядов на историю нашей

страны в XX веке, на итоги коммунистического эксперимента, предпринятого российскими большевиками в 1917 году.

Мы тогда часто обменивались своими впечатлениями. Я отчетливо запомнил наш первый разговор, который произошел вскоре после того, как я стал приходить в райком как член его пленума. Когда я сказал, что мне показались симпатичными его коллеги, в основном девушки, Том с неожиданной для меня резкостью ответил, что ему с ними неинтересно и вообще эта комсомольская среда кажется ему ужасной. Я сначала опешил, потому что мой друг держался со всеми дружелюбно, по-товарищески, но потом понял, что он имел в виду не личные качества своих коллег, а именно «комсомольскую среду» – то, чем занимаются комсомольские функционеры, круг их интересов, их зашоренность и привычка мыслить штампами и лозунгами.

Непростые отношения сложились у него с первым секретарем райкома Юрием Финатьевым. Юра был на год-два старше нас. Он окончил какой-то престижный вуз, чуть ли не Физико-технический институт (Физтех) по специальности химия, но уже там сделал ставку на комсомольскую карьеру. Человек он был, бесспорно, умный и неординарный. Тома он встретил очень настороженно, но вскоре понял, что его собственной карьере ничего не грозит. Том не скрывал, что на комсомольской работе он задержится недолго и уйдет, как только кончится трехлетний срок работы по распределению. Однако сложность в их отношениях не исчезла. Юрий ревновал к авторитету, который Том завоевал, вроде бы не прилагая к этому особых усилий. Сотрудники райкома относились с уважением к обоим, но Финатьев, похоже, понимал, что на их отношение к нему накладывается то, что он был их начальником, тогда как Том занимал такое же положение, как и они, и его авторитет определялся прежде всего его личными качествами.

И все же истоки внутренне сложных отношений между Юрием и Томом лежали глубже. Им обоим довольно скоро стало ясно, что они являются людьми разной породы. Финатьев делал карьеру. И хотя, как человек умный и творчески активный, Юрий делал ставку главным образом на результаты своей работы, нередко он отвергал предлагаемые решения и новые инициативы, если они могли быть негативно встречены районными партийными боссами и нанести ущерб его карьере. Том воспринимал Финатьева как ярчайший пример комсомольского функционера-демагога. Распознать это было не столь уж трудно. Тому карьеризм и демагогия были органически чужды, он испытывал к людям такого

тиша, можно сказать, физиологическое отвращение. Надо сказать, что пристрастие к демагогии, случалось, заносило Финатьева, и я был свидетелем того, как Том иногда позволял себе аккуратнo, не обостряя ситуацию, спустить первого секретаря на землю.

Как-то я спросил Тома, не следует ли устроить Финатьеву показательную порку. Он взглянул мне в глаза и ответил: «А что дальше? Ведь я в полной зависимости от него». Так оно и было. Прошло больше половины трехлетнего срока работы по распределению, и надо было думать о будущей профессии. Из практически возможных вариантов Том отдал предпочтение работе редактора и начал выяснять возможности поступления в один из крупнейших советских издательских домов – Государственное издательство политической литературы (Госполитиздат). Там работал наш однокурсник Феликс Алексеев, с которым у Тома были тогда товарищеские отношения. Шансы на поступление в это издательство находились в прямой зависимости от того, вступит ли Том в КПСС в период своей работы в райкоме комсомола, и от полученной им здесь характеристики. И то и другое зависело от Финатьева. Том держался с ним и высказывал свои мнения, относившиеся к работе, достаточно независимо, но всегда соблюдал корректность и не вставал в позицию борца за истину. Одним из его излюбленных изречений было: «хозяин – барин». Не тогда ли оно вошло у него в привычку?

Том покинул Молотовский райком комсомола в 1956 году, с билетом члена КПСС и положительной характеристикой, составленной по стандартам и в стилистике той поры. Он ушёл оттуда, познав «кухню» партийно-комсомольской системы, её внутренние мотивы и методы, её климат и присущие ей отношения между людьми. Это во многом предопределило дальнейшую эволюцию мировоззрения Тома и отчасти его судьбу.

\* \* \*

В 1971 году мы с Томом и его сыном Максимом, ему было тогда четырнадцать лет, совершили трёхнедельное путешествие по озёрам и порогам Карелии. На следующий год Эдик и я вновь прошли по карельским озёрам и речным порогам, но уже другим маршрутом. А еще через два года я, Арлен и мой старший сын Дима две недели кружили по озерам Литвы, удивительно красивым и, к нашему удовольствию, почти безлюдным. Когда мы вернулись в Москву, Том сказал: «Юрец, у тебя есть уникальная воз-

возможность сделать сравнительное клиническое описание поведения трёх твоих друзей в одной байдарке с тобой». Идея меня восхитила, и я написал юмористическую повесть о трёх походах. Это был черновой текст, который нуждался в доработке. Но тут навалились дела, я запрятал набросок в нижний ящик стола, да так и не вернулся к нему. А сейчас вспомнил о нём потому, что в повести трижды по ходу рассказа появлялись главы под одним и тем же названием: «Женщины в наших походах». Текст, посвящённый Тому, умещался в одну фразу: «С Томом мы о женщинах не говорили». И это была «правда, вся правда и только правда».

Великий испанец Федерико Гарсиа Лорка написал изумительное стихотворение «Неверная жена» – по своей обнаженности и красоте шедевр любовной лирики. Там есть фраза: «Об остальном как мужчине // Мне говорить не пристало». Том входил именно в эту немногочисленную категорию мужчин, которые терпеть не могут разговоров о сексе, о своих или чужих любовных похождениях и победах, а если и случается, то говорят скупно, избегая подробностей и не называя имен. Он мог резко высказаться о деловых и человеческих качествах знакомых представителей лучшей половины рода людского, но я не помню случая, чтобы его критика переходила границу, за которой начинается унижение женского достоинства. В его отношении к женщине было нечто рыцарское, но не подчеркнутое, не выраженное во внешней галантности, а угадываемое в естественности его реакций, слов и поступков. Это была важная часть его внутренней культуры.

Что и говорить, он не был обделен женским вниманием – и в университетские годы, и в дальнейшем, на протяжении большей части своей жизни. Том это знал. Не скажу, как в годы ранней юности, но к тому времени, когда мы подружились, он относился к этому примерно так, как относятся к природным явлениям, и построил внутренний барьер, вроде бы невидимый, однако воспринимаемый гораздо более чувствительной, чем мужская, женской душой. В рейтинге предпочтений наших однокурсниц он прочно занимал первое место. В первый же год у него возник роман – не роман, не подберу точного обозначения, с девушкой, назовем ее М. М., учившейся в той же академической группе, что и он. Яркая брюнетка с копной пышных волос и очень привлекательной женской статью, чрезвычайно активная и явно демонстрировавшая, кто именно является её избранником. Том, похоже, всерьез увлекся ею, она зачастила к нему домой. Так продолжалось несколько месяцев, а потом внезапно всё кончилось. Это был



разрыв, мгновенный и окончательный. О том, что произошло между ними, вероятно, знал Арик, но я никогда его не спрашивал. Со стороны же и тогда было видно, насколько различны были Том и М. М. в основных качествах и проявлениях личности, и странно было видеть их вместе.

В нашей обширной компании, которая постепенно сложилась в университетские годы, было много интересных девушек, и не только однокурсниц. Летом мы в различных сочетаниях работали в колхозных бригадах и совершали дальние туристские походы; осенью, зимой и весной делали пешие и лыжные вылазки в Подмосковье, участвовали в туристских сборах, веселились на студенческих вечерах, шумно встречали Новый год и незыблемые тогда советские праздники. Том со всеми девушками держался более или менее ровно. Некоторым из них он явно симпатизировал, с ними у него сложились вполне дружеские отношения, но не было ничего похожего на возникшие взаимные любовные чувства. На нашем курсе образовались первые пары; к концу учёбы или вскоре после её завершения пошли свадьбы: Ира Большинцова и Арлен Меликсетов, Таня Олегина и Лёня Гордон, Женя Канаева и Андрей Авдулов, Лира Леонова и Миша Вассер, Слава Смирнов и Инна Городецкая и т. д.

Том и после окончания университета несколько лет не подавал никаких признаков намерения жениться. Тем большей неожиданностью стал день, когда он оповестил нас о предстоящей свадьбе с нашей однокурсницей Риммой Осиповой. Это было в 1957 году. Римма входила в нашу большую и пеструю компанию, участвовавшую в туристских сборах и воскресных вылазках, но в более узком кругу друзей, встречавшихся на вечерних посиделках у Тома, она появилась к концу учебы и стала их постоянным участником уже после окончания истфака. Была она самой тихой и, по первому впечатлению, самой незаметной среди девушек. Приветливая и уравновешенная, предпочитающая не говорить, а слушать. Надо было в неё взглядеться, чтобы увидеть то, что негромкий, но тонкий поэт Евгений Баратынский разглядел в женщине «с лица необщим выраженьем». На одном из вечеров – то ли чей-то день рождения отмечали, то ли просто собрались без какого-либо повода – Римма спросила: «Хотите, я спою песни Булата Окуджавы?» Его восхождение только начиналось, имя мы уже знали, но с песнями мало кто был знаком. Помнится, Римма напела две песни: одна – «Простите пехоте, что так неразумна бывает она...»; другая, кажется, «Надежды маленький оркестрик». Голос

у нее был мелодичный, и пела она негромко, как я позже понял, в той же задушевной интонации, что и знаменитый бард. Не знаю, кто как, но я был под сильным впечатлением: в тот вечер я увидел иную, неизвестную мне Римму Осипову, чуть-чуть приоткрывшую свой внутренний мир. Позже я узнал, что она любит классическую музыку, часто ходит в Московскую консерваторию. Какое это имело отношение к выбору Тома? Не знаю. Кто может понятно объяснить свой выбор, если он не основан на расчете или каких-то иных рациональных соображениях? А уж чужой выбор – тем более. Просто я хочу сказать, что в Римме была и женственность, и внутренняя интеллигентность, и еще какие-то черты натуры, которые открылись Тому и побудили его сделать свой выбор.

Свадьба была весёлой. От нее у меня сохранился фотопортрет – распахнутая белая рубашка и ослепительная улыбка Тома. Через год родился Максим. Том был поразительно трогателен, когда склонялся над лежавшим в детской кроватке малышом. Тогда-то он и произнес самый оригинальный тост за счастье, который я когда-либо слышал. Подняв бокал, он сказал, что счастье выглядит по-разному. Когда распелёнываешь беспомощный комочек, который корчится, морщится, хрюкает и хнычет, а на пеленке обнаруживаешь, что его естественные отправления имеют нормальный цвет – это и есть, уверил Том под общий смех, самое непосредственное ощущение счастья. Думаю, что никто из участников застолья не додумался бы так необычно и вместе с тем так естественно рассказать, как может выглядеть счастье. Начало совместной жизни Риммы и Тома было счастливым и безмятежным.

И ничто не предвещало ни того поворота в делах Тома, который произойдет в 1958 году, ни того, что он встретит женщину, которая станет его любовью и его драмой на всю последующую жизнь.

\* \* \*

Было начало лета 1956 года. Только что состоялся XX съезд КПСС. Мы, как и вся страна, находились в шоке от доклада, с которым выступил на закрытом заседании съезда Н.С. Хрущёв. Великий датский сказочник Ганс Христиан Андерсен сочинил гениальную сказку о голом короле. Люди многое видят и о многом догадываются из того, что не видят. Тем не менее они не в силах расстаться с иллюзиями, а те, кто расстался с ними, молчат, опасаясь

ясь оказаться изгоями. Нужно, чтобы кто-то громко, на всю заполненную людьми площадь воскликнул: «А король-то голый!» В 1956 году уникально было то, что роль мальчика сыграл Никита Хрущёв – первое лицо Советского государства. Это многократно увеличило эффект произнесённого слова.

В нашем кругу мы непрерывно обсуждали всё услышанное – репрессии, не только в 1937 году, но и раньше; культ Сталина и его роль в уничтожении «старой гвардии» большевиков и руководства Красной Армии; причины катастрофического начала войны с нацистской Германией и многое другое. В разговорах мы заходили гораздо дальше того, о чём говорилось в докладе Никиты Хрущёва. Однажды, это было в начале лета 1956 года, мне позвонил Эдик Клопов и предложил встретиться, чтобы обсудить одну идею. На мой вопрос, какую, он ответил, что расскажет при встрече. Мы увиделись в тот же день, и он сказал, что у Арлена и Лёвы Краснопевцева, нашего товарища, окончившего истфак на год раньше нас, возникла идея создать узкий кружок абсолютно доверяющих друг другу друзей, чтобы профессионально, с привлечением документов проанализировать историю внутренней борьбы в партийных верхах, прихода к власти Иосифа Сталина и его превращения в диктатора. А в конечном счете понять, как правящая партия и Советское государство шли к тому, к чему они пришли. Я спросил, кто кроме Арика и Лёвы примет участие в кружке. Эдик ответил: «Мы с тобой, если ты согласишься, и Том». Такой состав меня устраивал, и я согласился.

Первый раз мы собрались в этом составе вскоре после нашего разговора с Эдиком. Встретились у меня. Я жил один, а в остальных трех комнатах, где жили три семьи, днем обычно никого не было – все находились на работе. Мы договорились, что на следующей встрече обсудим начальный период борьбы внутри руководства большевистской партии в 1918–1920 годах. Все мы имели доступ к партийным и иным документам того времени, которые хранились в отделах специального хранения (спецхранах) Государственной библиотеки имени В.И. Ленина и научных библиотек: Арик, Лев и Эдик – как аспиранты истфака, я – как аспирант-заочник на том же факультете. Том к этому времени работал редактором в Госполитиздате и также мог пользоваться материалами спецхрана в своем учреждении или в научных библиотеках.

Не вдаваясь в подробности наших обсуждений (многого я уже не помню, а то, что помню, увело бы в сторону от темы моих воспоминаний), скажу лишь, что в течение 1956–1957 годов мы встре-

тились четыре или пять раз – два-три раза у меня и дважды в квартире Тома в те дни, когда не было ни родителей, ни Дима. В общем, мы считали, с той или иной степенью убежденности, что именно при Сталине произошло перерождение ленинской партии коммунистов-большевиков и Советской власти в тоталитарную диктатуру. Мне вспоминается, что Том очень сдержанно, во всяком случае на первых порах, воспринял этот тезис, но я не помню, чтобы он категорически возражал против него. Вообще, ему несвойственно было с ходу принимать новые идеи и выводы. Том встречал их осторожно и с некоторой долей скептицизма. Он задавал вопросы, искал контраргументы, многократно прокручивал в уме услышанное, делал это обстоятельно и неспешно.

Последний раз мы встретились весной 1957 года, а в конце августа до нас дошло известие, прозвучавшее как гром среди ясного неба, – органы госбезопасности арестовали Льва Краснопевцева. Подробности того, как мы узнали об этом, были необычными для тех времен. 30 августа мне позвонил наш однокурсник Виктор Донченко, направленный по распределению работать в ректорат МГУ и занявший вскоре должность помощника проректора по гуманитарным факультетам. Он просил срочно приехать по поводу возникшей возможности моего трудоустройства в МГУ. Конечно, я тотчас же приехал. Виктор предложил мне выйти покурить, и когда мы оказались одни на лестничной площадке, сообщил, что арестован Краснопевцев, которого обвиняют в подпольной антисоветской деятельности. Я постарался сохранить невозмутимое лицо и сказал: «А мне-то что?» «Не валяй дурака передо мной, – остановил меня Виктор, – имена всех, кто был в близких отношениях с Краснопевцевым, в том числе твое и твоих друзей, которых я не называю, в ректорате известны. Предупреди их, и обдумайте, как себя вести, когда вас вызовут. Мое имя не надо упоминать. Надеюсь, ты понимаешь, чем я рискую». Меня потряс поступок Вити, но времени на всякие словеса не было. Надо было поскорее разойтись, пока нас никто не увидел. Я поблагодарил его, прибавив, что никогда его не подведу, и мы попрощались.

В тот же день я встретился с Эдиком и Арленом. Мы сидели в уединении на лавке в Измайловском парке, где жил вместе с родителями Эдик, и обсуждали, как себя вести, если нас вызовут на допрос в известное всем здание на Лубянке. Тома в Москве не было, он вернулся через день или два, и кто-то из нас, кажется, Арлен рассказал ему об аресте Лёвы и о том, что мы надумали.

Кстати, в эти же дни нам стало известно, что арестованы еще несколько человек, окончивших истфак раньше или позже нас. Мы не знали, что известно о нас в КГБ. Поэтому порешили на том, что если нас вызовут, мы будем настаивать на трёх пунктах: (1) мы, как историки по образованию и профессии, решили после доклада Хрущёва и постановлений ЦК КПСС о культе личности глубже разобраться в том, как сложился режим личной власти Сталина и к чему это привело; (2) мы встречались как близкие друзья, от случая к случаю, и никаких других целей перед собой не ставили; (3) Хотя Краснопевцев участвовал в этих встречах, нам ничего не было известно о подпольной деятельности возглавляемой им группы.

На этом я останавлиюсь. Подробно о том, что представляли собой подпольная организация во главе с Краснопевцевым и еще два десятка подпольных молодежных групп, возникших в 1956–1958 годах, об их судьбах, а также о том, как принималось решение по поводу нашей пятерки, рассказано в предыдущем очерке «Пятидесятники» (см. с. 222–226). Скажу лишь, что ждать решения нашей судьбы нам пришлось почти полгода. Острое ощущение нагрянувшей опасности сменилось ожиданием, пусть напряженным, но более спокойным: как будет, так и будет. В феврале 1958 года девять участников группы Краснопевцева были приговорены к различным срокам пребывания в исправительно-трудовой колонии ГУЛАГ, а в марте порочащие близкие связи членов КПСС Борко, Клопова, Меликсетова и Петрова с Л. Краснопевцевым были рассмотрены партийными организациями по месту их работы. Первые трое получили строгие выговоры с предупреждением.

С выговором можно было жить. Самое важное – он сохранял место работы, так как снимать выговор должна была та же партийная организация, которая его вынесла. И это не шло ни в какое сравнение с тем, что выпало на долю Тома: партийная организация Госполитиздата исключила его из партии. Мы не раз обсуждали, почему так случилось. Если суммировать наши разговоры и мои размышления, то выходило, что против Тома действовало несколько неблагоприятных обстоятельств. Кто мог ожидать, что исключить Тома Петрова из рядов КПСС предложит его однокурсник и товарищ Феликс Алексеев? Испугавшись за себя – другую причину найти невозможно, – Феликс первым взял слово и заявил, что Том является его товарищем, и именно поэтому он, Феликс Алексеев, считает необходимым принципиально оценить

проступки Петрова и убежден в том, что они несовместимы с пребыванием в партии.

А дальше работала логика толпы – еще хранящийся в памяти сценарий развития массовых собраний и митингов, где ораторы клеймили, один яростнее другого, «врагов народа», вероотступников или просто в чем-то провинившихся людей. Такая атмосфера возникла и на общем собрании партийной организации Госполитиздата, насчитывавшей сотни людей, в подавляющем большинстве не соприкасавшихся с Томом или вообще не знавших его. За Алексеевым последовали другие блюстители партийной чистоты. Чтобы выступить наперекор, надо было обладать незаурядным мужеством и уверенностью в себе. В Московском институте международных отношений (МГИМО), на заседании партгруппы, обсуждавшей персональное дело Арлена, такой человек нашелся. Когда поток политических обвинений в адрес Меликсетова стал зашкаливать, слово взял сотрудник кафедры, бывший контрразведчик, умудренный и авторитетный человек, сказавший, что Арлен Ваагович, конечно, заслуживает партийного порицания, но надо соблюдать меру и не перечеркивать судьбу талантливого ученого и преподавателя, который находится в самом начале жизненного пути. Это выступление круто развернуло ход собрания, которое завершилось вынесением выговора. На собрании в Госполитздате такого человека не нашлось.

И еще одна немаловажная деталь, скорее всего, обернулась отягчающим для Тома обстоятельством. Когда я узнал об исключении, мне сразу же подумалось, что он, видимо, упорно отстаивал своё понимание случившегося, свою правду, стремясь отделить зёрна от плевел и отвергая сыпавшиеся на него политические обвинения. Это не могло не настроить против Тома равнодушное большинство участников собрания («покаялся бы, и дело с концом, и разбежались бы, а он выкаблучивается»). Бойтесь равнодушных, предупреждал когда-то польский писатель-коммунист Бруно Ясенский, расстрелянный советскими чекистами в 1938 году. Таким мне представлялся ход собрания. Но у меня не было фактов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть мое предположение. Много лет спустя, в начале 1980-х, Том познакомил меня с Мюдой Деревянкиной, которая присутствовала на том памятном собрании и, кстати, единственная воздержалась, когда голосовалось предложение Алексева. Однажды я спросил ее, как вел себя тогда Том. Мюда ответила – мужественно. Значит, всё

происходило именно так, как я предполагал. Находясь в критической ситуации, Том не посыпал пеплом голову, а отстаивал свой взгляд на собственное «дело» и свое человеческое достоинство.

Ленинский районный комитет КПСС утвердил решение об исключении Петрова Тома Борисовича из партии и направил его «на перевоспитание» в рабочую среду, на Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе. Там он проработал станочником-фрезеровщиком около полутора лет и заработал порок сердца. Осенью 1958 года Том постушил на вечернее отделение станкостроительного института, но после тяжелой болезни (ангина) бросил его. Через год с небольшим после решения райкома Комитет партийного контроля при ЦК КПСС вернул Тому партийный билет. Он мог вернуться в Госполитиздат, но такой вариант был для него неприемлем. Думаю, что он не сделал бы этого даже в крайнем случае.

\* \* \*

Два прошедших года стали в жизни Тома рубежом между прошлым и будущим. На первый взгляд, он остался самим собой – в манере поведения, в общении с друзьями, в интересе ко всему, что происходит вокруг, в пристрастиях и антипатиях. Но что-то в нем переменялось. Не могло не измениться, слишком круто развернула жизнь, слишком неожиданными и чувствительными оказались некоторые события – первый предательский удар в спину; тягостная картина партсобраний, где соревновались в самообнажении трусость, сервильность и равнодушные; трудная адаптация на заводе, как психологическая, так и физическая. С техникой Том был на «ты», сказывался опыт разборки и сборки попадавших к нему в руки автомашин, но стоять несколько часов за станком, особенно в ночную смену, с непривычки было трудно. На встречах с друзьями он рассказывал о заводской жизни. Размышления о том, как работает флагманское предприятие отрасли в условиях плановой социалистической экономики, перемежались эпизодами его общения с «гегемоном» – рабочим классом. Том с юмором рассказывал, что общавшиеся с ним рабочие никак не могли понять, за что его сослали на завод. Впрочем, были и такие, кто злорадствовал: пусть попробует «заводской каши». Но с большинством у него сложились добрые отношения.

\* \* \*

Однажды между Арленом и мной произошел любопытный диалог. Разговаривали о Томе, и я сказал, что он очень просто держится с обычными людьми – с теми, кого в Англии называют «человек с улицы» (Man of the street). Арик энергично возразил: «Что ты говоришь? Том – аристократ высшей пробы». Я подумал и согласился. Арлен посчитал эту тему исчерпанной и перешел к другой. Но потом я не раз вспоминал наш короткий диалог, потому что истина была и в том, что сказал я, и в ответной реплике Арика. В Томе действительно чувствовалась порода, корни которой я определить не берусь. Иные, как известный кинорежиссер Никита Михалков, гордятся своей дворянской родословной. Но аристократизма в нём нет ни грана. Что касается Тома, то я никогда не слышал от него, что в его роду были дворяне. По отцу он был потомственным московским интеллигентом, хотя мать Бориса Дмитриевича, может быть, и принадлежала к дворянскому сословию. О дворянских корнях в России начали вспоминать после 1991 года. Был бы Том жив, может, и он вспомнил бы. Но дело не в этом. Аристократизм Тома был иной природы. Я назвал бы его аристократом духа, аристократом чести; иными словами, его аристократизм был основан на его понимании личности, человеческого достоинства. Этим и объясняется та простота и естественность, с которой он вступал в общение с «простыми» людьми и которая так подкупала их. Кому-то все это может показаться сомнительным. Но мне довелось быть очевидцем стольких разговоров Тома с встречавшимися ему людьми, начиная с наших колхозных бригад в далекие студенческие годы и кончая курским (или орловским) крестьянином, последним его соседом в двухместной палате ЦКБ, что иной манеры его общения с ними я представить себе не могу. «Наше всё » Александр Сергеевич Пушкин как-то бросил крылатую фразу: «Мы ленивы и нелюбопытны», и ее по сей день повторяют все, к делу и не к делу. К Тому она не относится, он был любопытный человек, и неотъемлемой частью его любопытства, а лучше сказать, любознательности были люди, ему встречавшиеся. Он умел разговаривать их, иногда бывал разочарован, а иногда с каким-то удивлением рассказывал о необычном «обычном» человеке и его необычной судьбе.



\* \* \*

Пережитая Томом драма оставила свой след. Так что же в нём изменилось? Очень трудно найти точные слова. На мой взгляд, Том окончательно распрощался с некоторыми ещё сохранявшимися иллюзиями, которые у него сформировались в детские и отроческие годы под влиянием родителей, которые были людьми известными, много работавшими и многого добившимися. Теперь к Тому пришла зрелость, он стал умудрённым человеком – это было мое главное впечатление в те переломные годы. Молодой Том был человеком действия. Он изучал оптимизм, из него били гейзеровы фонтаны инициативы и энергии. Зрелый Том стал человеком размышлений, рефлексии. Конечно, из этого не следует, что раньше он не размышлял, а позже перестал действовать, однако эти качества поменялись местами. Все остальные перемены во взглядах и поступках, в определении своего места в жизни и т. д. были следствием главной перемены, о которой сказано выше. В частности, как мне представляется, с ним произошло что-то похожее на есенинское «я теперь скупее стал в желаньях». Конечно, это не исчерпывающая характеристика, а скорее некоторые наброски к портрету Тома в 60-е годы.

Была еще одна, более прагматическая причина перемен. Тому предстояло заново начинать профессиональную карьеру – не в смысле восхождения по ступеням должностей и званий, а прежде всего в выборе профессиональной специализации, накоплении опыта, совершенствовании. Это было связано и с поиском перспективного места работы, которое позволило бы ему решить эту задачу. Но об этом немного позже.

\* \* \*

Когда Том был восстановлен в КПСС и завершил свое вынужденное хождение в рабочий класс, ему было 30 лет. Конечно, с чисто профессиональной точки зрения годы комсомольской работы и «ссылка» на станкозавод были потерей. Но в знании жизни, в понимании людей он ушел далеко вперед и в этом смысле был намного больше готов к профессиональной деятельности. Словом, жизнь была впереди. Том находился в самом начале наиболее продуктивного её периода. Почему же он не смог полностью реализовать свой творческий потенциал? Теперь, когда протекло столько времени и большинство его ближайших друзей уже

ушли, ответить на этот вопрос стало намного сложнее. Я склонен думать, что отчасти это было обусловлено сложившимися обстоятельствами, от него не зависевшими, отчасти некоторыми особенностями его натуры.

\* \* \*

Если верно утверждение, что ученый – это человек, задающий вопросы там, где всем всё кажется ясным, то про Тома можно определенно сказать, что он был наделен даром исследователя и аналитика. Из коллег Тома по его последней работе в Научно-исследовательском экономическом институте при Госплане СССР на его поминках был, насколько помнится, только Борис Ракитский. Он тогда сказал нам, что на идеях Тома защитился не один доктор экономических наук, не говоря уже о кандидатах. Сам же он не защитился.

Упомянутый институт был его последним местом работы. А первым после всех драматических событий, описанных выше, был Институт изучения общественного мнения, основанный в 1960 году. Он возник в стране, политическому строю которой и менталитету ее руководителей такая идея вроде была противопоказана. Но благодаря ряду конкретных обстоятельств, и в частности не без подсказки некоторых молодых советников, пришедших в аппарат ЦК КПСС после 1956 года, Н.С. Хрущёв дал добро на создание Центра. Это был один из последних либеральных жестов власти в завершающие годы Оттепели. Инициатором и руководителем Центра был Борис Грушин, окончивший философский факультет МГУ в 1953 году и избравший своей специальностью фактически запрещенную в нашей стране социологию. Мы познакомились с ним в университетские годы, и проблем с приходом Тома в Центр не было. Он буквально ожил, работал много и с большим воодушевлением, участвовал в организационных делах, в разработке опросного листа, в многочисленных контактах с организациями и ответственными лицами, от которых зависело проведение первого всесоюзного опроса. Он был успешным, и Том вместе с коллегами занялся обработкой полученных материалов. Однако первый опрос оказался и последним. Часть материалов, как и ожидалось, не совпала с официальной пропагандой, с её мифами и ложью. Эти данные не подлежали оглашению и, и на них был поставлен гриф «для служебного пользования». Институт стал объектом пристального внимания партийных орга-

нов, КГБ и высшего цензора в стране – Главлита. Тем не менее он продолжал функционировать и прекратил свое существование в 1967 году.

Том остался без работы, и с поиском ее возникли трудности. Тогда-то и пришел мой черед помочь ему в трудоустройстве, как когда-то он помог мне. Я в то время работал редактором отдела в журнале «Мировая экономика и международные отношения» («МЭиМО»). Согласно штатному расписанию, мне полагался помощник редактора, и в том же 1967-м это место оказалось вакантным. Я предложил главному редактору журнала Якову Семеновичу Хавинсону кандидатуру Тома Борисовича Петрова, рассказав о его предшествующей профессиональной деятельности, и Том был принят на работу. Вскоре после начала работы у Тома возникла идея преобразовать статистическое приложение к журналу, влачившее жалкое существование, в раздел аналитической статистики. Идея была принята. Я познакомил его с лучшим статистиком института Борисом Моисеевичем Болотиным, выдающимся специалистом в этой области. После первой же их беседы Болотин нашёл меня и спросил, как давно Том Борисович имеет дело с экономической статистикой. Когда я сказал, что он прежде никогда ею профессионально не занимался, Борис Моисеевич не поверил мне. Я убедил его, сказав, что Том – мой друг с университетских лет.

Обновленный раздел статистики получил признание, и Том мог создать себе имя. Во многих случаях он вправе был выступать как соавтор аналитических таблиц и автор комментариев к ним. Но, как правило, он этого не делал. Почему? Я его не спрашивал, мне и так все было понятно: не делал прежде всего из-за высокой профессиональной требовательности к себе и по этическим мотивам. В конце 90-х годов, заехав по делам в ИМЭМО, я встретил Бориса Моисеевича. Мы давно не встречались и разговорились. Он вспомнил Тома и спросил о нём. Услышав, что Том ушел из жизни более десяти лет назад, Борис Моисеевич изменился в лице, помолчал, а потом сказал: «Я мало встречал людей, которые так ясно понимали экономический смысл статистики». А ведь он работал в ИМЭМО с конца 50-х годов и имел дело почти со всеми известными экономистами-международниками тех лет. Я хорошо знал Болотина, и у меня не было оснований не верить ему. К сожалению, и его уже нет.

В редакции журнала Тома встретили благожелательно. В нашем небольшом коллективе климат в целом был здоровый,

никто никого не подсиживал, не капал друг на друга. Том с его равно уважительным отношением к любому сотруднику скоро завоевал общее расположение. Но воспринимали его по-разному. Те, для кого главным мерилom были нравственные критерии, не могли не заметить и не оценить Тома как неординарную личность, его манеру держаться, его сдержанность, за которой угадывалось чувство человеческого достоинства; его суждения, в которых всегда присутствовал здравый смысл.

Но была и другая категория сотрудников, которые оценивали Тома в привычных категориях научного рейтинга и, главное, наличия или отсутствия связей «наверху». Поскольку с научным рейтингом было ясно – младший научный сотрудник, без степени – любопытствующие сотрудники института не раз меня спрашивали по поводу «связей» Тома, а я отвечал, что таковых нет ни в дирекции ИМЭМО, ни выше. И тогда следовала последняя фраза: «А отчего же твой друг так держится? Я-то думал, что за ним кто-то стоит». Я отделялся какой-нибудь репликой; объяснять, что в своем поведении Том всегда равен самому себе, своему представлению о человеческом достоинстве, было бесполезно.

Удивительным оказалось то, что не раскусил личность Тома и наш «Главный» – Хавинсон. Человек он был умный и, как правило, проницательный. И опыта жизненного у него было выше крыши. Опыт специфический – более тридцати лет в партийных органах, включая ЦК КПСС, директор ТАСС в годы Отечественной войны, когда он постоянно общался с Председателем ГКО и Верховным Главнокомандующим И. Сталиным. Хав, как мы называли его между собой, знал от меня про все злоключения Тома и, надо отдать ему должное, принял его на работу. Вел он себя с новым сотрудником очень осторожно, был предельно корректен, чего далеко не всегда придерживался в отношениях с другими сотрудниками редакции – позволял себе накричать и нагрубить. Видимо, он быстро почувствовал внутренний смысл той сдержанности, от которой Том никогда не отступал в общении с «шефом». Она не препятствовала деловому разговору, но в то же время определяла его тональность и границы, за которые не следует выходить. Том определил стиль своего поведения осознанно. О «Главном» я ему поведал всё, что знал. Он был «чужой». Хавинсон же, как мне кажется, так и не понял природу неординарности Тома и органичность его поведения.

В 1969 году в редакции разразился большой скандал, инициатором которого был сам главный редактор. Рассказывать об этой

истории ни к чему, а ее итогом стал уход одного из замов – Льва Степанова, который поддерживал Тома в его инициативах. Я тоже решил уйти из журнала в знак несогласия с действиями «Главного». Том не стал дожидаться моего ухода и перешёл на работу в НИИ Госплана СССР. О том, чем он там занимался, я знал по его рассказам. Это были главным образом социально-экономические проблемы нашей страны в 70-е и в начале 80-х годов. Полагаю, что в творческом плане он достаточно проявил себя и Борис Ракитский высоко оценил работу Тома в институте и так тёпло отозвался о нём не потому, что говорил на поминках. Что же касается диссертации, Том, когда заходил такой разговор, обычно отшучивался; со временем эта тема стала возникать всё реже, а потом и вовсе исчезла.

То, что Том не защитился, легче всего объяснить прогрессирующей болезнью. Отчасти так оно и было. Подготовка диссертации требует большой концентрации усилий – затрат не только времени, но и нервной энергии. Вероятно, в какой-то момент он решил, что «овчинка выделки не стоит»: у него было прочное положение в институте, его знания были признаны, продукция востребована, он занимал должность старшего научного сотрудника, на которую в те времена обычно назначались кандидаты наук. В конце 70-х и начале 80-х годов Том участвовал в выполнении ряда исследовательских проектов и был соавтором многих докладов и статей, опубликованных в экономических журналах и сборниках научных трудов, вышедших под грифом Научно-исследовательского экономического института Госплана СССР. Они были посвящены анализу эталонов потребления и бюджетов населения, опросам и экспертным оценкам проблем социального развития, социальным приоритетам и т. д. Так что для Тома кандидатские «корочки», в сущности, ничего не меняли, если, конечно, не считать прибавку к зарплате. Но в системе его ценностей этот фактор занимал далеко не первое место. Время и душевную энергию он берег для личной жизни – общения с теми, кого любил, с кем дружил, кому мог в чем-то помочь, для своих излюбленных занятий. Я не помню, чтобы Том говорил это друзьям, возможно, считая, что понимающий да поймет.

Но это не всё. Дело было ещё и в свойствах его личности. Тома интересовал сам процесс работы и меньше – его конечная стадия, когда надо оформить, как это положено, полученный результат и свою роль в его получении. Это проявилось, как я уже отметил, в период его работы в редакции журнала «МЭиМО». Судя по

словам Бориса Ракитского, так поступал он и в госплановском институте. Том докапывался до сути, искал ответ и, отыскав его, как бы терял интерес к занимавшей его проблеме, не давая себе труда довести работу до общепринятой в науке процедуры – «застолбить» авторство и ученый статус в виде диссертации.

\* \* \*

Сколько я помню Тома, он постоянно что-то читал. Должно быть, он унаследовал любовь к чтению от Бориса Дмитриевича, кабинет которого напоминал книгохранилище. Застеклённые стеллажи с книгами, от пола до потолка и вдоль всех стен, стопки книг и журналов на стульях и табуретах, заваленный книгами и рукописями письменный стол, груды книг на полу. Это царство литературы оказывает магнетическое влияние на человека, тем более в юном возрасте. Говорят, пик чтения приходится на период жизни от пятнадцати до двадцати пяти лет. Позже наступает спад: отпадает необходимость чтения, связанного с освоением школьных и вузовских учебных программ, начинаются работа и семейные заботы. Не могу судить, совпадала ли эта схема с изменениями интенсивности чтения у Тома, но помню, что в зрелом возрасте он много читал, перемежая художественную литературу, публицистику и научные труды, в основном книги и статьи по экономике, социологии и истории. Как-то я посетовал, что не успеваю читать беллетристику. Том сказал: «А я читаю каждый день перед сном». Я было усомнился в продуктивности такого чтения, но он обезоружил меня, пояснив, что недавно кончил читать «Иосифа и его братьев» Томаса Манна. Изумлению моему не было предела: двухтомник, почти полторы тысячи страниц. «И сколько у тебя времени ушло?» – спросил я. «Около года», – отвечивал Том. Когда основным местом его пребывания стала ЦКБ, на стоявшей у изголовья тумбочке всегда лежала стопка книг и журналов, которые ему доставляли Мюда и друзья.

\* \* \*

Я ничего пока не сказал ещё об одной страсти Тома – водном туризме, которому он посвятил почти тридцать лет. Пешим туризмом мы начали заниматься на втором курсе, Том был одним из его зачинателей. Летом ходили в дальние походы; осенью, зимой и весной по субботам и воскресеньям выбирали пешие и лыжные

маршруты в Подмоскowie. В 1955 году Лёня Гордон каким-то образом узнал, что на одном из заводов в Куйбышеве (Самаре) прекратилось производство байдарок типа «Салют» и последняя партия распродается за полцены – по 550 рублей. Мы подсуетились и купили несколько байдарок. С того года мы перешли в категорию водных туристов. Том был заядлым байдарочником. Без него не обходился ни один поход. Мы освоили почти все реки ближнего и дальнего Подмоскowie – Ворю, Рузу, Истру, Москва-реку, Оку, Клязьму, Верхнюю Волгу, Угру и другие, водохранилища вдоль канала Москва–Волга, Истринское водохранилище, озера под Шатурой, возникшие на месте заброшенных торфяных карьеров. У Тома было несколько излюбленных вариантов – открытие водного сезона в весеннее половодье, когда можно плыть как по руслу, так и по затопленному лесу; головокружительные спуски по порожиистой Мсте и летние стоянки на прекрасных озерах Валдайской возвышенности, где можно в течение недели, а то и двух прожить и поплавать на байдарке почти в полном уединении.

В 1971 году мы совершили с Томом и Максимом, ему было тогда 14 лет, самое дальнее и продолжительное путешествие на байдарке по озёрам и порогам Карелии. У Тома к этому времени была чётко выраженная сердечная болезнь – тахикардия; время от времени и, как правило, внезапно начинались приступы учащенного сердцебиения, которое можно было остановить немедленным приемом медицинских препаратов. Римма сначала возражала против этой поездки, но Том уговорил ее, и она согласилась, снабдив его всеми лекарствами и подробно объяснив мне, как проявляются симптомы тахикардии и какие лекарства и в каком порядке надо принимать. Она была встревожена, и я повторил все её наставления. Путешествие оказалось прекрасным, если говорить об уникальной по красоте природе Северной Карелии и о погоде, которая редко досаждала нас дождями. Оно оказалось и благополучным, так как болезнь лишь однажды напомнила о себе. В тот день мы позавтракали и стали собираться в путь, как он вдруг повернулся ко мне – лицо его посерело, простушили скулы – и сказал, что, пожалуй, следует повременить. Я ответил, что у нас есть запас времени и мы можем постоять не один, а пару дней. Том принял таблетки, Максим занялся своим излюбленным занятием – рыбной ловлей, а я разными хозяйственными делами. К вечеру Том пришел в себя. Назавтра с утра он был молчалив, видимо, прислушиваясь к своему состоянию, а потом сказал, что

он в порядке. В полдень мы отправились в дальнейший путь, и до конца нашего путешествия приступы тахикардии не повторились.

А из моих впечатлений о нем я упомянул бы два самых сильных. Первое из них – это выдержка и самообладание Тома в критической ситуации. Мы дважды попадали в такую ситуацию, и оба раза – в начале нашего путешествия, на Топозере. Расскажу об одной из них, но сначала несколько слов о самом озере. Оно расположено в Северной Карелии, недалеко от Полярного круга. Сверху озеро напоминает грушу, протянувшуюся на 100 километров с северо-запада на юго-восток, шириной в верхней части до 40 километров, в нижней, постепенно сужающейся, – от 20 до полукилометра перед входом в протоку, которая ведет к следующему озеру. Посередине озеро почти на всем его протяжении разрезает цепь больших, средних и малых островов, всего их более трёхсот. В первый день рыбаки из поселка Кестеньга, единственного поселения на озере, забросили нас на катере на самый большой остров, которым начиналась цепь островов. Вдоль них мы и собирались через несколько дней отправиться в путь. Плыть по открытому пространству было крайне опасно, так как на озеро внезапно налетает северо-западный ветер, который разгоняет по всему стокилометровому водному маршруту двухметровую волну.

Прожив на острове четыре дня и переждав на нём потрясающей красоты шторм, мы двинулись вдоль островов и на второй день подошли к последнему островку. Дальше предстояло либо плыть по открытому пространству, либо свернуть к берегу, до него было всего (!) шесть километров, и затем уже плыть вдоль него к протоке. Второй вариант был более безопасен, небо было чистое, стоял штиль, и мы отправились к берегу. Мы не дошли до середины, как поднялся ветер, продольный и самый опасный. Вскоре пошла первая, ещё не крупная волна. До берега оставалось, на взгляд, более двух километров – полчаса ходу. Мы переглянулись и ускорили темп. Вскоре волна начала заплескивать в лодку. Максим встревожился. «Максимчик, – спокойно сказал Том, – возьми черпак и вычерпывай воду. Всё будет в порядке». Потом, понизив голос: «Юрец, идем наискосок волне. Так дольше, но устойчивее. Ты сидишь сзади, следи, чтобы нас не развертывало боком к волне. Гребем синхронно, на раз-два». После этого мы замолчали, только Том порой подбадривал Макса, сосредоточенно вычерпывавшего воду. Она уже булькала под нашими ногами, и гребти становилось всё труднее. Но тут я высмотрел слева, с на-



ветренной стороны, узкий мыс, далеко врезавшийся в озеро. «Том, – обрадовался я, – нам нужно еще несколько минут, чтобы зайти за мыс, который укроет нас от волны». Мы успели. Волна стала спадать, и минут через пять или чуть побольше нос байдарки уткнулся в берег. Когда мы взглянули на озеро, по всему водному пространству катились крутые волны с белыми пенными гребнями. Том обернулся к сыну: «Максим, собери хворосту для костра, – а когда он ушёл, сказал мне – Если бы не мыс, мы, может быть, и не выбрались бы». О втором шторме, в который мы попали через день, на подходе к искомой протоке, я рассказывать не буду. Через много лет, вспоминая Карелию, Том сказал, что этот шторм был опаснее первого, но мне запомнилось, что мы после первого испытания держались увереннее.

А второе моё сильное впечатление – Том в азарте. Мы прошли уже почти все озёра. Началась река Воньга с ее двумя или тремя десятками порогов и перекатов. В отличие от многоводной Поньгомы, которую мы с Эдиком прошли годом позже, Воньга была мелкой рекой. На равнинных участках воды было достаточно, а на порогах и перекатах втроем плыть было невозможно, байдарка шаркала по каменистому ложу, оставлявшему на её днище разрезы, которые потом приходилось латать. Сами пороги растягивались на сотни метров и представляли собой череду уступов с узкими проходами, устремляясь к которым поток воды метался от берега к берегу, разворачиваясь под прямым углом. Проходить их мог только один из нас – Том или я; двое обходили их по берегу. Я был за очередность, но из этого ничего не вышло. После прохождения первого порога Том был в экстазе. Он прошел и два следующих порога, после чего я забастовал. На этот раз он уступил, сказав только, после того как я подгрёб к берегу, что легче проходить порог, чем наблюдать с берега, как его друг несется «верхом на тигре». В дальнейшем мы менялись, но я уже не настаивал на равенстве, потому что Том входил в такой азарт, какого я не видел в нём многие годы.

Как оказалось, это было последнее дальнее и длительное путешествие Тома на байдарке и его последняя встреча с порогами. В последующие годы он плывал с друзьями только по подмосковным рекам. Это были короткие вылазки, не более двух-трёх дней. Круг участников постепенно сужался. В конце 70-х и начале 80-х годов мы плавали уже вдвоем, выбирая маршруты, которые можно было пройти за день. Обычно плыли по Истре и Москва-реке до поселка Александровка, где в течение нескольких лет

снимали на лето дачу Эдик и Лена с их прелестной дочкой Машей, продвигавшейся к своему первому десятилетию, а однажды проплыли по Москва-реке, начав от Звенигорода и доплыв все до той же Александровки. Том жил уже с искусственными клапанами. Байдарка была ему противопоказана. Однако он игнорировал предупреждения врачей. Пару раз решился на самостоятельное плавание по южному отростку канала Москва–Волга от Химкинского водохранилища до соединения этого отростка с Москвой-рекой около Строгино. Узнав об этом от самого Тома, я пришел в ужас. В 1984 году Том уговорил меня пройтись с ним на байдарке по традиционному истринскому маршруту. Я согласился при двух условиях – тележку с байдаркой буду везти я и грести тоже буду я, а он только подгрести время от времени. Маршрут мы вдвое укоротили – от Петрово-Дальнего, куда прибыли автобусом, до Александровки, откуда убыли тоже автобусом. Том несколько раз начинал грести и быстро останавливался. Это была его последняя встреча с байдаркой.

\* \* \*

Том был прекрасный друг, в чём многие из нас убедились ещё в университетские годы. Но я сознательно обратился к этой теме после рассказа о карельском путешествии, а почему, объясню чуть позже. Как другу ему были присущи три качества – надёжность, заботливость и деликатность. На него можно было положиться. Если он видел, что нужна его помощь, то приходил, не дожидаясь, пока его призовут; если брался помочь, то не подводил. Не буду рассказывать о собственном опыте и ограничусь одним примером, о котором мне рассказала Женя Авдулова. В конце 1970-х годов у Андрея случился очень сильный нервный срыв. Он тогда работал в Министерстве станкостроения, возглавляя один из важнейших отделов. Климат и стиль работы, господствовавшие там, настолько расходились с его убеждениями, что он в конце концов не выдержал. Андрей впал в глубокую депрессию, ему пришлось лечь в больницу, и его долго не могли вывести из этого состояния. Никто из друзей Андрея не уделял ему столько внимания и не бывал у него так часто, как Том. Возможно, его роль в излечении друга была сопоставима с ролью эскулапов.

Том был щедрым в своей готовности прийти на помощь. Это могли быть самые разные люди – друзья друзей, бывшие одно-

классники и сокурсники, коллеги по работе, соседи по больничной палате и т. д. Том был внимателен и заботлив. Это проявлялось у него естественно, ненавязчиво и ненадоедливо, как это иногда бывает у людей очень хороших, но не знающих меры в своем рвении и вызывающих из-за этого раздражение у тех, кто оказался жертвой неумеренной заботливости. Тому отторжение не грозило в силу его природной деликатности. Я не хочу сказать, что Том был ангелом во плоти – никогда не проходившим мимо, никому не сказавшим резкого слова, не нагрубившим. С кем не бывает. Я хочу лишь подчеркнуть, что те качества Тома, о которых сказано выше, те сигналы, которые воспринимались окружающими его людьми, исходили не от него, а из него. Тот, кто улавливает этот лингвистический нюанс, поймёт, что я имею в виду. Он был наделён этими качествами от природы.

Том был прекрасный сын. В моих словах нет ни грама преувеличения. Мы, его друзья, видели это в течение всей его жизни. Он был главным помощником и советчиком Зинаиды Александровны во всех семейных делах. Он откликался на все просьбы, её и отца, даже тогда, когда уже сам был тяжело болен. Арлен порой негодовал, говоря, что родители злоупотребляют его верностью сыновнему долгу. Я был согласен с ним, но не считал себя вправе судить их. Думаю, что судьба наказала их преждевременной смертью Тома, особенно Зинаиду Александровну, потому что она была мать и потому что Том был самым близким ей человеком в семье.

А теперь вернусь к нашему карельскому путешествию. Мы прожили вместе почти три недели. Это была хорошая проверка – не совместимости – она была проверена более чем двадцатилетней дружбой, – а повседневного внимания друг к другу, умения понять состояние друга и найти нужный тон. Том был великолепен. Кажется, на второй день я проснулся в плохом настроении и пребывал в нём до вечера. Поужинав, встал и сказал, что посижу немного один. Нашёл камень на вершине утеса, недалеко от палатки, и долго сидел там, любуясь озером, предзакатной солнечной дорожкой, протянувшейся через всё водное пространство, тёмной каймой леса на дальнем берегу, плывущим над ним красным солнечным диском и неуловимой сменой гаммы красок на темнеющем небе. Том меня не тревожил. Он подошел через пару часов, когда совсем стемнело, ни о чем не спросил и лишь сказал: «Юрец, я заварил чайку. Приходи». Я кивнул, и он ушел. Через минуту я встал и вернулся к костру. Том разлил чай, мы сидели,

обмениваясь ничего не значащими репликами, – важен был не смысл, а сигнал. Удивительная деликатность друга как рукой стерла с меня хандру. Я вытащил наш НЗ и плеснул понемногу в кружки. «Том, – сказал я, – всё в порядке», – и мы чокнулись. Три недели мы прожили душа в душу.

И всё это время я молча наблюдал, стараясь быть незаметным, как Том общался с сыном. Сказать, что он был внимателен и заботлив, мало. Он был заботлив не только как отец, но и по-матерински, уделяя внимание таким деталям, которые обычно являются уделом женской заботы. Том вообще был внимателен к детям, мы знали о его отношении к нашим детям, а они это чувствовали и отвечали ему взаимностью – Коля и Саша Авдуловы, Катя Меликсетова, Андрей Гордон, Маша Клопова, мой Димка.

\* \* \*

Том лёг на обследование в Институт сердечно-сосудистой хирургии в 1978 году. Вердикт врачей был однозначен: необходимо срочно заменить совершенно изношенные сердечные клапаны новыми, искусственными. Срок годности отечественных клапанов не превышал семи лет, примерно вдвое меньше, чем американских. Операция завершилась успешно, но мы были ошеломлены, узнав, что Тому поставили советские клапаны. Для нас так и осталось тайной, почему родители, особенно Зинаида Александровна, с их положением и связями в медицинском мире, и не только в медицинском, не сделали всё, что было в их силах, чтобы достать импортные. Перед выпиской из клиники у Тома был долгий разговор с хирургом, который предупредил его, что через семь лет предстоит повторная операция и ему следует резко изменить образ жизни – остерегаться больших физических нагрузок, бросить курение, свести к минимуму потребление крепких напитков и т. п. Том не внял рекомендациям. Спиртным он уже не злоупотреблял, но курить не бросил и не оставил своих любимых занятий – доводить «до ума» машины и ходить в субботние и воскресные дни на байдарке по рекам Подмосковья. Не отказался он и от лыжных вылазок, хотя и более коротких, чем раньше, когда мы как-то вдвоем за день отмахали 60 километров от Загорска (нынешнего Сергиева Посада) до Дмитрова. Однако и 10–15 км были теперь излишней нагрузкой для него.

Но не только это нагружало его сердце. Задолго до операции, с начала 60-х годов жизнь Тома превратилась в драму отношений с двумя женщинами, прошедшую через всю его дальнейшую судьбу.

\* \* \*

Мюда Ивановна Деревянкина вошла в жизнь Тома внезапно и в критический для него момент. На памятном партийном собрании в Госполитиздате она, рядовой редактор, выступила, а затем проголосовала против его исключения из партии. Единственный голос в его защиту. С этого всё и началось. Не знаю, когда и как началась их любовь, немногое знаю о её драматической истории. Возможно, больше знали Арлен и Андрей, но думаю, что Том поведал им далеко не всё. Это была самая закрытая сфера его личной жизни. Я, как и все друзья Тома, Риммы и Мюды, был одним из очевидцев сложных отношений в этом треугольнике, о которых большей частью оставалось только догадываться, и могу рассказать лишь о том, как я представляю их теперь, по прошествии многих лет.

Том и Мюда не могли не сблизиться. Том произвел на неё сильное впечатление тем, как достойно держался на злополучном партийном собрании; Мюда произвела на него не менее сильное впечатление тем, что отважилась бросить открытый вызов всем, кто пытался его распнуть. Вероятно, они сблизились, ещё не ведая, во что это выльется. И он и она были людьми семейными. Максим был в самом раннем возрасте, когда родители находятся в полном упоении и одновременно в постоянной озабоченности тем, что малыш кашлянул, или у него нехороший стул, или на его теле выскочил странный прыщик и тому подобное. Так было и у Риммы с Томом. У Мюды тоже был сын Андрей, в том же возрасте или чуть старше, чем Максим. И муж у неё был грех жаловаться. С Юрием Павловичем Давыдовым я познакомился позже, не зная, что он был первым мужем Мюды. Один из ведущих сотрудников Института США и Канады, умный, интеллигентный и симпатичный человек. Мы быстро перешли на «ты» и звали друг друга по имени.

Том и Мюда не относились к людям, легко и сразу вступающим в любовную связь. Видимо, это произошло в начале 60-х годов и скоро перестало быть тайной для их друзей. О том, что Римма тоже знает об измене мужа, я узнал от неё самой. Наступили тя-

жёлые, мучительные для всех троих годы. Том разрывался между двумя женщинами, а их терзала неизвестность, так как он никак не мог решиться на выбор. Однажды, по словам Жени Авдуловой, к ним неожиданно приехал Том и, уединившись в машине с Андреем, долго о чем-то ему рассказывал. Когда он уехал, удрученный Андрей сказал ей, что Том никак не может принять решение и обвиняет себя в слабохарактерности. Не берусь ни подтвердить, ни опровергнуть эту самооценку. Выбирать предстояло между любовью и нравственным долгом – кому такого пожелать? Чем больше он переживал, тем глубже запрятывал свои чувства. Мне запомнился один эпизод, из которого я понял, с каким напряжением Том говорит о самом сокровенном. Мы возвращались с ним из гостей. Было далеко за полночь. Шли пешком и в конце концов свернули на Беговую, шествуя по пустынной улице в сторону Ленинградского шоссе. Внезапно Том показал на один из многоэтажных серых домов, стоявших по левую от нас сторону Беговой, и сказал, что здесь живёт женщина, к которой он, может быть, вскоре переедет. Я знал, что её зовут Мюда; Том знал, что я это знаю. Тем не менее, находясь в состоянии сильнейшего аффекта, вызванного встречей с этим домом, он не произнёс её имени.

Том не переехал туда. Он решил остаться в семье. У него с Мюдой состоялся долгий разговор, из которого мне, как и другим друзьям Тома, было известно только то, что они решили больше не встречаться: либо полное счастье, либо никакого. Её имя в наших разговорах Том не упоминал. Скорее всего, так он вёл себя и с другими друзьями. Но иногда, общаясь с ним, было видно, что выдержка и душевное равновесие даются ему нелегко. Случалось, Том крепко напивался, чего раньше за ним не водилось, и смотреть на это было тяжело.

Семью Том и Римма общими усилиями сохранили. А как это удалось им, что они говорили друг другу и что у них было на душе – осталось тайной, которую они унесли с собой. Держались они достойно, особенно – по понятным причинам – Римма. Главной их заботой был подраставший Максим. Он не обладал ни крепким здоровьем, ни твёрдым характером, и ему надо было уделять много внимания. А затем к ним подкралась ещё одна беда – болезнь Риммы. Началось с её давней аллергии на пыль, которой было более чем достаточно в Центральном архиве древних рукописей, где она тогда работала. Через некоторое время это сказалося: у неё началась астма. Тома угнетало то, что ухудшение

её здоровья усугублено пережитой ею глубокой душевной драмой. Кто знает, как сложилась бы их дальнейшая совместная жизнь, но последнюю точку в ней поставил несчастный случай с трагическим исходом – 7 августа 1978 года Римма скоропостижно умерла. Это произошло летом, в воскресенье. Она находилась дома, когда начался тяжёлый приступ астмы, который сопровождался быстро разраставшимся отеком горла. Том вызвал «скорую помощь», но спасти Римму не удалось. Ей было всего 48 лет. Светлый человек, искренний в своих чувствах, верный и надёжный в семье, доброжелательный к друзьям. Судьба обошлась с ней жестоко и несправедливо. Насколько сократила её жизнь глубокая личная драма? Том тяжело переживал смерть Риммы, считал себя виновным, и это, кроме всего прочего, подхлестнуло дальнейшее развитие его собственной болезни.

Мюда, которая ушла от Юрия Давыдова в пору её встреч с Томом, после разрыва с ним второй раз вышла замуж. Правда, новое замужество оказалось коротким; оно было бегством от прошлого и, как вскоре выяснилось, убежать от самой себя ей не удалось. Она вновь развелась. Её чувствами и мыслями вновь завладел Том, однако встреч с ним она не искала. В первые месяцы после ухода Риммы не искал их и Том. Но однажды, кажется, это было уже в следующем году, он сказал, что снова встречается с Мюдой, и добавил, что они решили не загадывать наперед, пока вновь не уверятся в своих чувствах и друг в друге. На совместную жизнь, на терпкое с привкусом горечи счастье у них оставалось семь с небольшим лет. О сроке действия новых сердечных клапанов у Тома знали оба; он сказал это Мюде, а может, она узнала от кого-то до их встречи. Но вначале они старались об этом не думать. Они встретились и наконец обрели друг друга, им было хорошо.

Через некоторое время Том решил ввести Мюду в круг друзей. Она согласилась не сразу, а согласившись, очень волновалась, не зная, как её примут его друзья. Каждый год 10 августа мы праздновали день рождения Эдика, и Том решил, что это подходящий случай для первого совместного выхода в свет. Ехать предстояло в Александровку, где Эдик и Лена по обыкновению пестовали малолетнюю Машеньку. У Мюды была машина, серая «Волга», и Том предложил мне отправиться вместе с ними. Когда я приехал к нему, он тихо, чтобы не услышала Мюда, сказал: «Юр, сядете вдвоем сзади. У вас будет время пообщаться в дороге, и она успокоится». Мимолетный эпизод, но очень характерный для Тома.

Прошло, наверное, не меньше трёх лет, когда Том и Мюда решились оформить свои отношения. Сердце у него стало сдавать, и началось его хождение по больницам. Мне он сказал, что для него это было главным мотивом для регистрации новой семьи. Никаких сугубо материальных соображений в этом акте не было, но в нём крылся нравственный смысл. Если бы Мюда и Том были верующими, я мог бы сказать, что они намеревались предстать перед Всевышним как семья. Они не были верующими, но в их решении было нечто сходное с такими чувствами.

Мюда недолго прожила после смерти Тома. Вскоре у неё началось обострение болезни костей, которая раньше лишь изредка напоминала о себе. Она с большим трудом передвигалась по квартире, потом друзья достали для нее импортную инвалидную коляску; начались адские боли, снимаемые лишь сильно действующими наркотиками. В последние месяцы Мюда допускала к себе только двух человек (не считая сына) – самую близкую подругу Нонну Богат и мою жену Лену, с которой Мюда очень сблизилась в последние годы жизни, особенно после того как обострилась её болезнь. Ей-то и рассказала Мюда, как она встретилась после долгой разлуки с Томом. Этим рассказом я и закончу повесть об их любви. Мюда, по ее словам, очень хотела увидеться с ним, но никогда не позвонила бы первой. Однажды, это было летом 1979 года, под утро она внезапно проснулась, будто её сильно встряхнуло. Она, повинуясь инстинкту, подошла к окну. Внизу, в предутренней синеве, виднелись машина и стоявший возле неё Том, который курил и глядел на её окно. Мистика! Но у меня нет оснований не верить рассказу Мюды, который почти дословно пересказала мне Лена. Было что-то непостижимое в этой любви мужчины и женщины, встретившихся на одном из перекрестков их жизни и наделенных сильными характерами и сильными чувствами – любви прекрасной и трагической одновременно.

\* \* \*

В 1982 году, когда миновала половина срока действия поставленных клапанов, Том прошел плановое обследование в Институте сердечно-сосудистой хирургии. Результаты оказались хуже, чем можно было ожидать. Оперировавший его три года назад хирург сказал Тому, что или он изменит образ жизни, или повторная операции будет невозможна. В какой-то степени это подействовало, но переходить на полубольничный режим Том не хотел. Сердце



работало всё хуже. Том все чаще кочевал по больницам. Мюда готовила и привозила ему домашнюю пищу. В один из летних дней 1984 года, я как раз находился дома, раздался телефонный звонок. Это был Том: «Юрец, у меня направление в больницу. Если можешь, приезжай, я один не доеду». Через полчаса я был у него. Мы собрали всё, что было нужно, заказали такси и вскоре прибыли в больницу. Почему-то пришлось долго ждать, пока его пригласят в приемное отделение. Том был абсолютно серого, землистого цвета, с трудом дышал. Он молчал, а потом произнёс: «Наверное, я отсюда уже не выйду». В его голосе не было надрыва. Скорее это было грустное признание неизбежности того, что его ожидает, впервые вслух произнесенное.

Из этой больницы он вышел, но вскоре лег в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Кунцево, пробыл там несколько месяцев, вернулся на короткий срок домой и вновь лёг в ЦКБ. Родным и друзьям было разрешено посещать его в любой день, что мы и делали, чаще всего по одному или двоим. В марте 1985 года к власти в стране пришел Михаил Горбачев, и Том спрашивал нас о происходящих событиях. Воспринимал он услышанное со смешанным чувством, но больше с недоверием. У него, как, впрочем, и у нас, его друзей, были на то основания, так как первые акции нового лидера были крайне осторожными и противоречивыми. Политическая цензура была отменена в 1987 году, и я, помню, тогда подумал: как жаль, что мой друг не дожил до этого события.

Вначале Том лежал в палате на двух человек, а позже был переведён в отдельную палату. В последний раз я был у него четвертого или пятого апреля, а восьмого, между пятью и шестью часами пополудни, мне позвонил Лёня Гордон и сказал, что Том скончался. Как рассказал позже Леонид, он в тот день был у Тома, они долго разговаривали и попрощались, а когда он начал спускаться по лестнице, его догнал врач и сказал, что сердце Тома остановилось.

\* \* \*

Я не собираюсь подводить итоги жизни Тома Петрова. Это не исследование и не литературная биография, а личные воспоминания и размышления, дополненные тем, что мне рассказали некоторые из наших общих друзей. «Личные» – значит субъективные. Это моё видение, мой образ Тома. Надеюсь, что те, кто знал его,

найдут в моих записях что-то новое о нём, может быть, неожиданное, с чем-то не согласятся, но задумаются, а тем, кто его не знал, они будут интересны сами по себе и тоже наведут на размышления о канувшей в прошлое стране и судьбах живших тогда людей.

В самом начале сей повести есть фраза о неразгаданности «так и не раскрывшейся личности» моего друга. Закончив повествование, я подумал, что эта фраза неточна и её можно истолковать по-разному: не проявившая себя личность или не реализовавшая себя личность? Это не одно и то же. Том Петров, несомненно, был неординарным человеком. Это проявлялось по-разному в течение всей его жизни, и я не буду повторять то, о чём рассказал. Проявлялось не только в критических ситуациях, но и в эпизодах обыденной жизни, в которых-то и сказывается устойчивость индивидуальной человеческой натуры.

Другое дело, что личность Тома проявилась далеко не в полной мере, потому что ему не удалось или не суждено было, полностью реализовать свой творческий потенциал, дарованный ему от рождения и пополненный в детские и отроческие годы. Как измерить соотношение между «не удалось» и «не было суждено», то есть между тем, что мог, но не сделал сам, и тем, что не позволили сделать внешние обстоятельства? У меня нет ответа на этот вопрос, идет ли речь о Томе или о ком-нибудь другом, в том числе и о себе.

«Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом» – еще одна крылатая фраза Пушкина. И рядом Федор Тютчев с его «в Россию можно только верить». Как будто бы о разном и встык, а по сути всё про то же – о странной, иррационально устроенной стране. Ей действительно на роду написано отвергать, губить, калечить или просто не замечать и не давать ходу своим гениям, творческим личностям и просто честным гражданам? В той профессиональной и интеллектуальной среде, где прошла моя жизнь, в советские времена одним удалось сделать больше, другим – меньше, третьим – почти ничего. Даже те мои друзья, которые достаточно преуспели в своей творческой самореализации, сделали далеко не всё, что могли бы сделать, живи они в условиях политической и духовной свободы. Не хочу высчитывать, какую роль в судьбе Тома сыграли особенности его натуры, какую – обстоятельства его личной жизни, какую – страна, в которой он жил, и её общественный строй. Творческий потенциал моего друга реализовался лишь в малой части. Но – и это, на мой взгляд, самое важное – он жил богатой, одухотворенной внутренней жизнью. Именно после его ухода меня будто пронзила мысль, что мы

живем одновременно в двух мирах – внешнем и внутреннем, и внутренний мир человека так же бесконечен, как бесконечна Вселенная. Человек уходит – и уносит свой Космос с собой, оставляя нам на память лишь его жалкие обрывки. К Тому, я полагаю, это относится в полной мере.

И еще одна мысль не оставляет меня, когда я размышляю о моем друге: насколько же велика в человеческой судьбе роль случая. Я не верю в предназначенность. Жизнь человека – это череда перекрестков, встреч с людьми или обстоятельствами, которые иногда неожиданно и круто изменяют траекторию его судьбы. В жизни Тома были три, как говорят, «судьбоносных» случая – выступление Феликса Алексева на партсобрании в Госполитиздате, встреча с Мюдой и далеко не лучшие сердечные клапаны, которые ему были поставлены в ходе операции. С первым понятно – предательство оно и есть предательство со всеми его последствиями. С третьим случаем тоже ясно – он укоротил жизнь Тома на несколько лет. Но однозначно определить, что принесла Тому встреча с Мюдой, я не могу. Такой силы чувства, какие возникли между ними, в привычные стандарты не умещаются. Не сомневаюсь лишь в том, что их любовь была ниспосланным моему другу подарком в его последние годы.

Том ушел очень рано. Ему было неполных 56 лет. До полных ему не хватило двух с половиной недель – он скончался восьмого апреля, а родился двадцать шестого. Он успел многое повидать и испытать всю гамму чувств, выпадающих человеку. Все мы смертны, все мы знаем об этом с детских лет и, испытав острый шок, когда впервые постигаем неизбежность смерти, так или иначе сживаемся с этим знанием. Но всё же есть различие в восприятии этого факта человеком, знающим, что он рано или поздно покинет сей мир, и тем, кто знает примерную дату своей кончины. Том узнал её, когда оперировавший его хирург сказал, что вторая операция невозможна. Он прожил с этим знанием четыре года. Ограниченный в излюбленных занятиях и поступках своим физическим состоянием, он продолжал жить насыщенной внутренней жизнью, включая и последний год, почти целиком проведенный в больнице. Борис Жутовский сделал там последнюю серию фотопортретов Тома. Настоящий профессионал, соединяющий в себе незаурядного художника и классного фотографа, Боба сумел запечатлеть разные эмоции и душевные состояния Тома, свойственные ему в течение всей его жизни: Том, улыбающийся кому-то или чему-то; Том смеющийся; Том размышляю-

щий, ушедший в себя; Том беседующий и спорящий с другом; Том негодующий; Том, предельно уставший от скрутившей его и не дающей ему передышки болезни. До кончины ему оставалась, может быть, пара месяцев.

### Три дня в августе 1991-го

19 августа 1991 года я встретил в пути. Поезд Москва–Мурманск тронулся с места точно по расписанию – в ноль часов пять минут. Мы, Борис Орлов и я, оказались одни в четырёхместном купе, забросили на верхние полки увесистые рюкзаки, скинули поношенные туристские куртки и расположились у окна напротив друг друга. Путь наш лежал в столицу Карельской Республики – Петрозаводск. Местная организация недавно учрежденной в Москве социал-демократической партии России пригласила Бориса Сергеевича Орлова прочесть несколько лекций о социал-демократическом движении в Европе и задачах российской социал-демократии. Он согласился, но с условием, что петрозаводские однопартийцы сначала забросят его на пустынное озеро или побережье Белого моря, где он отдохнет с неделей от московской круговерти, а затем выполнит свою просветительскую миссию. Я напросился в компанию, сказав, что три года ходил на байдарке по навсегда покорившим меня озёрам и порожистым рекам Карелии, а местным социал-демократам мог бы прочесть лекцию о европейской интеграции и месте Европы в наших международных экономических и политических связях. Борис позвонил в Петрозаводск, там порадовались и дали добро на мой приезд.

Теперь мы сидели в купе, и монотонный перестук колёс напоминал, что мы в пути. Нам было о чём поразмышлять. После моего перехода в Институт Европы нам не часто удавалось встречаться, да и то на каких-либо научных или общественных форумах, где разговор всегда на ходу и второпях. Но было уже поздно, и, обменявшись несколькими фразами, мы улеглись и быстро заснули.

\* \* \*

Мы познакомились в 1971 году. Я второй год работал в Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН) АН СССР, возглавляя в нём сектор научной информа-

ции по проблемам капиталистических стран Европы. Институт был основан в 1968 году с целью сбора, анализа и распространения обществоведческой информации в нашей стране. На первый взгляд, это выгядело издевательством над истинным смыслом понятий, поскольку первейшей обязанностью всех структур власти и управления в СССР было сокрытие информации. Словом, наглядная иллюстрация к знаменитому роману-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Но не всё было однозначно в замысле высшей власти, решившей создать такой институт. Чтобы не набивать себе синяки и шишки на международной арене, как это не однажды случалось, она нуждалась в систематической информации, отражающей реальное положение дел в мире. Эта идея была зафиксирована в концепции института, одобренной высшим партийным руководством. А раз так, можно было попытаться, опираясь на эту концепцию, создать систему распространения информации о состоянии и тенденциях развития зарубежной, прежде всего западной, общественно-научной мысли, рассчитанную на научное сообщество и преподавателей высшей школы.

С этой мыслью я и принял приглашение Льва Петровича Делюсина, первого директора ИНИОН, перейти на работу в институт и создать в нём новый сектор. Это было летом 1970 года, а через год в нём появился Борис Орлов. В один из майских или июньских дней 1971 года мне позвонил секретарь директора института и сказал, что Лев Петрович просит меня и ещё двух заведующих отделами приехать к нему. Директор встретил нас в своём кабинете. Рядом с ним сидел мужчина примерно тех же лет, что и я. Седой бобрик коротко постриженных волос, лицо худощавое, спокойный взгляд, но в нём чувствуются ожидание и настороженность. «К нам пришел новый сотрудник, Борис Сергеевич Орлов, – представил мужчину Лев Петрович, – он специалист по Германии, германской и европейской социал-демократии. Нам предстоит решить, в каком подразделении он будет работать».

Когда директор назвал мужчину, я ахнул про себя. Мне в конце 1968 года рассказали о Борисе Сергеевиче Орлове – корреспонденте «Известий», который прибыл 22 августа в составе группы советских журналистов в Прагу и в ответ на задание писать о том, как советские войска сорвали контрреволюционный заговор в Чехословакии и как благодарят их граждане этой страны, ответил, что он командирован писать об успехах строительства социализма в этой стране и ни о чём другом писать не будет. Я кое-что знал и о том, как сложилась его дальнейшая судьба. Но все же

нелишне удостовериться, что тот и этот Орловы – одно лицо. «Позвольте мне задать вопрос Борису Сергеевичу», – обратился я к директору и, получив согласие, спросил: – Борис Сергеевич, вы переходите из Института конкретных социальных исследований?» Он ответил коротким «да», и я тут же обратился к директору: «Лев Петрович, круг научных интересов Бориса Сергеевича вписывается в тематику информационной работы нашего сектора, и я прошу направить его к нам». Выяснив, что коллеги мои не возражают, директор сказал, что так тому и быть.

Я решил, что я могу говорить с Орловым откровенно, и в первом же разговоре выяснилось, что мы единомышленники – и в понимании реальной обстановки в стране, и в той информационной сверхзадаче, которую мы попытаемся выполнить. Двадцать лет работы в ИНИОН, из которых девятнадцать лет рука об руку с Борисом Орловым, – это отдельная глава моих воспоминаний. А здесь скажу лишь, что нам удалось сделать немало и даже больше того, что предполагали.

\* \* \*

Встали мы утром в восемь или чуть попозже, умылись, разложили всякую снедь, которую нам приготовили на дорогу наши женщины – моя Лена и жена Бориса Жозефина, или Жози, как величал её я, – заказали проводнику пару стаканов чаю. И пошел у нас разговор, благо никто нам не мешал, на непреходящую тему: кто виноват и что делать? Обстановка в стране была напряжённая. Перестройка зашла в тупик. Михаил Горбачев – теперь уже не только генеральный секретарь правящей партии, но и первый советский президент – оказался меж двух огней. С одной стороны, демократическая оппозиция, настаивавшая на проведении радикальных экономических и политических реформ, с другой – косная партийная и государственная бюрократия, а также руководство КГБ и армии, всё более решительно настроенные на поворот к доперестроечным порядкам. Творец перестройки явно сбился с курса, и в стране возникал опасный вакуум политической воли. Об этом-то мы и вели разговор, иногда прерываясь, когда я шел в тамбур выкурить очередную сигарету.

Был уже полдень, когда Борис вдруг насторожился и устремился в коридор, бросив на ходу, что по радио передают какую-то важную информацию. Я ринулся за ним, и мы услышали конец

сообщения о том, что в стране введено чрезвычайное положение. Но самой ошеломляющей была подпись – временно исполняющий функции президента СССР, вице-президент Геннадий Янаев. Мы вернулись в купе. Нам не понадобилось много времени, чтобы прийти к выводу, что, вероятно, был произведён государственный переворот, который, похоже, напоминал отстранение Хрущёва от власти в 1964 году.

Через два часа мы прибыли в Петрозаводск. Нас ждали. Борис заранее договорился, что здесь нам объяснят, до какой станции нам следовать, где нас встретят и препроводят к выбранному месту нашей стоянки. Но теперь это было уже не нужно.

Встретившие нас коллеги подтвердили наше предположение. Пользуясь отсутствием Горбачева, который проводил отпуск в Крыму, его открытые и скрытые противники создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), в который вошли семь человек, занимавших самые высокие посты в государственном и партийном аппарате, – помимо вице-президента Янаева, председатель Комитета госбезопасности СССР Владимир Крючков, министр обороны Дмитрий Язов, глава кабинета министров СССР Валентин Павлов, секретарь ЦК КПСС Олег Бакланов и т. д. В состав ГКЧП не вошёл, но поддержал его председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов, бывший однокурсник Михаила Горбачева, его ближайший друг и соратник в начале перестройки. Комитет объявил себя высшей властью и ввёл чрезвычайное положение в стране.

Но была и другая, неожиданная новость, круто менявшая ситуацию по сравнению с 1964 годом. Президент РСФСР Борис Ельцин, избранный всего два месяца назад всенародным голосованием, издал указ, объявляющий создание ГКЧП незаконным актом, и запретил всем государственным органам и иным учреждениям на территории республики исполнять его решения. Это рождало надежду, но непонятно было, на какие силы может опереться Ельцин, если его противниками являются руководство КГБ и вооружённых сил, военно-промышленного комплекса, почти вся верхушка партийно-государственной бюрократии.

Так или иначе, выбора у нас с Борисом не было. Мы объявили нашим новым друзьям, что должны немедленно вернуться домой, и попросили достать нам билеты на первый же поезд до Москвы. Они сказали, что каждый вечер в Москву отправляется поезд, который формируется в Петрозаводске, у них есть свои люди в городской кассе и нам продадут билеты из особого резерва. А те-

перь, добавили они, садимся в машину, по пути купим билеты и поедем к нам.

Трудностей с билетами не возникло, и вскоре мы въехали во двор и поднялись по деревянной лестнице на второй этаж скромного деревянного дома. Там в арендованных двух комнатах располагалось руководство местной социал-демократической организации. В одной, десять–двенадцать метров, стояли два или три небольших стола, на них были размещены телевизор, радиоприемник, компактный серый аппарат, оказавшийся телетайпом, и три-четыре стула. Другая комната, примерно, пятнадцать–шестнадцать метров, была почти пуста, лишь маленький стол и пара стульев у стены. Один из тех, кто встречал нас, высокий мужчина средних лет, на вид – около сорока, сказал, что через час придут представители всех демократических организаций, согласившихся создать объединённый совет для борьбы против ГКЧП. Он назвал секретарем городского комитета социал-демократов, добавив, что преподает в Петрозаводском университете. Обратившись к Борису, он попросил его помочь в составлении резолюции и обращения от имени совета ко всем гражданам Карелии с призывом сопротивляться попыткам местных сторонников ГКЧП взять власть в городе и республике. Борис спросил, какую позицию заняло руководство петрозаводской организации КПСС. «Мы позвонили им, – объяснил наш собеседник, – и напомнили, что в последнее время они объявили себя сторонниками демократии и реформ, готовыми к сотрудничеству со всеми демократическими силами. Теперь у вас есть возможность, сказал я, доказать это на деле, выступив вместе с нами против ГКЧП». «Ну и как они?» – спросил я. «Ответили, что подумают. А вас я попрошу, – обратился он ко мне, – заняться приемом сообщений, поступающих по телетайпу из столицы и иных городов. Людей у нас мало, и все заняты срочными делами».

Информация поступала часто. Не всё уже помню, но были среди них сообщения о протестах и выступлениях против ГКЧП в Москве, Ленинграде и ряде других крупных российских городов, среди которых мне помнится Горький (ныне Нижний Новгород). В какой-то момент я с удивлением подумал: выходит, никто из членов ГКЧП и их помощников не вспомнил, что в своем знаменитом плане Октябрьского восстания Ленин требовал взять под контроль прежде всего телефон, телеграф, вокзалы и банки? Или они были настолько уверены в незыблемости и всемогуществе властвующей партийно-государственной номенклатуры, что



не допускали мысли, что кто-то может бросить ей вызов? Я впервые подумал, что организаторы ГКЧП, похоже, дилетанты и по этой части.

Среди присутствовавших людей мое внимание привлекли двое. Одним из них был водитель «Волги», на которой мы приехали с вокзала. По профессии он действительно был водителем-таксистом. При виде другого я сделал круглые глаза: что здесь делает немолодой, за пятьдесят, мужчина в милицейской форме с майорскими погонами? Мне сказали, что майор вышел на пенсию, подался в социал-демократы и был избран членом городского комитета партии, как, кстати, и таксист. Вскоре они уехали в городскую типографию, чтобы договориться о распечатке первого указа президента Ельцина против ГКЧП. Вернувшись через час-полтора, они рассказали, что директор типографии отказался печатать указ, но им удалось уговорить типографских рабочих отстранить его от руководства (насколько я помню, его заперли в собственном кабинете) и те начали распечатку указа в большом формате и крупным шрифтом.

Позвонив домой, я сказал Лене, что утром мы будем в Москве, и попросил её сообщить Жозе, что Борис тоже возвращается домой. Лена сказала, что центр города забит танками и сидящими на них солдатами. Петрозаводск выглядел иначе. Ближе к вечеру мы прошлись по улицам, вышли к Онежскому озеру, полюбовались красивой набережной. Мирный город, то ли живущий обычной жизнью, то ли притаившийся в ожидании. Ни митингов и высыпающих на улицу людей. Никаких признаков чрезвычайного положения, воинского патруля или хотя бы нарядов милиции. Было какое-то несоответствие между картиной мирного города, обрамленного синевой неба и Онеги, и заряженностью маленькой группы людей, взявшихся организовать отпор путчистам. Но вечером, когда мы ехали на вокзал, на главной улице, именовавшейся, как и положено, проспектом Ленина, были расклеены плакаты с указом президента Ельцина.

Мы уезжали из Петрозаводска в приподнятом настроении. Однако сначала пришлось поволноваться. На вокзал мы прибыли за четверть часа до отхода поезда, но первый путь, с которого он обычно отправлялся, был пуст, и получить какую-либо информацию оказалось невозможно. Прошло более получаса, и мы почти уверились, что дороги на Москву перекрыты, чтобы изолировать её от страны (или наоборот, страну от столицы), но как раз в этот момент издалека показался подаваемый к посадке состав.

Мы загрузились в купе, вновь оказались вдвоем, и поезд тронулся. Прощай, Петрозаводск! Я много раз вспоминал этот необычный день, вначале часто, потом реже. А теперь, в августе 2011 года, то есть через двадцать лет, мне он вспоминается, как внезапно и на миг раздвинутый занавес, где на сцене открылся небольшой провинциальный город в первый из трёх августовских дней, круто развернувших ход российской и мировой истории. Как сложились судьбы тех людей, которые бросили вызов самопровозглашенной диктатуре? Как сказался на них крах ГКЧП? Как они восприняли свалившийся на голову переход к свободе частной торговли и предпринимательства, к взлетевшим до небес свободным ценам, к замороженным вкладам в сберкассах, пусть даже крохотным, но своим, кровным? Подозреваю, что члены городского комитета социал-демократов, с которыми мы повстречались 19 августа, вскоре разбежались в разные стороны – и по взглядам, и в своей жизненной судьбе. А российская социал-демократия так и не состоялась – ни в варианте, возникшем при участии Бориса Орлова, ни в нескольких других попытках, кто бы за них ни брался.

\* \* \*

В Москву мы прибыли утром, между десятью и одиннадцатью. Встретил меня младший сын Кирилл, подхватил мой объемистый рюкзак и, пока мы шли к автобусу, рассказал, что он всю ночь стоял в кольце молодежных отрядов, опоясавших Белый дом. Так тогда именовалось в народном фольклоре белое здание Верховного Совета Российской Федерации, выстроенное в конце 80-х годов на Красной Пресне вблизи от Москвы-реки. В нем 19 августа собрались не только многие десятки депутатов Верховного Совета, пришедшие, как только стало известно о путче и введении войск в столицу, но и Ельцин со своими советниками и помощниками, российское правительство, а также многие лидеры демократических организаций и поддерживавшие Ельцина известные учёные, писатели, деятели культуры.

На вопрос, где и что делает старший сын Дима, Кирилл ответил, что он весь минувший день и всю ночь снимал то, что происходит на улицах и площадях Москвы, и сейчас участвует в подготовке совместной газеты, которую решили выпустить редакции всех запрещённых газет, в том числе «Независимой газеты», где фотокорреспондентом работал Дима. Первым, что я услышал,

когда мы влезли в автобус, был возмущённый голос средних лет женщины: «И эти морды с трясушимися руками хотят нами править!» Я спросил Кирилла, что это за «морды», у которых трясутся руки. Он засмеялся и ответил, что вчера вечером ГКЧП в почти полном составе дал пресс-конференцию, которую транслировали по всем каналам телевидения. Вёл ее Янаев, который нервно перебирал руками, и они дрожали. Кирилл рассказал, что в первую же ночь с 19-го на 20-е к Белому дому устремились тысячи москвичей, главным образом молодых. Началось строительство баррикад и формирование «сотен», образовавших плотное кольцо вокруг здания. Среди них было немало «афганцев» и спортсменов.

Я решил доехать до Института Европы. Он расположен на Моховой, в одном из зданий, ранее принадлежавших МГУ. В нём до переезда в новые здания МГУ на Воробьевых горах был расположен геофак. Самое сердце столицы. Танки заполнили Моховую, Манежную площадь и улицу Горького (ныне Тверская). На танках сидели танкисты и солдаты. Пройти к институту удалось со стороны улицы Белинского (теперь Никитский переулок). Он был почти пуст. На своем месте находились директор Виталий Владимирович Журкин и несколько сотрудников из аппарата дирекции и хозяйственной части. Заглянув к Журкину, я узнал от него некоторые подробности путча и возникшей обстановки в Москве. Сам он был избран на состоявшемся летом 1990 года съезде КПСС в состав Центрального комитета и на последнем пленуме был в числе тех его членов, которые сорвали попытку консервативного крыла снять Михаила Горбачева с поста Первого секретаря ЦК КПСС. По его словам, в структурах власти и политических кругах произошел раскол, царил сумятица, и каков будет исход событий, пока неясно. В свою очередь, я рассказал ему о Петрозаводске, и он выслушал меня с большим интересом, потому что в столице узнать и понять, что происходит в провинции, было почти невозможно.

Когда я вышел от Виталия Владимировича, в коридоре мне встретились три наших аспиранта – Аркадий Мошес, Миша Баринов и Сергей Медведев. Оказывается, они печатали и распространяли среди солдат текст указа Ельцина. Аркадия арестовал какой-то офицер, кричавший, что таких агитаторов надо расстреливать. Он заставил Аркадия залезть в грузовик под охрану находившихся на нём солдат. Вскоре офицер ушел, и они отпустили арестованного под честное слово, что он не будет заниматься

агитацией против новой власти. Аркадий тут же вернулся в институт, вместе с Мишей они отпечатали новую кипу листовок и отправились распространять её среди солдат. Танки были окружены молодежью, среди них много девушек, вступавших в разговор с солдатами. Было немало пожилых женщин, приносивших голодным танкистам и десанникам еду и воду. Настороженные и, похоже, не понимавшие, зачем их подняли по тревоге и погнали ночью в Москву, солдаты постепенно оттаивали, что никак не входило в планы ГКЧП и армейского командования.

Делать в институте было нечего, и я вернулся домой. Не помню, чем я был занят, но в середине дня, между двумя и тремя часами, раздался звонок. Звонила бывшая сотрудница моего отдела в ИНИОН Ольга Новикова. «Юрий Антонович, – сказала она, – ваш сын Дима наверняка минувшей ночью был у Белого дома и делал снимки. Скажите ему, что этой ночью туда ходить не надо. Я звоню из телефонной будки и заканчиваю разговор». В трубке раздалась короткая гудки.

Я был потрясен звонком. Её муж был профессиональным разведчиком. Работал он с перерывами в разных странах «под крышей» советских посольств и в конце 1990 года вернулся в Москву. О. Н. могла позвонить мне только с его ведома и по его поручению. Чтобы больше не возвращаться к этой теме, скажу, что через некоторое время я побывал в гостях у них, и её муж подтвердил, что именно он просил её предупредить меня. Мы долго разговаривали об августовских днях, но это уже иная тема.

Звонок О. Н. был очень убедительным подтверждением слухов о готовящемся военном штурме Белого дома с использованием элитных подразделений «Альфа» и «Вымпел», а также воздушных десантников. Эти слухи ходили по Москве с самого утра, а возможно, со вчерашнего вечера. Я пересказал разговор жене. Она спросила, смогу ли я найти Диму. «Найти смогу, – ответил я и, помедлив, закончил: – Я не смогу удержать Димку и Кирилла, они пойдут к Белому дому. Значит, я пойду с ними». Мы встретились глазами. «Позвони ребятам и расскажи о звонке», – сказала Лена, и на этом наш разговор закончился. Я дозвонился до обоих довольно быстро, сообщил, не называя имен, о полученной информации, на что оба ответили, что знают о возможном ночном штурме и вечером пойдут к Белому дому. С Димой мы решили идти вместе, а с Кириллом – что найдем друг друга на месте.

Лена приготовила нам бутерброды и доверху налила горячего чая в трёхлитровый китайский термос, который я купил то ли

в Пекине, то ли в Монголии и которым мы пользовались в самых редких случаях. На этот раз, поскольку мы уходили на всю ночь, он оказался как нельзя кстати. Ночь обещали дождливую, и мы захватили зонтики. Вышли из дому в девятом часу вечера и вскоре оказались на станции метро «Краснопресненская». Люди выходили из всех вагонов, образовав поток, текущий по перрону в одну сторону – к ближайшему от Белого дома выходу из метро. Шли молча и сосредоточенно, и во всем этом, в размеренном движении и сосредоточенных лицах, чувствовалась решимость и готовность к тому, что может произойти ночью. Это было первое сильное впечатление в этот вечер, и картина перрона с движущимися людьми осталась в памяти.

\* \* \*

О трёх августовских днях 1991-го, особенно о ночи с 20-го на 21-е, прошедшей в ожидании штурма Белого дома, опубликовано множество книг и статей. Я расскажу лишь о нескольких эпизодах, участником или свидетелем которых мне пришлось быть, и о личных впечатлениях. Начну с того, что я никак не ожидал увидеть такого скопления людей. Я помнил митинги на Манежной площади в 1990–1991 годах, на них собиралось до 250–300 тысяч человек. Заполненная людьми территория вокруг Белого дома была просторнее, чем площадь между гостиницей «Москва» и Манежем, но там они стояли плотной толпой, а здесь рассредоточились по всему пространству, более кучно – вблизи наспех сооруженного помоста, где в течение ночи выступали, перемежаясь, барды с гитарами, ораторы, небольшие музыкальные рок- и хард-рок-группы, а также под эстакадами подъездов к главному входу в многоэтажное здание Мэрии Москвы (бывшая резиденция СЭВ), укрываясь от накрапывавшего временами надоедливого дождика. Во всяком случае, это было несколько десятков тысяч людей, в основном москвичей, к которым присоединилось немалое число приезжих из подмосковных городов и поселков. Люди очень разные – по возрасту, одежде, манере держаться. Некоторое время я стоял рядом с седым мужчиной в штатском костюме; на левой стороне его пиджака были расположены в три ряда планки боевых орденов и медалей. Позже мне встретился седовласый мужчина в генеральской форме. Недалеко от того места, где я провел первую половину ночи, горел костер, вокруг которого расположилась весёлая компания «хипушников», пацаны с петушиными

гребешками и девчонки с экзотическими прическами, большинство – с размалёванными лицами.

Незнакомые люди, оказавшись рядом, легко вступали в разговор. Видимо, само присутствие в данном месте и в данное время служило кредитной картой доверия, которую они незримо предъявляли друг другу. Чаще всего разговор завязывался вокруг двух тем: состоится ли штурм Белого дома и кем является Михаил Горбачев – жертвой переворота или его скрытым соучастником? Что касается первого вопроса, то никто ничего не знал и разговоры сводились к обмену слухами и домыслами. Второй же вопрос вызывал споры. Одни были убеждены в том, что заговорщики действуют с ведома Горбачева, другие возражали, полагая, что он стал заложником «гэкачепистов».

Уже за полночь эта дискуссия возобновилась самым неожиданным образом. По площади мгновенно разнеслось известие, что к Белому дому направляется недавний сподвижник Горбачева и бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Я поспешил в ту сторону и вскоре увидел его. Он шёл в сопровождении нескольких человек. Один из них – накрапывал дождь – держал над ним большой зонт. Кто-то из толпы спросил его о роли Горбачева в создании ГКЧП. Экс-министр без промедления и весьма решительно ответил, что необходимо провести тщательное расследование, но, по его мнению, Горбачев знал о заговоре и предоставил его участникам свободу действий. Шеварднадзе торопился, и разговор продолжался уже без него. В ходу была версия, что, предоставив свободу действий «гэкачепистам», Горбачев рассчитывает выиграть в любом случае. Победят они – он вернется незапятнанным к исполнению своих обязанностей президента, после того как они выполнят всю «грязную» работу, скрутив голову Борису Ельцину и демократам. Проиграют – и он появится в Москве как президент, отказавшийся сотрудничать с ГКЧП и освобождённый победившим народом. Мог ли кто-нибудь из спорящих предположить, что через два дня завершится история Советской власти, а через три с половиной месяца – история Советского Союза?

Вскоре после прихода мы прослушали сообщение, которое транслировалось громкоговорителями, установленными на всех четырёх сторонах Белого дома. Это был набор рекомендаций, как себя вести в случае военной атаки. Нас призывали ни при каких обстоятельствах не оказывать сопротивления, и если начнётся стрельба, лечь на асфальт. Не рекомендовалось прибли-

жаться к оцеплению, перекрывавшему основные подходы к площади с трех сторон – от Садового кольца, Красной Пресни и по набережной Москвы-реки от Бородинского к Новоарбатскому мосту. Дима, вооруженный фотокамерой, отправился, как он сказал, «работать», договорившись со мной, где я буду находиться. Пропуск журналиста давал ему возможность выходить за пределы того пространства, которое было отведено для остальных. Вернувшись, он рассказал, что вокруг площади создано двойное оцепление: внешнее – чтобы попытаться остановить, не вступая в столкновение, воинские подразделения, направленные штурмовать Белый дом; внутреннее – чтобы не подпускать к опасной черте тех, кто собрался на площади. Это решение было разумным. Если бы возникла чрезвычайная ситуация, в разношерстной толпе наверняка оказались бы люди с неустойчивой психикой, а может быть, и провокаторы, которые – по неразумию или сознательно – спровоцировали бы военных к применению оружия.

Где-то ближе к полуночи над площадью первый раз прозвучало предупреждение о том, что в сторону Белого дома продвигается воинское подразделение, и призывают всех собравшихся соблюдать спокойствие и выполнять те рекомендации, о которых было сказано раньше. А что еще могли предложить находившиеся в здании люди, бросившие вызов ГКЧП? Спецподразделениям, получившим приказ штурмовать Белый дом, не помешали бы ни наспех возведенные баррикады (пустые троллейбусы и грузовики, бетонные плиты, железная арматура и прочее) со стороны Пресни, Садового кольца и набережной, ни безоружные граждане на площади, независимо от их числа. Это было понятно с самого начала, но в ожидании того, что казалось теперь почти неотвратимым, я задавал себе только один вопрос: каким количеством жертв будет оплачен этот штурм? В конечном счёте все зависело от того, готовы ли «гэкачеписты» к кровопролитию.

Позже стало известно, что командиры подразделений «Альфа» и «Вымпел», выяснив обстановку на площади, отказались пробиваться к зданию сквозь многотысячную толпу безоружных граждан и что в самом ГКЧП начались разброд и шатание. Но собравшиеся на площади знать этого не могли. Вскоре после объявления тревоги из Белого дома вышли несколько человек. Среди них я увидел депутата Верховного Совета Виктора Шейниса. Мы познакомились в конце 60-х годов и были в товари-

щеских отношениях<sup>69</sup>. Я спросил его, как складывается обстановка, он ответил: «Неопределённо и тревожно. По городу передвигаются колонны бронетехники. Мы едем навстречу той, которая направляется в нашу сторону». В течение ночи депутаты выезжали встречать военные подразделения несколько раз. Среди них я встретил еще одного моего товарища Владимира Лукина<sup>70</sup>. Он сказал примерно то же, что и Виктор, добавив, что ситуация меняется то в худшую, то в лучшую сторону, но каков будет исход, пока неясно.

За ночь состояние тревоги объявлялось и отменялось несколько раз. Вскоре после полуночи со стороны Садового кольца слышались выстрелы. Ночное небо прошили огненные траектории автоматных очередей. Через считанные секунды стрельба прекратилась, но, видимо, что-то случилось, потому что через десяток минут мимо нас почти бегом проследовали несколько депутатов Верховного Совета. А произошло там первое и, к счастью, последнее столкновение между военными и защитниками Белого дома. Три бронетранспортера с солдатами, следовавшие по Садовому кольцу в сторону Смоленской площади, наткнулись в тоннеле под Новым Арбатом на баррикады. Путь им преградили молодые ребята, стоявшие во внешнем оцеплении. Трое – Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский – остались лежать на асфальте. Подробности этого события много раз излагались в разных изданиях, его описание легко найти в Интернете. Я приведу лишь заключительную фразу из того, что мне рассказал Дима. Он был в числе первых, кто поспешил к тоннелю, как только оттуда донеслись звуки выстрелов, и оставался там вплоть до того момента, когда военный комендант Москвы генерал-лейтенант Семенов и депутаты Верховного Совета договорились, что

---

<sup>69</sup> В 60-е годы В.А. Шейнис преподавал на экономическом факультете Ленинградского университета. В середине 70-х он был приглашен работать в ИМЭМО и переехал в Москву. В годы перестройки активно участвовал в демократическом движении; в 1990 г. был избран в Верховный Совет РСФСР, где стал одним из лидеров фракции демократов и либералов.

<sup>70</sup> В 60-е годы В.П. Лукин работал в ИМЭМО, где мы и познакомились. Вскоре он перешёл на работу в редакцию международного марксистского журнала «Проблемы мира и социализма», издаваемого в Праге. 21 августа 1968 г. Когда советские войска вторглись в Чехословакию, он назвал эти действия ошибочными и был немедленно отозван в Москву. В период перестройки Владимир Лукин стал одним из активнейших участников демократического движения, в 1990 г. был избран в Верховный Совет РСФСР, где вошёл в состав фракции демократов и либералов, был избран председателем Комитета по международным делам и членом Президиума ВС РСФСР.



экипаж и десантники погрузятся в бронетранспортер, который отправится по своему маршруту патрулирования. «Самое печальное то, – закончил Дима, – что никто никого не хотел убивать. Ребята в оцеплении перешли допустимую грань риска, а командир и водитель бронемашины, оказавшись в неожиданной ситуации, действовали в состоянии стресса».

Как выяснилось позже, это была кульминация ночного бдения десятков тысяч людей у Белого дома. Но на исходе ночи, когда на востоке небо уже начало светлеть, громкоговоритель оповестил нас, что к западу от Москвы высадились части Псковской военно-воздушной дивизии, не помню, то ли один, то ли два полка, и начали продвигаться к столице по Минскому шоссе. Вскоре стало известно, что навстречу им направилась представительная делегация депутатов Верховного Совета, рассчитывая остановить их на подходе к Москве. Видимо, в российском руководстве заволновались, так как диктор особо предупредил, что противник может воспользоваться усталостью москвичей, и призвал их не расходиться. Вновь усилилось внутреннее напряжение. Несколько десятков людей, и мы с Димой в их числе, поднялись на пологий пандус, по которому раньше к центральному входу в здание СЭВ подъезжали избранные персоны. Светлело. С пандуса просматривался уходящий от моста Кутузовский проспект вплоть до того места, где в него вливалась старая Дорогомиловская улица, и он сворачивал влево. Шёл шестой час, дождик прекратился, и видимость улучшилась.

Вдруг кто-то выкрикнул: «Танки!» Действительно, из-за поворота выползла махина, вроде бы напоминавшая танк. Она медленно ползла по проспекту. Но что-то было не так, не складывалось: если это танк, то почему один, а если нет, то что это такое? Между тем махина подошла к входу в тоннель, проложенный под Дорогомиловкой, и начала разворачиваться. Я воскликнул: «Смотрите, это же дорожная машина – поливальная или уборочная!» Раздался общий смех, кто-то произнес: «Вот и всё. Пора домой». Было начало седьмого, и народ потянулся к станции метро «Краснопресненская». Пошли и мы с Димой.

### *Вместо послесловия*

Вползающий на площадь перед Белым Домом танк, облепленный молодежью, с развевающимся флагом-триколором. Эта картинка обошла весь мир как символ победы российской демокра-

тии над путчистами, попытавшимися восстановить безраздельную власть советской партийно-государственной номенклатуры.

Но со временем мне всё чаще стала казаться символическим завершением этой ночи выползшая поутру дорожная машина, которую мы приняли поначалу за танк. Словно иллюстрация к гегелевской идее, что большие исторические события порой повторяются дважды, сперва как трагедия, потом как фарс. Захват большевиками власти в октябре 1917 года обернулся трагедией. Попытка их бездарных эпигонов удержать власть в августе 1991 года оказалась фарсом. Приписываемые молодому Владимиру Ульянову слова о «гнилой стене – ткни, и развалится», произнесенные в конце XIX века, оказались пророчеством с опозданием на сто лет. К концу 80-х годов советская система прогнила насквозь. Только что родившееся демократическое движение сумело «ткнуть» её, и она рухнула, к полной неожиданности «всех и вся». Однако и российские демократы не снискали себе лавров. Их победа оказалась эфемерной. Взять в свои руки распавшийся механизм власти и заново собрать его они не сумели.

Почему? За без малого тридцать лет накопилась гора литературы на этот сюжет, которую пополнила новая порция статей, воспоминаний, интервью и дискуссий. Российское общество по-прежнему расколото в понимании смысла и значения тех событий. Содержание дебатов, в которых приходилось участвовать и мне, заслуживает отдельного разговора. Скажу лишь, что, на мой взгляд, время для взвешенной оценки роли августа 1991-го в истории России не пришло. Оно придет через многие десятилетия, и оценка наших потомков будет зависеть от того, на какие рубежи выйдет наша страна.

# Часть III

## МОЙ ПУТЬ В НАУКЕ

### Полвека на путях и перепутьях отечественной науки<sup>71</sup>

*Интервью с О. Буториной 9 ноября 2016 года*

*О. Б.: Я начну с неожиданного вопроса: когда начались Ваши контакты с западными учеными?*

*Ю. Б.:* В 1970-е годы, и они были очень редкими. Первым известным ученым, с которым я познакомился, был директор Института мирового хозяйства в Киле (ФРГ) профессор Герберт Гирш. В 1975 году я участвовал там в симпозиуме, посвящённом проблемам научно-технического прогресса. О Гирше я знал по его статьям, он был последовательным сторонником либерализации международной торговли и европейской экономической интеграции. Кстати, участвуя в острых дебатах, возникших по поводу краха Бреттон-Вудской системы, валютного хаоса в Европе и дезинтеграционных тенденций в ЕЭС, именно он разделил дискуссионтов на «евроскептиков» и «еврооптимистов». Лично с ним я не общался, но в течение недели с интересом наблюдал, как он руководит дискуссиями, иногда включается в них и подводит итоги.

В 1978 году, во время двухнедельного пребывания в Швейцарии, я посетил в Женеве Европейский центр культуры, где познакомился с профессором Андре Ресцлером (Andre Reszler). Это был новый для меня тип «европеиста», изучающего не экономические и политические аспекты европейской интеграции, а её духовные и цивилизационные истоки. Мы встречались и беседовали несколько раз, а на прощание он вручил мне стопку брошюр, посвящённых этой теме, в том числе истории «европейской идеи».

В январе 1985 года я приехал на месяц в Париж в рамках соглашения о научном сотрудничестве между Академией наук СССР и французским Национальным центром политических исследований (Centre national de science politique). Я составил небольшой список известных французских ученых, с которыми хотел бы встретиться. С некоторыми учёными встречи были, но не из этого

---

<sup>71</sup> Европейские исследования в России (1992–2017) / Под общ. ред. О.В. Буториной. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. С. 227–258.

списка. Получив два отказа, я прекратил дальнейшие попытки. Упавший интерес французских ученых к общению с советскими коллегами был следствием той ситуации, которая сложилась в нашей стране: застой, война в Афганистане, три первых лица за три года – один старше другого. Но одна важная встреча состоялась. С известным французским экономистом Пьером Майе я был знаком по его работам. В них среди прочего он проанализировал процесс развития трансграничной внутриотраслевой специализации и кооперации производства как базового фактора развития экономической интеграции в Европе. Я ссылаясь на него в докторской диссертации, а в монографии «Экономическая интеграция и социальное развитие в условиях капитализма», опубликованной в 1984 году, посвятил ему почти две страницы. Я собирался подарить ее профессору, сказав ему об этом в телефонном разговоре. Он пригласил меня к себе на следующий день, и я вручил ему книгу вместе с переведённым мной на английский текст этих страниц. Текст ему понравился, потому что он устроил в мою честь вечерний приём, пригласив полтора десятка своих друзей – учёных и бизнесменов.

*О. Б.:* Как изменились Ваши встречи с европейскими учёными при Горбачёве и в постсоветской России?

*Ю. Б.:* Изменилась не только интенсивность контактов, но и их характер; уже не разовые встречи, а научное сотрудничество. Начало переменам положила месячная командировка в Свободный (фламандский) университет Брюсселя по приглашению заведующего кафедрой международного права юридического факультета профессора Барта де Схютера. Я прибыл в один из январских дней 1987 года и тут же заявился на кафедру. А дальше произошла показательная история, которая началась для меня ушатом холодной воды, а закончилась братанием. При первой же встрече профессор спросил, каковы мои намерения. Я ответил, что хотел бы не только поработать в библиотеке, но и встретиться с руководителем отдела внешней торговли Комиссии европейских сообществ. В ответ я услышал, что устроить посещение Комиссии очень трудно и на это уйдет пара недель, а пока со мной хотят встретиться несколько профессоров; научную литературу я могу заказать, и мне принесут её в отведенный мне кабинет, а помогать мне будет молодой ассистент Тони Йорис. Первая встреча с одним из профессоров состоялась в тот же день, а следующие два дня я встречался с ними утром и после ланча. К концу третьего дня до меня дошло, что меня просто экзаменуют, и это

меня взбесило. Отправляясь следующим утром на кафедру, я собирался устроить скандал, но в коридоре меня встретил Тони и сообщил, что «шеф» уже дважды спрашивал про меня. Встретил он меня разве что не с объятиями и повторил вопрос, заданный при первой встрече. Я проглотил заготовленный «спич» и напомнил о моём желании посетить Комиссию. Нет ничего легче, ответил профессор, Тони всех знает там и устроит вам приглашение в ближайшие дни, а у меня большая просьба: не согласитесь ли вы прочесть лекцию в моем семинаре о том, что происходит в вашей стране, о Михаиле Горбачёве, его внутренней и внешней политике. Я тут же согласился. Через пару дней состоялась моя первая лекция в западной молодежной аудитории, и прошла она вполне благополучно. О дальнейшем не рассказываю. Дни были насыщенными и пролетели быстро. На прощание сотрудники кафедры устроили роскошный ужин. «Барт, – спросил я, – зачем вы устроили мне экзамен? Я догадался на третий день и был возмущён». «Юрий, – ответил он, – вы были первым советским человеком, появившимся на нашей кафедре. Мы были так напичканы рассказами о русских шпионах, что решили проверить, кто вы на самом деле. Наши профессора не ожидали увидеть советского ученого с такими знаниями о европейской интеграции и такой свободой суждений о том, что происходит в вашей стране».

Моя первая командировка в Брюссель памятна и тем, что именно тогда я познакомился с Марком Мареско. Наше знакомство переросло в многолетнее сотрудничество и дружбу. Марк «экзаменовал» меня утром второго дня и пригласил провести вечер в ресторане. Там он рассказал мне о проекте форума – первой встречи общественности Востока и Запада, и письме, которое он отправил советскому послу в Бельгии Богданову. В письме был изложен проект и подчеркивалось, что организаторы форума считают особенно важным участие в нём советской делегации. Идёт уже третья неделя, сетовал Марк, а от посла нет ответа. На следующее утро я позвонил в советское посольство, коротко рассказал о разговоре и спросил, не может ли меня принять Феликс Петрович Богданов. После короткой паузы мне ответили, что посол ждёт меня. Я тотчас отправился к нему и рассказал о профессоре, его научной деятельности, том числе о том, что Мареско является экспертом Комиссии по международному праву и что он произвёл на меня хорошее впечатление. Под конец посол сказал: мы дадим согласие – а форум по каким-то причинам не состоится. Это будет их вина, ответил я, и наши дипломаты, наши журнали-

сты используют это по максимуму. Ладно, заключил посол, завтра pošлю письмо профессора Мареско в Москву и сообщу ему об этом. Вернувшись в Москву, я повторил свой рассказ заместителю председателя Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям Ивану Дмитриевичу Иванову; в 60-е годы мы вместе работали в редакции журнала «МЭиМО» и были в дружеских отношениях. На этом я счёл свою миссию законченной. Летом Марк прислал мне письмо, в котором сообщал, что подготовка форума идёт полным ходом, а я получил от него персональное приглашение принять участие в форуме. Он состоялся в декабре 1987 года под названием Гентский коллоквиум «Политические и правовые рамки торговых отношений между Европейским сообществом и Восточной Европой».

*О. Б.: Вы сказали, что это был первый форум общественности Востока и Запада. Чем он был интересен и что в нём было особенного?*

*Ю. Б.:* В каком-то смысле это была встреча инопланетян, рассматривавших в первый день друг друга со смешанными чувствами – любопытством прежде всего, которому у одних сопутствовали недоверие и отчуждённость, а у других – доброжелательность и даже эйфория. Тем более удивительно, что за два дня, отведённых на встречу, климат быстро потеплел. Участники форума общались на кофе-брейках и особенно на ланчах и ужинах, чему помогли его организаторы, расставившие на столах таблички с именами таким образом, чтобы все сидели вперемежку. Выступления докладчиков были, как водится, разными. Мне больше всего понравились доклады двух венгров – экономиста Петера Балаша и блестящего специалиста в области международного и европейского права Ференца Мадла. Потом я неоднократно встречался с ними на научных конференциях в Брюсселе, Будапеште, Санкт-Петербурге и где-то ещё, и у нас установились дружеские отношения.

А самым ярким событием, ошеломившим всех участников форума, был доклад И.Д. Иванова. В программе был указан его должностной статус, и его выступления ждали с особым интересом. После первых же фраз в зале наступила абсолютная тишина. Иван Дмитриевич откровенно и жёстко обрисовал плачевное состояние советской экономики и закончил доклад двумя тезисами: наша экономика нуждается в глубокой реформе, и одним из самых важных условий её успеха является развитие экономического сотрудничества с западными развитыми странами. Такого

доклада советского представителя, фактически в ранге министра, не мог ожидать никто. Но я знал и то, что оба дня, так сказать, за кулисами форума И.Д. Иванов и секретарь СЭВ В. Сычев разрабатывали вместе с членом Комиссии европейских сообществ Вилли де Клерком проект Меморандума о взаимном признании и установлении официальных отношений между СЭВ и ЕЭС и между СССР и ЕЭС. Окончательный текст Меморандума был подписан в июне 1988 года в Люксембурге.

*О. Б.: Расскажите подробнее о Мареско и Вашем сотрудничестве с ним.*

**Ю. Б.:** Марк Мареско – выдающийся специалист по вопросам европейского и международного права, тесно сотрудничавший с Европейской комиссией в качестве эксперта при подготовке нормативных актов Евросоюза. О своих политических убеждениях он никогда не говорил, но, скорее всего, был социал-демократом. Мое предположение основано на том, что он всю жизнь коллекционировал литературу по истории европейской социал-демократии и был блестящим её знатоком. Марк сочетал в себе качества учёного, преподавателя и организатора. Он еще дважды организовывал гентские коллоквиумы в 1990-м и 1996-м. Я участвовал в обоих, на первом выступив с докладом об отношениях между ЕС и Восточной Европой в глобальной перспективе, а на втором – на тему «Новые внутриевропейские отношения и Россия». В середине 90-х годов Марк получил грант на проведение серии конференций, посвящённых ходу подготовки стран ЦВЕ к вступлению в ЕС. Я знал о них не только по его рассказам, но и как участник одной из них, проходившей то ли в Брюсселе, то ли в Генте. Марк был директором Европейского института, созданного в рамках Гентского университета, и трижды приглашал меня как российского специалиста по проблемам европейской интеграции и visiting-профессора. Две поездки сроком на 10–15 дней, а одна – на полтора месяца. Впрочем, лекциями – на европейскую и российскую тематику – Марк меня не загружал, так что основное время у меня уходило на изучение ежедневной информации о Евросоюзе, а также на общение с сотрудниками института. Их было немного – 12–13 человек, включая директора, горстка в сравнении с Институтом Европы, а тем более с ИМЭМО и ИНИОН. Сплошь молодежь, впечатлившая меня знаниями и интенсивностью работы. Мое сотрудничество с Марком продолжалась все 90-е годы, а в 2000-х мы встречались только на конгрессах ECSA-World, последний раз, кажется, в 2006 году.

Из других моих контактов с западными учёными я хочу выделить многолетнее знакомство и дружбу с профессором Майклом Эмерсоном. Мы познакомились в 1991 году, когда он возглавил только что созданное представительство Комиссии европейских сообществ в Москве. Он пробыл на этом посту пять лет и уехал в Брюссель в 1996 году, поступив на работу в известный Европейский центр политических исследований (Centre for European Policy Studies – СЕПС). В период своего пребывания в Москве Эмерсон не раз принимал участие в научных мероприятиях, организуемых Институтом Европы, в частности выступил с докладом на симпозиуме «Опыт Европейских Сообществ и возможности его использования Россией и СНГ» (март 1992 г.), дав в нем трезвую и достаточно критическую оценку шансов на успешное применение этого опыта в СНГ. В свою очередь, сотрудники Института Европы, и я в их числе, неоднократно участвовали в мероприятиях, организуемых представительством. Майкл Эмерсон был энергичным сторонником партнерства ЕС и России при ясном понимании, что идея нашего членства в нём не имеет никаких шансов на успех. Возможно, он был самым активным западным дипломатом в России. У меня хранится объёмистый сборник – более тридцати его докладов, лекций, статей и интервью с марта 1991-го по июнь 1995 года, а также около сорока предисловий к выпускам журнала «Европа», вышедших за тот же период на русском и английском языках. И всё же по складу ума и призванию Майкл был прежде всего учёным. Это видно по его публикациям, о которых я сказал, а в 1998 году вышла его фундаментальная монография «Redrawing the Map of Europe». Я прочёл книгу, как только он подарил её мне, и не раз возвращался к ней позже. Автор всесторонне проанализировал процессы европейской интеграции с 50-х по 90-е годы, предварив этот анализ обстоятельным экскурсом в историю межгосударственных отношений в Европе начиная с раннего Средневековья. В заключение были рассмотрены возможные варианты развития европейской интеграции.

Мои отношения с Эмерсоном я назвал бы интеллектуальным и одновременно дружеским общением, продолжавшимся полтора десятка лет. В своих суждениях он всегда был самостоятелен, иногда категоричен, иногда парадоксален, но неизменно интересен. Приезжая в Брюссель, я встречался с ним и его молодой женой Еленой Прохоровой в их квартире на авеню де Тервюрен, а однажды, когда у меня закончилась конференция, а на руках



была месячная виза, прожил у них две недели, которые прошли в разговорах, прогулках по парку и т. д. Последний раз мы виделись в 2010 году на проходившем в Киеве международном форуме «Украина – Европа». Он взял слово в конце пленарного заседания и сказал, что все выступавшие до него европейские ораторы приветствовали «европейский выбор» Украины и ее намерение вступить в ЕС, но никто не упомянул о том, какую огромную работу должна проделать Украина, чтобы выполнить «копенгагенские критерии», и что она займет место в хвосте длинной очереди признанных кандидатов на вступление. Профессор М. Эмерсон и сейчас работает в СЕПС, регулярно публикуя статьи по актуальным проблемам европейской и мировой политики, в том числе последствиях Brexit для Великобритании и Евросоюза.

Я могу долго рассказывать о встречах и сотрудничестве с зарубежными учёными. Упомяну те, которые считаю самыми интересными. В 90-е годы я активно сотрудничал с Федеральным институтом восточноевропейских и международных исследований (Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien – БИОСТ), тогда одним из ведущих советологических центров в западных странах. У меня сложились дружеские отношения с его директором Хайнрихом Фогелем и другими сотрудниками, а с его замом Хайнцем Тиммерманом мы стали близкими друзьями. Я не раз бывал в БИОСТ на конференциях и по персональному приглашению. Х. Фогель и Х. Тиммерман много раз приезжали в Москву, Питер и другие российские университеты, участвуя в совместных программах научного сотрудничества. Две мои статьи были опубликованы в докладах Бундесинститута, одна – о перспективах партнерства России и ЕС (Berichte, № 36-1996), другая – «Состоится ли партнерство?» (№ 3-1999). Мое сотрудничество с БИОСТ закончилось в 2000 году, когда он был переведён в Берлин и включен в какой-то столичный исследовательский центр. С Хайнцем я неоднократно встречался в Москве вплоть до его кончины несколько лет назад. Многие годы я сотрудничал с польскими учёными. В 1993 году участвовал в конференции «Трансформация и интеграция в Европе. Адаптация польской экономики», организованной Центром изучения ЕС в университете Гданьска. Там я познакомился и потом не раз встречался с руководителем Центра Анджеем Степняком и профессором Анной Глебовской-Зелинской. В конце 90-х и начале 2000-х я дважды участвовал в польско-российских симпозиумах, посвящённых сравнительному анализу перехода наших стран к рыночной эко-

номике. Первый состоялся в Варшаве, второй – в Москве в августе 2001 года, где я выступил с докладом «Польша и Россия: два типа трансформации, два варианта интеграции с европейским экономическим пространством». Я несколько раз участвовал и в других конференциях, проходивших в Варшаве и Кракове, но не помню их тематики и дат.

Особо я хочу сказать о конгрессах ECSA-World, которые проходили раз в два года, как правило, в течение двух дней. Там собиралась вся мировая элита учёных, изучавших процессы европейской интеграции. Каждый раз появлялись новые люди, но постепенно образовалось и неформальное содружество постоянных участников. Они-то и создавали царившую на конгрессах атмосферу научного братства, и было большим удовольствием, столкнувшись неожиданно со старым знакомым, обменяться улыбками, крепким рукопожатием и парой фраз по поводу понравившегося доклада на пленарном заседании, а то и просто: «How are you». – «Okay». Я участвовал во всех конгрессах с 1992-го по 2006-й, исключая конгресс в 2002 году, когда перенес одну онкологическую операцию и готовился ко второй. Дважды выступал с докладами на одной из секций конгресса: в 1996-м – «Россия и ЕС в XXI веке: четыре возможных сценария отношений»; в 2000-м – «Россия и расширение ЕС». Могу назвать еще многих учёных, с которыми сотрудничал и тепло вспоминаю: Хельмут Вагнер (Свободный университет Западного Берлина), Ингрид Шикова и Крассимир Николов (Болгария), Даниил Гросс (СЕПС, Бельгия).

*О. Б.: Тогда совсем молодой!*

**Ю. А.:** Да, молодой, но уже очень яркий. Сейчас он возглавляет СЕПС. А еще помню Кэтрин Малфлие (Лувенский университет), Пьера Лемье – из Центра советологических исследований в Эбенхаузене под Мюнхеном, английского экономиста Малколма Андерсена...

*О. Б.: В чём, на Ваш взгляд, состоят особенности и сильные стороны школы европейских исследований в России?*

**Ю. А.:** Одно из её главных достоинств – широкое использование междисциплинарного подхода как одного из плодотворных методов исследования сложных процессов общественного развития. На мой взгляд, он менее распространен в Европе, по крайней мере в экономической науке. Возможно, по той причине, что там гораздо дальше зашла дифференциация учёных по тематике исследований. Второе я назвал бы не достоинством, а скажем, сильной стороной – внимательное изучение зарубежной научной ли-

тературы, в первую очередь европейской и американской. Впрочем, это давняя российская традиция, сохранившаяся даже в советские времена, исключая период сталинской диктатуры. На моей памяти нашим академическим институтам выделялись большие средства на закупку зарубежной научной литературы. Она тщательно изучалась и использовалась нашими научными сотрудниками в исследованиях, публикациях, устных докладах, лекциях. Прежде всего – содержащийся в ней фактический материал, а также методы исследований и конкретные выводы. Что касается теорий, то приходилось соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не попасть под шквал обвинений в «буржуазном объективизме» и «преклонении». Охотники выступить в роли «сторожевых псов» марксизма-ленинизма в те времена не переводились. Но за тем, что происходит в умах учёных, углядеть было невозможно. А в умах происходили изменения – в научных взглядах и мировоззрении. И это проявилось, как только пали оковы цензуры. Кстати, именно поэтому наши учёные, выйдя на международную научную арену, очень скоро заговорили с западными коллегами на равных.

*О. Б.: Понятно.*

*Ю. А.:* В дополнение к сказанному я хочу напомнить, что в годы холодной войны западные учёные, за исключением советологов, не проявляли интереса к общественным наукам в Советском Союзе. И потому, что в их основе лежала марксистская теория, в её упрощенном и политизированном варианте – марксизме-ленинизме. И потому, что для большинства наших статей и монографий, посвящённых проблемам как западных стран, так и нашей страны стала нормой предвзятость и фальсификация. Заметные перемены в отечественном обществоведении начались во второй половине 80-х годов, а радикальные – после августа 1991-го. Освободившись от идеологических догматов и политической цензуры, наши общественные науки просто преобразились. Я по собственному опыту могу сказать, что западные учёные, изучающие проблемы европейской интеграции, признают, что мы создали свою школу интеграционных исследований.

*О. Б.: Давайте продолжим разговор о методологии.*

*Ю. А.:* Как мне представляется, российские учёные склонны придавать большое значение методологии. Мы внимательно штудлируем старые и новейшие концепции региональной интеграции – экономической и политической, функциональной и институциональной. Вспомним наших ведущих учёных, начавших изу-

чать процессы европейской экономической интеграции в 60-е годы – Маргариту Матвеевну Максимова, Юрия Витальевича Шишкова, Леонида Ивановича Глухарева и других. Все они уделяли большое внимание вопросам теории и методологии. Особенно это относится к Шишкову.

*О. Б.: Расскажите о нём подробнее.*

*Ю. А.:* Юрий Витальевич – классик. Он делал акцент не на рыночной интеграции, а на тех процессах, которые происходят в сфере производства. Это не только межотраслевая, но главным образом внутриотраслевая специализация и кооперация, когда происходит обмен не готовой продукцией, а узлами, деталями, комплектующими и в транснациональный процесс производства включаются сотни и тысячи компаний. Суть этого процесса он четко сформулировал в своем классическом определении региональной экономической интеграции. Правда, у нас однажды произошёл спор о разных трактовках этого понятия.

*О. Б.: А каким было его определение?*

*Ю. А.:* В своей фундаментальной монографии «Интеграционные процессы на пороге XXI века» (М., 2001) он предложил следующее определение: международная экономическая интеграция – «это наивысшая на сегодня ступень интернационализации, когда экономическая взаимозависимость двух или нескольких стран переходит в *сращивание* национальных товаров, услуг, капиталов и рабочей силы и формирование целостного рыночного пространства с единой валютно-финансовой системой, единой в основном правовой системой и теснейшей координацией внутри- и внешнеэкономической политики соответствующих государств». А если коротко, то сущность экономической интеграции состоит в том, что переплетение национальных хозяйств достигает такой степени, когда процесс воспроизводства в национальных рамках становится невозможным без транснациональной кооперации.

*О. Б.: А о чём Вы с ним спорили?*

*Ю. А.:* Он однажды упрекнул меня в том, что я распространяю понятие «интеграция» на региональные союзы развивающихся стран, а это, по его мнению, прединтеграционные объединения. Я ему ответил, что термин «интеграция» – хотим мы этого или не хотим – употребляется по отношению ко всем региональным экономическим объединениям. Поэтому я иногда данный термин употребляю и в том и в другом смысле, не оговаривая каждый раз, в каком именно.

*О. Б.: Ваша работа в редколлегии журнала «МЭиМО», в ИНИОН и в Институте Европы. Как бы Вы сформулировали главные итоги каждого из этих этапов?*

*Ю. А.:* Это очень серьезный вопрос, можно начать и не кончить. Первый этап я назвал бы так: работа в ИМЭМО и «МЭиМО», потому что жизни института и редакции были неразрывны. Журнал был органом института. А начал я работать в институте в 1962 году, в отделе, который возглавлял Тимур Тимофеевич Тимофеев. Точного названия отдела я не помню, но занимался он исследованием социальных проблем и рабочего движения в развитых капиталистических странах. Внештатно сотрудничать с отделом я начал ещё в 1959 году и за три года подготовил большой обзор стачечного движения в странах развитого капитализма, который был включён в книгу, посвящённую проблемам международного рабочего движения. Это и послужило пропуском в ИМЭМО. Зачислен я был на должность м. н. с. – с очень скромной зарплатой в 105 р. И сидеть бы мне на этом жалованье немало лет, пока я не напишу диссертацию и не получу кандидатскую степень, если бы не случилось неожиданное событие. Редакция журнала отвергла статью двух сотрудников отдела, в котором я работал, о положении рабочего класса в странах Общего рынка, и вернула её на доработку. Т. Тимофеев предложил мне переработать статью. Я согласился при условии, что добавлю в неё раздел о том, как трудящиеся отстаивают свои интересы, и буду включён в соавторы. На том и порешили. Переделанная статья под названием «Рабочее движение в странах Общего рынка» была принята и опубликована в «МЭиМО» (1963, № 3). Вскоре главный редактор Яков Семенович Хавинсон предложил мне перейти в журнал в качестве редактора с зарплатой в 260 р. Разумеется, я согласился и проработал в редакции до 1970 года, после чего ушёл в только что созданный Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН).

Так закончился первый период моей научной жизни. Его итоги можно свести к четырём пунктам. Во-первых, я состоялся как исследователь, специализировавшийся в изучении социальных последствий и проблем европейской экономической интеграции. В 60-е годы были опубликованы около двадцати моих статей и главы в двух коллективных монографиях. В 1970 году я защитил диссертацию «Социальная политика Европейского экономического сообщества» и получил степень кандидата экономических наук. Во-вторых, я приобрел бесценный опыт как редактор, окончив, можно сказать, высшую школу редакторского мастерства под

руководством Я.С. Хавинсона. Не все его уроки были приемлемы для меня, и я часто спорил с ним. Свидетель и временами участник бескомпромиссной внутривнутрипартийной борьбы в 20-е и начале 30-х годов, переживший ужасы массового террора в 1937–1938 годах, а затем, пусть и в меньшем масштабе, репрессий в послевоенные годы вплоть до смерти Сталина, Яков Семенович был свехосторожен и находил крамолу там, где ею не пахло. Но профессиональному чтению текста редактируемой статьи он меня научил, и этот опыт мне очень пригодился, когда я возглавил в ИНИОН отдел стран Западной Европы, США и Канады. В-третьих, и это самое важное, в ИМЭМО я получил доступ к зарубежной литературе, хранившейся в отделе специального хранения институтской библиотеки. Все, кто зачислялся в ИМЭМО в качестве научных сотрудников, получали доступ в спецхран. Я начал читать на английском языке, а вскоре поступил на курсы французского языка и через два года читал уже и французскую литературу. В спецхране находились и ежедневные выпуски «закрытого» ТАСС. В итоге мои представления о западном мире перевернулись с ног на голову (или с головы на ноги). В-четвёртых, в ИМЭМО довольно быстро сложился уникальный научный и человеческий климат. Разумеется, там были и стукачи, и ретрограды, и просто бесталанные люди. Но погоду в институте определяли две группы научных сотрудников – «старожилы», вернувшиеся в науку после смерти Сталина, и молодёжь. О первых надо сказать особо. Они многие годы работали в Институте мирового хозяйства, директором которого был самый авторитетный в стране экономист-международник Самуил Варга. В 1947 году Сталин разогнал институт, и многие его сотрудники были репрессированы или, оставшись на свободе, отлучены от науки. Те, кто выжил в лагерях, вернулись в 1954–55 годах. А.А. Арзуманян пригласил их работать в ИМЭМО – Хмельницкую, Манукяна, Громова и других. Они прошли через тяжелейшие испытания и – не сломались. А другая, притом многочисленная группа – талантливая молодёжь, окончившая в первое послевоенное десятилетие обществоведческие факультеты МГУ и МГИМО. Некоторые из них были фронтовиками, а большинство по возрасту не участвовали в Отечественной войне, но испытали на себе все ее тяготы. Получился уникальный сплав опыта и дерзающей молодости, а в итоге – творческий научный климат и доброжелательные человеческие отношения. Я многому научился в ИМЭМО и в научном, и в человеческом плане.

*О. Б.:* А как Вы выбрали тему, связанную с европейской интеграцией?

*Ю. А.:* Выбор темы произошёл случайно. Я уже рассказал о том, как в 1963 году стал соавтором статьи в «МЭиМО». Перерабатывая её первый вариант, я кое-что почитал о социальных проблемах, возникших в ходе строительства Общего рынка, и в какой-то момент понял, что эта тема новаторская. Как пустыня, которую никто не заселил. К тому же она соответствовала моему намерению переквалифицироваться из историка в экономиста. Я хотел перейти в менее политизированную область знаний и защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Так родилась тема социальных последствий экономической интеграции. Диссертацию я защитил в 1970-м в ИМЭМО. Но я уже работал в ИНИОН, поссорившись в конце 1969 года с моим шефом Я.С. Хавинсоном.

*О. Б.:* Почему же вы поссорились?

*Ю. А.:* Ну, эта подробность, может, и не войдёт в окончательный текст, но она интересна тем, что отражает специфику тех времен. У Хавинсона была такая привычка: он со своими заместителями Львом Степановым и Юрием Островитяновым утверждал содержание следующего номера, подчас идя на компромисс, потому что они настаивали на включении той или иной статьи, которая казалась ему спорной или просто крамольной. А потом за их спиной он выкидывал её и ставил ту, которую хотел. Юрий воспринимал эти хитрости философски, а Лева Степанов однажды вывесил после такой истории листок на своем кабинете, где было написано: «On strike». Это сразу же разнеслось по институту – Степанов объявил забастовку. Хавинсон был возмущен и потребовал созвать заседание парткома ИМЭМО, где был поставлен вопрос о работе редколлегии. Её состав надо было менять, потому что закончился срок её работы. А на самом деле заседание было посвящено работе двух заместителей Хавинсона. Он и задал тон обсуждению, раскритиковав их в пух и прах. В проекте решения парткома было записано, что они неудовлетворительно выполняют свои обязанности, то есть их надо снять с занимаемой должности. А я выступил на заседании и сказал, что не согласен, потому что два года был ответственным секретарем редакции, и знаю «всю кухню». А она состоит в том, что все статьи кладутся на стол главному редактору с подписями Островитянова или Степанова, которые в непосредственном общении с авторами доводят их тексты до «кондиции». Поэтому, закончил я, проект решения партко-

ма, где в первом пункте работа редакции признана удовлетворительной, а во втором – работа замов признана неудовлетворительной, выглядит абсурдом. Меня стал перебивать директор института Н.Н. Иноземцев, который, оказывается, знал обо всём. Это было неожиданно, но я завёлся и вступил с ним в спор. В какой-то момент я сказал: «Николай Николаевич, вы директор, академик и на завтра можете поступить со мной, как сочтёте нужным, но я выскажу свое мнение». В общем, заседание закончилось тем, что пункт второй из проекта решения был вычеркнут. Островитянов остался замом, а Степанов вернулся в тот отдел института, где работал раньше. Яков Семенович перестал отвечать на мое «здравствуйте» и подчеркнуто сухо разговаривал по делам редакционным. Я не выдержал, зашел к нему и сказал, что после защиты диссертации начну искать новое место работы. Он не возражал. Прошло несколько месяцев, мои отношения с Хавинсоном наладились, но в начале 1970 года первый директор ИНИОН Лев Петрович Делюсин предложил мне создать в институте новый сектор – капиталистических стран Западной Европы. Я сразу же согласился, и как только прошла защита, перешёл в новый институт.

*О. Б.: Как называлась диссертация?*

*Ю. А.:* «Социальная политика Европейского экономического сообщества».

*О. Б.: В чём научное приращение этой диссертации?*

*Ю. А.:* Именно в том, что социальные аспекты интеграции рассматривались как часть общего процесса – самостоятельная, неотъемлемая и очень важная; что социальные последствия экономической интеграции неоднозначны, в них есть и негативные, и позитивные перемены для наемных трудящихся и всего занятого населения. И надо рассматривать всё это в комплексе.

## ***Интервью. Часть 2***

*Ю. А.:* Чтобы связать с предыдущим: я уже говорил, что у меня было три больших периода в научной жизни. Первый – ИМЭМО и редакция журнала «МЭиМО», с 1962 по 1969-й. Но я и потом продолжал работу в журнале, входил в редколлегия. Вторым периодом – ИНИОН, с начала 1970-го до конца 1989-го. В принципе, я считаю, что это был самый творческий, самый яркий и, пожалуй, самый плодотворный период в моей научной жизни. Оказался



я там не случайно. После августа 1968 года у меня исчезли последние иллюзии по поводу того, что Оттепель может перерасти в преобразование нашей экономической и политической системы. Я стал размышлять, куда уйти, так как журнал стал для меня слишком идеологизированным и политизированным изданием. Как уже было сказано, в 1970 году я поступил на работу в ИНИОН. Он был интересен тем, что это было совершенно новое научное учреждение в Академии наук, которое по решению партии и правительства должно было давать полную и объективную информацию о зарубежной литературе, главным образом европейской и американской, по всему спектру общественных наук. Заманчиво было и то, что мне было предложено с нуля создать новое подразделение. Это был вызов самому себе: смогу ли я создать дееспособный коллектив и вывести его на уровень ведущих научно-информационных подразделений института?

Через год Льва Петровича «ушли». После того как в августе 1968 года советские танки раздавили молодые ростки Пражской весны, нашу страну накрыла ретроградная волна и наверху сочли Делюсина слишком либеральным человеком. Директором был назначен Владимир Алексеевич Виноградов, пришедший из администрации Президиума АН СССР, где он занимал пост заведующего отделом внешних сношений Академии. Человек он был ортодоксальный, если не сказать консервативный. Но менеджер был уникальный. Фактически я начал создавать сектор, когда директором был Делюсин, а при Виноградове он был преобразован в Отдел стран Западной Европы, США и Канады. Но сперва скажу о том, что лично мне дал ИНИОН.

Во-первых, именно здесь я в полной мере состоялся как учёный. Я как-то Вам сказал, что защита диссертации – это еще не состоявшийся учёный. Тогда для этого надо было опубликовать собственную монографию. Я опубликовал две. В 1973-м – «Западная Европа: социальные последствия капиталистической интеграции». Она была встречена хорошо, в частности потому, что я достаточно подробно изложил в ней западные концепции региональной экономической интеграции. Вторую монографию после защиты докторской диссертации, в 1984-м – «Экономическая интеграция и социальное развитие в условиях капитализма».

*О. Б.: А докторская как называлась?*

*Ю. А.:* Примерно так же, но как-то иначе. Я уже не помню точное название. Но смысл тот же самый. Что было в моих монографиях? Начну с того, что там не было ни одного слова об общем

кризисе капитализма, абсолютном и относительном обнищании пролетариата. Дальше – о моем понимании существа экономической интеграции в Западной Европе, её эффектах и социальных последствиях, о чём я уже сказал в первой части интервью. Повторю в кратком виде: если интеграция стимулирует рост ВВП, это должно проявиться в динамике занятости и безработицы, номинальной и реальной заработной платы и других социальных показателях. Такой вывод вытекал из конкретного анализа развития стран-участниц ЕЭС. Результаты анализа были представлены в моей первой монографии, но особенно во второй. В ходе подготовки докторской диссертации и основанной на ней книги я обработал огромный массив статистики. В книге более сорока таблиц. Не только динамика основных экономических и социальных показателей за 30 лет (с начала 50-х по конец 70-х), но и рассчитанная мной динамика их сближений и расхождений в странах ЕЭС в зависимости от улучшения или ухудшения экономической конъюнктуры. И по всему выходило, что рабочий класс и другие слои трудящихся выиграли в результате экономической интеграции. Этому способствовали и социально-политические факторы – укрепление профсоюзов, их диалог с предпринимательскими объединениями, новая социальная политика государства, чему также уделено большое внимание в монографии.

Во-вторых, ИНИОН дал мне колоссально много в плане расширения моих знаний, моего научного кругозора. Наш отдел выпускал разнообразную научно-информационную продукцию – европейская интеграция, европейская безопасность, развитие экономики и политических систем в странах Западной Европы и США, теория и практика европейской социал-демократии и Социнтерна, общественно-политические взгляды государственных лидеров в Западной Европе, военно-политическая стратегия США и т. д. Я руководил отделом и практически всё читал или просматривал, писал предисловия к сборникам по ЕЭС и нередко по другой тематике. В итоге к концу моей работы в ИНИОН я, можно сказать, невольно стал универсалом в знании и понимании процессов, происходящих в экономике, социальной сфере, внутренней и внешней политике, идеологии и развитии общественно-научной мысли в Западной Европе, а отчасти и в Соединённых Штатах, о которых знал ранее мало и поверхностно.

В-третьих, я накопил большой организационный опыт. Мне удалось построить отдел и вывести его в число ведущих подразделений ИНИОН.

*О. Б.: Сколько в нём было народу?*

**Ю. А.:** Вначале два человека кроме меня. Аделаида Александровна Амплеева и Тамара Виленкина. Обе работали в Фундаментальной библиотеке, на базе которой был создан ИНИОН. А в 1989 году у нас было 46 сотрудников, плюс прикрепленные аспиранты. Что мне удалось в отделе? Была создана система научной информации по тематике нашего отдела, выделены основные темы серийных сборников рефератов и обзоров литературы, издававшихся из года в год. Семь серий: европейская интеграция, европейская безопасность, политические системы в странах Западной Европы, европейская социал-демократия, социально-экономические проблемы развитых капиталистических стран, внешняя политика и военно-политическая стратегия США, двухпартийная система и президентские выборы в США.

Далее, мы определили принципы, которыми должен руководствоваться каждый сотрудник при подготовке рефератов и обзоров литературы. Это прежде всего их полная адекватность содержанию оригинала (книги, статьи и т. д.). В рефератах – никаких комментариев. В аналитическом обзоре зарубежной литературы они допустимы, но не под девизом «разоблачения» буржуазной и ревизионистской идеологии, а в виде краткого пояснения, какую именно научную школу представляет автор или какова его идейная и политическая позиция. Мне понадобилось много времени, чтобы приучить к этому сотрудников отдела, а с привычкой внештатных авторов смешивать научную информацию с идеологической борьбой и пропагандой я воевал все двадцать лет. Кстати, в институте отнюдь не все руководители информационных отделов придерживались такого подхода. Были у него противники и в дирекции. С заместителем директора Липаритом Сергеевичем Кюзаджаном, который был куратором нашего отдела, мы были единомышленниками. Но однажды, когда он ушел в отпуск, я пришел к другому заму М.П. Гапочке подписать к печати сборник по европейской безопасности. Он сказал, что подпишет сборник, после того как просмотрит его. Когда я пришёл к нему через пару-тройку дней, он потребовал снять реферат статьи известного французского журналиста Мишеля Татю с резкой критикой советской внешней политики. Я ответил, что мы даем полную информацию по этой теме, от крайне правых до крайне левых, а Татю во Франции – политический обозреватель номер один. Гапочка настаивал на своём, и я предложил ему написать на обложке письменную резолюцию с обоснованием своей позиции, на

что он ответил отказом. Между нами возникла перепалка на повышенных тонах, а кончилось всё тем, что я забрал сборник и дождался возвращения Липарита Кюзаджана, который подписал сборник к печати вместе с рефератом статьи Мишеля Татю.

В 80-е годы мы вышли на такой объем информационной продукции, который под стать небольшому издательству. Мы ежегодно выпускали 14–15 сборников (200–220 печ. л.), 8–10 аналитических обзоров (35–40 печ. л.) и 20–25 рефератов наиболее интересных книг и статей, которые издавались отдельными выпусками (30–35 печ. л.).

Не могу не упомянуть об уникальной серии «политических портретов» – очерков о крупнейших государственных деятелях, партийных лидерах и идеологах стран Западной Европы, выходящих под шапкой «Общественно-политические взгляды». Инициатором идеи был Б.С. Орлов, первоклассный специалист по Германии и европейской социал-демократии, взявшийся написать очерк «Общественно-политические взгляды Вилли Брандта». Разговор наш произошел в 1972 году, и выбор не был случайным. В 1969 году Брандт, избранный Федеральным канцлером, провозгласил новую «восточную политику», главной целью которой была нормализация отношений с Советским Союзом. Бонн, в ту пору столица ФРГ, вместе с Парижем и Москвой выступили инициаторами созыва общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Однако советское руководство всё еще относилось к Брандту с подозрением, держа в памяти то, что в 1947–1949 годах он был мэром Западного Берлина, так сказать, на острие холодной войны. Его политическую биографию в наших «верхах», видимо, знали плохо. Между тем в молодости Брандт был левым социал-демократом, активно боролся против нацизма до прихода Гитлера к власти, за ним охотилось гестапо, но он, чудом избежав ареста, эмигрировал и продолжил антифашистскую деятельность в странах Северной Европы.

Обзор, а точнее, аналитический доклад Орлова был опубликован и разослан по всем адресам в начале 1973 года. В один из летних дней, когда я находился на работе, зазвонил телефон. Я взял трубку и услышал: «Добрый день, я полковник *такой-то* из КГБ. У вас вышел обзор о Вилли Брандте»? После того как я подтвердил это, мой собеседник спросил, не может ли он встретиться с Борисом Сергеевичем Орловым. Я ответил, что он в отпуске, и услышал: «А с ответственным редактором Юрием Антоновичем Борко»? Я представился, и мы договорились, что он приедет ко

мне через день. Он прибыл в назначенный час, в штатской одежде, примерно того же возраста, что и я. Он сразу же спросил, на каких источниках основан обзор. Я ответил, что источники обычные – статьи и выступления Брандта о внешней и внутренней политике, частично собранные в книге, за которую он получил Премию мира, а также посвящённая ему литература. Кроме того, нам в частном порядке удалось заполучить из ФРГ опубликованную правыми радикалами брошюру о взглядах и деятельности Брандта в 20–30-е годы, о чём я уже упомянул выше.

У нас завязался интересный разговор, из которого я сделал два вывода. Во-первых, сотрудники отдела, в котором работал полковник, впервые прочли работу, в которой обстоятельно проанализированы мировоззрение и политические взгляды крупнейшего западного политика, без пропагандистских штампов и ссылок на заявления советских лидеров или документы советского МИД. То, что политический портрет Вилли Брандта резко отличается от его «образа», созданного нашей пропагандой при участии советских учёных-германистов, вызвало повышенный интерес коллег моего собеседника к аналитической информации, производимой в ИНИОН. Во-вторых, ни в КГБ, ни в МИД, ни в иных государственных ведомствах никто не занимался объективным анализом взглядов и действий политических лидеров хотя бы ведущих государств мира, особенно Запада. Мой собеседник сказал, что в КГБ лишь недавно было решено создать аналитическое подразделение, «потому я и приехал к вам», а на мой вопрос, почему этим не занимаются наши посольства, полковник махнул рукой и сказал, что они «смотрят в рот министру». В заключение он спросил, собираемся ли мы готовить следующие «портреты». Я назвал ему несколько имен, и мы распрощались.

За годы моей работы в ИНИОН отдел выпустил более двадцати политических портретов: Хельмут Шмидт, Валери Жискар д'Эстен, Франц-Йозеф Штраус, Маргарет Тэтчер, Улоф Пальме, первый премьер демократической Испании Фелипе Гонсалес, Жак Ширак, Франсуа Миттеран и т. д. Для сотрудников, пришедших в науку после 1991 года, я поясню, что наши «портреты», да и все почти наши издания шли под грифом «для служебного пользования» и поступали в спецхраны библиотек. Поэтому в наши списки рассылки этих изданий мы включили десятки академических институтов, других научных центров и российских университетов. И их научные сотрудники, зачисляясь в штат, получали доступ к нашей продукции. В итоге у нас была уникальная

возможность знакомить российское научное сообщество, тысячи учёных с зарубежной обществоведческой литературой.

*О. Б.:* Так оно и было, за этими инионовскими сборниками все гонялись.

*Ю. А.:* Совершенно верно. Однажды в ИНИОН пришла и Ольга Буторина.

*О. Б.:* Я предложила материал по научно-технической политике, но он почему-то не подошёл. Мне сказали, что там было очень много авторского видения.

*Ю. А.:* Вот как? Но, кажется, не мне предложили.

*О. Б.:* Да. Сказали, что это не реферат и слишком много авторской позиции.

*Ю. А.:* В аналитических обзорах допускалась авторская позиция, тем более в политических портретах. В предисловиях к сборникам мы акцентировали внимание на каких-либо проблемах, можно было дать оценку содержания реферируемых работ, но научную, а не пропагандистскую. Я тоже бывал автором предисловий. Например, к реферативному сборнику о «государстве благосостояния». Тема в то время предельно острая. Наша пропаганда клеймила это понятие как миф и ложь. А моя вступительная статья шла под заголовком: «Что это? Миф, пропаганда или реальность?» И я отвечал: и то, и другое, и третье. Свою сверхзадачу я видел в том, чтобы раскрыть содержание данного понятия, в котором присутствовали как идеологический, так и реальный компоненты – социально ориентированная рыночная экономика, социально ответственное государство, диалог труда и капитала.

*О. Б.:* А какого подхода придерживались в других отделах?

*Ю.А.:* По-разному. В каких-то, защищаясь от обвинений в «буржуазном объективизме», использовали пропагандистские штампы. Я точно могу сказать, что мы придерживались одинаковых позиций в подходе к реферированию с заведующим отделом научного коммунизма Яковом Михайловиче Бергером, которого мы проводили в последний путь в прошлом году. В отделе собрался очень сильный коллектив. Парадоксально, что отдел с таким названием занимался главным образом подготовкой рефератов и обзоров западной литературы по философии, социологии, политологии, по сути своей антимарксистской и антикоммунистической. Более осторожен был заведующий отделом государства и права Николай Никанорович Разумович. Потом, когда мы подружился, я побывал у него дома и узнал, что он из традиционно священнической семьи и его отец был расстрелян в 1937 году.

Кстати, именно в этом отделе начал в середине 70-х годов свою научную жизнь Юрий Пивоваров, в будущем директор ИНИОН. У меня еще тогда сложилось о нём впечатление как о талантливом молодом учёном, интеллигентном и смелом в своих суждениях.

Чем еще я могу гордиться? К середине 80-х годов отдел разросся до пятидесяти человек (включая аспирантов), различавшихся не столько по возрасту, сколько по социальному положению, взглядам, темпераменту и поведению в коллективе. Время от времени случались конфликты между сотрудниками или у кого-то из них – со мной. Мне пришлось учиться умению быть терпимым и гибким в острых ситуациях, но вместе с тем твёрдым, даже жёстким, когда нарушались этические нормы или не выполнялись мои распоряжения как руководителя отдела. В общем, мне удалось создать здоровый климат деловых и человеческих отношений, в чём мне помогали многие сотрудники – Вадим Мильштейн, Татьяна Пархалина, Ксения Шарапова, Ирина Новоженова и что дружно поддерживала группа самых молодых сотрудников и сотрудниц – референтов. В отделе выросли очень хорошие специалисты. Более дюжины сотрудников и аспирантов защитили кандидатские и докторские диссертации. В научное ядро отдела входило тринадцать-четырнадцать сотрудников. Не буду упоминать всех, но некоторых представлю.

О Борисе Сергеевиче Орлове я уже кое-что рассказал – о том, как он повел себя в августе 1968 года в Праге, и его очерке о канцлере ФРГ Вилли Брандте. В отделе он руководил подготовкой серийных сборников, обзоров и рефератов по нескольким темам – европейская социал-демократия, Социнтерн, партийно-политические системы в странах Западной Европы, политические портреты. Он был очень плодовитым автором, писал быстро и ярко – предисловия к сборникам, аналитические обзоры. Борис Сергеевич продолжал работать в отделе до последних лет, и лишь недавно вышел на пенсию.

Его первым помощником по всей этой тематике была Татьяна Николаевна Мационашвили. Она не была ни доктором, ни кандидатом наук, но по своим знаниям, кругозору и качеству её научной продукции, была ли она автором или ответственным редактором, не уступала маститым докторам. Интенсивности её работы можно было только изумляться. Уже после моего ухода из ИНИОН она погибла, попав под автомобиль. До сих пор вспоминаю о ней и вижу её живой – серьёзной или улыбающейся, а то и спорящей со мной, отстаивая свою точку зрения.

Еще одним ведущим сотрудником, тоже ставшим моим другом, был Вадим Михайлович Мильштейн. Сам он занимался внешней политикой и военно-политической стратегией США, защитив по этой теме кандидатскую диссертацию. В наш отдел он пришел по возвращении из Женевы, где работал переводчиком-синхронистом в одной из организаций ООН. В отделе Мильштейн возглавил группу американистов, и они выпускали серийные сборники, аналитические обзоры и рефераты по проблемам внешней политики США и их отношениям с СССР. У него были свои каналы, по которым он получал из США уникальные монографии, как только они там выходили.

Не могу я не рассказать и о Татьяне Глебовне Пархалиной. В 1981 году ко мне пришла незнакомая молодая женщина, представилась Таней Пархалиной и сказала, что работает в отделе переводов, но хочет заняться наукой, назвала тему – европейская безопасность и просит принять её в наш отдел. Из нашего разговора мне стало ясно, что в теме она разбирается и то, что знает, излагает коротко и четко. Специалист по вопросам и европейской безопасности мне был нужен, и я отправился к директору. Виноградов дал согласие на переход Пархалиной, как только я назвал причину моего визита, добавив при этом, что и сам собирался рекомендовать мне Татьяну. Он лишь удивился тому, что она не сказала ему о своём намерении встретиться со мной. Я подумал и ответил, что, возможно, она хотела представиться сама, а не переходить в наш отдел по протекции. Виноградов только хмыкнул. Весь первый год ушел у Пархалиной на завершение диссертации; в 1982 году она представила ее текст под названием «Франко-американские отношения в Западном Средиземноморье», защитила ее и стала кандидатом исторических наук. После защиты я поручил Пархалиной возглавить группу сотрудников, ответственную за выпуск сборника «Проблемы европейской безопасности» и другую информационную продукцию по этой тематике. Эту серию мы начали еще в 1973 году, но выходили сборники не каждый год, да и общий объем информации по этой теме был недостаточным. После того как группу возглавила Пархалина, объем и разнообразие информации по проблемам европейской безопасности и внешней политики ЕС существенно увеличились. В 1984 году вышел первый серийный сборник, где она выступала как ответственный редактор. Татьяна Пархалина стала одним из ведущих сотрудников отдела благодаря своим деловым и человеческим качествам – компетентности, трудолюбию, инициативе



и энергии в работе и, что не менее важно, спокойному, доброжелательному и ровному отношению ко всем членам коллектива.

*О. Б.: Насколько я знаю, Пархалина была Вашей преемницей в отделе. Почему она, а не Борис Сергеевич Орлов, например? Чье это было решение, и какую роль сыграли Вы?*

*Ю. А.:* Я решил уйти из ИНИОН в 1988 году и сразу же задумался над тем, кого хотел бы видеть своим преемником. К лету 1989-го, когда я сообщил Владимиру Алексеевичу, что в январе следующего года перейду в Институт Европы, выбор мною был сделан. Первым я исключил из списка кандидатов Орлова. Слишком взрывной характер, категоричен и зачастую предвзят в своих оценках сотрудников отдела. Идеальным руководителем был бы Мильштейн. Но в первом же нашем разговоре он решительно отверг мое предложение. А из остальных сотрудников единственно достойным преемником я считал Пархалину. Её-то я и назвал Виноградову, чему он очень обрадовался. Трудность заключалась в том, что большинство сотрудников отдела, особенно женская часть коллектива, более 70% его состава, хотели бы видеть заведующим не женщину, к тому же с твёрдым характером, а другого сотрудника – Валерия Петровича Любина. Он пришел к нам в 1973 году, окончив аспирантуру в Институте всеобщей истории АН СССР. Очень быстро прогрессировал, в 1978 году защитил кандидатскую диссертацию по истории Италии и к концу 80-х годов стал не только известным историком-итальянистом, но и специалистом по широкому кругу социально-политических проблем Западной Европы, одним из ведущих сотрудников отдела. В его пользу говорило и то, что он был миролюбивым человеком и придерживался ровных отношений со всеми коллегами. Я не припомню, чтобы он с кем-то конфликтовал. Однако Любин был лишен двух важнейших лидерских качеств – целевой установки, то есть собственной, им выношенной цели, которой он хотел бы достигнуть как будущий руководитель отдела, и волевого характера, без которого она недостижима. Я сказал об этом Виноградову, добавив, что постараюсь за оставшиеся полгода изменить настроения в отделе. Мне удалось переубедить большинство сотрудников, и на состоявшихся в конце года выборах Пархалина получила значительно больше голосов, чем Любин.

Несколько слов о дальнейшей судьбе отдела. Татьяна Глебовна возглавляла его до 1998 г., когда была назначена заместителем директора ИНИОН по научной работе. Отдел возглавила к.и.н. Екатерина Алексеевна Нарочницкая, а в 2012 г. её сменила к.и.н.

Ольга Николаевна Новикова, которая руководит отделом Европы и Америки и в настоящее время. Его состав полностью сменился и стал вчетверо меньше, чем в 80-е годы. Тем не менее он активно функционирует, ежеквартально выпускает научный журнал «Актуальные проблемы Европы» и сотрудничает с отделом европейской интеграции Института Европы.

*О. Б.: Наполните какой-нибудь сборник, который Вам показался наиболее интересным, ярким, неожиданным для того времени или, наоборот, стоил вам какого-нибудь особого труда, или вы считаете особенно важным.*

*Ю. А.:* Интереснейшие сборники и рефераты выпускали и другие подразделения ИНИОН, особенно отделы научного коммунизма, экономики и философии. Но вспомнить их названия уже не могу. Так что назову те, в которых я был ответственным редактором. Начну с трех сборников под общим названием «Теории политической интеграции», выпуски 1–3. Изучением этих теорий никто не занимался, и наши маститые учёные, исследовавшие процессы экономической интеграции, ничего о них не знали. Да и я узнал о них впервые и тут же поручил сотрудникам отдела начать подготовку рефератов, которые потом вошли в эти сборники.

*О. Б.: В какие примерно годы это было?*

*Ю. А.:* В 1972–1975 годы. Юрий Витальевич Шишков, получив сборники, позвонил мне и сказал, что для него это ново и очень интересно. Позже их широко использовал в своих статьях и монографиях Владимир Барановский, который первым стал рассматривать политическую интеграцию как часть общего процесса европейской интеграции со своей логикой развития.

Особенно я горжусь тем, что первым издал две работы Александра Яковлевича Лифшица, который в 90-е годы стал экономическим советником президента Ельцина, министром финансов в одном из его правительств и вплоть до своей кончины в 2013 году играл важную роль в экономической жизни страны. В 1979 году он – в то время заведующий кафедрой политэкономии в Московском станкостроительном институте – пришел в отдел экономики ИНИОН с докладом о современных теориях экономической политики, а зав. отделом Глеб Косов переадресовал автора мне. Он проанализировал в своей работе неокейнсианскую и маржиналистскую теории экономической политики. С первой я был знаком, о второй не знал ничего. Чтение затруднялось тем, что А. Лифшиц снабдил текст более сорока экономико-математическими формулами, которые были для меня китайской грамотой,

и дюжиной графиков. Я позвонил моим друзьям-экономистам в ИМЭМО, и они сказали, что в нашей отечественной экономической литературе нет ни одной работы о маржинализме и доклад непременно надо издать. Так я и сделал, заказав при этом неслышанный для институтских изданий тираж – две тысячи экземпляров. К счастью, цензура его пропустила, и вышел он без грифа «для служебного пользования». После того как доклад под названием «Современные буржуазные теории экономической политики» был опубликован, меня вызвал директор ИНИОН и сказал, что он прочел доклад и ничего не понял, а я к тому же вдвое превысил установленный объем аналитических обзоров и многократно – предельный тираж. Я ответил, что с первого раза тоже мало что понял, и сослался на то, что ведущие экономисты ИМЭМО – Юрий Шишков, Револд Энтов, Ирина Осадчая и Виктор Кузнецов – в один голос просили меня издать доклад большим тиражом, чтобы с ним ознакомились как можно больше экономистов. Всех четверых В.А. Виноградов знал лично, и моя ссылка на них произвела впечатление. Пару лет назад я нашел в «Википедии» список важнейших научных трудов Лифшица, перечисленных в хронологическом порядке. Первым в списке назван опубликованный нами доклад, а вторым – его монография, опубликованная в 1986 году. Но в списке отсутствовал еще один аналитический обзор А.Я. Лифшица «Монетаризм: концепция экономической политики», опубликованный нашим отделом в 1983 году. На этот раз обошлось без каких-либо эксцессов. Актуальность монетаристской концепции, которая легла в основу экономической политики Рональда Рейгана (рейганомика) и Маргарет Тэтчер, сомнений ни у кого из экономистов не вызывала, в том числе и у академика В.А. Виноградова.

Из тех изданий, где я был ответственным редактором, упомяну еще четыре реферативных сборника об экономических взглядах западноевропейской социал-демократии – немецкой, французской, британской и в странах Северной Европы, главным образом в Швеции (1980–1983).

*О. Б.:* А Ваше собственное движение мысли в эти годы: какие вопросы Вы себе задавали? И как Вы на них отвечали или искали ответы?

*Ю. А.:* Вопрос номер один: Как Европа вечных войн преобразовалась в Европу мира? Каким образом «вечные враги» Франция и Германия стали союзниками и лидерами европейской интеграции? Я рассказывал Вам о моём посещении братского кладбища?

*О. Б.:* Да-да.

**Ю. А.:** Второй вопрос: что произошло с классическим капитализмом времен Маркса, Гюго и Диккенса, Драйзера и Стейнбека? Я проанализировал содержание и результаты кардинальных реформ, осуществленных в западноевропейских странах после 1945 года, и в своих работах, опубликованных в 1988–1990 годах, назвал их «перестройкой по-западноевропейски». А размышлять об этом я начал еще в начале 60-х, когда был принят на работу в ИМЭМО.

**О. Б.:** Это второй вопрос: как трансформировался капитализм? У Вас были два главных вопроса? Или было что-то еще?

**Ю. А.:** Третьим по порядку, но первым по важности был вопрос: что произошло с нами и что будет? Об этом я стал думать с марта 1953 года, с похорон Сталина, которые потрясли меня трагедией на Трубной площади. Я был ее свидетелем.

**О. Б.:** И как Вы отвечали себе на этот вопрос? Что будет?

**Ю. А.:** Сначала о том, что было. А было перерождение Коммунистической партии и Советской власти. К этому выводу я пришел вскоре после смерти Сталина. Летом 1954 года у меня состоялся долгий разговор с моим другом, окончившим истфак МГУ на год раньше, Львом Краснопевцевым. Он в понимании того, что произошло в стране за двадцать лет после октября 1917-го, ушёл дальше меня. Я шёл тем же путем. А точку в осмыслении советского прошлого поставил август 1968 года. Помните, «Танки идут по Праге»?

**О. Б.:** Что изменил в стране 1968 год, на Ваш взгляд?

**Ю. А.:** Я воспринял это событие как похороны Оттепели. До этого у меня теплились какие-то надежды. Но увы! Нахлынула консервативная, охранительная волна с подтекстом: не дай бог, чтобы у нас появилось движение за «социализм с человеческим лицом», как в Чехословакии, у нас – «развитой социализм», «советский народ – однородная общность» и т. п.

**О. Б.:** «Единая общность – советский народ» – по-моему, это так называлось.

**Ю. А.:** Советский философ, член-корреспондент АН СССР Михаил Руткевич, который был автором этой формулы, кажется, говорил «однородная», впрочем, я не утверждаю.

**О. Б.:** Кого из иностранных учёных Вы тогда читали, если они попадали Вам в руки?

**Ю. А.:** Многих читал. Я уже рассказывал о них.

**О. Б.:** Но кто на Вас, как на учёного, произвел наибольшее впечатление или оказал влияние?

**Ю. А.:** Я у многих западных экономистов, политологов и политических деятелей учился, как и мои ровесники, работавшие в советские времена в ИМЭМО, ИНИОН, МГИМО, МГУ и т. д. Мы ведь начинали с азов, освобождаясь от пут «научного коммунизма». Назову таких учителей, как Бела Балаш, Ян Тинберген, Бертиль Олин (Улин), Эрнст Хаас, Пьер Майе, Морис Алле, Майкл Эмерсон, Жан Монне, Жак Делор, Збигнев Бжезинский, Джон Гэлбрейт, Сэмюел Хантингтон, Элвин Тоффлер, Арнольд Тойнби, Хосе Ортега-и-Гассет... Что не исключает критического отношения к некоторым их суждениям.

**О. Б.:** *А Вы их лично знали?*

**Ю. А.:** Только Пьера Майе и Майкла Эмерсона, о которых я уже рассказал. В общем, я пробежал в памяти двадцатилетнее пребывание в ИНИОН и могу сказать, что именно эти годы были временем наиболее интенсивного освоения западноевропейской и в меньшей мере американской научной мысли.

### ***Интервью. Ч. 3. 11 января 2017 г.***

**О. Б.:** *Давайте продолжим то, на чём мы остановились в прошлый раз, – о том, как Вы осваивали западную общественно-научную мысль.*

**Ю. А.:** Двадцать лет пребывания в ИНИОН – это время неимоверно интенсивного изучения западной общественной науки. Если коротко, то в трех областях. Первое – комплекс проблем европейской интеграции с их социальными и политическими последствиями. Второй блок – литература, связанная с радикальными реформами, которые произошли в экономике, в социальных и политических отношениях в Западной Европе. Я об этом уже сказал. Третье – переосмысление советской истории. Перечитал уйму зарубежной литературы. Перечислю некоторые имена: Брандт, Крайский, Пальме, Шмидт – это апостолы европейской социал-демократии. Гэлбрейт с его теорией конвергенции, Бжезинский, Раймон Арон, Хантингтон, Тоффлер. Группа выдающихся экономистов – Хайек, Ростоу, Мэдисон. Кого-то читал в оригинале или переводах, кого-то – благодаря той реферативной продукции, которую издавал ИНИОН. Не только наш, но и соседние отделы – истории, экономики и так называемого научного коммунизма. Некоторые монографии на английском, французском или в переводе на русский стоят у меня на книжных полках. В сущности, я был учеником, потому что мы все выросли в полной изоляции от западной литературы.

**О. Б.:** *С чего началось Ваше освоение западной научной литературы?*

**Ю. А.:** Началось с той тематики, которой я занимался в период подготовки кандидатской диссертации, – о социальных аспектах и европейской экономической интеграции, а затем перерабатывал диссертацию в свою первую монографию «Западная Европа: социальные последствия капиталистической интеграции». На это ушли вторая половина 60-х и первая половина 70-х годов – в ИМЭМО и в ИНИОН. Ну, прежде всего столпы – Бела Балаш и Ян Тинберген, которые дали общую теорию экономической интеграции и её стадийного развития от зоны свободной торговли к таможенному союзу и к ЭВС. Потом я перешёл к детальному изучению теорий региональной экономической интеграции – либеральной (фритрейдерской) концепции свободной торговли, «дирижизма», то есть управляемой экономической интеграции, наконец, концепции европейских социал-демократов, хотя в теоретическом плане все они были сторонниками кейнсианства и неокейнсианства, то есть регулируемой экономики.

**О. Б.:** *Вы имеете в виду фритрейдерской или управляемой?*

**Ю. А.:** Конечно, управляемой, их никак нельзя назвать фритрейдерами. Они гораздо резче акцентировали внимание на социальных аспектах, чем либералы. Из фритрейдеров у меня остался в памяти М. Алле, решительно утверждавший, что в экономической интеграции выигрывают все участвующие страны и все слои населения. Всякое расширение единого рыночного пространства влечет за собой ускорение роста экономики и благосостояния. Поэтому главной задачей является устранение таможенных границ и квот, мешающих свободной торговле.

**О. Б.:** *А в какие годы эта концепция была развита?*

**Ю. А.:** В 50-е и 60-е годы. Вообще-то концепция свободной торговли уходит своими корнями в работы Адама Смита. Но в эпоху интенсивного развития промышленного капитализма и формирования национальных рынков западноевропейские государства переходят к протекционистской политике. Это XIX век и первая половина XX. После Великой депрессии 1929–1933 годов начинается переосмысление внешнеторговой политики. В поисках её модификации некоторые видные западные экономисты вспомнили об опыте таможенных союзов и разработали с его учетом теорию таможенных союзов. Если не первой, то одной из первых послевоенных работ на эту тему был доклад группы авторов «Таможенные союзы», подготовленный по заданию и при спонсорстве ООН. Он был опубликован в 1947 году.

*О. Б.: А авторов этого доклада не помните?*

*Ю. А.:* Кажется, они не были названы. Во всяком случае, их не было на титульном листе. Но вполне вероятно, что в подготовке доклада участвовали известные экономисты – американец Джейкоб Вайнер и англичанин Джеймс Мид, опубликовавшие в начале 50-х годов работы по теории таможенного союза, ставшие классикой. Эту теорию можно назвать симбиозом фритрейдерства и протекционизма. Группа соседних государств с обширными торговыми связями создает общий рынок товаров, а таможенные и иные барьеры выносит на внешнюю границу союза. Как Вы знаете, подписанный в 1957 году договор, учредивший ЕЭС с целью построения таможенного союза «Шестерки», окончательно определил экономическую стратегию объединения стран Западной Европы. Но конечно, наибольшее моё внимание привлекли концепции управляемой интеграции. В чём смысл, в чём было ее отличие? Они считали, что нет автоматизма между развитием интеграции и ростом благосостояния, а также его справедливым распределением между всеми слоями населения. Поэтому недостаточно того, чтобы социальная политика интегрирующихся стран осуществлялась на национальном уровне. Необходимо еще вынесение некоторых аспектов социальной политики на наднациональный уровень. То есть среди механизмов и институтов интеграции должны быть и такие, которые заняты решением социальных проблем интеграции.

Это очень четко просматривается в первом же проекте Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Там одним из важнейших механизмов был специальный фонд переквалификации и трудоустройства рабочих, увольняемых из металлургической и угольной промышленности. Задача не сводилась к тому, чтобы создать общий рынок угля и стали, надо было провести санацию и модернизацию данных отраслей. В ходе этого процесса значительная часть шахтеров и металлургов потеряет работу. Объём средств, которыми располагал фонд, я не помню, но это были очень большие суммы. Сотни тысяч людей прошли переквалификацию, причем шестимесячный период переобучения оплачивался. Они могли не только получить новую квалификацию, но и переехать в какое-то другое место и там устроиться.

Из работ, которые были посвящены данной концепции интеграции, самым интересным для меня был доклад группы экономистов во главе с Бертилем Олином, шведским экономистом, социал-демократом. Понятно, почему Олин: Швеция была первым

государством, где началось осуществление социал-демократической политики на основе кейнсианства, и потом это выросло в шведский функциональный социализм. Смысл заключался в том, что социальный фактор играет решающую роль в развитии экономической интеграции. Проще говоря, дело не в том, что интеграция влечёт за собой какие-то социальные последствия, а в том, что сам темп интеграции экономической определяется задачей сохранения социальной стабильности в интегрирующихся странах. В этом-то и заключалась суть взаимодействия между экономическим развитием и социальными последствиями.

Среди других европейских ученых, участвовавших в дискуссии об экономической интеграции, я назову еще двух авторов. Во-первых, Морис Алле – самый убежденный фритрейдер из тех, кого я читал. Он отождествлял интеграцию с созданием общего рынка товаров, практически свободного от институционального регулирования. По мнению М. Алле, единственным регулятором должен быть избранный темп перехода к такому рынку, рассчитанный таким образом, чтобы избежать слишком резкого роста безработицы, вызванного банкротством множества предприятий, которые не выдержат обострившейся конкуренции в условиях свободной торговли. В целом же такой рынок обеспечит рост благосостояния всех участвующих в нем государств и всех слоев населения в них. Напротив, Андре Филип, французский политик, социалист, активно участвовавший в дискуссии, выступал как убежденный сторонник регулируемого общего рынка по кейнсианским рецептам.

С концепцией Жана Монне я познакомился позже, в 70-е годы, когда начал более детально изучать теории европейской интеграции. Она тоже была для меня откровением. Проект Ж. Монне содержал две революционные для того времени идеи: во-первых, начать интеграцию в сфере экономики, упрятав в ящик давнюю мечту о европейской федерации; во-вторых, создать новый тип международной организации, возглавляемой высшими, наднациональными органами, принимающими решения, обязательные для исполнения всеми участвующими государствами. Эта концепция легла в основу так называемой «Декларации Шумана» – Меморандума французского правительства, направленного канцлеру ФРГ Конраду Аденауэру с предложением создать франко-германский общий рынок угля и стали, который будет открыт и для других демократических государств Западной Европы. Дальнейшее известно: в 1951 году шесть государств – Франция,



ФРГ, Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Италия – подписали в Париже договор о создании ЕОУС. Начало европейской (фактически западноевропейской) интеграции было положено. Её продолжением стало еще одно интеграционное объединение – ЕЭС.

Позже, в 70-е годы, появились новые концепции – экономического и валютного союза в трактовках Раймона Барра и Пьера Вернера. Затем Лео Тиндемманс предложил ещё одну концепцию экономического союза.

*О. Б.: А Вы помните, в чём она состояла? Потому что я с ней почти незнакома.*

*Ю. А.:* Уже не помню. А в общем она превзошла идеи и программы французского политика Жака Делора, который в течение двух сроков (1985–1995) возглавлял Комиссию европейских сообществ. Именно он сыграл главную роль в подготовке и подписании Договора о Европейском союзе (Маастрихт, 1992 г.), преобразовавшего три формально независимых сообщества (ЕОУС, ЕЭС и Евратом) в единую организацию. Я внимательно прочёл его некоторые работы. Весьма интересным оказался цикл лекций, который прочёл в Массачусетском технологическом институте первый председатель Комиссии европейских сообществ Вальтер Хальштейн. Он посвятил свои лекции истории европейской интеграции, а начал с того, что её теоретические корни находятся в трудах Адама Смита, но она идёт гораздо дальше, потому что дополнена теориями таможенного и экономического союза.

*О. Б.: Как Вы получили доступ к этой лекции?*

*Ю. А.:* Она была опубликована на английском языке и находилась в спецхране. Потом в 70-е годы сотрудники нашего отдела обнаружили целый пласт литературы, посвящённой политической интеграции. И мы с 1972 по 1975 год издали три сборника под общим названием «Теории политической интеграции». К первому сборнику я написал статью почти на тридцати страницах о буржуазных теориях политической интеграции. Самое большое впечатление на меня произвел Эрнст Хаас с его первой книгой о семилетнем опыте функционирования ЕОУС – «Uniting Europe». В результате анализа этого опыта он сформулировал неофункционалистскую теорию интеграции. Кроме федералистов, все остальные теоретики избегали слова «политическая интеграция». Великобритания, игравшая в ЕЭС роль *infant terrible*, любой намёк на перспективу политической интеграции встречала в штыки.

В чём была новизна подхода Хааса? Он объяснил механизм развития интеграции. Логика этого процесса такова. На каком-то этапе интеграция в том секторе экономики, о котором договорились участники Европейского сообщества, доходит до предела, и её дальнейшее развитие возможно только при условии её распространения на смежный сектор экономики (их может быть два и больше). Но участники объединения заинтересованы в этом в разной степени. Тупик в экономической интеграции дополняется политическим кризисом. Участники сообществ стоят перед альтернативой – отказаться от интеграции, потеряв те выгоды, которые они уже приобрели, или продолжать её, пересмотрев ранее заключенные договоры об интеграции. Лидеры стран-участниц садятся за круглый стол, чтобы переосмыслить процесс интеграции, и приходят к решению распространить его на смежные сектора экономики. В итоге возникает так называемый «эффект перелива» (английское *spillover*) интеграции. Меня поразило то, что Э. Хаас рассматривает кризис как импульс к переосмыслению целей, поиску новых форм интеграции и т. д. Но это требует иного типа мышления, не конфронтационного, а конструктивно-го, включая готовность к компромиссам.

Из других теоретических конструкций я назову концепцию известного социолога Карла Дойча, рассматривавшего интеграцию как формирование так называемого «сообщества безопасности». Согласно автору, такое сообщество возникает, когда оно основано на лояльности граждан. Интеграционное объединение продвигается к нему, по мере того как все большее количество граждан делегируют ему свою лояльность. В данном случае европейским сообществам – ЕОУС и ЕЭС. Реально развитие европейской интеграции определялось не делегированием лояльности граждан, а экономическими и политическими интересами государств-членов сообществ и Евросоюза. Тем не менее в концепции Дойча было рациональное зерно. История европейской интеграции знает несколько случаев, когда фактор лояльности / нелояльности граждан сыграл решающую роль. На референдумах во Франции, Нидерландах, Дании и дважды в Ирландии на суд граждан были вынесены подписанные правительствами договоры, которые предусматривали дальнейшее расширение полномочий высших органов ЕЭС–ЕС в ущерб национальному суверенитету.

Некоторую эволюцию претерпела и самая старая, возникавшая несколько столетий назад идея объединения Европы – федера-

лизм. На мой взгляд, федерализм не относится к разряду теорий; это доктрина, которая постулирует, что надо создать европейскую федерацию с едиными высшими органами, общими законами, общей армией. В 1849 г. эта идея была конкретизирована под названием Соединенные Штаты Европы. Последующую столетнюю историю Европы с двумя сотворенными ею мировыми войнами мы знаем. А в 1948 г. состоялся Гаагский конгресс европейцев, принявший декларацию с призывом приступить к строительству европейской федерации. Были учреждены Совет Европы и Организация европейского экономического сотрудничества. Они действуют и приносят пользу по сей день. Но создание единой интегрированной Европы, фактически Западной Европы, они своей целью не ставили. Между тем в 1949 г. было инициировано и через два года реализован первый интеграционный проект – Договор о создании ЕОУС. Интеграция началась в сфере экономики.

Некоторые теоретики федерализма стали искать варианты превращения доктрины в концепцию развития. Если европейская федерация оказалась утопией, то надо сконцентрировать усилия на федерализации ЕОУС и ЕЭС, то есть внедрять принципы федерализма в их институциональную систему. Одним из адептов такого подхода был западный политолог Карл Фридрих, изложивший в ряде работ свои представления о перспективах развития европейских сообществ.

*О. Б.: Это немецкий учёный?*

*Ю. А.:* Да. Он родился в 1901 г. в Германии, окончил Гейдельбергский университет, стал доктором наук, специализировался в области политологии, сосредоточившись на изучении феномена тоталитаризма и проблем демократии. В 30-е годы эмигрировал в США и обосновался в Гарварде. Соединенные Штаты стали постоянным местом его жительства и научной деятельности вплоть до ухода из жизни в 1984 году. К. Фридрих был активным противником нацизма и впервые побывал на родине в 50-е годы. В дальнейшем он неоднократно приезжал в Германию, участвовал в научных проектах и преподавал. В итоге он стал одним из крупнейших западных политологов прошлого века.

В конце 80-х годов я открыл для себя еще одну интереснейшую тему – историю «европейской идеи». Возникла она неожиданно. С.А. Караганов предложил мне принять участие в запланированной им книге «Общеввропейский дом: что мы о нем думаем?». Тема была сверхактуальная, так как в 1987 году идею

общего европейского дома с участием Советского Союза выдвинул М.С. Горбачёв. С. Караганов предложил мне написать главу об экономических основах такого дома. Согласившись, я вызвался подготовить еще одну главу – о многовековой истории проектов объединения Европы. Получив добро, я засел за стопку брошюр об истории европеизма, привезенную мною в 1978 г. из Швейцарии. Это был блистательный парад имён: политические трактаты Данте и Эразма Роттердамского; Жан Жак Руссо и Вольтер, Кант с его идеей вечного мира, Сен-Симон, итальянские революционеры Джузеппе Мадзини и Карло Каттaneo – авторы идеи Соединенных Штатов Европы; Виктор Гюго, прокламировавший её на всю Европу на Парижском конгрессе европейских пацифистов в 1849 году. И XX век – Пан-европейский проект австрийского графа и чешского гражданина Куденхове-Калерги и министра иностранных дел Франции Аристиды Бриана. Но это не только шествие имен. Со временем изменялось содержание европейской идеи. Сначала – союз христианских государств, отстаивающих веру и независимость от внешних врагов. Значительно позже, в XVIII веке – в эпоху Просвещения – представление о Европе как особой цивилизации. Я два года потратил на изучение западной литературы, посвящённой истории европейской идеи, в том числе дважды, в 1988-1989 годах, в Свободном университете Западного Берлина, куда я был приглашён по инициативе работавшего там профессора Михала Реймана, моего друга со студенческих времен.

*О. Б.: И Вас туда отправили в научную командировку?*

*Ю. А.:* Михал, чех, пражанин, учился вместе со мной на кафедре МГУ и, окончив его, вернулся на родину. Часто приезжал в Москву, а в 1968 году вошёл в команду Александра Дубчека, и после драматических августовских событий ему был закрыт въезд в нашу страну. Более того, он был вынужден уехать из Чехословакии, лишен гражданства и был приглашен работать в Западнберлинском университете. Получил немецкое гражданство. Запрет на въезд в СССР был снят в 1987 году, и он приехал в Москву с группой студентов. Обычная студенческая практика. Они пришли в ИНИОН, где я тогда работал. В тот день я тоже был там; собираюсь уходить, спустился в гардероб, уже одеваюсь и чувствую, что мне в спину что-то уперлось. Поворачиваюсь и вижу улыбающегося Мишу Реймана; с криком «Миша!» бросаюсь к нему, мы обнимаемся. В тот же вечер мы сидели у меня дома и разговаривали за полночь. А в следующем

году я был приглашён в Западноевропейский университет, о чём уже рассказывал. Завершу я тем, что в результате двухлетней работы я написал в книгу не одну, а три главы об истории европейской идеи.

*О. Б.: Потом, помните, хорошую главу сделал Сашиа Тэвдой-Бурмули в наш учебник, уже стоя на том базисе, который заложили Вы.*

*Ю.А.:* Это мой любимый ученик. На этом европейскую интеграционную тематику можно завершить. А второе очень важное направление моей эволюции заключалось в том, чтобы осмыслить, что представляет собой Западная Европа уже не как интеграционный блок, а с точки зрения экономического и социально-политического строя в целом. Были два этапа. Первый – 60-е годы, когда я получил доступ к спецхрану ИМЭМО. Я начал читать, и у меня были не глаза, а блюда, потому что я читал то, о чём вообще не мог помыслить. Факты и цифры, события, о которых в наших СМИ не было ни слова. Я заново открывал для себя Западную Европу. А период более глубокого осмысления наступил позже, по ходу изучения интеграционных процессов. В какой-то момент я понял, что дело было не только в политических, экономических и социальных императивах интеграции. Она была бы невозможна без тех глубоких реформ, которые были осуществлены в послевоенные годы. Общество, построенное на антагонизме классов, на резком социальном расслоении, к интеграции не готово; там другой менталитет и в верхах, и в низах. Чтобы глубже разобраться в этом, надо было осваивать другой блок западной литературы. Политологи Дарендорф, Левенталь, Раймон Арон. Социал-демократические лидеры Брандт, Пальме, Крайский. Мы опубликовали полностью их переписку, посвящённую общим проблемам развития общества и государства. Я могу вам дать почитать.

*О. Б.: С удовольствием.*

*Ю. А.:* Конечно, Гэлбрейт. Это не Европа, но общая теория развития капитализма и его теория конвергенции. Литература, дающая осмыслить опыт Запада в целом, потому что при всех различиях между США и Западной Европой, в принципе это одна стадия развития капитализма. Ещё одна выдающаяся личность – Иоанн Павел II. Как-то случайно мне попала в руки его энциклика, переведенная на русский. Я ахнул и прочёл, наверное, с десятков его энциклик и его книгу «Мысли о земном». Это уже 80-е годы. Но всё шло уже в одну копилку.

**О. Б.:** Какие именно реформы Вы считаете ключевыми для интеграции?

**Ю. А.:** Коварный вопрос. Ведь комплекс проведенных проблем преобразовал всю общественную систему, именуемую капитализмом. Всё было ключевым. Но я выделю четыре сферы, реформы в которых имели решающее значение.

Во-первых, это сфера социальных отношений, которой на протяжении всей предшествующей истории развития капитализма внимание уделялось по остаточному принципу. После Второй мировой войны ситуация кардинально изменилась, что нашло отражение в концепции «государства (всеобщего) благосостояния». Была создана обширная система социального обеспечения, включая пенсии по старости, пособия по инвалидности, безработице и материнству. Доля социальных расходов в государственном бюджете вышла на первое место. Были созданы постоянно действующие механизмы социального диалога и регулирования трудовых отношений, в случае необходимости – при третьей степени участия государства.

Во-вторых, государство приступило к регулированию экономики с целью если не устранить полностью, то смягчить периодические кризисы перепроизводства, как и различные диспропорции в рыночной экономике. Швеция встала на этот путь в начале 30-х годов, но за ней тогда не последовало ни одно европейское государство. После войны системы государственного регулирования экономики в различных вариантах возникли во всех странах Западной Европы.

В-третьих, были переосмыслены роль и функции государства; соответственно была перестроена его структура. В итоге было создано правовое государство (*state of law*) с его двумя приоритетами – законность и права человека. В деятельности государства сложилось еще одно направление – постоянный диалог с гражданским обществом, его многочисленными и разнообразными НПО и НГО.

В-четвертых, произошла существенная реструктуризация партийно-политической системы. Ведущее место в ней заняли центристские партии – умеренные консерваторы, либералы, социал-демократы и христианские демократы – склонные к сотрудничеству, готовые к компромиссам и формированию коалиционных правительств, а радикальные партии левого и правого толка утратили былую популярность в широких слоях населения и стали маргиналами.

Процесс осмысления всех этих перемен занял у меня достаточно много времени. Прежде всего по той причине, что для проведения основных и самых важных реформ западноевропейским государствам потребовалось два десятилетия, цельная картина произошедших перемен стала очевидной к началу 70-х годов. Параллельно шёл процесс моего осмысления реформ, а затем надо было понаблюдать, насколько всё прижилось и как функционирует обновленный капитализм. Ещё некоторое время ушло на то, чтобы суммировать мои наблюдения и размышления и подвести итог.

В 1988 году я опубликовал в журнале «Коммунист» (№ 15) статью «О механизмах саморазвития современного капитализма». Формулу «механизмы саморазвития» я встретил в статье академика Е.М. Примакова. Он употребил её вскользь, не расшифровывая, а меня словно осенило. Ведь названные мной реформы, не косметические, а фундаментальные, – это есть и сработавший «механизм саморазвития» западноевропейского капитализма. Итоги моих размышлений я изложил в названной статье. Два года спустя я опубликовал ещё одну статью в развитие предыдущей – «О социальном прогрессе в развивающемся мире» («Коммунист». 1990. № 11)<sup>72</sup>. В ней я попытался ответить на мучивший меня вопрос: почему этот механизм не сработал в ситуации глубокого экономического и социального кризиса, в котором оказались в конце 80-х годов социалистические страны Восточной Европы и страна «развитого социализма» Советский Союз? Мой ответ заключался в том, что в том варианте социализма, который был построен в СССР и в основных чертах повторен подконтрольными ему государствами, такого механизма не было и быть не могло. В итоге соревнование двух антагонистических общественных систем, которое, как вешали все советские вожди и советская пропаганда, принесет победу социализму, завершилось его поражением.

Сейчас все выглядит элементарно. А тогда звучало революционно, это было вызовом. Меня стали приглашать в академические институты – ИМЭМО, Институт США и Канады, Институт Латинской Америки и другие. Одни со мной соглашались, другие спорили. Подробностей я уже не помню. А в августе случилось то, что случилось. Нет ни социализма, ни Советского Союза.

---

<sup>72</sup> Расширенный вариант этой статьи был опубликован под названием «Капитализм и общественный прогресс» // Драма обновления. М., 1990. С. 169–194.

В заключение я хочу остановиться еще на одной теме, захватившей меня в конце 80-х. Я уже упоминал выше, что написал для книги об общем европейском доме три главы по истории европейской идеи. Одна из них называлась так: «“Единая Европа” и Россия». Работая над ней, я прочел труды выдающихся русских историков и философов: Карамзин, Чаадаев, Ключевский, западник Грановский и славянофилы – братья Аксаковы, Киреевский и Хомяков, историк Сергей Соловьев, Бердяев. С их трудами я и ранее был знаком, а религиозного мыслителя и историка Георгия Федотова открыл для себя впервые. Его статьи по истории России, особенно с конца XIX века по 1940-е, были мне в высшей степени интересны в контексте моих размышлений об истории нашей страны в XX веке, истории возникновения Советской власти, её перерождения и бесславного конца. Корни этой истории уходят в тот период, которому посвятил свои яркие статьи Федотов. Итог его размышлений об этом периоде звучит так: «Еще пятьдесят лет, и окончательная европеизация России – вплоть до самых глубоких слоев ее – стала бы фактом. Могло ли быть иначе? Ведь народ ее был из того же самого этнографического и культурного теста, что и дворянство, с успехом проходившее ту же школу в XVIII веке. Только этих пятидесяти лет России не было дано»<sup>73</sup>.

*О. Б.:* На этой вот весёлой ноте я Вас спрошу с налету. В чём Вы видите свою миссию учёного?

*Ю. А.:* Во-первых, в открытии чего-то нового в науке. Во-вторых, в распространении знаний, создании своей научной школы. Надо оставлять после себя учеников и последователей.

*О. Б.:* В открытии нового и формировании общественной мысли, как Вы думаете, что Вам удалось сделать?

*Ю. А.:* Не много.

*О. Б.:* Но какие-то кирпичики в сознание, в понимание современного мира Вы наверняка положили.

*Ю. А.:* Возможно. Кто-то воспринял мои научные идеи, кто-то – мои общественные взгляды, кто-то – мои нравственные принципы. Но я был одним из многих тысяч, десятков тысяч россиян, стремившихся перестроить нашу жизнь, нашу общественную систему. Мы потерпели поражение, и меня не покидает чувство глубокой горечи.

<sup>73</sup> Мыслители русского зарубежья. Бердяев, Федотов. СПб., 1992. С. 436–437.



## Как формировалась отечественная школа исследования европейской интеграции

На мой взгляд, следует говорить не об одной, а о двух отечественных школах исследования европейской интеграции. Первую я назвал бы советской школой, вторую – российской. Между ними есть преемственность, но они различны в принципе. Советская школа формировалась на основе марксистской методологии, под воздействием политики правящей партии КПСС, в обстановке идеологической войны между Западом и Востоком и под недреманным оком цензуры. Она создавалась в отрыве и в противовес западным теориям и конкретным исследованиям европейской интеграции. Начало российской школе исследований интеграционных процессов в Европе, а также в других регионах мира было положено ещё до распада СССР, в годы перестройки и провозглашённой в 1987 году гласности. В 1988–1990 годы были опубликованы первые статьи и монографии, посвящённые тем аспектам европейской интеграции и политики ЕЭС, которые ранее были бы заблокированы цензурой по идеологическим и внешнеполитическим мотивам. По словам российского историка и политолога В.С. Авдонина, «к концу 80-х годов в советских исследованиях политической интеграции фактически формируется новая теоретико-концептуальная база, состоящая из элементов марксистского и новых западных подходов»<sup>74</sup>. Подчеркнём, что в изучении европейской экономической интеграции эта тенденция возникла и получила развитие ещё во второй половине 60-х и в 70-е годы.

Конец 80-х годов можно охарактеризовать как переходный этап от советской к российской школе интеграционных исследований. После 1991 года она развивается в условиях свободы научной мысли, теоретического и методологического плюрализма, в сотрудничестве и диалоге с зарубежными коллегами, изучающими интеграционные процессы в Европе и в мире.

Советская школа исследований европейской интеграции миновала несколько этапов. Созданное в 1951 году ЕОУС не заинтересовало в нашей стране ни политиков, ни ученых. Смысл события просто не был понят. Но мимо подписанного через шесть лет в Риме Договора о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС), цель которого состояла в создании таможенного

---

<sup>74</sup> Авдонин В.С. Российские исследования политики Европейского союза. Рязань, 2006. С. 42.

союза и общего рынка товаров, пройти уже было невозможно. Еще до его подписания, в начале февраля 1957 года, популярный в то время еженедельник «Новое время» открыл дискуссию об «Общем рынке». (Так тогда именовалось в советской прессе ЕЭС, и обязательно в кавычках, как бы подчеркивая этим негативное и пренебрежительное отношение к экономической интеграции в Западной Европе.) На страницах журнала столкнулись две точки зрения. Дискуссию открыла статья известного историка-франковеда проф. Н.Н. Молчанова, которая вполне могла бы выйти из стен международного отдела ЦК КПСС или МИД СССР. Автор заклеил «Общий рынок» как приложение к агрессивному блоку НАТО и новый шаг в империалистическом заговоре против СССР, коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения. Кульминацией статьи был вывод, что самое главное в Римском договоре – это его неосуществимость. Кто бы решился возразить автору таких оглушающих «истин»?

Однако в одном из следующих номеров журнала были опубликованы два отклика, авторы которых вступили в полемику с известным историком. В «Письме в редакцию» оспаривался тезис о неосуществимости общего рынка. Планы его создания, утверждали авторы, отражают «объективную тенденцию» развития экономики и политики в условиях монополистического капитализма. Их фамилии впоследствии ни разу не всплывали и, видимо, были псевдонимами. Автор статьи «К вопросу об Общем рынке в Западной Европе» Е. Менжинский также возражал против тезиса о неосуществимости, упоминая ЕОУС и экономический союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (Бенилюкс) как примеры частичной реализации идеи общего рынка. В обеих публикациях было немало дефиниций и оценок в духе холодной войны и догматического марксизма-ленинизма, но тогда сама мысль о том, что создание общего рынка является следствием объективных процессов, вполне могла быть объявлена идеологическими церберами ревизионистской крамолой.

Дальнейшая дискуссия была прервана журналом в середине марта. Объявляя об этом, редакция не разъяснила мотивов своего решения. Не могла же она сказать вслух, что МИД уже подготовил резкое заявление по поводу планов создания «Общего рынка», а за неделю до его публикации, 11 марта, главная партийная газета «Правда» обнародовала статью с хлестким названием – «Заговор против безопасности в Европе». Разумеется, редакция «Нового времени» поставила точку, и в последующих обсуждениях фено-

мена европейской интеграции дискуссия на её страницах даже не упоминалась. Их участники либо не знали, либо забыли о ней. Тем не менее это была первая попытка объяснить природу «Общего рынка», оперируя не только политико-идеологическими, но и научными аргументами, взятыми из багажа классической марксистской политэкономии капитализма. В 80-е годы, когда я обнаружил материалы дискуссии, они выглядели примитивными. Но таков был в конце 50-х годов общий уровень советского обществоведения, лишь недавно освободившегося от мертвящих оков сталинизма.

Систематическое изучение феномена европейской интеграции началось в том же 1957 году. Центром исследований с самого начала и вплоть до 90-х годов был Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР, созданный годом ранее. Он занял место в академической науке, опустевшее после того как по указанию Сталина в 1947 году был разогнан Институт мирового хозяйства. Его директор, академик Евгений Самуилович Варга попал в опалу, а некоторые ведущие сотрудники оказались в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа или были отлучены от науки. Те, кто выжил, после смерти Сталина вернулись домой; те, кто был способен трудиться, стали сотрудниками нового института.

Начальный этап становления отечественной школы интеграционных исследований охватывает 1957–1962 годы. Его можно назвать этапом первоначального накопления знаний о трех сообществах – ЕОУС, ЕЭС и Евратоме, а также о западных теориях региональной экономической интеграции. Два Римских договора, учредивших ЕЭС и Евратом, были как гром среди ясного неба. В Москве впервые встревожились, что это предприятие задумано всерьез и надолго. Тогда-то и обнаружилось, что о процессе европейской интеграции никто ничего не знает – ни дипломаты, ни ученые, ни тем более политики. Не знают прежде всего фактической стороны дела – предыстории создания сообществ, текстов договоров, системы руководящих органов, механизма принятия решений и т. д.

Все это проявилось на страницах тезисов ИМЭМО «О создании Общего рынка и Евратома», опубликованных летом 1957 года в газете «Правда» и в журнале «Мировая экономика и международные отношения» («МЭиМО»), а также в материалах дискуссии на тему «Что есть общий рынок?», публиковавшихся в течение нескольких месяцев на страницах этого журнала в 1957–1958 годы.

Тезисы, задуманные как первый итог научного анализа и осмысления феномена европейской интеграции, по своей сути были политическим памфлетом, написанным с позиций холодной войны. В материалах журнальной дискуссии идеологическая и политическая аргументация, как правило, доминировала над анализом конкретики. Конечно, в них приводилось немало фактов. Но факты в таких статьях не являются объектом исследования, а играют роль иллюстраций к идеологическим догмам и политическим установкам верхов КПСС и Советского государства. Соответственно, факты отбираются произвольно и предвзято.

Среди материалов дискуссии выделялись лишь две статьи, авторы которых постарались, насколько это было возможно, не выходить за рамки экономического анализа. Академик Е.С. Варга анализировал влияние региональной экономической интеграции на развитие внутренних рынков участвующих государств. Рассматривая эту проблему с позиций классической марксистской школы, он приходил к заключению, что интеграция способствует росту внутреннего спроса на товары производственного назначения, но одновременно негативно воздействует на динамику потребительского спроса. Автор другой статьи, д. э. н. Иосиф Михайлович Лемин, также рассмотрел некоторые аспекты экономических последствий интеграции. В итоге он выделил такие направления её воздействия на экономическое развитие, как усиление конкуренции, стимулирование технологической и структурной перестройки экономики, укрупнение масштабов производства, рост производительности труда и т. д. К тому же И.М. Лемин был единственным участником дебатов, который назвал одним из вероятных последствий экономической интеграции рост доходов и потребительского спроса населения. Первый этап завершился Международной конференцией ученых-марксистов, в основном из стран Восточной и Западной Европы, состоявшейся в 1962 году в Москве. Ее организаторами были ИМЭМО и редакция выходившего в Праге журнала «Проблемы мира и социализма». Одной из главных тем, обсуждавшихся участниками конференции, был создаваемый западноевропейский «Общий рынок», его причины и последствия.

Конференция была первым поворотным пунктом в исследовании региональной экономической интеграции. Директор ИМЭМО академик Анушаван Агафонович Арзуманян, выступавший с докладом на эту тему, впервые на столь авторитетном в ту пору форуме заявил, что общий рынок – это больше чем сумма

национальных рынков; он дает дополнительный импульс экономическому росту, стимулируя конкуренцию, научно-технический прогресс, инвестиции, модернизацию и оптимизацию производства. По сути, такой вывод противоречил утвердившейся в сталинские времена догме о непрерывно углубляющемся общем кризисе капитализма, который неминуемо завершится его крахом.

Как мог тогда появиться такой крамольный, с точки зрения догматиков, доклад? Очевидно, благодаря совпадению двух обстоятельств: с одной стороны, творческого подхода готовившей его группы научных сотрудников ИМЭМО, с другой – решения высшего партийного руководства дать ход серьезному изучению феномена европейской интеграции, в контексте экономических и политических интересов СССР в Европе.

Сведений об участниках подготовки доклада не сохранилось. Да и существовал ли письменный приказ дирекции о создании такой группы? Но мы не ошибёмся, назвав в числе её участников Е.С. Варгу, И.М. Лемину и принадлежавшую к тому же поколению учёных д. э. н. Елизавету Леонидовну Хмельницкую, ответственного редактора и автора вводной главы вышедшей в 1962 году монографии «Экономические проблемы “Общего рынка”», подготовленной коллективом сотрудников ИМЭМО. Из следующего поколения учёных, начавших свою научную деятельность в 50-е и 60-е годы, в подготовке доклада, вероятно, принимала участие к. э. н. Маргарита Матвеевна Максимова, опубликовавшая в 1963 году в «МЭМО» обстоятельную статью с обоснованием концепции экономической интеграции, изложенной в докладе А.А. Арзуманяна.

Значение этого доклада в конкретной ситуации 60-х годов трудно переоценить. Зафиксированные в нём выводы об объективном характере и кумулятивном эффекте формирующегося Общего рынка в Западной Европе открыли путь для конкретного научного анализа региональной экономической интеграции. По сути, это была победа научного подхода к исследованию данной проблемы над подходом идеологическим и политическим. Точнее, не победа, а успех, который, конечно, был ограничен жёсткими рамками системы и мог оказаться временным. И всё же можно с полным основанием сказать, что доклад положил начало второму этапу развития этих исследований. Более того, с него-то и началось формирование отечественной школы исследований нового феномена в развитии капитализма – региональной экономической интеграции.

Как уже было сказано, на первом этапе формирования этой школы ведущую роль сыграли экономисты старшего поколения, научная биография которых началась в 20-е и 30-е годы. После 1962 года все они по тем или иным причинам переключились с проблем европейской интеграции на другие темы. Так, последней работой Е.С. Варги, в которой он изложил своё понимание процесса региональной экономической интеграции, была глава «Теоретические проблемы экономики “общего рынка”» в монографии «Очерки по проблемам политэкономии капитализма» (1964). На втором этапе ведущая роль в анализе и осмыслении процессов европейской интеграции перешла к учёным следующего поколения. Они пришли в науку после смерти Сталина и доклада Н.С. Хрущёва на XX съезде КПСС, в годы Оттепели, начавшихся перемен в жизни страны – прекращении массовых репрессий, частичной реабилитации жертв сталинских «чисток», возвращения из тюрем и лагерей тех, кто остался жив, некоторой либерализации политического режима. Сегодня эти изменения кажутся незначительными, особенно для поколений, родившихся и выросших за последние 25–30 лет. Но тогда благодаря этим переменам были спасены сотни тысяч узников ГУЛАГа и миллионы потенциальных жертв еще недавно всесильной системы карательных органов. Политическая оттепель была так же капризна, как и февральско-мартовская оттепель в природе. Тем не менее, она способствовала выходу общественно-научных дисциплин из застоя, в котором они пребывали с середины 30-х годов.

Второй период развития исследований европейской интеграции продолжался около тридцати лет, почти до конца 80-х годов. К их содержанию и некоторым особенностям я вернусь позже, но сначала о том, кто наиболее активно участвовал в формировании и развитии отечественной школы.

Прежде всего я хочу упомянуть М.М. Максимову, опубликовавшую в 60-е годы серию статей, посвященных теоретической интерпретации процессов европейской экономической интеграции с позиций марксистской политэкономии. Во второй половине 60-х свои статьи опубликовали Юрий Витальевич Шишков (ИМЭМО), Леонид Иванович Глухарев (экономический факультет МГУ) и Ю.А. Борко (редакция журнала «МЭМО»). Ю.В. Шишков сосредоточил главное внимание на анализе строительства таможенного союза в ЕЭС. В кандидатской диссертации и статьях Л.И. Глухарева рассматривалось воздействие Общего рынка на экономику Франции. Моя диссертация и первые статьи

были посвящены социальным проблемам экономической интеграции и социальной политике ЕЭС. В некоторых работах эту четвёрку именовали основоположниками советской школы исследований европейской экономической интеграции. Возможно, по той причине, что все они опубликовали в 70-е и 80-е годы обстоятельные монографии. Перечислю их. М.М. Максимова: «Экономические проблемы империалистической интеграции» (1971) и «Европейское сообщество: регулирование интеграционных процессов» (1986). Во второй монографии она была руководителем авторского коллектива, ответственным редактором и автором ряда глав. Ю.В. Шишков: «Общий рынок: надежды и действительность» (1972) и «Формирование интеграционного комплекса в Западной Европе: тенденции и противоречия» (1979). Вторая монография была, на мой взгляд, самым глубоким теоретическим анализом развития европейской экономической интеграции в те десятилетия. Л.И. Глухарев: «Западноевропейская интеграция и международные монополии» (1978) и «Европейские сообщества в поисках общей стратегии» (1990). О своих работах я скажу позже, но если коротко, то они были посвящены анализу взаимосвязи между экономической интеграцией и социальным развитием интегрирующихся стран Западной Европы.

Круг учёных, занявшихся в этот период исследованием европейской интеграции, многократно расширился<sup>75</sup>. Наметились некоторые направления специализации. Наиболее интенсивно развивались экономические исследования – анализ процесса формирования таможенного союза и общего рынка товаров, общей сельскохозяйственной, торговой и социальной политики ЕЭС, формирования европейских ТНК и т. д. Среди авторов работ по данной тематике – В.Н. Шенаев и И.Д. Иванов, вернувшийся в конце 70-х из Женевы, где он работал в одной из специализированных организаций ООН. Появились первые работы, в которых анализировалось влияние Общего рынка на национальные хозяйства государств-членов ЕЭС. В такие исследования включились ведущие учёные-страноведы – Ю.И. Рубинский (Франция), Е.С. Хесин (Великобритания), Н.А. Ковальский (Италия). В 70–80-е годы возникли еще два направления исследований – политическая интеграция в ЕЭС и развитие внешних связей ЕЭС, в первую очередь с развивающимися странами. Первопроходцем в изучении

---

<sup>75</sup> См. также: Интервью М.М. Максимовой, 25.08.2008; Интервью с Ю.В. Шишковым (оба интервью хранятся в электронном досье у Ю.А. Борко).

первой темы был В.Г. Барановский, опубликовавший в 80-е годы три монографии: «Политическая интеграция в Западной Европе. Некоторые вопросы теории и практики» (М., 1983), «Европейское сообщество в системе международных отношений» (М., 1986) и «Западная Европа: военно-политическая интеграция» (М., 1988). Раньше данную тему в академическом сообществе предпочитали обходить, а если и затрагивали, то мимоходом и сообразуясь с внешнеполитической конъюнктурой. В.Г. Барановский рассмотрел тему политической интеграции в ЕЭС в новом ракурсе – как формирование институтов и правил, обеспечивающих разработку и реализацию политики Европейского сообщества во всех сферах деятельности, где оно обладает компетенцией. Наконец, в этот же период началось изучение нового юридического феномена – права Европейского сообщества. Здесь следует назвать в первую очередь трех маститых исследователей – С.Ю. Кашкина, Л.М. Энтина и Ю.М. Юмашева.

В общем, за тридцать с небольшим лет советского периода исследований европейской интеграции сложился большой и разнообразный коллектив ученых. Начало его созданию положили экономисты. Почти сразу за ними пришли историки, причем с очень разной специализацией – историки-страновики, историки-международники, историки, которые переквалифицировались в политологов и социологов, каковые в советской классификации общественных наук долгое время отсутствовали. В социологи и политологи шли также выпускники философских факультетов. Позже к названным специалистам примкнули юристы. Но и это не всё. Европейская интеграция оказалась настолько многогранным явлением, что в ее исследовании нашли себе место культурологи и лингвисты. В целом же она была и остается обширным полем для исследований на базе междисциплинарного анализа.

К концу 80-х годов накопился значительный массив литературы, посвященной европейской интеграции, – десятки индивидуальных и коллективных монографий, тематических сборников статей и материалов конференций, сотни статей в научной и общественно-политической периодике, опубликованных докладов. Среди них было множество работ, не содержащих новой и ценной научной информации. Но если отсечь их, наберется 25–30 монографий и 150–200 статей, достойных включения в селективную библиографию советской литературы по проблемам европейской интеграции. Они-то и являются лицом советской



школы исследований интеграционных процессов в Западной Европе с начала 50-х и почти до конца 80-х годов.

В дальнейшем исследования европейской интеграции развивались уже в иных условиях и на иной методологической основе. Поворот начался еще до краха советского социализма, когда по инициативе Михаила Горбачёва была провозглашена политика гласности, ставшая первым шагом к высвобождению общественных наук из марксистско-ленинских объятий. После августа–декабря 1991 года отечественную школу изучения европейской интеграции следует именовать уже российской.

### *Почему возник запрос на исследование европейской интеграции?*

Наука не может развиваться без внутреннего запроса, который можно назвать патетически «тягой к познанию», извечным стремлением человека познать окружающий мир и самого себя в нем, а можно проще – любознательностью и просто любопытством. Но современная наука (определение, охватывающее прошлый век и начало нынешнего) требует огромных средств. В странах с развитой рыночной экономикой их предоставляют бизнес и государство. Они же формулируют заказ на исследования, вернее, на ту их часть, которая носит прикладной характер (в основном запрос бизнеса) или диктуется мотивами безопасности (запрос государства). В тоталитарных и авторитарных государствах, к ним относился и Советский Союз, монопольным заказчиком и донором научных исследований была и остается верховная власть.

Впервые Советское государство проявило свой интерес к феномену европейской интеграции после подписания Римских договоров, особенно договора о создании ЕЭС. До обитателей кремлёвских кабинетов стало доходить, что в Западной Европе – её экономике и межгосударственных отношениях – происходят изменения непонятной природы и с неясными последствиями для Советского Союза. Но так как реальностью был пока не «Общий рынок», а договор о нём (о реальности общего рынка угля и стали почти никто не вспоминал), запрос носил идеологический и политический характер. Ответом на него были первые Тезисы ИМЭМО (1957), которые были похожи на политический памфлет. В 1962 году ситуация была иной. К ЕОУС добавилось ЕЭС, поставившее своей целью и начавшее реальное строительство таможенного союза и общего рынка товаров. Поэтому акцент в запросе

«сверху» сместился в сторону реальной оценки истоков и перспектив интеграции стран Западной Европы. Важные элементы такой оценки присутствовали в докладе А.А. Арзуманяна и вторых Тезисах ИМЭМО.

Но самый существенный сдвиг в запросе советских верхов к исследователям произошел на рубеже 60-х и 70-х годов. Это было вызвано несколькими причинами.

Во-первых, успехи интеграции. Летом 1968 года в рамках ЕЭС было завершено создание таможенного союза и введено свободное движение товаров, пусть и с некоторыми исключениями. Было начато создание общего рынка рабочей силы. Очень неприятным известием для Москвы стали начавшиеся переговоры о вступлении в ЕЭС Великобритании, а заодно Дании, Ирландии и Норвегии. Успех переговоров превратил бы Европейское сообщество в доминирующую силу в Западной Европе и укрепил бы его международные позиции. Примечательная деталь: если в первые годы европейской интеграции мало кто из советских авторов обходился без ссылки на известные слова Ленина: Соединенные Штаты Европы «при капитализме либо невозможны, либо реакционны», – то в конце 60-х годов они были забыты.

Во-вторых, высокие темпы развития советской экономики, что повлекло за собой быстрый рост внешней торговли. Главным торговым партнером уже тогда была Западная Европа. С 1960 по 1975 год товарооборот между Советским Союзом и ЕЭС вырос в семь раз. С середины 60-х годов СССР стал быстро наращивать экспорт нефти. Одновременно в связи с открытием в Западной Сибири огромных месторождений газа было решено построить первый трубопровод в Западную Европу. США настаивали на том, чтобы их европейские союзники не кредитовали стройку и не поставляли для нее трубы большого диаметра, которые не производились советской индустрией. Но Западная Германия вопреки этому давлению, ответила Москве согласием. Сооружение газопровода было завершено в начале следующего десятилетия, и в 1973 году сибирский природный газ пошел в ФРГ. Вопрос об отношении СССР к европейской интеграции всё больше становился вопросом о торговых и экономических отношениях с участвующими в ней государствами.

В-третьих, изменившиеся приоритеты советской политики на Западе, прежде всего в Европе. В 1966 году произошел поворот в отношениях между СССР и Францией – после её выхода из военной организации НАТО и визита президента Шарля де Голля

в Москву. В 1969 году начался сходный поворот в отношениях СССР и ФРГ – после того как к власти в ней пришли социал-демократы, а ее лидер Вилли Брандт стал федеральным канцлером. Эти события вместе с некоторыми другими были первыми симптомами разрядки международной напряженности в первой половине 70-х годов.

В-четвёртых, начало экономической интеграции социалистических стран в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Понятие социалистической интеграции было заимствовано у Западной Европы, а опыт европейских сообществ стал предметом анализа и с точки зрения возможностей его использования в политике СЭВ, хотя публично акцент делался на противопоставлении двух типов интеграции.

Все эти перемены надо было осмыслить и сформулировать с их учётом новые задачи советской внешней и внешнеэкономической политики. Творилась политика в Центральном Комитете КПСС; решения принимались узкой группой высших иерархов в Политбюро ЦК. Но в отличие от прошлых лет в 60-е годы вошли в практику запросы центральных органов партии и государства в адрес ИМЭМО и других институтов Секции общественных наук АН СССР на ту или иную информацию и основанные на ней рекомендации. Это были так называемые аналитические справки (записки). В ИМЭМО запросы следовали из Международного отдела ЦК и непосредственно из Секретариата генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. В их числе были и заказы на подготовку аналитических материалов о Европейских сообществах.

Круг заказчиков постепенно расширялся. В него входили: Президиум АН СССР, Комитет государственной безопасности, министерства обороны и иностранных дел и т. д. Распространению «моды на науку» способствовало расширение международных связей Советского Союза, а также приход в партийно-государственный аппарат людей нового поколения, получивших в послевоенные годы нормальное среднее и высшее образование.

Аналитические справки резко отличались по стилю и подаче материала от научных публикаций в открытой печати. Они в большей мере отражали реальные события и процессы, происходившие в мире. Хотя в них, особенно на первых порах, почти всегда присутствовал идеологический и пропагандистский компонент, акцент был перенесён на изложение и анализ фактов с конкретными выводами и практическими рекомендациями. В годы перестройки идеологическое обрамление аналитических спра-

вок, направляемых в «вышестоящие органы», было сведено к минимуму или вовсе исчезло, а после 21 августа 1991 года вопрос об идеологической ориентации таких материалов был снят с повестки дня.

### *Особенности советской школы европейской интеграции*

Нормативным, санкционированным сверху содержанием исследований в данной области была разработка марксистско-ленинской теории империалистической интеграции, и значительная часть усилий ведущей группы учёных-европеистов была затрачена на решение этой задачи. Тем не менее, исходя из фактической истории изучения европейской интеграции, я определяю их содержание и результат иначе – как становление советской школы эмпирических исследований европейской интеграции на основе двойственной методологии, совмещающей тезис марксистской политэкономии об интернационализации производства и капитала и западные теории свободной торговли и таможенных союзов.

В чем заключалась особенность этой школы в советское время? Во-первых, это была предельно идеологизированная школа, теоретической и методологической базой которой был марксизм-ленинизм в его версии, разработанной в 30-е годы при прямом и решающем участии И. В. Сталина. Во-вторых, как ни парадоксально это звучит после «во-первых», она была эклектической школой. Дело в том, что экономическое, социальное и политической развитие послевоенной Западной Европы, в том числе региональная интеграция, находились в контрасте с такими краеугольными камнями марксизма-ленинизма, как относительное и абсолютное обнищание пролетариата, неустранимый антагонизм между трудом и капиталом, нарастание общего кризиса капитализма, непрерывное обострение межимпериалистических противоречий и т. п.

Учёный стоял перед выбором – или за уши притягивать факты к марксистско-ленинской теории, или ограничить себя анализом конкретной ситуации, не выходя за рамки эмпирической науки. Немалое число советских учёных, изучавших проблемы европейской интеграции, так и поступали, руководствуясь позитивистским подходом к науке. Более того, они признавали и использовали в своей работе некоторые важные результаты исследований

западных ученых, например концепцию стадийного развития экономической интеграции, которую предложили эмигрировавший в США венгр Бела Балаш и голландец Ян Тинберген. Приходилось вести анализ в рамках доминировавшей идеологической и политической парадигмы, приводить соответствующие цитаты, но это было как бы обрамлением, а конкретно анализировались реальные экономические и социальные процессы, которые происходили в Европе. Поскольку конкретные выводы, по сути, противоречили общей идеологической установке, приходилось излагать свои мысли осторожно, используя, как выразился тогда один из моих коллег, Эзопов язык. Поэтому я назвал нашу школу эмпирической; её сила, её убедительность заключались в конкретном анализе и конкретных выводах.

В любой науке есть два компонента – информация о фактах и их теоретическая интерпретация. В той области знаний, о которой мы говорим, с теорией всё было ясно. Методологической основой анализа был марксизм-ленинизм, а его теоретическая проекция на изучаемую региональную интеграцию именовалась, как уже было сказано, марксистско-ленинской теорией империалистической интеграции.

Названная теория ушла в прошлое вместе с общественной системой, которая ее породила. Она забыта, а если о ней изредка вспоминают, то лишь для того, чтобы лягнуть её. Но я всё же хочу сказать несколько слов в её защиту. Парадокс заключался в том, что данная теория – в том виде, как она вышла из стен ИМЭМО, – исходила из признания объективного характера экономической интеграции стран Западной Европы, а это открывало путь к исследованию реальных эффектов экономической интеграции, её стимулирующего влияния на конкуренцию, обновление технологии, повышение производительности труда, ускорение роста ВВП и т. д.

### *Место отечественной школы интеграции в мировой науке*

Если говорить о советской школе изучения интеграции, то она была вне мировой науки. Более того, она противопоставляла себя мировой науке, которую было принято разоблачать как ложную в своей основе буржуазную, реформистскую и ревизионистскую науку. Нашими трудами, посвящёнными европейской интеграции, интересовались тогда разве что западные советологи. Близкой

к советской концепции придерживались также учёные-марксисты в социалистических и некоторых капиталистических странах Европы. По отношению к ним советская школа занимала ведущие позиции, но монополией на истину не обладала. Так, в Италии, Франции, Швеции, отчасти в Венгрии и Польше марксистские концепции европейской интеграции отражали специфику национальной истории и не всегда совпадали в своих оценках с работами советских ученых. В целом марксистская школа находилась, так сказать, на обочине научного познания.

Я не хочу сказать этим, что в работах советских учёных не было ничего, что заслуживало бы внимания. Но западная интеграционистика была далеко впереди – в масштабах исследований, в сборе, систематизации и анализе фактов, в разработке теории региональной интеграции. Так что продукция советской школы европейской интеграции была предназначена для внутреннего потребления – своим же коллегам, аспирантам и студентам, которые почти не имели доступа к соответствующей западной литературе.

Положение начало меняться, пожалуй, в 70-е годы. В 1974 году в Будапеште состоялся IV Всемирный конгресс экономистов, всецело посвящённый обсуждению проблем региональной (международной) экономической интеграции. В нём приняла участие большая группа советских учёных. Они выступали и на пленарных сессиях, и на секционных заседаниях. Для многих, в том числе для меня, это был первый опыт участия в международном научном форуме за рубежом. В годы перестройки контакты между советскими и западными учёными многократно увеличились, но еще важнее было то, что стал меняться климат общения. Впрочем, происходило это не мгновенно.

Я уже рассказывал вам о своей месячной научной командировке в Брюссельский свободный университет (фламандский). О том, как меня три дня экзаменовали профессора юридического факультета, пытаюсь выяснить, действительно ли они разговаривают с российским ученым, изучающим проблемы европейской интеграции, политику ЕС и его отношения с Советским Союзом, или я замаскированный советский шпион. Вероятно, я был не единственным советским учёным, которому была устроена такая проверка.

Теперь другая ситуация. Российская школа изучения интеграции принципиально отличается от советской, она свободна от догматизма, её методологической основой являются общепринятые теории экономического роста и международной торговли,

концепции глобализации мировой экономики и т. д. Российские и зарубежные ученые говорят на одном научном языке. В России есть прекрасные специалисты по проблемам ЕС и региональной интеграции, которые хорошо известны на Западе, их охотно везде приглашают, они участвуют в самых авторитетных дискуссиях, их статьи публикуют в европейских и американских журналах.

### *Мой путь в пространство исследования европейской интеграции*

Надо уточнить, о чем пойдет речь. Есть путь в науку и есть путь в науке. Рассказ о первом – проще и короче, о втором – гораздо сложнее. Начну с первого.

Мой приход в область исследований европейской интеграции был случайным и неожиданным. Шел год 1962-й. Я тогда работал редактором в журнале «МЭиМО» и одновременно занимался изучением забастовочного движения и других форм борьбы рабочего класса против капиталистической эксплуатации, главным образом в странах Западной Европы. Однажды меня вызвал главный редактор журнала Яков Семенович Хавинсон и предложил доработать «сырую», по его словам, статью «Рабочее движение в странах Общего рынка», написанную двумя сотрудниками ИМЭМО. Я прочёл её и ответил, что согласен, но при условии, что дополню статью еще одним разделом. Так оно и вышло. Переработанная статья с моим дополнением «главному» понравилась и была опубликована за тремя подписями («МЭиМО», 1963, № 3).

В ходе этой работы я прочёл кое-что о европейских сообществах, о проблемах формирования Общего рынка, и пришёл, в частности, к выводу, что в прочитанной мной литературе не анализируются социальные аспекты экономической интеграции. Есть привычные штампы об усилении эксплуатации и прочих бедах, которые несет с собой капиталистическая интеграция, но нет анализа фактов, нет статистики. Так родилась тема кандидатской диссертации: «Социальная политика Европейского экономического сообщества». Хотя я окончил исторический факультет МГУ, однако диссертацию написал и представил к защите на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Защита прошла успешно. В 1969 году учёный совет ИМЭМО присвоил мне искомую степень, и я воспринял это событие как знак того, что мой приход в науку, конкретно в область исследований европейской интеграции состоялся.

Что касается моего пути в науке, я разделил бы его на три этапа – 1963–1970 годы, 1970–1989 годы и с 1990 г. по настоящее время.

Первый этап пришёлся на годы работы в ИМЭМО и «МЭиМО». Мой уход в сферу конкретного социально-экономического анализа не был случайным. Я хотел избавиться, насколько было возможно, от идеологической и политической риторики, которая тогда считалась непременным атрибутом диссертации. По своему мировоззрению и, стало быть, моим научным взглядам я был убеждённым марксистом. Но, работая в ИМЭМО и «МЭиМО», я уже тогда пришёл к выводу, что между классическим марксизмом, включая марксистскую политэкономия капитализма, с одной стороны, и тем марксизмом-ленинизмом, которому нас учили на истфаке МГУ, есть глубокие расхождения. Они различаются и в содержании, и – что ещё важнее – в методе. В первом было и остается рациональное зерно, сохраняется творческий подход к познанию; второй представляет собой в основном комплект догм, которым научное творчество противопоказано. А заодно я пришёл ещё к одному выводу: наука должна быть свободна и независима от политической и любой иной конъюнктуры. В советские времена это было невозможно. Значит, надо найти такую нишу, где можно уменьшить идеологический и политический компоненты научных исследований. Я полагал, что в экономической науке это сделать будет легче, чем в исследовании остро политических проблем рабочего движения в Западной Европе.

Социальные проблемы европейской экономической интеграции и социальная политика ЕЭС надолго стали главным направлением моих исследований. На основе диссертации я подготовил монографию «Западная Европа: социальные последствия капиталистической интеграции» (1975). Этой тематике была посвящена и следующая диссертация на соискание степени доктора экономических наук. Она легла в основу монографии «Экономическая интеграция и социальное развитие в условиях капитализма» (1984). В ней подведены итоги моих почти двадцатилетних научных исследований. Название книги полностью отражает их предмет и направленность. В те времена капиталистическая интеграция обычно сопрягалась со словами «усиление эксплуатации», «социальные противоречия», «борьба рабочего класса». Я не отвергал ни того, ни другого, ни третьего. Но изучение фактов, и прежде всего статистики, привело меня к заключению, что экономическая интеграция в Западной Европе не препятствует, а на-



против, способствует социальному прогрессу, хотя чаще я использовал менее раздражающее цензуру слово «развитие». Свою задачу я видел в том, чтобы выявить и интерпретировать позитивную взаимосвязь между экономической интеграцией и социальным прогрессом, рассматривая ее (взаимосвязь) в категориях марксистской политэкономии капитализма. Мои работы были восприняты коллегами как новое направление исследований европейской интеграции. Теперь это выглядит азбучной истиной, но тогда было новым словом. Тем, кто захочет вернуться к изучению первых этапов экономической интеграции в 60-е и 70-е годы минувшего века, мои книги и статьи могут оказаться полезными и теперь.

Это было уже на втором этапе моего пути в науке, начавшемся в 1970 г., когда я перешёл в недавно созданный Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН), где мне было предложено создать новый сектор информации по проблемам капиталистических стран Европы. Позже он был реорганизован в Отдел стран Западной Европы и Северной Америки. Круг моих научных интересов резко расширился, прежде всего в изучении проблем европейской интеграции. Я был ответственным редактором серии изданий по этой тематике – реферативных сборников и аналитических обзоров зарубежной, в основном западноевропейской, литературы. К сборникам по европейской интеграции, а также к некоторым другим я писал вступительные статьи. Некоторые статьи я опубликовал в научных и общественно-политических журналах. Они были посвящены анализу общего состояния и этапам развития ЕЭС, теориям политической интеграции, экономическим взглядам европейской социал-демократии, теории и практике западного «государства благосостояния» и т. д.

Оценивая задним числом годы, проведенные в ИНИОН, я считаю, что мне очень повезло. Нынешним молодым учёным, изучающим общественные проблемы, трудно, а может быть, и невозможно в полной мере понять, насколько уникальными были в советские времена условия для научного познания у меня и моих коллег, работавших в этом институте. Пожалуй, только ИМЭМО располагал такими же возможностями получения западной научной и общественно-политической литературы, к которой мы имели свободный доступ, изо дня в день просматривая, сортируя и отбирая всё самое интересное для внимательного изучения и подготовки рефератов или обзоров. Как учёный я окончательно состоялся в ИНИОН. Там я стал разносторонним специ-

алистом в исследовании европейской интеграции и приобрел обширные знания, позволившие мне осмыслить общие проблемы экономического, социального и политического развития стран Западной Европы. В итоге мои научные представления о развитии капитализма и ходе мировой истории в XX столетии, особенно во второй его половине, полностью разошлись и с марксистской теорией поступательной смены социально-экономических формаций, и с так называемым марксистско-ленинским учением об общем кризисе капитализма, его неминуемом крахе и неизбежной всемирной победе социализма.

Последние годы моей работы в ИНИОН пришлось на период перестройки. Я с воодушевлением и надеждой воспринял курс на радикальные реформы, который был провозглашён новым советским лидером Михаилом Горбачевым. Итог этой политики известен. О причинах того, что произошло, спорили, спорят и будут спорить столько времени, сколько просуществует Россия. Не буду останавливаться на этом. Скажу лишь о двух великих заслугах Михаила Горбачева: первая – свобода слова, свобода высказывать и отстаивать свое мнение; вторая – окончание холодной войны и выход нашей страны из самоизоляции, в которой она пребывала 70 лет, в том числе курс на сотрудничество с европейскими странами, вставшими на путь интеграции. Отмена политической и идеологической цензуры создала совершенно новые условия для научной работы.

В 1988–1990 годах я опубликовал ряд статей, появление которых в советской научной периодике было просто немислимым. Это и было фактическим началом третьего периода моего пути в отечественной науке. Первая – статья «О некоторых аспектах изучения процессов западноевропейской интеграции» («МЭиМО». 1988. № 2). Один из российских политологов назвал ее «революционной». Это чересчур, но она определенно была новаторской. Я сказал в ней, что наши исследования европейской интеграции были односторонними и предвзятыми, о некоторых её аспектах (я их перечислил) советские учёные просто умалчивали.

Вторая статья «О механизмах саморазвития капитализма», была опубликована в журнале «Коммунист» (1988. № 15), который был главным политическим и теоретическим органом КПСС. Времена наступили другие, и редакция предоставила слово автору, который утверждал, что как опыт строительства социализма в Советском Союзе, так и опыт успешного реформирования капитализма в Западной Европе поставили под сомнение Марксову

теорию социально-экономических формаций. Мой центральный тезис состоял в том, что в отличие от капиталистической системы, в которую встроен «механизм саморазвития», социализм таким механизмом не обладает и потому оказался инертной системой. Статья вызвала большой резонанс, и меня несколько раз приглашали на её обсуждение в различных академических институтах – ИМЭМО, Всеобщей истории, Латинской Америки и др. Но вскоре в нашей стране наступили драматические времена, завершившиеся событиями августа–декабря 1991 года. Жизнь самым неожиданным образом поставила точку в этой дискуссии.

Третья работа – главы по истории идеи «единой Европы», опубликованные в книге «Общий европейский дом: что мы о нем думаем?» (1991). Первопроходцем в этой теме был Александр Оганович Чубарьян, ныне почетный директор Института всеобщей истории, академик РАН, опубликовавший в 1987 году монографию «Европейская идея в истории: проблемы войны и мира». Я изложил историю европейской идеи в контексте её экономического и историко-философского содержания, другими словами, её превращения из идеи единства христианских народов (XIII–XIV века) в концепцию особой европейской цивилизации, родившуюся в эпоху Просвещения, и в лозунг Соединенных Штатов Европы, провозглашенный Виктором Гюго на Парижском конгрессе европейских пацифистов в августе 1849 года и ставший идейным обоснованием интеграции Западной Европы после Второй мировой войны.

В 1990 году я перешёл в Институт Европы АН СССР/РАН, основанный двумя годами раньше, и вскоре возглавил отдел исследований европейской интеграции. В 1991 году рухнул советский «развитой социализм» и вслед за ним распался Советский Союз. Начиная с 1992 года и по настоящее время центральное место в моей научной работе занимают две темы – новый этап углубления и расширения европейской интеграции после подписания Договора о Европейском союзе (Маастрихт, 1992) и становление новых отношений между Россией и ЕС. Первой темой я занимался и как исследователь, и как заведующий отделом европейской интеграции в институте. Мы подготовили и опубликовали несколько коллективных монографий, в которых я участвовал в качестве автора ряда глав и как ответственный редактор. На мой взгляд, наибольшего внимания заслуживают мои работы, посвящённые проблеме взаимосвязи между углублением и расширением интеграции на нынешнем этапе её развития.

Что касается отношений Россия–ЕС, их анализом занимаются многие российские учёные. Пожалуй, я был первым, кто попытался нарисовать возможные сценарии развития этих отношений в среднесрочной перспективе (газ. «Сегодня». 1995. 19 авг.). В статье были рассмотрены четыре сценария и степень их вероятности. В последующие годы я неоднократно возвращался к этой теме, а в 2004 году по заказу влиятельного в начале 2000-х годов комитета «Россия в объединенной Европе», который возглавлял депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, я подготовил брошюру «Европейскому Союзу и России необходимо Соглашение о стратегическом партнерстве» и лично передал её помощнику Президента В.В. Путина по вопросам отношений с ЕС Сергею Ястржембскому. Мне неоднократно доводилось участвовать в обсуждении перспектив такого соглашения, организованных Администрацией Президента РФ и российским МИД. К сожалению, по ряду причин стратегическое партнерство ЕС и России не состоялось, а с марта 2014 года и по настоящее время Российская Федерация и Европейский союз находятся в состоянии конфронтации, конца которой пока не видно.

Последние 10–12 лет мои работы, статьи и главы в институточных монографиях, посвящены в основном новой эпохе в жизни Евросоюза, начавшейся после вступления в него в 2004–2006 годах десяти государств Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), а также Кипра и Мальты. История ЕС за последующие 14 лет, в ходе которой он прошёл через серию разнообразных кризисов, выглядит контрастом триумфальному шествию западноевропейской экономической интеграции в 1951–2002 годах. Разумеется, причиной смены эпохи было не расширение ЕС, а существенное изменение внутренних и особенно внешних условий его существования, которые и были главным предметом моего анализа. Затрагивал я в своих статьях и другие темы, в том числе отношения Россия–ЕС. Но подводя сейчас итоги, я могу сказать, что в общем моя научная жизнь как постоянный поиск и изучение новых *terra incognita*– завершилась. С некоторых пор я переключился на воспоминания.

Оценивая мою жизнь в науке, я думаю иногда, что, возможно, самой важной её частью было содействие повышению качества общественно-научных исследований и подготовке молодых специалистов в нашей стране. В советские времена я видел свою главную задачу в распространении объективной информации о европейской интеграции и в целом о процессах, происходивших в ка-

питалистических странах Европы. ИНИОН дал мне уникальную возможность делать это в рамках информационной функции, которую надлежало выполнять этому институту. Хотя наши издания имели гриф «для служебного пользования», они выпускались тиражом в 500, 1000, даже 2000 экземпляров и поступали во все институты Секции общественных наук АН СССР, в ведущие университеты и научные библиотеки, персонально рассылались крупнейшим учёным. После перехода в Институт Европы я участвовал в подготовке молодых учёных в рамках деятельности Ассоциации европейских исследований, основанной в 1992 году. Мы организовывали летние и зимние еврошколы для студентов, аспирантов и молодых учёных. Научные сотрудники Института Европы и ряда других академических институтов читали лекционные курсы или отдельные лекции в российских университетах. Содействие подготовке научных кадров в регионах России осуществлялось и в других формах.

### Институт Европы: 90-е годы

Когда Виктор Иванович МIRONENKO предложил мне поделиться с читателями нашего журнала воспоминаниями о моей жизни в Институте Европы, я, перебирая в памяти то, что в ней запечатлелось, вдруг обнаружил, что лучше всего запомнил первые десять–двенадцать лет моей жизни в институте, то есть 90-е годы. Почему? Может быть, потому, что для меня всё было вновь – новый директор, новый коллектив, новый климат человеческих отношений, новые задачи, которые мне предстояло решать. Может, и потому, что это был период моего наиболее интенсивного участия в жизни и деятельности института. А ещё и потому, что это был период становления Института Европы. Начав в 1989 году с нуля, его коллектив во главе с Виталием Владимировичем Журкиным к концу 1990-х сделал институт головным российским центром изучения всего спектра проблем современной Европы. Конечно, мой рассказ и мои суждения субъективны, и кому-то из «старожилов» 90-е помнятся иначе.

Желание перейти в Институт Европы у меня возникло, как только я узнал о его создании. Было это в 1988 году. Я уже четверть века занимался исследованием проблем европейской интеграции и лучшего места, чем новый институт, для продолжения этой работы, на мой взгляд, не было. Более того, у меня к этому времени

возникло желание покинуть ИНИОН. Отдел капиталистических стран Европы, США и Канады, который я начал создавать с нуля в начале 70-х годов, за двадцать лет вырос в одно из крупнейших научно-информационных подразделений института – полсотни сотрудников и прикрепленных аспирантов. Они выдавали такой объем научной информации, что почти всё мое время уходило на ее чтение и редактирование. Для собственной научной работы его почти не оставалось. Были и другие причины, на которых я задерживаться не буду.

В общем, к середине 1989 года я пришёл к выводу, что пора уходить, и лучше всего в Институт Европы. Загвоздка была в том, что меня туда никто не звал. А проявлять инициативу, напрашиваться я не хотел. Не знаю, как долго длились бы мои раздумья, но в один прекрасный летний день зазвонил телефон, и в трубке раздался голос: «Юрий Антонович, здравствуйте, это говорит Сергей Караганов. Я хотел бы встретиться с вами по серьезному делу». Мы познакомились ещё в ту пору, когда он работал в Институте США и Канады и готовил для нашего отдела в ИНИОН аналитические обзоры западной литературы по проблемам военно-политической стратегии США и отношениям двух сверхдержав. Обзоры, надо сказать, отличные. Сергей Александрович приехал ко мне и передал предложение Виталия Владимировича Журкина перейти на работу в Институт Европы. Разговор был непродолжительным: я тут же согласился, оговорившись, что мне потребуется полгода для завершения всех дел в ИНИОН.

В начале осени я отбыл в Западную Европу, вернулся в конце ноября и позвонил Виталию Владимировичу. Мы договорились о встрече, я приехал в назначенный день и час, но встретил меня его заместитель Владимир Никитович Шенаев, с которым мы были знакомы с 60-х годов, когда работали в ИМЭМО. Он сказал, что позвонил Журкин, извинился, что опаздывает, и просит меня дождаться его. Я охнул: директор и академик извиняется! Вскоре он появился, пригласил меня к себе и задал главный вопрос, что-то вроде: «Ну как, будем работать вместе»? И всё это – заданный в такой свободной форме вопрос, его светлая расстегнутая куртка и естественная, доброжелательная манера поведения – было для меня в новинку и очень понравилось. Так что на вопрос Виталия Владимировича я ответил незамедлительным «да», и 2 января 1990 года появился приказ о моем зачислении в Институт Европы в качестве исполняющего обязанности главного научного сотрудника.

Первый год работы в институте остался в памяти мозаикой эпизодов и ярких положительных впечатлений. А самым сильным из них был сам Виталий Владимирович. Особенно запомнился мне разговор с ним, который, как я опасался, мог завершиться моим уходом из института. У этого разговора была предыстория. Осенью 1989 года решил выйти из партии, но остался в ней по призыву Станислава Шаталина, одного из лидеров внутрипартийной оппозиции, намеревавшейся преобразовать КПСС в партию социал-демократического образца. Он призвал сторонников оппозиции поддержать реформистов на предстоящем XXVIII съезде партии. Съезд проходил со 2 по 13 июля. Я находился в городе Штутгарте, внимательно следил за ходом съезда, к концу понял, что партия осталась на прежней идеологической позиции и мне пора выходить из неё. Билет на рейс Франкфурт-на-Майне – Москва был заказан на 14 июля, я занял свое место в самолете, взял свежую газету «Правда», обнаружил в ней список нового состава членов ЦК КПСС и, дойдя до буквы «Ж», впал в ступор. Там значилось: Журкин Виталий Владимирович. Менять своего решения я не хотел, но так как это могло быть для него нежелательным, я был готов написать заявление об уходе из института по личным мотивам. С этим я и пришёл к Виталию Владимировичу сразу же по приезде в Москву. Я был готов к любому ответу, но только не к тому, что услышал. «Юрий Антонович, – сказал он, – я пригласил вас в институт не как члена КПСС, а как специалиста по проблемам европейской интеграции. Выйдете ли вы из партии или останетесь в ней – это ваше личное дело, хотя я посоветовал бы вам ещё раз обдумать свое решение. Но, так или иначе, продолжайте работать». Не могу даже сказать, что поразило меня больше – содержание ответа или то, что Виталий Владимирович ответил мгновенно. Мне по-новому открылся масштаб его личности. Потом это впечатление подтверждалось не раз, и я горжусь тем, что мне довелось работать и общаться с Виталием Владимировичем в течение стольких лет. А из КПСС я вышел через две недели.

Первые два года моей жизни в институте были временем знакомства с новым коллективом, с правилами, служебными и человеческими отношениями, которые отчасти сложились и вместе с тем продолжали формироваться уже при мне. Те, кого я знал до прихода в институт, были наперечёт. В.Н. Шенаева и С.А. Караганова я уже упоминал. С Виталием Владимировичем я не раз встречался, участвуя в конференциях, проходивших в Институте

США и Канады, где он работал заместителем директора, и, вполне вероятно, на конференциях в ИМЭМО, где можно было встретить всех учёных-международников. Но знакомство было, как говорится, шапочным. Ещё о двух знакомых сотрудниках института я расскажу позже, а с остальными предстояло познакомиться.

Одно из моих первых впечатлений – молодость научного коллектива. Он был небольшой, примерно тридцать человек (без административно-хозяйственных подразделений). Мои сверстники были наперечёт, шестеро или семеро, а остальным – от 26–28 лет до сорока с небольшим. Энергии было хоть отбавляй, и молодёжь мужского пола в паузах между трудами научными с удовольствием играла в мини-футбол или соревновалась в умении владеть баскетбольным мячом в спортзале, оставшемся в наследство от бывших хозяев. Из сотрудников кто постарше, назову Владислава Белова, Дмитрия Данилова, Ольгу Буторину, Андрея Цимайло, Вадима Циренщикова; из тех, кто помоложе, – Павла Баева, Михаила Баринаова, Аркадия Мошеса, Сергея Медведева, Кирилла Вяткина. С Андреем Цимайло, возглавлявшим Отдел экономической интеграции, у меня сразу установились тесные контакты. Он был очень талантливым исследователем, заканчивал подготовку докторской диссертации по экономике и защитил её в 1992 году, в тридцать два года! К сожалению, судьба его сложилась трагически. В том же году он перешёл в «Мост-банк» и стал вскоре одним из его руководителей. Когда банк попал в опалу, он, находясь по служебным делам в Лондоне, там и остался. А в 2002 году скоропостижно скончался, на сорок третьем году жизни. Влад Белов и Дима Данилов были кандидатами экономических наук и уже тогда входили в ядро научного коллектива, первый из них вскоре стал руководителем Центра германских исследований, второй – заведующим Отделом европейской безопасности.

Об Аркадии Мошесе, Сергее Медведеве и Михаиле Баринове я хочу рассказать особо – так, как они запомнились мне в памятные августовские дни 1991-го. 20 августа, на второй день после создания ГКЧП, я вернулся из Петрозаводска в Москву и тут же отправился в институт. Моховая улица, Манежная площадь и улица Горького (ныне Тверская) были заполнены танками и грузовиками. В кузовах сидели солдаты. Институт был почти пуст, только Виталий Владимирович и несколько сотрудников из аппарата дирекции и хозяйственной части. Заглянув к директору, я узнал от него некоторые подробности путча и возникшей обстановки в Москве. По его словам, в структурах власти и политических



кругах царила сумятица, произошел раскол, и каков будет исход событий, пока неясно. Когда я вышел от Журкина, мне встретились Аркадий, Михаил и Сергей. Оказывается, они распространяли среди солдат текст указа Бориса Ельцина. Аркадия даже арестовали, но вскоре отпустили арестованного под честное слово, что он не будет заниматься агитацией против новой власти. Они тут же вернулись в институт, отпечатали новую кипу листовок и вновь отправились раздавать их солдатам. Их судьба сложилась по-разному. Аркадий стал известным учёным-международником и в 2006 году был приглашён в финский Институт международных отношений (Хельсинки), где и работает в настоящее время. О Мише и Сергее я скажу позже.

Из первых институтских мероприятий, в которых я принял участие в 1990–1991 годы, запомнились два заседания. В них участвовало от двадцати до тридцати человек. На одном с докладом о европейской безопасности в контексте кардинальных перемен в сфере международных отношений выступал Караганов. Докладчика на втором заседании, посвящённом экономическому положению в Западной Европе, я не помню, но, скорее всего, кто-то из ведущих экономистов – В.Н. Шенаев, В.М. Кудров или Б.М. Пичугин. Содержание докладов и их обсуждения за давностью лет забылось, но я хорошо помню, как вёл заседания Виталий Владимирович. Он не вмешивался в ход дискуссии, не прерывал выступления репликами и не комментировал их по ходу; слушал внимательно, делал какие-то записи, а в конце кратко и чётко суммировал её итоги, то есть, по сути, давал оценку ситуации в той области, которая была предметом обсуждения.

С В.М. Кудровым и Б.М. Пичугиным я был знаком давно. Оба были опытными специалистами, докторами экономических наук. Валентин Михайлович, как и я, работал в 60-е годы в ИМЭМО, и у нас сложились дружеские отношения. Он тогда опубликовал интереснейшую монографию. Это был первый в послевоенной советской экономической литературе опыт сравнительного анализа специфики и уровня развития экономики шести ведущих капиталистических стран. В ней был систематизирован и представлен в виде таблиц и графиков огромный массив экономической статистики, по сути, опровергавшей концепцию непрерывно углубляющегося общего кризиса капитализма. Шума книга вызвала много, но обошлось.

Встреча с Борисом Михайловичем Пичугиным была неожиданной и дружелюбной, несмотря на то что при первом нашем

знакомстве мы оказались, как говорится, по разные стороны баррикад. В 1970 году дирекция ИМЭМО организовала закрытое заседание с целью обсудить, возможна ли альтернатива политике непризнания ЕЭС, которой следовало советское руководство. В обсуждении участвовали представители трёх министерств – иностранных дел, внешней торговли и обороны. Учёные отмечали, что интеграция стала реальностью в Европе и установление официальных отношений с ЕЭС может быть использовано в экономических и политических интересах СССР. Но эта точка зрения была отвергнута представителями всех трёх министерств, утверждавшими, что признание фактически поощряло бы курс Запада на создание антисоветских альянсов и сужало бы возможности использования межимпериалистических противоречий. Министерство внешней торговли считало, что признание ЕЭС обесценит традиционную тактику игры на экономических противоречиях между странами Запада, рассчитанную на заключение как можно более выгодных торговых контрактов и получение как можно более дешёвых кредитов. Именно эту позицию отстаивал Пичугин, выступавший от имени министерства, а я был одним из его оппонентов. Но в нашем споре мы не перешли границы и мирно попрощались.

В Институт Европы Кудров и Пичугин пришли в 1989 году и заняли в нём видное положение. Валентин Михайлович возглавил Центр сравнительных исследований мировой экономики. Борис Михайлович был главным научным сотрудником Отдела общеевропейских проблем. Оба участвовали во всех важнейших научных мероприятиях института, были авторами работ, изданных в серии «Доклады Института Европы». Оба выступали в качестве авторов/соавторов аналитических докладов высшему руководству страны. О Борисе Михайловиче, скончавшемся в 1997 году в возрасте семидесяти пяти лет, у меня сохранились самые светлые воспоминания. Мы постоянно общались и сблизились на почве общего научного интереса – анализа экономических отношений СССР/России с Евросоюзом. В нём органично сочетались два качества – высочайший профессионализм и человеческое обаяние. Как исследователя его отличала скрупулезная точность в отборе и изложении фактов, прежде всего статистики, объективность их анализа и обоснованность выводов. Это позволило ему скорректировать и даже пересмотреть некоторые взгляды и оценки, сложившиеся в те времена, когда он работал в министерстве, а затем в экономических организациях ООН. В общении с коллегами Борис Михайлович был сдержан, корректен и доброжелате-

лен, с молодыми сотрудникам был внимателен и всегда готов ответить на их вопросы, дать профессиональный совет.

Неожиданным и приятным открытием была интенсивность международных связей только что возникшего института. Опытные, «остепененные» сотрудники часто выезжали за рубеж для участия в конференциях или установления новых научных контактов, мэнээсы и аспиранты – на стажировку. Да и я за год побывал в пяти или шести загранкомандировках – больше, чем за предшествующие 28 лет работы в академических институтах. Особенно запомнилась поездка в Бонн. Я тогда заканчивал пребывание в немецком Институте мира, как вдруг позвонил Виталий Владимирович и спросил, не смогу ли я выступить вместо него на заседании, организованном социал-демократической фракцией Бундестага и посвящённом отношению Советского Союза к европейской интеграции. На следующий день я сидел в экспрессе Штутгарт–Бонн, мчавшийся по левому, низменному берегу Рейна, любясь его стремительным течением с бурлящими перекатами и гористым правым берегом с его лесами и старыми замками. Тема была хорошо знакома мне. А начал я с того, что у нас сейчас существуют и открыто излагаются разные точки зрения и что я принадлежу к той группе советских учёных, которые уже давно воспринимают европейскую интеграцию как объективный процесс формирования единого европейского экономического пространства со всеми его плюсами и минусами. Судя по вопросам и реакциям слушателей, мой рассказ о новых тенденциях в советской общественной науке оказался для них неожиданным и был воспринят позитивно.

В 1992 году условия деятельности Института коренным образом изменились. Вместо Советского Союза – постсоветская Россия и СНГ; вместо социалистической, директивной и огосударственной экономики – начавшийся переход к рыночной экономике и свобода частной собственности; вместо монополии КПСС на власть и управление – многопартийная система и конкурентные выборы в национальные и местные представительные органы. Резко сократился бюджет института, а взбесившаяся инфляция – более 2000% в 1992 году – снизила до нищенского уровня зарплату научных сотрудников. Некоторые покинули институт. Павел Баев в 1992 году был приглашён стажироваться в норвежский Институт мира (Осло), затем был зачислен в его штат и принял норвежское гражданство. Время от времени он приезжал в Москву, и мы были рады встречам.

В общем потери в научном коллективе были небольшие. И здесь самое время сказать о кадровой политике, которую проводило в 90-е годы руководство института, в первую очередь Виталий Владимирович. Научный коллектив пополнили крупнейшие специалисты, входившие в элиту отечественного обществоведения: в 1991-м – Николай Александрович Ковальский, в 1992-м – Николай Петрович Шмелев и Дмитрий Ефимович Фурман, в 1994-м – Игорь Федорович Максимычев, в 1996-м – Анатолий Андреевич Красиков, в 1997-м – Юрий Ильич Рубинский. Каждый из них своим приходом расширял сферу научных исследований в институте, открывая в них новые направления и обогащая их методику. Пришли и более молодые, но уже опытные исследователи, кандидаты наук – Елена Владимировна Водопьянова, Ольга Юрьевна Потемкина и другие.

К концу 1990-х сформировалась структура научных подразделений института – отделов и центров исследований. К этому времени функционировали четыре отдела – Европейской безопасности (руководитель Д.А. Данилов), европейской интеграции (Ю.А. Борко) с двумя центрами – экономической интеграции (О.В. Буторина) и регионов ЕС (И.М. Бусыгина), экономических и социально-политических исследований (А.А. Масленников) и информации (В.Г. Машлыкин). Центры исследований в ту пору функционировали автономно, но в ходе структурных преобразований, осуществлённых в 2000-е годы, большей частью были включены в состав отделов, количество которых было увеличено. К концу 90-х годов в институте было около десяти таких центров – германских исследований (В.Б. Белов), итальянских исследований (Н.А. Ковальский), французских исследований (Ю.И. Рубинский), изучения постсоветского пространства (Д.Е. Фурман), изучения проблем религии и общества (А.А. Красиков), экологии и развития (С.А. Рогинко), международных социально-экономических сопоставлений (В.М. Кудров), документации ЕС (Ю.А. Борко); возможно, еще один-два, о которых я забыл. В последующие без малого два десятилетия структура научных подразделений не единожды перестраивалась, но я на этом останавливаться не буду<sup>76</sup>.

---

<sup>76</sup> Самое полное представление об истории Института Европы во всех её аспектах дают статьи и воспоминания его основателя и почетного директора академика В.В. Журкина. См.: В.В. Журкин. Институт Европы РАН. Основные научные направления // Новая и новейшая история. 2001. № 6. С. 3–17; В.В. Журкин, интервью с О.В. Буториной Текст для публикации в журнале Современная Европа. 2019. № 3 и 4.

Расскажу немного о некоторых маститых, с которыми сотрудничал или просто общался чаще, чем с другими. Николай Шмелев был, кажется, единственным научным сотрудником, который не входил ни в какие подразделения, никем не руководил и никому не подчинялся, свои научные планы согласовывал с Виталием Владимировичем. В центре его внимания была экономика России в период перехода к рынку. В 1996 году вышла его монография «Авансы и долги. Вчера и завтра российских экономических реформ». Храню его дарственный экземпляр с надписью в собственной ему свободной манере: «Юрию Антоновичу Борко, другу, единомышленнику, партнеру, собеседнику, собутыльнику и пр. с многодесятилетними симпатиями». Содержание книги видно из её названия. Шмелев проанализировал и критично оценил как экономическую политику в период перестройки, определив его как «годы упущенных возможностей», так и радикальные, «без наркоза», реформы Егора Гайдара и его команды. В последнем разделе он изложил своё видение будущих российских реформ. Они остались на бумаге. Россия пошла по иному пути, и это было главной причиной его переживаний и пессимизма в отношении её перспектив. Что касается европейской проблематики, главной сферы научной жизни института, то Шмелев включился в неё сразу – как член учёного совета, участник научных конференций, подготовки аналитических докладов и т. д. Его выступления, помимо их конкретного содержания, выделялись и особой, шмелёвской манерой изложения своих суждений. Я назвал бы её «размышления вслух», неторопливые и ненавязчивые, с подтекстом, в котором звучало: можете соглашаться или нет, но задумайтесь над тем, что я сказал. Этот доверительный тон, вызывающий к логике здравого смысла, производил впечатление на аудиторию, особенно на тех, кто слушал его впервые.

Приход Юрия Рубинского в институт стал для меня праздником. Мы были знакомы с 60-х годов, когда работали в ИМЭМО, и уже тогда прониклись взаимной симпатией. Вскоре он уехал сотрудником советского посольства во Францию. В 1985 году, приехав в Париж, я встретился с ним, и он в одно из воскресений устроил мне экскурсию по прекрасному городу, который он знал, вероятно, лучше, чем подавляющее большинство парижан. После многолетней дипломатической службы он вернулся в науку, обладая огромными знаниями в области международных отношений. Как учёный Рубинский наделен двумя важнейшими качествами – эрудита и аналитика. Он точен, я сказал бы, скрупулезен в изло-

жении фактов и, как правило, убедителен в их интерпретации. А сверх того, Юрий Ильич – очень дружелюбный и открытый для общения человек. Типичная картина: как только закончилось научное обсуждение, к нему подходит молодой участник с каким-нибудь вопросом, и «мэтр» подробно и увлечённо рассказывает, что он думает по этому поводу. В институте Рубинский создал Центр французских исследований, который стал одним из лучших в России.

С Дмитрием Фурманом – выдающимся российским философом, историком, религиоведом и политологом – я познакомился в 1993-м, когда он пришёл в Институт Европы. Здесь он взялся за абсолютно новую для него тему, создав Центр изучения постсоветского пространства. В 1990-е и первой половине 2000-х он выпустил серию сборников статей и документов о характере и динамике перемен в новых независимых государствах – Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Молдове, странах Балтии, Украине. В институте он пользовался всеобщим уважением и авторитетом, в основе которого была отчасти его журналистская деятельность и ещё больше сама его личность, его интеллект и нравственный облик. Что касается первого, то, на мой взгляд, в течение двадцати с лишним лет начиная с 1991-го Дмитрий Фурман был одним из самых эрудированных, глубоких и трезвомыслящих отечественных журналистов. В двух сборниках – «Наши десять лет: политический процесс в России с 1991 по 2001 годы» (М.; СПб.: Летний сад, 2001) и «Публицистика “нулевых”» (М.: Летний сад, 2011) – представлены более 130 статей, опубликованных почти во всех ведущих газетах России. Он не оставил журналистику и после того как его настигла тяжелейшая болезнь. Даты двух последних статей – 1 марта и 16 мая 2011 года, дата кончины – 22 июля. И есть что-то символичное в том, что первая из них была посвящена Михаилу Сергеевичу Горбачеву, а вторая – Андрею Дмитриевичу Сахарову. К обоим Дмитрий Фурман относился с глубочайшим уважением. А если говорить о его личных качествах, упомянутых выше, я не могу подтвердить их примерами – как он поступил в какой-то ситуации и что сказал по какому-то поводу. Всё это было давно. Но вот есть в музыке понятие «абсолютный слух». Дмитрий Ефимович обладал абсолютным слухом в понимании смысла конкретных событий и общих процессов в общественно-политической жизни, в оценке поступков крупных политических деятелей и обычных людей.

Но вернёмся к началу 90-х годов. Несмотря на все трудности, институт наращивал научную деятельность. В марте 1992 года

был организован симпозиум «Опыт европейских сообществ и возможности его использования Россией и Содружеством независимых государств». В нём участвовали более семидесяти человек – из нашего института В.В. Журкин, Ю.А. Борко, Б.М. Пичугин, А.В. Цимайло, Н.А. Ковальский, большая группа учёных из ИМЭМО, других академических институтов, из МГИМО и МГУ, зарубежные учёные. С одним из докладов выступил глава Представительства Комиссии европейских сообществ профессор Майкл Эмерсон. Запомнился его трезвый и критический взгляд на возможности применения опыта ЭЭС: слишком разные условия, разная предыстория, разный баланс сил в ЭЭС и СНГ. Это было для некоторых российских участников симпозиума как ушат холодной воды. В 1993 году вышла в свет первая институтская монография «Безопасность будущей Европы». Ее тематика выходила далеко за рамки названия. В ней были проанализированы экономические, социальные, внутри- и внешнеполитические проблемы Европы, отношения Европа–США, Европа–Россия, Европа–Третий мир. В числе авторов были М.В. Баринов, Ю.А. Борко, Д.А. Данилов, П.Е. Кандель, В.М. Кудров, С.А. Медведев, М.А. Неймарк, Б.М. Пичугин, П.Т. Подлесный, А.В. Цимайло. Возглавлял авторский коллектив С.А. Караганов. В 2003 году вышли первые выпуски в серии «Доклады Института Европы»: № 1 – «Маастрихтский договор: трудности ратификации, поиски решений, перспективы» (Ю.А. Борко – руководитель, М.В. Баринов, И.М. Бусыгина, О.В. Буторина, В.В. Тяжелова); № 2 – материалы упомянутого симпозиума – о возможностях применения опыта европейской интеграции в России и СНГ.

Важнейшее место в работе института заняли внутренние проблемы постсоветской России. В 1992 году на заседаниях учёного совета развернулись острые дискуссии по поводу содержания и методов экономической реформы, инициированной Егором Гайдаром, и её социальных последствий. Мне запомнились жаркие споры между В. Шенаевым, с одной стороны, В. Кудровым и мной – с другой. Шенаев, поддерживая курс на переход к рыночной экономике, резко критиковал избранный Гайдаром вариант реформы; мы с Кудровым оказались единомышленниками и, соглашаясь с некоторыми его критическими замечаниями, в целом защищали экономическую политику Гайдара. Споры продолжались и после того как правительство возглавил В.С. Черномырдин.

В этой связи уместно напомнить, что в новых условиях многопартийной системы и идейного плюрализма перед институтом

встала задача, которая никогда не возникала в советские времена, а именно: как должно позиционировать себя научное учреждение, работающее в области общественных наук? Позиция, которую сформулировал и твёрдо проводил в жизнь В. Журкин, состояла в том, что Институт Европы занимается научными исследованиями в пределах своей компетенции, дистанцируясь и от политических партий, независимо от того, находятся ли они у власти или в оппозиции, и от официальной позиции правительства. Разумеется, запросы руководства страны и государственных ведомств рассматривались дирекцией как приоритетные, но перед сотрудниками, участвовавшими в подготовке аналитических докладов или справок, ставилась задача объективного анализа заказанной темы исследования. Из тех материалов, в подготовке которых я участвовал, мне запомнился доклад «Помощь Запада России» (1994 г.), с характеристикой и оценкой её содержания, масштабов и эффективности. Он был переведён на английский язык и издан под названием «Whither Western Aid to Russia». В его подготовке помимо меня участвовали С.А. Караганов (руководитель), В.Б. Белов, И.М. Бусыгина, В.М. Кудров, А.Б. Луковенко, Б.М. Пичугин и Н.П. Шмелев.

Как ни странно, но мне нечего рассказать о моей работе в качестве заведующего отделом, руководить которым я был назначен в апреле 1991 года. Не помню ни его названия, ни его состава. Единственное, что могу поставить себе в заслугу, – приход в институт кандидата исторических наук, опытного специалиста по Югославии и возникшим после её распада государствам Павла Ефимовича Канделя, который до этого работал в Институте международных экономических и политических исследований. Впрочем, руководил я этим отделом недолго. Так случилось, что в 1992 году начался новый период не только в деятельности всего института, но и моей жизни в нём. В октябре после ухода Андрея Цимайло я был избран заведовать Отделом европейской интеграции, а незадолго до этого, на учредительной конференции Ассоциации европейских исследований (АЕВИС-Россия) был избран её президентом. Наконец, тогда же в институте, с согласия и при поддержке Еврокомиссии, был создан первый в России Центр документации ЕС (ЦДЕС), и я был назначен его руководителем. Интенсивность моей работы резко возросла. Изменилось и моё положение в институте. В.В. Журкин в своем очерке об истории института упомянул, что я сразу же по приходе включился в обсуждение стратегии его развития. Вероятно, так оно и было. Но



субъективно впервые я уверился в том, что вхожу в «мозговой центр» института, именно в 2002-м.

Меньше всего времени у меня занимало руководство Центром. В нем работали два научных сотрудника – Ксения Юрьевна Шарапова и Валентина Васильевна Тяжелова. Они пришли из ИНИОН, где почти двадцать лет работали в отделе капиталистических стран Европы, США и Канады. В ЦДЕС они очень быстро создали систему библиографической информации, обрабатывая и классифицируя поток документов и справочных изданий, непрерывно поступавших из ЕС в печатном и электронном виде. ЦДЕС функционировал и как библиотека, доступная не только сотрудникам института, но и любому посетителю, заинтересованному в информации, которой располагал Центр. С 1995 года, когда АЕВИС и Институт Европы приступили к выпуску бюллетеня «Европейский Союз: факты и комментарии», на долю К.Ю. Шараповой и В.В. Тяжеловой выпало также его литературное и техническое редактирование.

Сейчас уже трудно припомнить, как распределялись мои усилия между двумя главными сферами работы – отделом европейской интеграции и АЕВИС. Но по времени первое место занимал всё-таки отдел. Количественно он был небольшим: пять научных сотрудников и два лаборанта. Научным ядром отдела (и его украшением!) были Ирина Михайловна Бусыгина и Ольга Витальевна Буторина – два кандидата экономических наук, талантливые «трудоголики», энергичные и честолюбивые.

Что касается Ольги Буториной, то у нас очень быстро установились отношения взаимного доверия и взаимопонимания. Наверное, поэтому и запомнились два разговора с ней. При первой же нашей встрече после моего назначения она спросила, в чём будет заключаться её работа. Я знал, что Буторина пишет монографию по теме диссертации – об экономике Испании, и спросил, сколько нужно времени, чтобы закончить её. Примерно год, ответила она. «Это и будет вашим заданием на год», – сказал я. «Но это моя личная работа, – пояснила Ольга. – А что я должна делать в отделе?». Вопрос был понятен, так как до прихода в институт она работала во внешнеторговой организации, где наука была личным делом сотрудника, чем-то вроде хобби. «Ольга Витальевна, – сказал я, – вы состоите как признанный учёный только после того как опубликуете монографию, и это важно не только для вас, но и для отдела». Спустя год, когда она отдала рукопись книги в издательство, состоялся наш второй разговор –

о выборе темы исследований в рамках проблематики отдела европейской интеграции. В итоге мы остановились на теме строительства экономического и валютного союза (ЭВС) и будущей коллективной валюты. Тема была новаторской и перспективной, поскольку в только что вступившем в силу договоре о Европейском союзе создание ЭВС было объявлено главным вектором его развития.

Первые статьи О.В. Буториной по данной теме появились уже в середине 1990-х, а в 2002 году она защитила докторскую диссертацию «Экономический и валютный союз. Международный аспект». За это же время она прошла путь от с. н. с. до руководителя Сектора экономической интеграции и несколько месяцев замещала меня в должности зав. отделом, пока я проходил курс лечения от рака. Я надеялся на то, что Ольга Витальевна станет моей преемницей, но в 2003 году она, в силу личных причин, перешла в МГИМО и вернулась в Институт Европы в 2012 году, став вскоре одним из заместителей директора.

Столь же успешной была научная карьера Ирины Марковны Бусыгиной. В 1992 году она защитила кандидатскую диссертацию «Региональная политика Европейского Союза», определившую её научную специализацию. Вскоре возглавила Сектор региональных и социальных проблем и опубликовала в 90-е годы немало статей. Мы плодотворно сотрудничали в отделе и в АЕВИС, где она входила в состав правления и неоднократно участвовала в конференциях, организованных совместно с региональными отделениями. В 1999 году И.М. Бусыгина перешла в МГИМО, защитила в 2002 году диссертацию, получив степень доктора политических наук, и возглавила там Центр региональных политических исследований.

Беспорно, талантливым исследователем был Михаил Баринов. В упомянутой выше первой институтской монографии ему принадлежит глава «Социальное будущее Западной Европы». Участвовал он и в подготовке аналитических докладов, направляемых в государственные органы. Он обладал также организаторским талантом и сыграл главную роль в подготовке документов, необходимых для официальной регистрации АЕВИС. К сожалению, в 1999 году он ушёл из института из-за трудных материальных обстоятельств и занялся предпринимательством. Еще один научный сотрудник, Игорь Бороздин, благодаря своей памяти был просто кладом фактов. Он, как никто, донимал докладчиков дотошными вопросами и уличал их в неточностях. Но с систе-

матизацией фактов дело у него обстояло хуже, и править его тексты приходилось постоянно. В 1999 году мы с ним расстались.

В отдел за эти годы пришли новые сотрудники: в 1993-м – д. э. н. В.Г. Шемятенков, к. и. н. М.В. Каргалова и выпускник исторического факультета МГУ А.И. Тэвдой-Бурмули, в 1994-м – к. и. н. О.Ю. Потемкина. Появились аспиранты: Сергей Медведев, Наталья Мирошниченко (ныне Кондратьева), Слава Быховский и Николай Кавешников. Первым из них в 1995 году защитил диссертацию на соискание к. и. н. С. Медведев с интереснейшей темой «Европейский проект и европейская политика папы римского Иоанна Павла II». Талантливый молодой учёный с активной жизненной позицией. Но вскоре он получил грант в Финляндии, задержался там на несколько лет и в наш институт уже не вернулся.

С Владимиром Георгиевичем Шемятенковым я познакомился в 1989-м в Брюсселе, где он находился как глава представительства СССР в Европейском сообществе. Он был приветлив и естествен, никакой дистанции между статусным дипломатом и учёным. К тому же я не предполагал, что он не только хорошо осведомлен о том, что происходит в Сообществе (он был обязан это знать), но и говорит со мной на одном языке, когда речь идет об экономической интеграции. Загадка выяснилась, после того как я узнал, что он окончил аспирантуру ИМЭМО и защитил две диссертации, кандидатскую и докторскую, по экономике. В Институт Европы он пришел после двухлетней преподавательской и научной работы в Гентском университете. Наше сотрудничество в отделе продолжалось десять лет, и Шемятенков внес значительный вклад в его работу. В частности, он активно участвовал в подготовке первой монографии отдела – «XXI век: Европейский союз и Содружество Независимых Государств» (1998) в качестве автора и члена редколлегии, вместе со мной и Журкиным. В 2002 году В.Г. Шемятенков вышел из состава отдела, возглавив Центр проблем современной Европы, а в 2008 году покинул наш институт.

В 90-е годы отдел подготовил ряд изданий, в которых тогда остро нуждались многочисленные государственные органы, ответственные за нашу внешнюю политику и внешнеэкономические связи, а также учёные и вузовские преподаватели. Было издано два тома переведённых на русский язык базовых договоров ЕС с 1951 по 1992 годы, и том документов, касающихся отношений между ЕС и СССР. В 1996 году по инициативе О.В. Буториной был издан справочник «Европейский Союз», содержащий всесторон-

ную информацию о его истории, институтах и процедурах принятия решений, направлениях деятельности, отношениях с главными партнерами в мире и т. д. Всё это издали тиражом в 2000 экземпляров. В 2001 году отдел опубликовал еще одну монографию – «Европейский Союз на пороге XXI века» (М.: УРСС, 2001). В авторский коллектив входили семь сотрудников нашего отдела: В. Шемятенков, А. Тэвдой-Бурмули, О. Буторина, И. Бусыгина, О. Потемкина, Ю. Борко, С. Быховский, ещё два сотрудника института – Д. Данилов и Н. Ковальский, а также несколько сотрудников ИМЭМО и Института Латинской Америки. Исключительную роль в подготовке книги сыграла Ольга Буторина. Мы с ней придумали название книги и разработали её структуру, ей принадлежит макет обложки. На неё легла большая часть практической работы, в том числе общение с авторами в процессе редактирования их текстов. Она и сама входила в авторский коллектив, книга вышла под нашей совместной редакцией.

О моей деятельности как руководителя АЕВИС я расскажу отдельно, и упомянул о ней лишь потому, что на неё уходила значительная часть моих усилий и моего времени.

В январе 1995 году у меня появилась еще одна нагрузка: я был назначен заместителем директора. Мои контакты с Виталием Владимировичем и двумя его замами участились. Как правило, это были рабочие встречи вчетвером, чтобы обсудить неотложные дела и принять какие-то решения, выполнение которых распределялось главным образом между замами. Раз в год я назначался временно исполняющим обязанности директора с правом подписи финансовых документов, когда Журкин, Караганов и Шенаев одновременно отсутствовали в институте: кто-то – в отпуске, кто-то – в зарубежной командировке или по иным причинам. Но в общем я так и не освоился в своем новом статусе и в 1998 году попросил директора освободить меня от этой обязанности. Просьба моя возникла не случайно. В феврале следующего года мне предстояло отметить 70-летие, и я решил, что мне пора уйти со всех административных постов – зама, заведующего отделом и президента АЕВИС. С тем я и пришёл к Виталию Владимировичу. Моя просьба была для него полной неожиданностью. Он задумался, а потом спросил меня: «А вы представляете, как воспримут в институте мой приказ об освобождении вас от всех ваших обязанностей? Все решат, что я считаю вашу работу неудовлетворительной или, хуже того, свожу с вами какие-то счёты. Давайте начнем с чего-нибудь одного». Мудрый Журкин

был прав, и ответил, что начнем с зама. В апреле 1998 года появился приказ о том, что я освобождён от должности заместителя директора Института Европы и назначен (то есть остаюсь) заведующим Отделом европейской интеграции.

Эта история имела продолжение. Вскоре после моей отставки ко мне заглянул Шмелев и сказал, что Виталий Владимирович предложил ему занять освободившуюся вакансию заместителя директора. Николай Петрович был готов принять это предложение, но хотел узнать от меня, сам ли я ушел или по инициативе Журкина. Я успокоил Николая, пересказав ему мой разговор с директором и пожелав ему успеха в новой должности. Рассказывать о содержании нашей дальнейшей беседы, касавшейся мотивов и намерений Шмелева, я не буду, а мотивы Виталия Владимировича выяснились через несколько месяцев, когда он ошеломил весь институтский коллектив, объявив о своем решении уйти в отставку и назначив дату выборов нового директора. Все сожалели об уходе Журкина и были встревожены. Но успокаивало то, что он неизменно повторял, что не намерен уходить из института и, переключившись на свою научную работу, по-прежнему будет активно участвовать в его жизни. Из трех замов Шенаев не мог быть избран на пост директора из-за своего возраста, так что выбирать предстояло между Карагановым и Шмелевым. Умолчу о кулуарных обсуждениях плюсов и минусов обоих кандидатов, тем более что за давностью лет я многое позабыл. Выборы состоялись в апреле 1999 года и прошли спокойно. После того как Журкин открыл расширенное заседание учёного совета, выступили три или четыре научных сотрудника, в том числе и я, предложившие выбрать директором института Николая Петровича Шмелева. Других кандидатур не было, и за него проголосовало значительное большинство присутствовавших лиц.

Если бы меня спросили, внесла ли смена директоров существенные перемены в научной деятельности и жизни Института Европы, я ответил бы твердым «нет». Оба, Виталий Владимирович Журкин и Николай Петрович Шмелев, были людьми одной и той же нравственной формации и единомышленниками в том, что касается выбора наиболее плодотворного для России пути развития, её места в системе международных отношений, а также в понимании смысла и содержания научной деятельности института. Насколько я знаю, они систематически обсуждали текущие дела и перспективные планы его работы, и почетный директор

Института Европы активно поддерживал новые инициативы своего преемника.

На деятельности Шмелева в качестве директора я не останавливаюсь, так как вслед за воспоминаниями об Институте Европы в 90-е годы идёт мой очерк о нём, включённый в книгу воспоминаний о Николае Петровиче Шмелеве, вышедшую в свет к первой годовщине его кончины.

\* \* \*

За минувшие 18 лет, начиная с 1999 года по настоящее время, в Институте Европы изменилось многое. Больше чем наполовину обновился его состав. Пришли два нынешних заместителя директора – Валентин Петрович Федоров (2000) и Михаил Григорьевич Носов (2004). Был и еще один зам – Иван Дмитриевич Иванов, на мой взгляд, самый сильный экономист-международник и в поздние советские времена, и в постсоветской России. В Институте Европы он пробыл менее двух лет и в 2004 году уехал в Брюссель, где возглавил Торговое представительство РФ в Евросоюзе. В 2001 году пришел и возглавил Центр британских исследований Алексей Анатольевич Громько, впоследствии после кончины Николая Петровича Шмелева возглавивший наш институт. Пришли будущие заведующие отделами Анатолий Иванович Бажан (1999), Владимир Яковлевич Швейцер (2002) и Любовь Николаевна Шишелина (2006); руководители большинства исследовательских центров, среди которых не могу не упомянуть Аллу Алексеевну Язькову (2004), которую мы с глубоким сожалением недавно проводили в последний путь. В 2006 году в стенах института появился Виктор Иванович Мироненко, через год ставший главным редактором журнала «Современная Европа» и одновременно возглавивший Центр украинских исследований. Пришли и опытные учёные, и множество молодых научных сотрудников. Перечислять всё, что было сделано за этот период, не буду, а в целом институт жил и поныне живёт полноценной жизнью.

И в заключение коротко об отделе и себе в новом столетии. В 2002 году моя деятельность и мой привычный образ жизни были прерваны двумя онкологическими операциями, в сентябре – первая, в январе 2003-го – вторая, и затем в течение почти полутора лет я медленно возвращался к нормальному состоянию. От обязанностей руководителя отдела я был освобождён в июле 2002 года. Некоторое время его возглавляла О.В. Буторина,

а с 2004 года – Ольга Юрьевна Потемкина. Это решение дирекции было логичным. Она осталась единственным сотрудником отдела, входившим в 1992–1994 годы в его научное ядро. Но решающую роль в этом назначении сыграли личные качества Ольги Юрьевны – научная компетентность и организаторские способности. О её участии в первой отдельческой монографии и в деятельности АЕВИС я уже упоминал. Добавлю, что к концу 1990-х она окончательно определила свою научную специализацию и приступила к подготовке докторской диссертации, а в 1999 году возглавила сектор региональных исследований. В качестве заведующей отделом ей пришлось, по сути, заново укомплектовывать его состав, разрабатывать программу его деятельности и изыскивать средства для финансирования конкретных научных проектов. Ольга Юрьевна справилась со всеми задачами, которые ей пришлось решать. Отдел успешно работает и входит в число ведущих подразделений института.

Что касается меня, то, вернувшись в рабочее состояние, я сосредоточился на своей научной работе. Опубликовал монографию «От европейской идеи – к единой Европе» (2003), подготовил главы для нескольких коллективных монографий в серии «Старый Свет – новые времена», был автором или соавтором нескольких «Докладов Института Европы РАН», статей в нашем журнале и других периодических изданиях. Участвовал во многих международных и российских конференциях, был и остаюсь ответственным редактором ежеквартального электронного издания «Европейский Союз: факты и комментарии». Участвую, пусть не так активно, как прежде, в жизни институтского коллектива. И рад тому, что принял участие в двух юбилеях – 30-летию Института Европы и 25-летию Ассоциации европейских исследований.

### **Николай Шмелев – ученый, друг и единомышленник<sup>77</sup>**

Мы познакомились в 1963 году. Николай Шмелев работал в Институте экономики мировой социалистической системы (ИЭМСС) АН СССР, а я – в редакции журнала «Мировая экономика и международные отношения»; он – в левой, я в правой части коридора на третьем этаже пятиэтажного здания, которое

---

<sup>77</sup> Борко Ю.А. Мой друг Николай Шмелев // Воспоминания о Николае Шмелеве. ИЕ РАН. М.; СПб.: Нестор-История, 2015. С. 17–34.

ранее было одним из корпусов гостиницы «Золотой колос», на Ярославской улице недалеко от ВДНХ/ВВЦ. Остальные этажи занимал Институт мировой экономики и международных отношений, тоже входивший в состав АН СССР. Как-то мы случайно сошлись в одной из комнат нашей редакции, и моя коллега Кира Борисова познакомила нас. Шмелеву было 27 лет, он недавно защитил кандидатскую диссертацию по экономике, но был уже эсэнэс, то есть старший научный сотрудник, что и по возрасту, и по стажу научной работы тогда было редкостью. Впрочем, своей известностью в стенах здания на Ярославке он вначале был обязан тому, что в 1962 году разошёлся после пятилетнего брака с женой Юлией, дочерённой внучкой первого лица в Стране Советов. Никита Сергеевич Хрущев был тогда в зените своей власти, и в институтских коридорах о Шмелеве отзывались удивленно и уважительно, мол, не всякий осмелился бы на такой поступок, хотя, полагаю, никто толком ничего не знал.

Друзьями мы стали задолго до того, как началась наша совместная работа в Институте Европы РАН, и произошло это как-то само собой. Мое первое впечатление запомнилось: умные, понимающие глаза, приветливая полуулыбка, естественность, неторопливая и доброжелательная манера разговаривать. Николай Шмелев вызывал доверие. Вскоре выяснилось, что оно было взаимным. А началось наше сближение, может быть, с того, что мы были заядлыми курильщиками и часто пересекались у одного из окон, в которые упирались два конца нашего общего коридора. Дело в том, что перекур в те времена был излюбленной и самой распространённой формой творческой научной дискуссии, причем достаточно откровенной, если собеседники доверяли друг другу. Это был как раз наш случай.

Сближению способствовала и одна занятная история. Однажды в редакцию «МЭиМО» пришла сотрудница какого-то московского научного учреждения и предложила свою статью. Тема интересная, фактический материал отличный, а написано неумело, и редакционная коллегия статью «зарубила». Однако зам. главного редактора Лев Степанов сказал, что тема и фактура стоят того, чтобы статью «дотянуть» и опубликовать. Сказано – сделано. В доработке участвовали сотрудник редакции Том Петров, я и сам Степанов, а еще привлекли Шмелева, который был знаком с темой и дал несколько полезных советов. Статью опубликовали, автор по фамилии Лепихова была в восторге, это была её первая статья, да ещё в таком известном журнале. Заявившись к Степанову, она



положила на его стол немалый по тем временам гонорар и предложила передать его тем, кто довёл статью до ума. Несмотря на уговоры Степанова, женщина стояла, как Гибралтарская скала. В итоге мы вчетвером – Петров, Степанов, Шмелев и я – отправились в Дом журналистов. Он располагался на Никитском бульваре, вблизи от Арбатской площади, а в нём – уютный ресторан с нешумной публикой, негромкой музыкой, отличной и вполне приемлемой по ценам едой. Там мы учредили фонд имени Лепиховой, сбрасывали в него часть наших дополнительных доходов, в основном гонораров, и периодически совершали вылазки в Домжур. До тех пор, пока не разбежались в конце 60-х годов по другим учреждениям и адресам.

А если всерьёз, то были, конечно, более веские причины нашего сближения. Шмелев и я принадлежали к одному поколению. Родившиеся до войны, но не участвовавшие в ней по возрасту; не воевавшие, однако прочувствовавшие и запомнившие ночные бомбежки Москвы в 1941-м, лютые морозы двух первых военных зим и постоянное чувство голода. Поколение, зомбированное с детства одами в честь «Вождя всех времён и народов», а, повзрослев, потрясённое докладом Хрущёва о преступной роли Сталина в массовом терроре 1930-х и его ответственности за военную катастрофу в первые месяцы войны с нацистской Германией.

Я с умыслом упомянул о Сталине, потому что, насколько я помню, с разговора о нём и началось наше сближение. Шмелев был категоричен в своем неприятии Сталина как человека и как политика. Тогда было немало людей, искавших оправдания не столько, может быть, Сталину, сколько своей вере в него. «Да, – соглашались они, – конечно, диктатор, и столько неповинных людей расстреляно или погубило в лагерях, но ведь под его руководством мы впервые построили социализм и победили нацистскую Германию». Не берусь утверждать, что Шмелев уже тогда понимал, что у советской модели социализма нет будущего, вероятнее всего, он пришел к этому выводу позже. Но ссылок на «объективные обстоятельства», будто бы оправдывавшие сталинский террор и бескрайнюю зону ГУЛАГа, он не принимал категорически, в чём я был с ним солидарен.

Не помню, был ли тогда у нас разговор о том, что мы делали, что видели и узнали в первый день похорон Сталина. Нам было что рассказать друг другу, но за давностью лет не припомню. И только теперь, взявшись за свои воспоминания, я внимательно прочел шмелевские «Curriculum vitae» и ахнул: Николай дважды

упоминает, что видел сотни трупов, покрывших в тот день Трубную площадь. А в романе «Пашков дом», в каком-то смысле автобиографичном, его герой Александр Горт рассказывает, что он был в тот день на площади и что пережил тогда. Текст настолько эмоционален и фотографичен, как будто это сам автор Николай Шмелев был там и запомнил на всю жизнь ужасающую картину:

«Ах, этот угол Трубной улицы и Трубной площади! Как же долго он ему снился потом, сколько лет... Стены дома, подвальная яма в тротуаре, почти у самых его ног, чьи-то две спины, втоптаные туда вниз, сквозь погнутые прутья решетки, и он, расплющенный на стене, сдавленный, задыхающийся, молящий только об одном: только бы толпа качнулась назад, не вперед, потому что если вперед – быть ему третьим в этой яме, через нее ему не перейти, не перескочить... Потом он узнал, что это был как раз самый страшный момент во всех похоронах, когда обезумевшая, плачущая, ревушая толпа почему-то со всех сторон кинулась на Трубную площадь: с Петровского бульвара, с Неглинки, с Цветного, с Рождественского – и все вниз, на площадь, по спинам, по головам, навстречу друг другу, давя и сметая всё на своем пути...»<sup>78</sup>

Для Николая – ему не исполнилось семнадцати лет – это было страшным потрясением, навсегда оставшимся в памяти и во многом определившим его отношение к жизни. Этим же во многом объясняется его отношение к Н.С. Хрущёву. В своих статьях и интервью Шмелев неоднократно отмечал его ошибки, метания и нелепые выходки, хотя всегда при этом проявлял сдержанность и деликатность. Но в итоговой оценке исторической роли этого человека у него сомнений не было: «Мнения людей у нас в России о Н.С. Хрущёве до сих пор самые различные... А я, по обстоятельствам своей жизни имевший возможность довольно долго наблюдать его вблизи, лицом к лицу, утверждаю: всё забудется! Все чудеса и выверты его забудутся: и кукуруза, и ботинок по столу в ООН, и безобразный скандал в Манеже, и даже Карибский кризис – всё ! А останется лишь одно: то, что он на веки вечные проклял И. Сталина и распустил лагерь»<sup>79</sup>. Я несколько иначе отзывался о Хрущёве, но тоже самым важным в его деятельности считал разоблачение сталинских преступлений и перемены в нашей жизни, получившие название Оттепели. Некоторым

<sup>78</sup> Шмелев Н. Пашков дом. Рассказы. М.; СПб.: Огни – Летний сад, 2006. С. 32.

<sup>79</sup> CURRICULUM VITAE (Повесть о себе) // Ночные голоса. Повести, рассказы. М.: Воскресенье, 1999. С. 369.

моим нынешним молодым и не совсем молодым коллегам эти перемены кажутся незначительными, даже мизерными. С позиций исторического прогресса они правы. Но как должен был воспринимать эти перемены советский человек, которого многие годы по вечерам охватывал леденящий страх, что вот сейчас, в эту ночь, к нему вломятся «незваные гости» и его жизнь рухнет?

Это была не единственная сближавшая нас тема. Сходились мы и в критическом отношении к централизации и бюрократическим методам управления советской экономикой. В начале 60-х годов, впервые за три с лишним десятилетия, в стране развернулась широкая, одобренная сверху публичная дискуссия о том, нужна ли нам экономическая реформа, и если нужна, то какая. Мы были убеждены в её необходимости, и Шмелев уже тогда считал, что при её подготовке следует многое взять из опыта новой экономической политики, проводившейся в Советском Союзе в 20-е годы. Однако Хрущёв подменил либерализацию экономики частичной децентрализацией её управления, а после его принудительной отставки в 1964 году новый «Первый» Леонид Брежнев положил проект масштабной экономической реформы под сукно, чтобы, как пересказывали его слова, «не раскачивать лодку». Отказ нового лидера партии и государства от экономической реформы Николай Шмелев оценивал как упущенный шанс. Отрицательно он относился и к периодическим «наездам» партийных идеологов на нестандартно мыслящих учёных-обществоведов – философов, социологов, экономистов, а также к косной и зачастую просто убогой политике КПСС в области культуры – разгрому выставки художников-авангардистов, запретам театральных постановок и т. п. Вероятно, были и другие пункты схождения, всего не припомнить, а в общем довольно скоро выяснилось, что мы единомышленники.

В 70-е и 80-е годы мы встречались редко, потому что работали уже не только в разных организациях, но и в разных зданиях, далеко друг от друга. ИЭМСС переехал в собственное здание, а я перешёл на работу в Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН АН СССР). Да, встречались редко, но уже в ином качестве. У нас появился общий друг. Я возглавлял в ИНИОН отдел информации по проблемам капиталистических стран Европы и Северной Америки, и мне порекомендовали специалиста по военно-политической стратегии США Вадима Мильштейна. Мы быстро сговорились насчет того, чем он будет заниматься в отделе, а вскоре обнаружили немало точек схождения.

ния в наших жизненных правилах, во взглядах и интересах. Тогда-то и выяснилось, что он является давним и близким другом Шмелева. Были они одногодками, явились в сей мир с трёхмесячной разницей – в июне и сентябре 1936 года. И ушли от нас почти одновременно: Николай Петрович – в январе 2014 года, Вадим Михайлович – в апреле того же года.

Время от времени Вадим собирал круг своих друзей и приглашал меня. У него я познакомился ещё с одним давним, школьных лет, другом Николая. Леонид Аркус был опытным и авторитетным врачом-психиатром. А убеждения его и человеческие качества проявились в таком эпизоде. В начале 70-х годов «органы» пытались упрятать в психушку известного диссидента В. Б. Надо было выручать его, и за помощью обратились к Леониду Гдальевичу. Рискуя работой, профессией и своей судьбой, он периодически проводил полное клиническое обследование В. Б. и выдавал ему официальное медицинское заключение, согласно которому у пациента никаких отклонений от нормы не обнаружено и он психически здоров.

Мы с Николаем устраивали на этих встречах небольшой перекур на двоих, чтобы обменяться мнениями в сфере наших профессиональных интересов. Не буду напоминать о том, как эволюционировали в 60-е и 70-е годы советская экономика, политическая система и коммунистическая партия с её экзотическим высшим органом, в котором средний возраст его членов перевалил за семьдесят. Назову лишь два события, которые определили общее направление этой эволюции. 21 августа 1968 года советские войска вторглись в Чехословакию, положив конец системным реформам в духе «социализма с человеческим лицом», которые начало руководство страны во главе с Александром Дубчеком. 25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан, чтобы силой оружия поддержать новое руководство, объявившее о своем намерении построить в стране «афганский социализм». Шмелев негативно воспринял обе военные акции, считая, что вторжение в Чехословакию положило конец и Оттепели, и последним надеждам на экономическую реформу в СССР, а интервенция в Афганистан подстегнула новый виток гонки вооружений, для советской экономики непосильный.

Естественно, он уделял особое внимание состоянию нашей экономики и экономической политике государства. Он считал её непрофессиональной, полностью подчиненной логике холодной войны и корпоративным интересам советского ВПК. Начиная

с 1974 года в мировом хозяйстве резко возросли цены на нефть, которая стала одной из главных статей советского экспорта, главным образом в капиталистические страны Европы. В казну потекли дополнительные десятки миллиардов долларов, которые, полагал Шмелев, могли быть использованы для модернизации и структурной перестройки советской экономики, а также развития социальной сферы и поднятия общего уровня жизни в нашей стране. Излагал ли он в каком-то виде свои взгляды и рекомендации? В открытой печати это было невозможно. Но в 70-е годы уже вошла в моду подготовка академическими институтами аналитических записок, которые рассылались под грифом «для служебного пользования» в ЦК КПСС, Совет министров СССР, а также самые важные министерства и ведомства (МИД, КГБ, МО). В них высказывались осторожные, дозированные критические оценки тех или иных аспектов нашей жизни и предлагались рекомендации, как правило, основанные на изучении опыта зарубежных стран, как социалистических, так и капиталистических.

Николай Шмелев неоднократно участвовал в подготовке служебных записок, посвященных советской и мировой экономике, но их эффект был близок к нулю. Период сверхвысоких цен на нефть закончился в середине 80-х годов. За 12 лет, с 1974 по 1985-й, в казну поступило примерно 200 млрд долларов дополнительного дохода за проданную, в основном европейским странам, советскую нефть. По мнению Шмелева, которое после провозглашения гласности он не раз высказывал публично, это был последний реальный шанс модернизировать советскую экономику со всеми ее позитивными последствиями для социального и политического развития страны. Советское руководство этим шансом не воспользовалось, истратив валюту на гонку вооружений, а также на ежегодные закупки зерна и других видов продовольствия, которые не в состоянии было производить наше сельское хозяйство.

В первой половине 80-х годов Н. Шмелев перешёл из ИЭМСС в Институт США и Канады АН СССР, занимаясь в обоих институтах изучением тенденций развития мирового хозяйства с особым акцентом на анализ проблем и перспектив экономических связей Восток–Запад. Он опубликовал две монографии по этой тематике и подготовил третью: «Всемирное хозяйство: тенденции, сдвиги, противоречия». Важные для него в плане профессиональной карьеры как экономиста-международника, они, однако, уже не были средоточием его творческих амбиций, с начала 70-х годов переместившихся в сферу писательства. Не рискну утверждать,

что эта смена вектора творческих устремлений была вызвана удушливым климатом застоя в жизни страны, в том числе в общественных науках, но это, несомненно, ускорило такую эволюцию.

В это десятилетие Шмелев написал серию рассказов, а в 1982-м – роман «Пашков дом», в главном герое которого угадывался автор, отчасти его профессия, некоторые события из его жизни и, самое важное, его внутренний мир, его взгляды и размышления. Шмелеву пришлось ждать без малого пять лет, прежде чем роман пришел к читателю в журнале «Знамя» № 3 за 1987 год. Он прождал бы и больше, если бы не новый поворот в жизни страны, связанный с именем Михаила Горбачева. В самом деле, уж очень безыдейным выглядел роман о русском интеллигенте, который всю жизнь провел в библиотечном зале, по возможности держась подальше от мирской суеты, идейных баталий и политической возни. По сути, автор бросил вызов официальной идеологии, противопоставив ей гуманистический призыв к милосердию как главной нравственной основе человеческого бытия и устройства общества.

Настроения среди ученых-обществоведов, особенно в академических кругах, преобладали мрачные. Менее чем за два с половиной года, с ноября 1982 по март 1985-го, сменилось три генеральных секретаря ЦК КПСС, и был избран четвертый – Михаил Сергеевич Горбачев. Его приход вызвал неоднозначные чувства – смесь неуверенной надежды и стойкого скепсиса. Но события пошли одно неожиданнее другого: перестройка, гласность... Одним из впечатляющих событий этого начала была статья «Авансы и долги», опубликованная в июньском номере журнала «Новый мир» за 1987 год. Статья была переведена на множество языков и опубликована во множестве стран. Так что вряд ли будет преувеличением сказать, что имя её автора – Николай Шмелев – стало известно во всём мире. Я воспринял её как квинтэссенцию размышлений автора на протяжении тридцати лет, с конца 1950-х. Многие из того, что в ней было сказано, я знал из наших бесед, но в своей цельности статья воспринималась как прорыв в новое пространство отечественной экономической мысли, да и не только экономической.

В «Авансах и долгах» Николай Шмелев явил себя в трёх лицах – учёного, соединяющего в себе исследователя-экономиста и мыслителя; литератора, наделенного даром яркого публициста; наконец, человека с развитым, я бы даже сказал, редким по своей органичности чувством здравого смысла.

Вкратце достоинства статьи можно изложить в пяти пунктах:

- Откровенная, очень жёсткая характеристика состояния советской экономики и государственной системы управления ею.
- Содержательный экскурс в историю экономической политики КПСС и Советского государства, в том числе анализ обстоятельств, при которых в конце 20-х годов был взят курс на создание тотально огосударственной и централизованной экономики со всеми её изъянами и пороками.
- Честная оценка негативных нравственных последствий этой экономической системы, её несовместимости с естественными мотивами и стимулами любой экономической деятельности человека.
- Резкая оценка экономической бюрократии вообще, особенно её высшего слоя. «Коренной порок нынешней структуры хозяйственного управления, – заявлял Шмелев, – полная безответственность высших этажей пирамиды». «Кто будет отучать наших хозяйственных руководителей, особенно высших, от феодальной психологии, кастового чванства, уверенности в своей непотопляемости, своем «Богом данным» праве командовать, в том, что они выше законов и выше критики?»<sup>80</sup> Это была самая рискованная часть статьи; автор вызывал огонь на себя.
- Последнее по месту, но не по значению, – Шмелев назвал некоторые ключевые пункты экономической реформы, нацеленной на переход от директивной экономики к рыночной.

Статью прочли миллионы людей, и она, естественно, вызвала бурные дебаты. У неё оказалось огромное количество сторонников. Однако было и множество людей, воспринявших ее как личный вызов, потому что она поставила под сомнение то дело, которому они посвятили свою жизнь, идеологический аппарат партии и вузовские преподаватели марксистско-ленинской политэкономии и других обществоведческих дисциплин, государственная бюрократия, изрядная часть сотрудников в органах массовой информации. Немало сомневающихся и противников было среди людей, не связанных с этими структурами. Одни усматривали в статье посягательство на «основы», других смущал радикализм рекомендаций автора.

<sup>80</sup> Шмелев Н. Авансы и долги // Новый мир. 1987. № 6. С. 158.

Устные дискуссии в стране, публичные и частные, длились долго, а со страниц прессы исчезли очень скоро. С механизмом изъятия этой темы из СМИ я познакомился, когда в октябрьском номере «Нового мира» появились два поступивших в редакцию письма, посвященных «Авансам и долгам». Одно – очень короткое и восхищённое – подписала С. Бобкова, по её словам, «рядовой советский человек»; второе – А. Соловьев, доктор экономических наук, профессор кафедры политэкономии Костромского технологического института. Он объявил Шмелева сторонником замены социализма рыночным мелкотоварным и мелкокапиталистическим производством, а статью обозвал «демагогией на грани приличия»<sup>81</sup>. Я написал злой двухстраничный ответ профессору и отправился в редакцию журнала. Сотрудник отдела писем, мужчина лет сорока, прочел его и сказал, что текст хороший, но из ЦК КПСС уже поступило распоряжение выбрать два письма с противоположной направленностью, опубликовать (что они и сделали) и закрыть тему. Когда я через некоторое время рассказал этот эпизод Шмелеву, он ответил, что могло быть гораздо хуже. Вскоре же после появления «Авансов и долгов» в Отделе пропаганды ЦК КПСС была подготовлена разгромная статья, и публиковать её было решено в главном печатном органе партии – газете «Правда». Остановил эту затею М.С. Горбачев, которому по его просьбе Шмелев уже не раз направлял аналитические записки, посвященные проблемам и задачам экономической реформы. Идеологическим церберам из ЦК КПСС пришлось отказаться от лобовой атаки на Шмелева и его идеи, ограничившись отлучением автора от прессы.

Впрочем, отлучение оказалось недолгим. «Авансы и долги» круто повернули жизнь самого автора: он стал публичным человеком. В какой-то статье, появившейся после его кончины, Николай Петрович Шмелев был назван шестидесятником. Но конкретные люди, объединяемые этим понятием, были разными. Шмелев мог повторить то, что однажды сказал о себе писатель Василий Аксенов: «Если говорить о тех явлениях, которые начались в обществе, то я смело могу себя назвать скорее пятидесятником, чем шестидесятником... Я прозрел гораздо раньше, чем все другие»<sup>82</sup>. Прозрение Шмелева началось в трагический день на

---

<sup>81</sup> Новый мир. 1987. № 10. С. 265–267.

<sup>82</sup> Шестидесятники-II. Встреча поколений. Ч. 1. М. 27.05.2006 // [www.liberal.ru/articles/](http://www.liberal.ru/articles/) С. 6.



Трубной площади, и в те годы мимо него не прошли ни статья В. Померанцева «Об искренности в литературе», ни «Оттепель» Ильи Эренбурга, ни жемчужинки русской прозы – яшинские «Рычаги» и гранинское «Собственное мнение». Не суть важно, называть ли Шмелева пятидесятником или шестидесятником, но он был членом этого незримого содружества по двум важнейшим критериям – нравственным императивам и критическому отношению ко многим реалиям советской и международной жизни. Вместе с тем он не светился, не подписывал протестные письма, не был правозащитником, к движению диссидентов относился осторожно, а к некоторым из числа самых радикальных – весьма критично. Шмелев не считал себя и не был «активистом», и участию в общественной деятельности предпочитал просветительство. Был лектором от Бога, и, как вспоминали его бывшие ученики, за конспектами его лекционных курсов на экономфаке МГУ перед экзаменами выстраивались очереди.

После публикации статьи всё переменялось. Профессор Шмелев – желал он того или не желал – был назначен общественным мнением одним из самых авторитетных лидеров только что родившегося демократического движения. Он стал публичным человеком высшего разряда. Вспомним основные вехи его жизни и деятельности в последующее четырёхлетие вплоть до августа 1991 года. Сначала отчаянная борьба весной 1989 года за то, чтобы провалить на общей конференции Академии наук предложенный Президиумом АН список кандидатов на Съезд народных депутатов СССР, в который не был включен ни один из авторитетных ученых, выдвинутых многими академическими институтами, в том числе и Шмелев. Борьбу эту возглавила инициативная группа «За демократические выборы в АН». В неё вошли представители более сорока институтов АН из разных регионов и республик страны. Участвовал в ней и я. На состоявшейся в марте конференции большинство входивших в список лиц были провалены, а в ходе подготовки ко второй конференции вместо них в список были внесены 12 ученых-демократов, в том числе Андрей Дмитриевич Сахаров и Николай Петрович Шмелев. Все они были избраны на Съезд народных депутатов<sup>83</sup>.

А дальше последовало несколько лет активного участия Шмелева в работе съезда и созданной на нём Межрегиональной

<sup>83</sup> См. об этом подробнее: *Шейнис В.* Взлет и падение парламента. Переломные годы в российской политике (1985–1993). М.: Московский Центр Карнеги, 2005. Т. I. С. 213–223.

депутатской группы (МДГ), объединившей демократическое крыло депутатов. Блестящие выступления на пленарных заседаниях съезда, которые транслировались по телевидению на всю страну, и напряжённая деятельность в перерывах между заседаниями. Звездный период жизни и деятельности Николая Шмелева! Его кульминацией стал триумф российской демократии 21–22 августа 1991 года. Триумф, который позже обернулся трагедией её поражения.

Это стало трагедией и для Николая Шмелева. Вряд ли преувеличу, сказав – величайшей трагедией в его жизни. Четыре года, с конца 1987-го, когда вышли его «Авансы и долги», и до конца 1991-го он был одним из лидеров российского демократического движения. Это было и его детище. После провала ГКЧП и крушения всей коммуно-советской политической системы, казалось, пришло время триумфа российской демократии, но реальностью оказалось её поражение и самодискредитация. В конце того же года – я узнал об этом позже – Шмелев вышел из президентского совета, а в начале февраля 1992 года поступил на работу в Институт Европы РАН, где уже третий год трудился и я.

Здесь мы и встретились после долгого перерыва. В те годы, когда он полностью ушел в высокие сферы российской политической жизни, мы не пересекались, если не считать, может быть, двух-трёх встреч у Вадима Мильштейна. Мне запомнился наш первый разговор, состоявшийся вскоре после его прихода. Он проходил большей частью в формате: мой вопрос – его ответ. Почему для формирования правительства понадобилось целых три месяца? Почему из всех возможных кандидатов на пост фактического главы правительства, осуществляющего экономическую реформу, был назначен Егор Гайдар? Почему сам Шмелев остался не у дел? Почему он оказался в оппозиции к программе реформ Гайдара и какой могла быть альтернативная концепция реформы?

Жаль, что я ничего не записал тогда. Так что теперь уже и не разберу, что он мне рассказал тогда, что – позже, а что я почерпнул из его текстов, в которых он не раз возвращался к тем драматическим временам. Но главные аргументы Николая Петровича запомнились. Первым разочарованием был стремительный распад Межрегиональной группы и резкое изменение климата отношений между её лидерами. Заговорили возросшие амбиции, возникли группировки, столкнулись интересы, начались интриги. Это было не для Шмелева – человека, органически не приемлю-

щего весь этот букет служебных и человеческих отношений, столь знакомых ему по советским временам. (В скобках: он ведь и в отделе пропаганды и агитации ЦК КПСС – 1968–1970 годы – больше двух лет выдержать не смог и нашел способ уйти оттуда). Но самым сильным ударом для Шмелева было содержание программы экономической реформы, предложенной Егором Гайдаром и его командой. Он сказал, и мне запомнились нотки горечи и недоумения: я никогда не прошу им того, что из всех вариантов реформы они выбрали самый жестокий, самый грабительский вариант для десятков миллионов людей. Здесь и проходил водораздел между ним и командой реформаторов. И еще одна реплика запомнилась, на сей раз в адрес программы Григория Явлинского, самой близкой Шмелеву по содержанию: почему 500 дней? Ведь России для перехода к рыночной экономике понадобятся годы и годы.

В общем, места Шмелеву в команде экономических советников и в политическом окружении президента Ельцина не было, да он и не рвался туда. Сам о себе он как-то сказал: «Надо уметь говорить “нет” и “да”, и надо уметь ломать хребты. Я не умею». Он вернулся в мир науки и, что не менее важно, в мир литературного творчества, куда он вошёл еще в 70-е годы, когда были опубликованы его первые рассказы. С этой точки зрения выбор места – Институт Европы – был, наверное, самым подходящим вариантом. Институт небольшой по сравнению с ИМЭМО или Институтом США и Канады. Значит, и коллектив небольшой, с хорошим климатом научных и человеческих отношений, созданным прежде всего благодаря усилиям основателя и директора института академика Виталия Владимировича Журкина. Зачислен был Николай Петрович Шмелев на работу в должности главного научного сотрудника. Главный и при том рядовой: никем не руководишь, и над тобой никого нет, кроме директора, с которым ты в очень давних дружеских отношениях. В общем, «вольный стрелок», что, как мне тогда казалось, Николая Шмелева вполне устраивало.

Анализ двадцатилетней творческой деятельности Николая Петровича Шмелева в Институте Европы потребовал бы как минимум обширной статьи. Я ограничусь лишь некоторыми личными впечатлениями, которые носят субъективный характер и, может быть, разделяются не всеми, кто его знал в эти годы и работал вместе с ним. На мой взгляд, работа Шмелева в институте четко делится на два периода – с момента прихода по 1999 г.

и следующие 14 лет вплоть до кончины, когда он возглавил наш институт.

В 90-е годы, как мне видится, главным направлением деятельности Шмелева была реализация собственных творческих планов – научных, которые стали важной составной частью работы Института Европы, и литературных. Он быстро включился в коллективную научную жизнь института. Диапазон его интересов как российского ученого и – подчеркну – глубоко русского человека был чрезвычайно широк: экономика России и постсоветских государств, современный этап развития и перспективы России, мировая экономика с акцентом на Европу и Запад в целом, мир и международные отношения в XXI веке, включая проблемы цивилизации и культуры. Он, как правило, активно участвовал в значимых научных форумах, российских и международных, проходивших в стенах института. У него была собственная, шмелевская, манера выступления. Я назвал бы ее – размышления вслух, неторопливые и ненавязчивые, с подтекстом, в котором звучало: можете соглашаться или не соглашаться, но задумайтесь над тем, что я сказал. Этот доверительный тон, взывающий к логике здравого смысла, придавал дополнительную убедительность его словам.

Все эти годы Николай Петрович продолжал разрабатывать тематику перехода России к рыночной экономике. В 1996 году вышла в свет его книга «Авансы и долги: вчера и завтра российских экономических реформ», в которую он собрал самые значительные статьи и доклады, начиная с октября 1987-го, когда появились его «Авансы и долги», и кончая статьей «Экономика и общество», опубликованной в январе 2006 года. Тематически в первую часть вошли работы, в которых изложены взгляды автора на то, какой должна быть экономическая реформа, нацеленная на переход СССР-России к рыночному хозяйству; во вторую – статьи, посвященные анализу и критике экономической реформы, начатой Е. Гайдаром и продолженной, с существенными коррективами правительством В.С. Черномырдина. В конструктивном плане Шмелев продолжал отстаивать свои взгляды на содержание и методы строительства эффективной рыночной экономики, особенно по социальным, политическим и нравственным аспектам.

В те годы я не во всем был согласен с ним, считая, что он слишком крут в своей критике, так как радикализм и жесткость программы Гайдара были обусловлены катастрофическим состоянием советской экономики и реальной угрозой социального хаоса.

Шмелев же, напротив, именно в силу этих обстоятельств считал необходимым начать реформу с экстренных мер государства, призванных наполнить внутренний потребительский рынок товарами, и на этой основе проводить постепенную либерализацию цен. Наибольшую тревогу у него вызывало воздействие, которое может оказать реформа на психологическое и нравственное состояние населения, и одной из важнейших задач реформаторов он считал минимизацию её негативного эффекта. Этот голос здравого смысла и крик души автора звучит со всех страниц всей книги. Теперь, через тринадцать лет после начала той реформы и с учётом того, что произошло за это время в стране и к чему она пришла, я принимаю почти все оценки, которые Николай Петрович давал реформе 1992 года и последующей экономической политике правительства в 90-е годы. И прежде всего я солидарен с ним в понимании первостепенного значения взаимозависимости экономической политики государства и нравственного состояния общества. А досталось в наследство новой власти общество, сформированное в советские времена, и в нём доминировали аморальность и циничный прагматизм наверху, нравственная деформация и распад социальных связей внизу. Реформа в том виде, как она проводилась, и развязанные ею стихийные процессы становления «первоначального», полукриминального капитализма способствовали дальнейшему росту этих «родимых пятен» советского социализма.

Не помню, заходили ли у нас разговоры о литературном творчестве, в том числе его собственном. Наверное, заходили, да стерлись в памяти, так как не были для нас главной темой. А осенью 1999 года он подарил мне книгу «Ночные голоса», в которую наряду с читанным мною романом «Пашков дом» и рассказами 70-х и 80-х годов вошли только что законченные воспоминания «CURRICULUM VITAE (Повесть о себе)» в трёх частях. Они были необычными: несколько десятков коротких главок, каждая посвящена конкретному эпизоду из жизни автора, с сентенциями или без оных, и расположены они не в хронологическом порядке. Николай Шмелев разворачивает широкую панораму жизни страны, шествуя по её социальным этажам и не забывая наведываться в другие страны. А за этими эпизодами, а лучше сказать, над ними возникает фигура самого автора, человека немолодого и умудрённого, с его неистощимой любознательностью, с его редкой способностью – невзирая на регалии и социальные статусы, на парадные костюмы, изысканные платья, поношенные куртки

и мятые джинсы, модные туфли и стоптанные башмаки – всмотреться в «голую сущность» человека, понять ее и оценить. О Николае Петровиче Шмелеве как главном герое его книги можно рассказать намного больше, тем более что через несколько лет он изрядно расширил свои воспоминания, оставив прежнее название, но заменив подзаголовок<sup>84</sup>. Но я на этом останавлиюсь.

Шмелев подарил мне книгу осенью, а за несколько месяцев до этого у нас состоялся неожиданный для меня разговор. В один из февральских дней он зашёл ко мне и сказал, что Виталий Владимирович предложил ему занять место заместителя директора, которое освободилось после моей отставки. «Ты сам ушел или как?» – спросил Николай. «Сам, – ответил я, объяснив, что ещё в конце 1998 года, незадолго до своего 70-летия, сказал Журкину, что хочу уйти со всех административных постов – заместителя директора, заведующего отделом европейской интеграции и президента Ассоциации европейских исследований – и посвятить всё время научной работе. Нет, возразил Виталий Владимирович, это вызовет кривотолки в институте, так что начнем с чего-то одного. Я предложил начать с поста «замдира», на том мы и порешили. Я задал Николаю встречный вопрос: «А зачем тебе эта должность, которая будет отнимать у тебя время от науки и литературы?» – «У меня ощущение, ответил он, – что я исчерпался как писатель».

Шмелев сказал мне не всё, да и не вправе был сказать. Выяснилось это в конце 1999 года, когда Виталий Владимирович неожиданно объявил о своем намерении уйти в отставку и проведении досрочных выборов директора института. По предложению нескольких ведущих сотрудников, в числе которых был и я, кандидатом на должность директора был выдвинут член-корреспондент РАН Николай Петрович Шмелев. Насколько я помню, проголосовали за него не единодушно, но убедительным большинством.

У Шмелева были веские основания принять это предложение. Читая его статьи 1990-х годов, посвященные проблемам российской экономики, видишь, как вырастала пропасть между его оценками, его рекомендациями и экономической, да и всей внутренней политикой руководства страны. Это рождало чувства разочарования и горечи, вызванные невостребованностью его знаний и опыта. Не видел я лукавства и в том, что сказал Шмелев о своём писательстве. Роман «В пути я занемог», законченный

---

<sup>84</sup> Curriculum vitae. Нечто мемуарообразное // Шмелев Н. В пути я занемог. М.; СПб.: Летний сад, 2006. С. 335 – 621.

в 1994 году, был последним и, на мой взгляд, наименее удачным из его литературных произведений. Правда, в 1999 году Шмелев опубликовал свои воспоминания, но это совсем иной жанр литературного творчества, уникальность и ценность которого с возрастом автора лишь увеличивается. Ему недавно исполнилось 60 лет, и он был полон творческих сил, которые мог бы реализовать как директор академического института.

Я не беру на себя смелость анализировать деятельность Николая Петровича Шмелева на этом посту. Полагаю, что он вполне заслуживает подготовки и издания монографии в серии «ЖЗЛ». Скажу только, что оцениваю его деятельность очень высоко. Его главный вклад в развитие и укрепление научного авторитета института состоит, на мой взгляд, в том, что он:

а) сумел сохранить климат свободомыслия, конструктивных дискуссий, неприятия интриг и склок, сложившийся в институте благодаря усилиям Виталия Владимировича Журкина, поддержанным всем коллективом;

б) сохранил по возможности кадровый состав института, прежде всего ведущих специалистов, и немало поспособствовал пополнению коллектива молодыми учёными, окончившими институтскую аспирантуру или приглашенными со стороны;

в) сыграл ведущую роль в создании журнала «Современная Европа», став его шеф-редактором с первого номера, вышедшего в свет в марте 2000 года;

г) был инициатором и председателем редколлегии уникальной серии фундаментальных монографий, посвященных странам и общим проблемам Европы, под общим названием «Старый Свет – новые времена».

Последние три года жизни и директорства Николая Шмелева были невероятно трудными. Он проводил в последний путь жену, с которой он прожил более сорока лет, резко ухудшилось зрение из-за отслоения сетчатки и возникла угроза полной слепоты, начались сердечные боли и перебои. Он тянул как мог. Я иногда заходил к нему, не имея никаких дел, а просто выкурить вместе по сигарете и обменяться парой слов, и порой было видно, как тяжело ему приходится. Вечером 6 января 2014 года сердце не выдержало.

Я убеждён в том, что оно в огромной степени не выдержало из-за нараставшей боли, вызванной тем, что происходило в стране. Воспринимал он это как трагедию – России и свою, личную. В 2000-е годы, в поисках её истоков, Шмелев не раз обращается к истории России XIX и XX веков. «Основной итог периода рос-

сийской истории с 1917 по 1953 год, – пишет он в одной из статей, – заключался... в том, что лучшая и в умственном, и в нравственном, и даже в физическом отношении часть нации была по тем или иным причинам за эти годы уничтожена»<sup>85</sup>. Он обращается к истории русской интеллигенции, порицая её склонность, «начиная, как это ни прискорбно, еще с декабристов, к насилию», к разрушительной пропаганде, призывам «к топору» и т. д.<sup>86</sup> Так было, по его словам, в 1917 году и вновь в 1991-м, когда демократическая интеллигенция «своими руками» сотворила реформаторов из своей среды, которые «оказались по всем повадкам – те же большевики, только с другим знаком»<sup>87</sup>.

Шмелев отвергал эту идейную традицию русской интеллигенции с позиций умеренного, можно сказать, просвещенного консерватизма, опирающегося на заповеди христианства, на такие нравственные ценности, как семья, традиции, верность Отечеству и государству, выступающему гарантом законности и порядка. Та же система ценностей просматривается и в его воспоминаниях – не в виде сентенций, а в том, как ведет себя автор в различных эпизодах, как он комментирует и оценивает действующих лиц.

Шмелев существенно дополнил воспоминания в 2001–2005 годах<sup>88</sup>.

Я не знаю, правильно ли заканчивать в миноре мои воспоминания о замечательном человеке и моем друге Николае Шмелеве, но у меня не выходят из головы два текста, в которых он подытоживает свою жизнь. Первый – из его интервью в 2009 г. Вопрос журналиста и его ответ:

«Николай Петрович, если бы знали, чем дело кончится, стали бы печатать Вашу статью “Авансы и долги”? – Нет, лучше бы я про любовь писал»<sup>89</sup>.

Здесь как будто все ясно, но остается вопрос: когда Шмелев пришел к выводу, что нынешней власти его экономические взгляды и рекомендации не нужны? Конечно, не накануне интервью. Скорее всего, если не в конце 1990-х, то в начальные годы прези-

<sup>85</sup> Шмелев Н. Духовное здоровье русского человека // Современная Европа. 2004. № 1. С.

<sup>86</sup> Интеллигенция и реформы // Шмелев Н.. Авансы и долги, или Возвращение к здравому смыслу. М.; СПб.: Летний сад, 2007. С. 397.

<sup>87</sup> Там же. С. 398–399.

<sup>88</sup> *Curriculum vitae*. Нечто мемуарообразное // Шмелев Н. В пути я занемог. Воспоминания. М.; СПб.: Летний сад, 2006. С. 335–621.

<sup>89</sup> Моск. комсомолец. 2009. 24 авг.



дентства В.В. Путина и уж никак не позже 2003 года. Несколько утешает то, что властители не вечны, а подчас и скоротечны. Тем, кто сменит их, придется выбираться из экономической ямы, вырытой предшественниками, и тогда, глядишь, пригодятся советы Николая Петровича Шмелева.

Второй текст – концовка его мемуаров. Три звездочки, закрывающие последнюю главу, и заключительные строки: «Нет, не понимаю! Ничего не понимаю. И не понимал никогда. В этом, похоже, и заключается она, моя жизнь, – от начала и до конца. И если разбираться, то ничего, кроме недоумения, в ней, по сути, и не было. Немного? Конечно, немного. Но что поделаешь, так оно, к сожалению, и есть. Боже, как грустна вечерняя земля...»<sup>90</sup> Первое впечатление шоковое, а потом вдруг прозреваешь, что отважиться на такое признание может только человек, который не боится того, как он будет воспринят. Это мало кому дано. И это сказано человеком высокого полета мысли, многое повидавшим, осознавшим скоротечность нашего бытия, относительность наших знаний и непостижимость смысла самого существования Homo sapiens в бесконечной во времени и пространстве Вселенной.

И ещё, автор мог позволить себе такую самокритичную концовку. Мы можем понять это и – не согласиться. Если России суждено преодолеть нынешний смутный и сверхкритический период своего бытия и повернуть на путь национально-государственного возрождения, то среди имён из далекого прошлого, воскрешённых в её памяти, будет и Николай Петрович Шмелев – выдающийся учёный, мыслитель, проникательный и вдумчивый писатель, достойный гражданин, патриот и глубоко русский человек.

\* \* \*

## Ассоциация европейских исследований в России – АЕВИС

### *АЕВИС: как она возникла*

*Интервью с О.В. Буториной. 19.11.2016*

*О. Буторина: Я начну с первого вопроса. Вы взяли на себя миссию организовать в России Ассоциацию европейских исследований.*

---

<sup>90</sup> Шмелев Н. В пути я занемог. Воспоминания. М.; СПб., 2006. С. 621.

*Чем мотивировалось такое решение и как происходило создание ассоциации?*

**Ю. Борко:** В 1987 году я находился в месячной командировке в Брюсселе и там познакомился с замечательной женщиной Жаклин Ластенуз, работавшей в Генеральном директорате-Х Комиссии европейских сообществ, возглавляя в нем Сектор научных исследований и культуры. Она была инициатором создания Европейского объединения национальных ассоциаций изучения Общего рынка (Associations of the Common Market Studies – ECSA), возникших в ряде государств-членов ЕОУС-ЕЭС-Евратома. А в декабре того же года я вновь встретился с ней, участвуя в первом форуме общественности Востока и Запада. Его инициатором был профессор Марк Мареско, директор небольшого Европейского института в Гентском университете. Там форум и проходил. Жаклин рассказала мне о ECSA и проекте создания всемирного объединения национальных ассоциаций, в него могла бы войти и советская ассоциация. В 1988 году, когда я по приглашению М. Мареско приехал в Гент, Жаклин, узнав о моем приезде, пригласила меня на заседание руководящего комитета ECSA. Там, в частности, обсуждался упомянутый проект, и она вновь сказала мне, что в Брюсселе приветствовали бы создание советской ассоциации. Как раз в том же году был основан Институт Европы. Я пришел к его директору Виталию Владимировичу Журкину и рассказал об этой инициативе. Он сразу же одобрил её, а в 1990 году, когда я перешел в Институт Европы, принял решение начать практическую подготовку учредительной конференции. Виталий Владимирович видел пользу и важность ассоциации и как ученый, приветствующий создание в российских университетах центров исследований актуальных проблем современной Европы, и как директор Института Европы, с полным основанием рассчитывающий на то, что роль и престиж института как инициатора и головного центра ассоциации только возрастут. Чтобы получить статус межрегиональной научной организации, надо было создать не менее чем в десяти университетах инициативные группы, которые могли бы выступить в качестве соучредителей ассоциации. Я начал обзванивать университеты в поисках авторитетных лиц, готовых поддержать эту идею и принять в ней участие. Я нашел их. Три декана исторических факультетов – Михаил Егорович Ерин в Ярославле, Валерий Иванович Михайленко (Уральский ГУ, Екатеринбург) и Олег Алексеевич Колобов в Нижнем Новгороде; пять заведующих ка-

федрами новой и новейшей истории – Михаил Яковлевич Пелипась (Томск), Александр Борисович Цфасман (Челябинск), Джучи Михайлович Туган-Барановский (Волгоград), Юрий Владимирович Галактионов (Кемерово) и Павел Юсимович Рахшмир в Перми, по поручению которого всю подготовку к созданию Пермского отделения взяла на себя Любовь Александровна Фадеева, которая его и возглавила. Откликнулись на наше предложение также ректор Кубанского ГУ Владимир Андреевич Бабешко (Краснодар) и д. э. н. Сергей Васильевич Валдайцев (Санкт-Петербургский ГУ). Все они с энтузиазмом восприняли эту идею, открывавшую перспективу развития межуниверситетского сотрудничества, совместных научных конференций, особенно международных, открытия нового для них научного направления – изучения европейской интеграции и включения этой темы в учебные программы. В первой половине 1991 года мы провели конференцию и учредили Ассоциацию европейских исследований (АЕВИС). Однако официально оформить ее создание мы не успели. В августе 1991 года рухнула Советская власть, а в декабре распался Советский Союз.

*О. Б.: А конференция здесь проходила – в Институте Европы?*

*Ю. Б.:* Да. Это была всесоюзная конференция. В ней участвовали представители Латвии, Грузии и еще какой-то союзной республики. Но теперь надо было начинать сначала. Мы решили, что не будем созывать новую конференцию, да и денег не было. Поэтому мы по договоренности с региональными отделениями, подтвердившими свою готовность выступать в качестве учредителей, оформили документ, согласно которому конференция, принявшая решение учредить АЕВИС в России, состоялась в 1992 году. 17 февраля был утверждён её устав, 14 мая Министерство юстиции РФ выдало свидетельство о регистрации устава общественной организации «Ассоциация европейских исследований как межрегионального объединения». Вскоре появились новые региональные отделения – в Воронеже его возглавил зав. кафедрой новой и новейшей истории Виктор Александрович Артемов, в Ростове-на-Дону – декан исторического факультета Игорь Миронович Узнародов, в Липецке – профессор Александр Иванович Борозняк. Были созданы отделения в Барнауле, Петрозаводске, Калининграде, Казани, Йошкар-Оле, Тюмени. К концу 1990-х их было уже более двадцати.

*О. Б.: В чём заключалась деятельность региональных отделений АЕВИС?*

**Ю. Б.:** В организации конференций, а также летних и зимних еврошкол для студентов, аспирантов и молодых специалистов. В освоении актуальной европейской проблематики, её включении в научно-исследовательские и учебные программы, в обмене информацией и научными материалами. Ассоциация, несомненно, способствовала тому, что в России возникла своя школа европейских исследований, сложились реальные коллективы, которые занимаются такими исследованиями. Возникали и развивались связи не только между Московским центром АЕВИС и провинциальными филиалами, но и между ними самими. И особо мне хочется сказать о человеческом факторе: в региональных отделениях я познакомился со многими нестандартными людьми. Российская провинция, по-моему, сумела сохранить лучшие черты русской интеллигенции, которые в столице, если не исчезли, то увяли, стали встречаться реже.

*О. Б.: Какие именно черты, как Вы думаете?*

**Ю. Б.:** Ну, прежде всего моральный облик этих людей. Там, конечно, есть и карьеристы, и интриганы, и мизантропы. Но в общем это люди с ярко выраженным чувством достоинства, достаточно скромные, трезво мыслящие, несмотря ни на что. Я думаю, что это главные черты русской интеллигенции. Ее основа – нравственные принципы. И пока они сохраняются, мы можем говорить, что русская интеллигенция существует. А из того, что пока не удалось, – это организация совместных публикаций. На них нужны средства, а их нет или они очень малы. Но есть и хорошие примеры. В Нижнем Новгороде, Воронеже и Екатеринбурге вышли сборники по материалам прошедших конференций. В Липецке опубликованы четыре сборника Копелевских чтений, организатором которых был А.И. Борозняк – известный историк-германист и культуролог, председатель Липецкого отделения и член правления АЕВИС. Светлая ему память!

*О. Б.: В чем заключалась роль Института Европы?*

**Ю. Б.:** АЕВИС, как и любое объединение, не могла существовать без центра. Таковым был и по сей день остается Институт Европы. Я был президентом Ассоциации, Виталий Владимирович – председателем правления, Вы и Ирина Бусыгина – его членами, позже в его состав вошла Ольга Потемкина. Исполнительным директором АЕВИС в течение нескольких лет была Марина Викторовна Каргалова. Членами правления в разные годы были заместители директора нашего института С.А. Караганов и В.Н. Шенаев, а также Н.А. Ковальский, Б.М. Пичугин

и В.Г. Шемятенков. В 90-е годы, а это был период становления АЕВИС, институт был инициатором и главным организатором большинства её мероприятий. Здесь проходили ежегодные заседания правления и периодически научные конференции, в которых принимали участие сотрудники института – В.Б. Белов, Д.А. Данилов и другие. Наши сотрудники, особенно Вы, О.Ю. Потемкина, И.М. Бусыгина, активно участвовали в организации университетских научных конференций по европейской проблематике, в том числе интеграционной, выезжали читать краткосрочные курсы лекций, выступали с лекциями в летних и зимних еврошколах. Что касается меня, то я каждый год выезжал в один из университетов, где были созданы региональные отделения АЕВИС, и читал интенсивные курсы лекций (полторы-две недели) по истории европейской интеграции, теориям интеграции и отношениям Россия–ЕС. В настоящее время сложившиеся коллективы исследователей и преподавателей по всему спектру европейских проблем существуют во многих наших университетах, и в этом Институт Европы сыграл важнейшую роль.

*О. Б.: А каков был международный статус АЕВИС?*

*Ю. Б.:* Как только ассоциация получила официальный статус в России, я сообщил об этом Жаклин Ластенуз. А раньше, в 1991 году, в Брюсселе состоялась конференция объединений европейских ассоциаций, в которой приняли участие некоторые ассоциации из третьих стран. Там было принято решение о создании всемирного объединения ассоциаций исследования европейской интеграции – ECSA-World. Официально оно было учреждено на всемирном конгрессе в 1994 году. В нём принимала участие в качестве соучредителей и AES-Russia. Был ли я единственным её представителем на конгрессе или вместе с кем-то, не помню.

*О. Б.: А это отражено в каких-то документах? То, что мы соучредители?*

*Ю. Б.:* Возможно, в каком-то документе это зафиксировано. Я ввёл в поисковую систему слово ECSA-World, и она выдала ссылки на материалы конгрессов. Но документа о создании всемирного объединения и списка соучредителей среди них не было.

### *АЕВИС: четверть века в пути*

В истории АЕВИС достаточно чётко выделяются три периода – 1990-е, 2000-е и 2010-е годы. Первый из них отличается тем, что в течение всего десятилетия ассоциации оказывало финансовую

помощь Представительство ЕС в России. На эти средства проводились научные конференции и заседания правления АЕВИС, читались в российских университетах курсы лекций по европейским проблемам, особенно по новой для них теме европейской интеграции. Особенно важна была финансовая помощь для издательской деятельности АЕВИС. В 1994 году были изданы два тома переведённых на русский язык договоров о создании ЕОУС, ЕЭС, Евратома и их объединении в Евросоюз, а также сборник документов о сотрудничестве между Россией и ЕС<sup>91</sup>. Сборники были изданы тиражом в 2 тыс. экземпляров. Летом 1995 года началось издание ежеквартального бюллетеня «Европейский Союз: факты и комментарии». В 1998 году был издан Глоссарий по европейской интеграции, содержащий более 1300 терминов на пяти языках – английском, немецком, нидерландском, русском и французском<sup>92</sup>. Тогда же вышло в свет ещё одно справочное издание – «Европейский Союз. Путеводитель», содержащий в систематизированном виде основные сведения о ЕС – его история, принципы функционирования, институциональная структура, направления и формы деятельности.

В целом за первое десятилетие ассоциация успешно прошла период становления и превратилась в эффективно действующую межрегиональную организацию, завоевавшую авторитет не только среди российских ученых-европеистов и международныхников, но и за рубежом, прежде всего в Европе.

Увы, первый же год XXI века принес ассоциации пренеприятное известие: Представительство ЕС в России отказало ей в финансовой помощи, переадресовав её российским университетам за пределами Москвы, на огромном пространстве от Калининграда до Владивостока. Пришлось срочно искать новые источники средств для организации научных конференций, проведения еврошкол, чтения лекций в российских университетах и других мероприятий. Средства нашлись отнюдь не сразу, и в 2003 году была созвана конференция АЕВИС, на которой была принята программа деятельности до конца десятилетия.

Итоги её выполнения были подведены на отчётно-перевыборной конференции ассоциации, состоявшейся 21 мая 2010 года. Из

---

<sup>91</sup> Договоры, учреждающие Европейские сообщества. М., 1994; Единый Европейский акт. Договор о Европейском Союзе. М., 1994; Документы, касающиеся сотрудничества между ЕС и Россией. М., 1994.

<sup>92</sup> Глоссарий по европейской интеграции. Термины договоров и соглашений Европейского Союза. М., 1998. 356 с.

двадцати семи региональных отделений в ней участвовали двадцать, а также члены АЕВИС, представлявшие ведущие научные и учебные центры Москвы – ИМЭМО, Институт Европы, ИНИОН, МГИМО и МГУ. С отчётом о деятельности АЕВИС в 2003–2009 годах выступил её президент профессор Ю.А. Борко. За шесть лет удалось сделать немало. В сотрудничестве с Институтом Европы АЕВИС продолжила издание бюллетеня «Европейский Союз: факты и комментарии»; в 2003–2009 годах вышли номера № 39–59. Был издан сборник «Россия и объединяющаяся Европа: перспективы сотрудничества» (М., 2007. 189 с.), включавший статьи, подготовленные по итогам четырёх семинаров по проблематике отношений ЕС и России, организованных Институтом Европы РАН, АЕВИС и Фондом Ф. Эберта. Вышли в свет два справочника – «Европейский союз. Справочник-путеводитель». (2-е изд., доп. М., 2003. 288 с.) и «Российские ученые-европеисты» (М., 2008. 173 с.) – информация о 160 отечественных ученых, специализирующихся в изучении проблем современной Европы и отношений между Россией и ЕС.

В указанный период АЕВИС приняла активное участие в подготовке и проведении двенадцати международных и российских конференций, посвященных главным образом различным аспектам отношений ЕС–Россия, а также ряду общих проблем международных отношений (европейская безопасность, борьба с транснациональной преступностью и др.) Большой частью конференции были организованы Институтом Европы совместно с Фондом Ф. Эберта, а в ряде случаев – с Представительством ЕС в России. АЕВИС в числе прочего обеспечивала участие в таких конференциях учёных из своих региональных отделений. Три конференции были организованы в региональных отделениях – в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Арзамасе. Летние и зимние еврошколы были проведены в Звенигороде, Болдино (Нижегородская область), Геленджике (Краснодарский край), Калининграде и Петрозаводске. Д. э. н. Ю.А. Борко прочел курс лекций по истории европейской интеграции в Воронежском ГУ, а д. п. н. О.Ю. Потемкина выступала с лекциями в ряде еврошкол и в Волгоградском ГУ. С лекциями в Еврошколах выступали и молодые учёные, окончившие аспирантуру и защитившие кандидатские диссертации, Н.Ю. Кавешников и Н.Б. Кондратьева. В этот же период в Институте Европы был создан и начал действовать новый информационный сайт АЕВИС и Центра документации ЕС.

Один из важнейших итогов развития АЕВИС в это десятилетие состоял в том, что к его середине в некоторых университетах, где

были созданы региональные отделения АЕВИС, сложились коллективы учёных и преподавателей, ставших квалифицированными специалистами по проблемам современной Европы, европейской интеграции и отношений между Россией и ЕС. В их числе были ученые старшего поколения, частично сменившие специализацию, и молодежь, защитившая кандидатские диссертации по названной тематике. Тенденция к созданию дееспособных региональных отделений, самостоятельно разрабатывающих и реализующих научные и образовательные программы, была всеобщей. Тем не менее, среди них выделилась группа отделений-лидеров – в Санкт-Петербурге и, по алфавиту, в Воронеже, Екатеринбурге, Кемерове, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Томске и Ярославле. Позже к ним стали подтягиваться и другие отделения. В целом роль региональных отделений в жизни АЕВИС значительно возросла; роль московского ядра соответственно уменьшилась. Тем не менее Институт Европы остался головным центром ассоциации.

Упомянутая конференция в мае 2010 года открыла новый десятилетний период в жизни ассоциации. Было избрано ее новое руководство и принята новая концепция её деятельности. Президентом АЕВИС стал заместитель директора Института Европы, д. п. н. Ал.А. Громько, вице-президента – д. э. н. О.В. Буторина, к. э. н. Д.А. Данилов, д. и. н. О.А. Колобов и д. ю. н. М.Л. Энтин. Было избрано новое правление АЕВИС, которое, в свою очередь, избрало своим председателем академика РАН, почетного директора Института Европы РАН В.В. Журкина, а также бюро правления. Ю.А. Борко был избран почетным президентом ассоциации. С докладом о новой концепции развития АЕВИС и программы ее деятельности выступил Ал.А. Громько, и после их обсуждения они были приняты консенсусом без голосования.

В новой концепции деятельности АЕВИС в качестве приоритетных выделены следующие задачи: усиление роли региональных отделений, развитие горизонтальных связей между ними, а также развитие контактов между региональными научными центрами России и родственными по тематике научными центрами стран Европы. Одним из первых конкретных мероприятий, проведенных АЕВИС после перевыборов, была конференция «Проблемы современной европеистики» в апреле 2011 года с участием главы Представительства ЕС в России посла Ф.М. Валенсуэлы. В последующие годы АЕВИС плодотворно сотрудничала по вопросам развития научных связей России и Евросоюза с делегацией ЕС во главе с послом Вигаудасом Ушацкасасом.



Организация научных форумов в регионах при активном участии московского центра АЕВИС (Институт Европы, Европейский учебный институт при МГИМО (у) и др.) стала практиковаться в 2000-е годы. В 2010-х такая практика значительно возросла. Перечислить всё невозможно, поэтому ограничимся некоторыми примерами. Балтийский федеральный университет им. И. Канта (БФУ) и действующее в нём региональное отделение АЕВИС под руководством к. ю. н. В.В. Войникова почти ежегодно проводят вместе с фондом Ф. Эберта международные научные форумы по европейской тематике. В апреле 2013 года был организован круглый стол «Россия в объединенной Европе», в апреле 2016 года прошла международная конференция «Прибалтийские исследования в России». В мае того же года в Калининграде и Светлогорске проведена международная конференция «Миграционные проблемы в Европе и пути их решения». В её работе приняли участие эксперты из России, Германии, Франции, Польши. Томское отделение во главе с д. и. н. Л.В. Дериглазовой провело форум «Россия и ЕС: взаимодействие в сфере науки и образования» и конференцию «ЕС и Россия на пространстве Евразии». Отделение АЕВИС под руководством к. п. н. Т.А. Романовой, созданное на основе факультета международных отношений Санкт-Петербургского ГУ, организовало в июне 2016 года международную конференцию «Исследовательская повестка отношений России и Европейского Союза: взгляд из России и с Запада», а в июне 2017 года – конференцию «Отношения России – ЕС сегодня: проблемы методологии».

АЕВИС была победителем ряда конкурсов на получение грантов фонда «Русский мир». В 2011 году благодаря его помощи было организовано несколько семинаров с иностранными партнерами в Болгарии, Сербии и Польше. По результатам проекта опубликована монография «Выстраивая добрососедство. Россия на пространствах Европы» (под ред. Ал.А. Громыко и Е.В. Ананьевой. М., 2013). Пристальное внимание АЕВИС уделяла вопросам европейской безопасности. В 2015-2016 годах совместно с Институтом Европы РАН и Центром Марти Ахтисаари (Финляндия) были проведены II и III международные конференции «Европейская безопасность: в поиске совместных ответов на угрозы и вызовы».

В качестве члена Всемирной ассоциации учёных, изучающих процессы интеграции в Европе и других регионах современного мира (European Community Study Association – ECSA–World), ассоциация начиная с 1992 года регулярно принимала участие во

Всемирных конгрессах ECSA–World, проходивших раз в два года в Брюсселе. АЕВИС известна многим десяткам зарубежных университетов, научно-исследовательских центров и научных фондов, с которыми она проводила совместные научные мероприятия – исследовательские проекты, конференции и симпозиумы, коллективные монографии и сборники статей. Да и сами российские учёные-европеисты, принимающие участие в научных мероприятиях, проходящих в европейских странах, зачастую позиционируют себя и в качестве сотрудников отечественного научного института или университета, и как члены АЕВИС.

В мае 2017 года ассоциации исполнилось 25 лет. С начала года, в ходе подготовки к празднеству, в головном центре АЕВИС – Институте Европы и в региональных отделениях прошло множество юбилейных мероприятий. К юбилею была приурочена и книга «Европейские исследования в России»<sup>93</sup>, в основном посвящённая роли АЕВИС в развитии российской европеистики. Помимо вступительной статьи об ассоциации<sup>94</sup>, в книге опубликовано 19 очерков об истории региональных отделений, около 40 статей о выдающихся учёных-европеистах, работающих или работавших в отечественных университетах, или самих учёных – о своей научной жизни.

Юбилейная конференция АЕВИС «Судьбы Европы – XXI век» состоялась 19 мая 2017 года в Воронежском государственном университете (ВГУ), ректор которого профессор Д.А. Ендовицкий создал для этого самые благоприятные условия. Своим успехом она обязана её непосредственному организатору – Центру международных проектов и программ Воронежского ГУ и персонально директору Центра, уникальному без преувеличения менеджеру, к. и. н. Алле Владимировне Акульшиной.

На конференции прошли очередные перевыборы руководства АЕВИС. Президентом был переизбран Ал.А. Громыко, теперь уже директор Института Европы и член-корреспондент РАН; вице-президентами – д. э. н. О.В. Буторина и к. э. н. Д.А. Данилов. Председателем правления АЕВИС избран д. юр. н. М.Л. Энтин. Число региональных отделений АЕВИС выросло до двадцати восьми, в её составе более 400 учёных. По обоим показателям

---

<sup>93</sup> Европейские исследования в России (1992–2017) / Под общ. ред. О.В. Буториной. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. 464 с.

<sup>94</sup> АЕВИС – рождение и жизнь (Ю.А. Борко, О.В. Буторина, Ал.А. Громыко) // Там же. С. 13–24.

АЕВИС – самая крупная национальная ассоциация европейских исследований в ECSA-World.

Четверть века существования АЕВИС – достойный повод подвести некоторые итоги. Для тех, кто ее создавал, эти годы пролетели стремительно. За их спиной многочисленные конференции в разных городах России и за рубежом; гора книг, сборников докладов и журнальных статей, посвящённых европейским исследованиям; длинный перечень защищенных диссертаций коллег и учеников; множество прочитанных курсов лекций. Ассоциация превратилась в сплоченное научное сообщество, построенное на принципах высокой академической этики и профессионализма. Перед ассоциацией стоят те же задачи, что и 25 лет назад: объективно исследовать многомерные процессы, происходящие в Большой Европе, включающей Россию, и место Европы в глобальной системе координат; адекватно оценивать изучаемые процессы с точки зрения национальных интересов России и мер, призванных их обеспечить.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Осенние мотивы. Стихи

Были мы в юности ранними,  
стали от этого поздними.

*Юрий Левитанский*

*А ветер память ворошит...*

\* \* \*

Не торопись. Не торопись.  
На склоне день, и путь недолог.  
Неспешно поднимись на взгорок,  
Присядь на пеню и – осмотрись.

Хмур небосвод, но даль ясна,  
Пусть краски блеклы и размыты.  
Ноябрь. Расчерчен лес графитом,  
Шуршит посохшая листва.

Чуть тянет прель. Плывет, дрожа,  
Табачный дым кольцом синюшным.  
И взгляду следуя послушно,  
Бредет притихшая душа.

Не потревожь ее. Одна,  
В наплыве чувств полузабытых,  
Она, как мысль, напряжена  
И, как ладонь, она открыта.

Поры неброской красота  
В ней отзывается прозреньем.  
И отлетает суета,  
Как отлетает лист осенний.

*А ветер память ворошит...*

1985 – 1986

\* \* \*

Невозвратимость бытия.  
Неотвратимость расставанья.  
Маршрут означен: расстояние  
От пункта А до пункта Я.

А за окном – огни, огни.  
А за окном – столбы, как вехи.  
Устанет глаз – прикроешь веки,  
И будто въявь былого дни.

Необратимость слов и дел.  
Непоправимость несвершенья.  
Нет больше самообольщенья,  
И очевиден свой предел.

Из детства катит паровик,  
И перепляс ведут колеса.  
Плывут поля, леса и плесы,  
И уплывает в вечность миг.

Неодолимость высоты.  
Необходимость восхожденья.  
Извечна тяга к очищенью  
И к обретенью правоты.

Мчит поезд. В пыльное окно  
Глядит собратом лик осенний.  
Пора плодов и откровений...  
А сердцу грустно и светло.

*Сентябрь 1986*

\* \* \*

Жалею о том, что со мной не случилось.  
Не вышло, не выпало, не приключилось.  
Какая оказия! Что за немилость:  
Хотелось, мечталось, а сбиться – не сбылось.

А что-то случалось, да были огрехи  
Проколы, провалы, просчеты, прорехи.  
Мне мнились молочно-кисельные реки,  
А жизнь выдавала сполна на орехи.

Но я не жалею. Что было, то было.  
Грустнее, пожалуй, что было – да сплыло.  
И пусть иногда все казалось постылым,  
Не буду грешить, будто жизнь невзлюбила.

Нет, я не жалею, что нет мне возврата.  
Встречал я восходы и плыл на закаты.  
В любви не обойден, друзьями богатый.  
И не был обижен, простите, зарплатой.

Да, я не в накладе, не в ссоре с судьбою.  
За все, что случилось, платил я собою.  
И все же – то гнев ли Фортуны иль милость? –  
Жалею о том, что со мной не случилось.

\* \* \*

Вновь хочется побыть вдвоем.  
Вдвоем – с самим собой.  
Нырнуть в Москву, как в водоем,  
В ее людской прибой.  
Вливаться в уличный проем  
С мятушейся толпой  
И затеряться в ней вдвоем –  
Наедине с собой.  
И как дотошный счетовод,  
Предъявит мне двойник  
Моих ошибок полный свод  
И глупостей дневник.  
Мы вновь затеем давний спор,  
То ссорясь, то мирясь,  
И вскинет удивленный взор  
Прохожий, торопясь.

Ожженный взглядом, замолчу,  
Мне это не впервой –  
Бродить с собой плечом к плечу,  
Но каждый – сам собой.

Закат задернет синевой,  
Часов забуду бег,  
Кружа полуночной Москвой,  
Чтобы прийти к себе.

А завтра – галстук и блокнот,  
В котором пауз нет.  
И я забуду вечер тот,  
К себе забуду след.

Но кто-то свой ведет отчет,  
Все разнося в листы.  
Он словно тронет за плечо  
И спросит: «Это ты?»

Я спрячу в стол дела и дом –  
Все, что зову судьбой,  
И вновь уйду с собой вдвоем,  
Чтоб стать самим собой.

Май 1986

\* \* \*

Непросто быть добрым  
В не очень-то доброе время.  
И все же будь добрым,  
Ведь щедрости бремя – не бремя.

И ссылки негожи:  
Мол, зло на добро отвечало.  
А время? Ну что же,  
Когда оно добрым бывало?

*Январь 1986*

\* \* \*

И чувства – вразношерст.  
И мысли – вразнопер.  
И рифмы – невпопад.  
И строки – вперекос.

*Декабрь 1986, Кисловодск*

\* \* \*

Позднее лето. Простор и покой.  
В мареве дали плывут. И течение  
Сонной реки повторяет движенье  
Праздного облачка над головой.

Август сморило полуденным сном.  
Лист покрасневший – на фоне зеленом  
Леса, застывшего в дреме над склоном, –  
В память ложится случайным пятном.

Ах, как вольготно брести по стерне  
Сжатого поля – душа нарасташку.  
Или улечься на сене врастяжку,  
Глядя, как птицы кружат в вышине.



Славно. И кажется, лето – в тебе.  
Дышится полно и ходится резво.  
Где-то твоя раздобревшая трезвость?  
Сгнула с глаз и затихла в траве.

Солнце – в зените! Да только тот лист  
Словно сигналил, что все на исходе:  
Лето кончается, смена – погоде,  
Осень маячит, и день будет мглист.

Тень наплывет и растает с лица,  
Это давно уже стало привычкой –  
Знать, что погода бывает различной,  
И не бывает весны без конца,

Равно и лета... Так что же, дружок,  
Надо ль грустить, что своими путями  
Шествует жизнь, оставляя на память  
День этот светлый и этот стишок?

Будто бы ей невдомек, что давно  
Лето твое миновало и проседь –  
Это твое посвящение в осень  
И возвратиться тебе не дано.

Август уходит. Полуденный жар  
Скоро спадет, полетит паутина.  
И на знакомых зеленых холминах  
Вспыхнет шальной красно-желтый пожар.

*Август 1995, Звенигород*

\* \* \*

И опять ты меня бредишь, сумасшедшая осень.  
Отчего ж? Я тебя ни о чем не просил.  
Пролетают года, словно ветер с листвою их разносит,  
Второпях кружева обрывая с берез и осин.

Ну а ей нипочем, невтерпеж, в кураже бесшабашном,  
Сыплет под ноги золотом и янтарем.  
То ли впрямь я не видывал осени краше,  
То ли зоркая старость чарует меня сентябрем.

Бережи ж, ни о чем не жалеи и вином своим, осень,  
Напой, так чтоб кругом пошла голова...  
А по небу, немислимо синему, тянется проседь,  
И невнятно шуршит под ногами сухая трава.

*Сентябрь 1995*

\* \* \*

Сколько путей,  
Сколько дорог.  
Во сто б – лаптей,  
В десять – сапог.

Верил в успех,  
Шел на парад –  
Чтоб без помех  
И без преград.

Все бы бегом...  
Как бы не так:  
Снова – бугор,  
Снова – овраг.

Детский наив,  
Юная прыть...  
Только пожив,  
Учишься жить.

Прописи школ,  
Мудрость начал.  
Много прочел –  
Много ль познал?

Планов запал,  
Суетность дел...  
Много желал –  
Много ль успел?

Дальний конец,  
Буден кольцо.  
Время-резец  
Метит лицо.

Вечности ход –  
Он все слышней.  
Значит, черед  
Сбора камней.

Осень и дождь  
И шепоток:  
Что же так тощ  
Твой подсумок?

И по судьбе  
Косо строка:  
Долог разбег –  
Жизнь коротка.

1996–1999

\* \* \*

Раскаты, раскаты, раскаты...  
Бушует гроза за окном.  
И кажется, небо разъято,  
И мир перевернут вверх дном.

Деревья – в смятенье. У сливов  
Клокочет поток, пузырясь.  
Шумит очищающий ливень,  
Смывая житейскую грязь.

Но смолкло. Мгновенье, другое,  
И воздух прозрачен и чист.  
И радужный купол дугою  
Под куполом неба повис.

2005

\* \* \*

Кто в этот мир пришел, пусть будет  
Благословен и миррой мазан.  
Толпе пусть будет неподсуден  
И избежит людского сглаза.

Да не предаст – не предан будет.  
А в остальном уж как придется.  
И пусть – зачтется, не зачтется –  
Торит свой путь, а Бог рассудит.

2008

\* \* \*

### *Однажды вечером вместе с Alter Ego*

Мгновенны дни, тем паче ночи.  
Мгновенней мановенья встречи.  
Мгновенна жизнь. Все это, впрочем,  
Весьма банально. Просто вечер

Сегодня выдался свободный.  
И день был странный – день без буден.  
Один. И даже не голодный,  
Хотя и был мой ужин скуден,

Поскольку я один. Но вечер,  
Ах, как он легок и прозрачен.  
Вошел в окно и мне на плечи  
Набросил синий плед. В придачу

Мне подарил свое молчанье  
Как знак незримый сопричастья  
Моим нечаянным мечтаньям  
И мыслям праздным. Что за счастье –

Быть одному! Не шелкнув светом,  
Глядеть в окно на лунный профиль  
И наслаждаться чашкой кофе,  
Закусывая сигаретой.

А память отпустить. Пусть бродит,  
Где ей взбредет, и рышет рьяно  
И в дебрях прошлого находит  
Быльем заросшие курганы.

Там, толщей времени укрыты,  
На дне покоятся останки  
Усопших чувств, страстей забытых,  
Портреты чьих-то лиц...

«Таганка» –

Метро вдруг всплыло из забвенья.  
Прошло с полгода эскалатор,  
Плывущий встреч мне, люди-тени...  
Вдруг женщина – как сон! Когда-то

Я близок с нею был. Золою  
Давно то прошлое. Но, чудо –  
«Я встретил вас, и все былое...»  
Из ничего, из ниоткуда

Его мне возвратила память,  
И грохнул дробью стук сердечный.  
Но мы проплыли курсом встречным,  
Так и не встретившись глазами.

Я вслед смотрел, как образ зыбкий  
Все плыл, и с ним, уняв смятенье,  
Простился с грустной улыбкой  
И тихим вздохом облегченья.

Изрек ведь мудрый грек однажды,  
Взгрустнув вдруг о любви минувшей,  
Нельзя, мол, в ту же реку дважды  
Вступить, увы. И я, вернувшись

Из виртуальности в реальность,  
Налил себе сполна из штофа  
И выпил с чувством за ментальность  
И в память грека-философа.

То ль Демокрита, то ль Зенона,  
А может, самого Платона.  
И что б не углубляться в личность,  
Вновь выпил – скопом за античность.

Прости меня, двойник мой строгий,  
Из дальних лет с немym укором  
Взглянувший на меня. Немного  
Изволил пошутить я. Впору

Всплакнуть бы? Но о чем, приятель?  
Тебе о прошлом рановато  
Лить слезы, нарядившись в платье  
Плаксивого Пьеро. Когда-то,

Когда я был тобой, похоже,  
Зализывал ты быстро раны.  
Чего ж теперь ты корчишь рожи,  
Мой Альтер? Впрочем, было б странно,

Когда б ты вел себя иначе.  
Но стоп: кто – ты или я? Где грани  
Между тобой и мной? Задача  
Для «Знатоков». При всем старанье,

Сколь ни чеши в своем затылке,  
Как говорится, без бутылки  
Не разберешь... Вдруг голос робкий  
Из-за спины: «Налей две стопки.

Ведь это я – твое начало,  
Мечты твои и твоя память,  
И совесть, что в тебе звучала.  
Мы лишь вдвоем пойдем, что с нами

Тогда случилось». Вот так штука!  
Я был смущен и озадачен,  
Считал, что Альтер Эго – шутка,  
А он явился и назначил

Разборку мне! И я, помедлив,  
Сказал: «Согласен, но – без рифмы,  
Нам соблюсти хотя бы ритмы  
И не испортить тем обедню».

Мы выпили и закусили  
Слегка – огурчик и мясное.  
И он спросил: «А не забыл ли,  
Когда расстался ты со мною?» –

«Сказать точнее, расставался,  
И не с тобой – с самим собою.  
Признаться, друг мой, слишком долго  
Я с юностью моей прощался.

Но, как змея меняет кожу,  
Так нам менять свое обличье  
Приходит время, в дверь стучится.  
Не хочешь – жизнь тебе поможет».

«Ты на вопрос мой не ответил», –  
Нетерпеливо он заметил.

Я возразил: «Да не спеши ты.  
Припомни-ка череду событий,  
Что потрясли твой ум и душу,  
Основы прежние обрушив».  
Он выдохнул: «А как забыть их?

Смерть Сталина и трупы, трупы  
Людей, затоптанных толпою,  
В безумстве рвавшейся увидеть  
В прах обратившегося Бога.

В ту ночь нам выпало, студентам,  
Заслоном стать толпе, а утром  
С подругой мы пошли по моргам  
Искать, где брат ее. Он там был».

Мой Альтер смолк, потом прибавил:  
«Я все тогда понять пытался,  
В чем смысл был кровавой тризны  
У гроба мертвого кумира»?  
«Тирана», – я его поправил.

Мы вспомнили доклад Хрущева  
И жертв невинных страшный список,  
Который был в докладе списан  
На «культ» и культовую «личность».



Конечно, вспомнили мы к месту  
Кружок наш, созданный негласно.  
В крутые годы те опасно  
Доискиваться было истин.  
Лубянке стали мы известны,  
И угрожали нам аресты.

Воспоминания сближают,  
Не важно, в радости ль, в печали.  
Я заварил покрепче чаю,  
И мы невесть о чем молчали.

Он вдруг сказал про раздвоенье:  
«Две личности во мне гнездились.  
Я и не-Я в единых мненьях  
Во мне, едином, не сходились.

Теперь меня сомненье гложет.  
Ответь, но только откровенно:  
“Не-я” и ты – одно и то же?  
Не ты ль того кружка был членом?»

Я молвил тихо: «Альтер милый,  
Нет, это было невозможно.  
В одном лице мы вместе были,  
А час прощанья пробил позже».

«Когда же?» – Он спросил с укором.  
Я сдался: «Что ж, вопрос уместный.  
Прождав полгода, в дом известный  
Был вызван ты для разговора  
(Допроса, «чистки», приговора?)

Ты шел в то утро, понимая,  
Что время выбора настало:  
Иль струсишь и тебя сломают  
Жестоко, буднично, привычно,  
Иль выдержишь, что б там ни стало,  
Но отстоишь себя как личность.

Поступок делает мужчину,  
Когда есть риск, итог неясен,  
И золотой нет середины:  
Триумф иль – шрам тебя украсит.

Ты на своем стоял упорно,  
Не горячась, но и не каясь,  
И цепкий взгляд встречал спокойно,  
На слово словом отвечая.

А результат неожиданным вышел.  
Ведь возрастам двум служит гранью  
Готовность наша к испытаниям:  
Ты в этот дом вошел, я – вышел.  
Я с юностью своей расстался,  
А ты, мой Альтер, в ней остался».

Он – мне: «Мы что – в театре масок  
иль в пьеске с переодеваньем?  
Осталось только дать названье  
И наложить поярче красок!»

А я – ему: «Прости за шутку,  
Ни масок не было, ни сцены.  
Но мы своих былых поступков  
Лишь позже постигаем цену».

Он побледнел и был взволнован.  
Ему все это было внове.  
Молчал, и я ему – ни слова,  
Как будто, я пред ним виновен.

«Скажи, – спросил меня он тихо, –  
Расстались мы с тобой, но ты хоть  
Меня частицу взял с собою  
Или ушел, и – с плеч долою?»  
Он с нетерпеньем ждал ответа.

«Да не ершишься ты, – я заметил.–  
Ты правды жаждал, был пытливым,

Врать не любил, хоть приходилось,  
Был верен дружбе ты и верил,  
Что есть на свете справедливость.

Из мудрых сказок ты усвоил,  
Что есть Любовь, Надежда, Вера.  
Я многое забрал с собою  
И на себя, как мог, примерил.  
А что не взял, там и осталось.  
Кто знает, как это сказалось?»

А на часах почти двенадцать,  
И я устал уже, признаться.  
«Давай продолжим в стиле блица,  
И нам пора, друг, закруглиться».

Его вопрос: «Что приобрел ты?  
Ответ мой: «Приобрел я опыт,  
Чужой нам опыт бесполезен,  
Когда свой собственный не нажит.

Мне опыт помогал постигнуть  
Себя и тех, с кем я знавался,  
Глубинные событий смыслы,  
Значенья слова и поступка».

Еще вопрос: «Всего превыше  
Что ценишь ты в себе и в людях?»  
Ответ: «По мне, превыше верность  
Себе – ты сам своя основа.  
Семье и дружбе – это свято.  
Земле, где ты на свет явился,  
И, между прочим, верность слову».

Он погрузился в размышленья  
Надолго. Я подумал было,  
Опрос закончен. Но сомненье  
В лице, в глазах его сквозило.

«Да, как-то складно все и просто, –  
Признался Альтер Эго честно, –  
Ответы есть на все вопросы,  
И все как есть тебе известно.

Всегда ль ты следовал заветам  
Или, случалось, оступался?  
Как часто в жизни ошибался  
И чем платился ты за это?»

Я грустно усмехнулся: «Что ты?  
Всего хватало, так как опыт  
Дают нам пробы и ошибки,  
Но путь к нему бывает зыбким.

А что касается заветов,  
Не раз я шел на компромиссы,  
Тут главным было – помнить, где ты,  
Кто пред тобой и где границы.

Ведь компромисс – всегда уступка  
В ответ на встречную уступку,  
И тут заранее не знаешь,  
Что обретешь, что потеряешь.

А как уж получалось это,  
Где удавалось, а где – не,  
Я не судья себе, мой Эго.  
Уйду – пусть судят обо мне». –

Я кончил. Мы переглянулись.  
Стояли стрелки на двенадцать,  
И шум не доносился с улиц.  
Пришла пора и нам расстаться.

Я думал: странный вышел вечер  
И как неожиданна эта встреча.  
А может, вечер не случаен,  
Но что тогда он означает?

Что надо видеться с собою,  
Какими в юности мы были,  
Чтобы понять, чего мы стоим,  
Что обрели и что забыли?

Хотел спросить, оборотился –  
Мой Альтер Это, видно, вышел.  
Исчез, как будто растворился.  
Я посмотрел в окно. Над крышей

Напротив лунный лик беспечно  
На землю грешную взирает.  
Уж за полночь. Все замирает.  
И чудится, что дышит вечность

Не там, где звезды хороводят,  
А рядом, здесь, над самым ухом.  
И с каждым еле слышным вздохом  
Покой мне на душу нисходит.

Она, как окна в мае, настезь  
Распахнута и откровенна,  
Чужда сиюминутной страсти  
И зреет страстью к переменам.

Чего-то ждет. Чего? Бог знает.  
Чуть слышно музыка играет  
В глубинах... Чьих – души иль выше,  
Из тьмы, откуда вечность дышит?

Все зыбко, призрачно, безмерно,  
Вневременно и непонятно,  
Как этот вечер, эфемерно.  
Как этот вечер, безвозвратно.

2001 – 2002 – 2009

### *Ода уюту*

*Жене и Андрею Авдуловым –  
к 75-летию*

Последняя четверть столетья  
Пришла к вам. И век двадцать первый  
Стоит на дворе. Но на нервы  
Пусть это не действует. Дети

И внуки вам радость приносят.  
Вас любят друзья. И как прежде,  
Вы в Вере, Любви и Надежде  
Живете. И светится осень,  
И в вас и вокруг, разноцветом.  
Мы трижды желаем вам: многие лета!

А что же уют? Он лишь повод,  
Пролог для застольного слова:  
Сказать вам, что любим вас нежно,  
Светло, горячо и безбрежно.

К тому ж он предмет не в нагрузку.  
Погладьте штаны или блузку,  
Иль текст проутюжьте доклада,  
Иль гвоздь вколотите, коль надо.

И чтоб не устали вы слушать,  
Я кратко скажу в заключение:  
Здоровья и счастья, Андрюша!  
Здоровья и счастья, Женя!

*5 ноября 2005*

\* \* \*

**О. Б.**

Когда тебя осадят сорок зим...

*Шекспир, сонет второй*

Нет, Вас не осадил сорок зим.  
Совсем иной у майских весен счет.  
По звездам пусть гадают звездочет,  
Какой Вам минул год. А мы простим,

Коль он совет. Негадан женский срок.  
Неведом женский лик, и жест руки,  
И странный взгляд, как нечто между строк,  
Как таинство ахматовской строки.

Мой стих, увы, не тянет на сонет.  
Одарит ими Вас Вильям Шекспир.  
И да сопутствует Вам стройный ход планет,  
Любовь, мечта, друзья и в доме мир.

*17 мая 2000*

\* \* \*

### *Николаю Шмелеву*

Июнь как подгадал. Он радуется погодой  
В твой юбилей. И благостный закат  
Дарует от щедрот своих природа,  
Да невдомек ей странность поздних дат,

Когда не разберешь, то ль плакать, то ль смеяться,  
Перебирать лета иль в стол – под сургучом.  
А впрочем, есть друзья. Куда от них деваться?  
Придут и скажут, кем слывешь и что почем.

А ты внимай друзьям и веселись с друзьями.  
Потом, наедине, уйдешь в свою весну.  
Чем дальше, тем прочней в плену нас держит память  
И тем привычней мы живем в ее плену.  
Давай-ка, друг, с тобой в июньский долгий вечер  
Пройдемся не спеша забытою Москвой.  
Арбат, и Пашков дом, и мост в Замоскворечье,  
И альма матер вновь на Моховой,

Где кто-то нам читал про время и пространство,  
Да не сказал никто, как проходить круги.  
Прошли! А Бог решит, оправданны ль Авансы,  
И все ль сполна оплачены Долги.

С тобой сегодня все. И те, кто уж далече.  
Мы живы, и судьбу нам не о чем просить.  
А семьдесят, мой друг, сочтем за повод к встрече,  
Особь коль выпить есть и есть чем закусить.

18 июня 2006



\* \* \*

Пишу стихи с тоски  
И места не найду.  
Как телеграф, виски  
Стучат мне про беду.

Несется SOS в эфир,  
Спасателей зовет.  
Внимает крику мир,  
А помощь не придет.

А помощь не пришла.  
И я пишу с тоски  
Напрасные стихи...  
Такие вот дела.

*Май 1986*

\* \* \*

«Здравствуй».  
– «Здравствуй, я рад тебя видеть».  
– «Как дела?»  
– «Как всегда, весь в делах. Что налить?»  
– «Что найдется. А впрочем, ты знаешь».  
Я знаю. В буфете всегда есть заправка – для друга коньяк.  
Наливаю две рюмки – «За встречу...»  
И обрыв.  
Я не помню, что дальше.  
Открываю глаза: тебя нет...  
Это длится четырнадцать лет.

*Апрель 2000*

\* \* \*

### *Памяти Тех, Кто ушел*

Мы уходим внезапно, к прощанию готовясь годами.  
Дверь закрылась, а дом еще пахнет теплом.  
Он привык к возвращеньям. Он ждет. Но встречаться глазами  
Избегают друзья, и молчание правит столом.

Мы уходим по-разному – с музыкой или в безвестье,  
Со щитом, на щите ли – судьбы повороты круты.  
Но в одном мы равны: мы не ведали в жизни бесчестья  
И с высоким понятием Верность остались на «ты».

Мы уходим навеки. Все. Срок нашей встречи исчерпан.  
Как он краток. И как быстротечна весна!  
Отсылаем оставшимся память прощальным конвертом.  
Больше писем не будет, и в этом не почты вина.

Мы уходим спокойно. Живые – да будут хранимы.  
Долг исполнен, и радость испита сполна.  
Ну а если иначе – ушедшие сраму не имут,  
И быть может, помянут на Вербное их имена.

Расстаемся. На миг помолчим у распутия...  
Мы уходим.  
Прощайте,

Простите,  
Пребудьте.

*Ноябрь 1986–февраль 2000*

\* \* \*

### *Памяти Арлена Меликсетова*

Кто скажет мне,  
Куда ушел мой друг?

*Ли Бо (701 – 762)*

Поэт глядит на розовый закат  
В горах Лушань, объятых дымкой сизой.  
Шумит немолчно рядом водопад  
И нависают серые карнизы

Молчащих скал. Суров и дик пейзаж,  
И ни души. Лишь он как перст в пустыне.  
Поэта занесла сюда не блажь –  
Он здесь по воле деспота. Отныне

Здесь жить ему. Опять заныли раны  
И за строкой рождается строка:  
«Весна. А все ж глаза мои туманны,  
Когда на юг смотрю, на облака.

И ветер оказался бессердечным,  
Развеял вас, мечты мои и сны.  
И нет того, кого люблю навечно,  
И писем нет из дальней стороны».

Здесь можно отупеть в плену тоски.  
Но нет. Он может долго любоваться  
Застывшей белой цаплей у реки,  
Парением орла иль предаваться

Раздумиям о жизни и судьбе,  
О смерти, человеке и природе,  
О терниях поэта, о себе  
И нажитой привычке к непогоде.

Он близок мне, поэт-мудрец Ли Бо;  
Настрой души и почерк мысли ясны.  
Нетленные надежда и любовь  
Звучат в стихах, печальных и прекрасных.

Наш род людской разъят. Кого бранить?  
Но в мире многоликом и пространном  
Поэзии связующая нить  
Соединяет времена и страны.

Стремящихся в поэты – тьма вокруг.  
В поэты путь – одной-двумя строками.  
«Скажите мне, куда ушел мой друг?»  
Как просто, но живет – веками.

Ли Бо, мой друг ушел туда ж, где ты  
Почил навечно или воспаряешь,  
Где то ли тьма, то ль небо и цветы,  
То ли геенна, то ли кущи рая.

Что там, за дверью, знать нам не дано.  
Я, старина Ли Бо, одно лишь знаю:  
Мой друг ушел, не допито вино,  
И друга моего мне не хватает.

При встрече с ним ты был бы удивлен:  
Пришелец дальний из-за гор Тянь-шаньских,  
Он по-китайски отдал бы поклон  
И обратился с речью по-китайски.

Он знал тебя, а ты его не знал.  
Машина времени – фантазия Уэллса.  
Мой друг Ли Бо полсотни лет отдал  
Познанию бесподобной Поднебесной.

Он знал ее. Он чтит простых людей  
За тяжкий хлеб и стойкое терпенье.  
Великих чтит ее учителей  
И не у них ли почерпнул уменье,

Что б ни случилось, не терять лица,  
А равно твердой почвы под ногами  
И сохранять невозмутимость мудреца,  
Взяв под уздцы природный темперамент.

Друзей нам дарит случай иль судьба,  
А суть едина: дружба – испытанье  
Не для друзей – для самого себя.  
Надеюсь, я достоин был призванья

Стать другом. Сколько пройдено дорог  
И соли съедено за прожитые годы.  
Сначала был студенческий порог,  
Аудиторий выбеленных своды.

И вуз второй, который мы прошли  
В колхозе безлошадном и безмужнем,  
С плешинами непаханой земли  
И бытом отупелым и натужным.

Цену негромких дел и громких слов  
Мы познавали в непростую пору,  
Когда со стен и изо всех углов  
Усатый идол не спускал с нас взора.

Так и учились мы науке понимать,  
Сверяя догмы, опыт свой и совесть.  
Нам есть что вспомнить (и не вспоминать),  
Но это, друг, уже иная повесть.

А ты вырослел, мне помнится, быстрее,  
Чем я, уж точно. О других не в праве  
Судить. Ты первым из моих друзей  
Прекрасный праздник вместе с нами справил.

И был пролог: на берегах Невы  
Твое с Иришей чудное явленье,  
Когда нас молча известили вы,  
Что близок день четы эМ-Бэ рожденья.

Я так любил бывать у вас порой  
И, сидя в кресле, любоваться вами,  
И ушиваться вашей теплотой,  
И душ единством, скрытым за словами.

Но ты ушел, и я свой горький стих  
Шлю вслед тебе в безадресные дали.  
А здесь одна Иришка за двоих  
Дарит тепло нам с привкусом печали.

Я продолжаю прошлого листать  
Страницы побледневшие. Вот эта –  
О том, как в отдаленные места  
Могли мы угодить. Прошли в то лето

Аресты. Я узнал: доносы есть  
В ГЭБ о нас и их «объекте» Леве.  
Ты встретил по-мужски плохую весть,  
Лишь помрачнел и был немногословен.

Мы не давали верности обет,  
Мы просто, зубы сжав, держали стойку.  
Нам повезло. Уже покинул свет  
Тиран-палач, а вместе с ним и «тройки».

Познали, думаю, мы именно тогда  
Мужского братства истинную цену.  
Что если верность, значит навсегда;  
Что можно все простить, но не измену.

Арлен, мой друг, я многое забыл.  
Но ты – во мне, твой нрав, твои пристрастья:  
Чего не принимал, кого любил,  
Каким был в праздник, а каким – в ненастье.

Друзей наш круг, застолья шум и гам,  
«Спартак», Угра, Литовские озера...  
Далеких дней бывшего берега  
И прихотливой памяти просторы!

Увы, слова – лишь тень души, мой друг.  
Но дружба – дар, и не уйдут в забвенье  
Скрепленное навек пожатье рук  
И встречи глаз застывшее мгновенье.

15 февраля 2007

\* \* \*

### *Памяти Роальда Орлова*

Опять от себя отрываю кусок  
Себя самого. Словно по сердцу, кремьень.  
Струится, струится беззвучно песок  
В песочных часах. Безучастное время

Струится меж пальцев. Не скажешь: нельзя!  
Умолкли звонки и закончены встречи.  
Уходят, уходят беззвучно друзья,  
Один за другим удаляются в вечность.

Нам было пятнадцать, когда мы с тобой  
Узнали друг друга в далекие годы.  
Шел сорок четвертый, Казань, и скупой  
Язык фронтовых, ставших буднями сводок.

Нам было пятнадцать. Короткий зачес.  
Мальчишеский класс в девятнадцатой школе.  
Нас вывезли осенью поздней в колхоз  
Картошку копать в промороженном поле.

Трех дней нам хватило продрогнуть насквозь.  
Домой нас вернули залечивать раны.  
А в памяти прочно засели, как гвоздь,  
Три ночи в избе на полу деревянном.

Втроем улеглись мы: Ты, Я и Ромаш.  
Нам было тепло, тараканы шуршали.  
Ты был любопытен, вводя нас в кураж,  
А мы вдохновенно и искренне ввали.

Тебя волновали проблемы любви.  
Мы с Владиком эксперты были и, душу  
Свою открывая, невесть что несли,  
А ты, рот открыв, изумленно нас слушал.

Нам было за двадцать. Вдвоем мы брели  
Над Волгой, и ты мне поведал о детстве,  
Что в тридцать седьмом был расстрелян отец твой,  
А следом и маму в ГУЛАГ увезли.

Мне помнятся волжский отвесный откос,  
Бескрайние дали и пиршество лета.  
Ты мне задавал за вопросом вопрос,  
Да только на них я не ведал ответов.

Мы вместе учились смотреть без прикрас  
На мир сей, что был так нескладно устроен.  
И все ж нас, мой друг, выручали не раз  
Закваска мужская и братство мужское.

Как много воды с той поры утекло,  
И съедено соли, и поднято тостов,  
И сколько немереных верст пролегло,  
И скольких пришлось проводить на погосты.

Ну что же, нам всем уготован свой круг.  
Теперь мы расстались: я – здесь, ты – далече.  
Как тягостно быть провожатым, мой друг.  
Как памятны все наши встречи.

2007, Москва

\* \* \*

### *Памяти Андрея Авдулова*

Ты ушел не простившись под утро в субботу.  
Ты прости нас за то, что тебя убереечь не смогли.  
Впереди Новый год. Загораются елки, а кто-то  
Молча сыплет в могилу прощальную горстку земли.

Это жизнь, где соседствуют радость и горе,  
Где застолья веселий сменяют застолья разлук.  
Впереди Рождество. Только елки в нарядных уборах,  
Словно свечки в помин о тебе, наш умолкнувший друг.



Смерть – итог. Не прибавить уже, не убавить.  
Ни в делах, ни в долгах, ни в грехах, ни в расчете с собой.  
Тяжелее судьбы твоей в детстве мне трудно представить,  
Но ты выдержал все, не склонился, а встал над судьбой.

Тебе выпало счастье – любить, быть любимым,  
Сотворить с Женой дивное царство детей и добра.  
Пусть очаг твой с теплом твоим будут хранимы,  
И сойдутся друзья твои в нем, почти как вчера.

Будет грустно. Строй жизни привычной обрушен,  
Но бесстрастные стрелки бегут, свои круги верша.  
Спи спокойно, земля тебе пухом, Андрюша,  
И к неведомым высям твоя вознесется душа.

21–25 декабря 2008

\* \* \*

### «Глядя задумчиво...»

*Накануне 70-летия*

Родятся там, где суждено.  
Роднятся с Родиной – в беде,  
Когда б хотел, но не дано  
Найти другое место, где,

Отгородившись от невзгод,  
К себе вернешься, как в свой дом,  
Себя почти уверив в том,  
Что там такой же небосвод,

И та ж листва, и та ж луна  
Глядит в окно. А жизнь одна,  
И кем-то сказано давно,  
Что где быть прахом – все равно.

И жил бы. Ясен горизонт.  
Река вернулась в берега.  
Удачен с выбором экспромт,  
И дни как за строкой – строка.

Но как-то выйдешь на порог,  
И вдруг кольнет: не то, не так.  
Увидишь небо в лоскутах,  
Поймешь, что все пошло не впрок.

Облезший клуб. Погашен свет.  
Стрекочет старый аппарат.  
Смотрю в который раз подряд  
Сто раз прокрученный сюжет.

Я не искал другой страны.  
Другой судьбы, другой жены,  
Иных друзей, иных чудес.  
Я был, я есть, я буду здесь.

*Август 1998*

\* \* \*

Мороз и солнце, день чудесный...

*А. Пушкин*

Февраль. Мороз. Седая дымка.  
По синеве – резьба берез.  
Присыпан наст крупой поземки.  
И солнце – сквозь наплывы слез.

А лес сквозной и затаенный.  
Он нем и строг, как часовой.  
Лишь шелест лыж или вороны  
Сварливый крик над головой.

Мороз бодрит, а солнце нежит –  
Благой каприз февральских дней.  
О, здравствуй, белое заснежье  
В уборе голубых теней!

И ждешь, мелькнут певец-кудесник,  
Конь, сани и мгновенный взгляд...  
Мороз и солнце, день чудесный –  
Как полтораста лет назад.

*Февраль 1986, Звенигород*

\* \* \*

На Васильевский остров я приду умирать.

*Иосиф Бродский*

Как в «Прощальной симфонии» – ближе к финалу –  
ты помнишь, у Гайдна, –  
музыкант, доиграв свою партию, гасит свечу»

*Юрий Левитанский*

Как серо на сердце. Умолкли два русских поэта –  
Поэт, опаленный войной, и изгнанник-поэт.  
Два русских поэта ушли в ожиданье рассвета  
Над русской землею, опять ожидающей бед.

О, как непохожи вы, лики российских поэтов.  
И как вы похожи скрещеньем потерь и побед,  
Скрещеньем прорезавшей тьму над окопом ракеты  
С звездой Вифлеема, на миг заглянувшей в просвет.

Все ясно и просто. Известны края и погосты,  
И пройдены круги, и спали вериги оков.  
Печально внимает умолкший Васильевский остров  
Аккордам Прощальной симфонии белых стихов.

1996

\* \* \*

Вновь церкви встают по России  
И звоны над нею плывут.  
Господь, если есть Ты, прости ей  
Постыдный неправедный суд,

Который в безумстве творила  
Она над своими детьми.  
Как счесть котлованы-могилы  
В просторах бескрайней тюрьмы?

И крест покаянья нести ей  
Как долго? Иль пьяной гульбой  
Глушить будет память Россия,  
Свершив этот суд над собой?

А храмы белеют под синью  
Щемящих российских небес.  
А звоны плывут по России,  
И к свету зовет Благовест.

Но снова меж светом и тьмью,  
С недремлющим прошлым вдвоем,  
Застыла Россия в смятенье,  
И выбор неведом ее.

*Сентябрь 1998*

\* \* \*

Я снова в усадьбе старинной.  
Мне чудится, будто под вечер  
Проснулись в подсвечниках свечи  
И пахнет, как встарь, стеарином.

В натоленной к съезду гостиной  
Негромко звучит пианино.  
То Марья, княжна, дочь соседа,  
Играет нам вальс Грибоедова.

А утром в заснеженном парке  
Под мартовским солнцем ожившим  
Трезвонят синички-товарки  
И плачет капель из-под крыши.

Я снова в старинной усадьбе.  
Сослаться б сюда и писать бы  
Стихи ли, романы ли... Узкое –

С пропахшими дымом страницами  
Судеб Трубецких и Голицыных...  
Крутая история русская.

*Март 2000, санаторий «Узкое»*

\* \* \*

### *Голландские мотивы*

Я вынут из времени. Праздно брожу по Голландии.  
Любуюсь церквями, цветами, коровами.  
Поди разберись, как соседствуют явь с хиромантией  
И где нам судьбой пребывать уготовано.

А хочешь вкусить вавилонского столпотворения–  
Кати в Амстердам, ротозействуй на публику,  
На месиво рас, языков и одежд. Тем не менее  
Держись за карман, чтоб не стибрили рублики...

Простите, флорины. Злословить – дурная стилистика.  
Пусть будут голландцы и сыты, и праведны.  
Голландия – чудо, мираж, наваждение, мистика.  
Увидел – и баста. А больше, пожалуй, не надобно.

Спасибо Гааге. Ее лабиринтам немислимым  
И паркам зеленым. Теперь мы немного знакомы.  
Спасибо за все ей, но пуще – поклоны ей низкие  
За острое чувство своей неразлучности с домом.

*Июнь 2000, Гаага–Москва*

\* \* \*

### *Последний ветеран*

В Москве остались два участника  
Великой Отечественной войны,  
награжденные орденами Славы  
всех трех степеней.  
*Из сообщений средств массовой информации  
накануне 9 мая 2009 года*

Настанет день – уйдет последний ветеран.  
Уйдет, как мамонт уходил когда-то.  
Уйдет усталой поступью в туман,  
В страну, где ни закатов, ни раскатов,

Но вечный мрак. И вечность тишины.  
Он здесь еще, последний и нездешний.  
И даже стерто с карт название страны,  
Которую он, праведный и грешный,

Глаза – в глаза, штыки – в штыки, упор – в упор,  
Отстаивал. Он выстоял. Он выжил.  
А те, кто там остался, не в укор  
Ему – он был солдат, и тем, кто выше,

Он не судья. Сочтется как-нибудь.  
Своих забот набралось выше крыши.  
Да не с кем обсудить, налить и вспомнить  
О тех боях и байках в час затиший.

О родине – особо. Все круги  
Он с ней прошел и стал ее судьбою.  
Он выполнил свой долг. Ну а ее долги  
И счет своих обид он унесет с собою.

Настанет день – прощальный бросит взгляд  
Последний ветеран, поправший смерть когда-то.  
А жизнь идет, и огонь пылает над  
Могилой Неизвестного Солдата.

*Май 2009*

\* \* \*

*Отклик на стихотворение Саши Черного  
«Больному», 1910 г.*

Если плачет душа – ведь бывают мгновенья, –  
Но осталась в душе хоть бы капля души,  
Ты прочти Саши Черного стихотворенье  
И расстаться с душой не спеши. Не спеши!

Пусть поплачет, слезами умоется, всхлипнет.  
И вздохнет с облегченьем. И тронется в путь.  
Если встретится Зло, пусть оно к ней не липнет.  
И да встретит Добро. – Где? – Как знать, где-нибудь.

Жизнь, признаться, дружок, презанятная штука.  
То как волк на дороге, то преданный пес.  
Пусть идет. Будет мужество верной порукой  
И терпение, если порой не срослось.

Не забудь, мой дружок, наставленья поэта  
В череде бесконечной закатов и зорь:  
«Соломон нам оставил два мудрых совета:  
Убегай от тоски и с глушцами не спорь».

24.03.2017

# ЮРИЙ БОРКО

## Судьбу нам не о чем просить... Семья, жизнь и путь в науке

Редактор: *О.А. Зимарин*  
Корректор: *Н.П. Морозова*  
Художник: *Е.А. Ильин*  
Верстка: *Е.Ю. Дроздова*

Подписано к печати 26.09.2019  
Формат 60x90 1/16. Усл.-печ. л. 27,5  
Тираж 500 экз. Заказ № 7921

ООО Издательство «Весь Мир»  
109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская д. 5, стр. 1  
Тел./факс: (495) 632-47-04, 632-47-06, (495) 678-43-18  
E-mail: [info@vesmirbooks.ru](mailto:info@vesmirbooks.ru)  
[http:// vesmirbooks.ru](http://vesmirbooks.ru)

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»  
Филиал «Чеховский Печатный Двор»  
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1  
Сайт: [www.chpk.ru](http://www.chpk.ru). E-mail: [marketing@chpk.ru](mailto:marketing@chpk.ru)  
факс 8(496) 726-54-10, тел. 8 (495) 988-63-87

ISBN 978-5-7777-0779-6



9 785777 707796





Мой первый дом. Ростов-на-Дону, Воронцовская, 64



Этель (Елена) Борко —  
участница подпольной  
организации большевиков  
в период деникинской  
диктатуры на Дону.  
Погибла в августе 1919 г.



Абрам Израилевич Борко —  
мой дед.  
Середина 1930-х годов



Ида Григорьевна Борко —  
моя бабушка.  
Середина 1930-х годов

Моя мама,  
Надежда Абрамовна Борко.  
1921 г.



Мой отец,  
Антон Петрович Бутин,  
1928 г.



Друзья Надежды Борко – Ростов-на-Дону, 1919 г.



Надежда Борко  
с друзьями времён  
Гражданской войны

Ефим Абрамович Борко —  
1921 г.,  
секретарь Донского комитета  
рабочих, крестьянских,  
красноармейских и казачьих  
депутатов



Е.А. Борко — 1960-е годы,  
руководитель научного и  
редакционно-издательского  
отделов Московского  
Института стали и сплавов



Рита Борко – 1931 г.,  
окончание школы



Иоан Абрамович Борко –  
участник Великой Отечественной  
войны, лейтенант морской пехоты  
Черноморского флота



Рита Абрамовна –  
инженер-железнодорожник,  
1940-е и эшелоны, эшелоны...



Моя мама,  
Казань. 1943 г.



А это я, 13 мая 1931 года, и мне два с небольшим года



Празднуем мой день рождения, 6.02.1933 г.



Я с моей двоюродной сестрой Наташей – 1934 г.



Я с мамой,  
Москва, 1939 г.



Мне 15 лет.  
Казань, 1944 г.



Юра Удобников,  
Казань, 1946 г.  
Мы встретились  
в ноябре 1941 г.  
Мой первый  
пожизненный друг.  
Мы по сей день  
перезваниваемся —  
он из Казани,  
я из Москвы.



Юрий Александрович  
и Дильбар Бурнашова —  
Казань, 2009 г.  
Они прожили вместе  
более 60 лет. Одна из  
самых прекрасных  
женщин, встреченных  
мною в жизни



Я и Евгений Гортинский. Казань, школа № 19, 1946.

Мой пожизненный друг. Журналист, более 20 лет работал собкором в «Комсомольской правде»; рано ушел, подвело сердце, и он скончался в 1987 г.



Роальд Орлов.

Казань, школа № 19, 1946.

Пожизненный друг.

Физик, программист, один из новаторов в области эконометрики.

Турист и горнолыжник



Мой 9-Б класс казанской школы № 19, окончивший её уже без меня, но я встречал его юбилеи, вплоть до 50-летия, вместе с ним



Наташа Иванова, моя первая школьная любовь, пронзительная и трепетная – Казань, 1944 г.

Том Петров.  
Мы подружились  
в конце 1940-х, и он стал мне  
близок вдвойне — не только  
как друг, но и любимейший  
брат. Я пронёс это чувство  
через всю жизнь



Дом Тома Петрова был открыт для всех — от первокурсников до аспирантов,  
и все чувствовали себя, как дома. Начало 1950-х,



У памятника  
М.В.Ломоносову.  
Студенты Истфака  
Галя Мартиросова и я  
1949 г.



Эдик Клопов. Мой первый друг  
на курсе. Мы учились в одной  
группе, и он поразил меня  
точностью и трезвостью своих  
суждений. Это качество Эдуард  
Викторович сохранил в научной  
работе, уйдя в сферу социологии  
и политологии – 1951 г.



Мои однокурсницы – Римма Осипова, Таня Олегина, Валя Сывороткина  
и Муза Вайнберг



По просторам Подмосквья почти каждую неделю –  
начало 1950-х



В гостях у однокурсницы Любы Костюхиной –  
Зарайск, начало 1950-х



В подшефном колхозе подмосковного Зарайского района –  
начало 1950-х



Нора Бонн –  
светлый человек и верный друг,  
всегда готовый придти на помощь  
– 1950 г.



Галина Ронина.  
Мой пожизненный друг.  
В 60–70-е годы работала  
в «Комсомолке», которую  
возглавлял Борис Панкин.  
В ней публиковались  
острые статьи, вызывавшие  
раздражение в «верхах».  
Кончилось тем, что он был  
уволен. – 1952 г.



Моя кафедра, Истфак окончен, июнь 1953-го



Выставка в Манеже 1962 г. Н.С. Хрущев «громит» скульптора Эрнста Неизвестного и моего друга художника Бориса Житовского



Я и мои друзья: Миша Шабунин, Женя Плоткин и Эдик Клопов – 1958 г.



В турпоходе по Алтаю,  
от Чуйского тракта  
к Телецкому озеру – 1959 г.



С Игорем и Олей Кулаевыми по реке Клязьме – 1960-е годы



Кавказ, в горнолыжной хижине под ледником Алибек – начало 1960-х



Лена, моя будущая жена —  
1958 г.



Лена и я, первый семейный отпуск,  
Друскининкай, лето 1960 г.



Здравствуйте, это я.  
Дима Борко —  
1963 г.



Вдвоём с сыном по просторам Подмосковья – 1977–1978 гг.



Дмитрий Борко, фотокор за работой –  
2009 г.



Второй сын Кирилл Рогов –  
1972 г.



Кирилл Юрьевич Рогов –  
филолог, журналист, политолог –  
начало 2000-ных.



Два брата, Дима и Кирилл, «галопом по Европам» –  
1991 г.



Дмитрий Борко с дочкой Евой –  
2000 г.



Дедушка с внуками Васей Роговым и Евой Борко –  
2002 г.





Кирилл, Настя и сыновья –Вася, Рома, Стасик и Федя,  
февраль 2019 г.



Мои друзья-однокурсники Арлен Меликсетов и Михал Рейман –  
1987 г.



Михал Рейман и я —  
Западный Берлин, 1988 г.



С моим другом Борисом Орловым —  
окрестности Абрамцево, конец 1980-х



На моём 70-лети. Оля Величко, Женя и Андрей Авдулова, Роальд Орлов – 1999 г.



Встреча однокурсников Истфака МГУ –  
Москва, начало 2010-х



С Вадимом Мильштейном и Борисом Орловым на Золотой свадьбе нашей семьи – 2010 г.



Ксения Шарапова, Липарит Кюзаджан и я в усадьбе Бориса Орлова – 2000 г.

## Социальные последствия интеграции

(Буржуазные теории и опыт Общего рынка)

Ю. БОРКО

Дискуссии об интеграции начались на Западе задолго до того, как Европейское экономическое сообщество стало реальностью. К моменту подписания Римского договора множество авторов, попытавшихся «смоделировать» Общий рынок, исключало десятки и продолжало быстро расти. Оценка социальных последствий интеграции, бесспорно, отпала, и шло в сторону идеологических направлений анализа. Иначе и быть не могло, ибо конечная цель интеграции состояла, по утверждению западных экономистов, в «укреплении социальной структуры Европы и стабильности ее социальных и политических институтов»<sup>1</sup>.

Ныне ЕЭС вошло во второе десятилетие. Прошло достаточно времени, чтобы сопоставить прогнозы с реальным развитием Общего рынка, с его фактическим воздействием на положение трудящихся и классовые взаимоотношения.

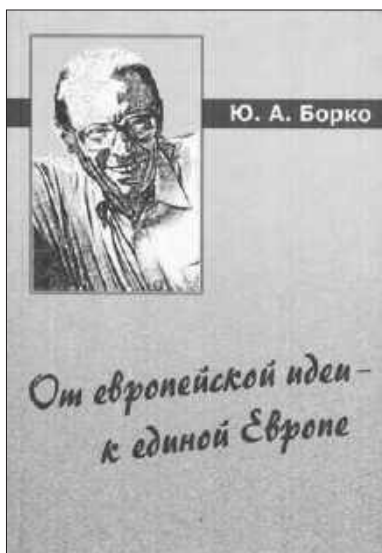
### ТРИ ТОЧКИ ОПОРЫ

Взгляды сторонников интеграции не представляют собой чего-то единого. В 60-е годы среди участвовавших в полемике буржуазных ученых, государственных деятелей, лидеров «бизнеса» имелись существенные расхождения в оценке экономических и социальных последствий интеграции, в понимании ее механизма. Оживленный спор развернулся, в частности, между «неолибералами», видевшими в Общем рынке своеобразное возрождение фриггердства, и «директистами» — сторонниками расширения государственного и межгосударственного регулирования экономики. Другой подраздел отделил откровенных апологетов интеграции, пропандирировавших ее как якобы путь к процветанию западноевропейского капитализма, от ученых-прагматиков, не опускавшихся до вульгарных дифирамбов и ограничивших свою задачу конкретным анализом вероятных последствий создания Общего рынка.

Тем не менее во взглядах представителей всех этих течений имеются общие моменты, позволяющие объединить их в особом направлении буржуазной экономической мысли. Речь идет о теории таможенного и экономического союза, усиленно разрабатывавшейся на Западе в 50-е годы.

Крепкоглыбый напев концепции таможенного и экономического союза — тезис о преимуществах крупного рынка. Предполагалось, что эти преимущества должны складаться двояким образом. Во-первых — и это главное, — ликвидация таможенных барьеров стимулирует конкуренцию. Равновесный механизм «прибавит оборота», что в конечном счете приведет

<sup>1</sup> «Social Aspects of European Economic Cooperation», Geneva, 1956, p. 2 (далее «Social Aspects...»).





ИМЭМО: Здесь началась моя научная и журналистская жизнь, 1959–1969 гг.



20 лет в ИНИОН: здесь определилась моя научная специализация — роль социальных факторов в развитии европейской экономической интеграции



В Институте Европы АН СССР/РАН я тружусь уже 30 лет.  
Слава научно-техническому прогрессу, благодаря Интернету  
я могу работать дома



Возле Белого Дома  
с Ксенией Шараповой.  
20 августа 1991 г.



Кирилл Рогов с защитниками Белого Дома утром  
21 августа 1991 г.



В 1992 г. по инициативе Института Европы РАН в России было создано научное объединение – Ассоциация европейских исследований (АЕВИС)



Презентация Малой библиотеки ЕС – тексты основных договоров о его создании и развитии, а также соглашений с Россией, на русском языке – 1994 г.

Договоры о создании Европейских сообществ открыли путь европейской экономической интеграции





Международный коллоквиум «Россия и ЕС в 90-е годы», ИЕ РАН, 09.1993.  
В центре – первый посол ЕС в России, проф. Майкл Эмерсон и директор  
Института Европы, академик Виталий Владимирович Журкин



Учебный курс для молодых политических лидеров и администраторов  
России – март-июль 1995 г.

С главным научным  
сотрудником ИНИОН  
АН СССР, д.пол.н.  
Б.С. Орловым.  
Летняя Еврошкола,  
Липецк, июль 1999 г.



На Копелевских чтениях  
«Россия и Германия: диалог  
культур» с докладом:  
Могут ли Россия и Германия  
повторить франко-  
германский опыт? —  
Липецк, апрель 2002 г.



Конференция, посвященная введению Евро –  
2002 г.



В резиденции Посла ЕС в России Оттокара Хана –  
2003 г.



Институт Европы РАН — команда молодых европейцев —  
2000 г.



Моё 70-летие с В.В.Журкиным, С.А.Карагановым, В.Н.Шенаевым  
и Е.С.Хесиным – февраль 1999 г.



Моё 70-летие с Н.П.Шмелевым, Д.А.Даниловым и О.Ю.Потёмкиной





С Ольгой Витальевной Буториной, моей коллегой и другом



С Людмилой Михайлоной Алексеевой – 2014 г.



ИНИОН, с коллегами из Отдела Западной Европы и Северной Америки, который я возглавлял 20 лет – 1997 г.



У Людмилы Михайловны с первыми освобожденными «болотниками», правозащитниками Сергеем Шаровым-Делоне и Марией Архиповой – 2015 г.

Зам. директора  
Федерального института  
восточных и междунвродных  
исследований в Кёльне,  
проф. Хайнц Тиммерманн  
(слева).

Мы начали сотрудничать  
как коллеги, а вскоре стали  
близкими друзьями.

Конференция  
«Россия-ЕС: пути  
и тупики партнёрства»,  
Евангелическая академия  
(Мюльхайм, ФРГ), 1999 г.



Я с другом, бельгийским  
ученым Тони Йорисом –  
сентябрь 2002 г.



В Евангелической академии Гёрлица (ФРГ): дискуссия о «европейских ценностях» и о том, насколько они сохраняются в Европе — октябрь 2002 г.



Владимир Петрович Лукин — политический деятель, дипломат, ученый-историк и политолог, в настоящее время член Совета Федерации РФ и президент Паралимпийского комитета России. Мой давний и надёжный друг с начала 1960 г., когда мы работали и сотрудничали в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР

[www.vesmirbooks.ru](http://www.vesmirbooks.ru)